

ЭРНСТ ЮНГЕР

ЭВМЕСВИЛЬ

роман



Ad **M** *arginem*

ЭРНСТ ЮНГЕР

ЭВМЕСВИЛЬ

ERNST JÜNGER
EUMESWIL

romane



Klett-Cotta

УДК 821.112.2-31
ББК 84(4ГЕМ)-44
Ю50

Перевод с немецкого – *Евгений Воропаев*

Общая редакция, комментарии и послесловие – *Татьяна Баскакова*

Художественное оформление – *Сергей Монгайт*

Юнгер, Эрнст
Ю50 Эвмесвиль: роман / Эрнст Юнгер. – М.: ООО «Ад Маргинем Пресс», 2013. – 640 с. – 18+

ISBN 978-5-91103-124-4

- © 1977, 1980 Klett-Cotta – J.G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, Stuttgart
- © Воропаев Е.В., перевод, комментарии, 2013
- © Баскакова Т.А., редакция, комментарии, послесловие, 2013
- © ООО «Ад Маргинем Пресс», 2013

СОДЕРЖАНИЕ

Учителя	7
Отмежевание и безопасность	118
Записанное в ночном баре	211
Один день на касбе	273
Один день в городе	465
О лесе	489
Эпилог	511
Комментарии	514
Татьяна Баскакова	
Кондор охотится на охотника:	
«Эвмесвиль» Эрнста Юнгера	610

УЧИТЕЛЯ

1

Меня зовут Мануэль Венатор, я ночной стюард на касбе Эвмесвиля. Внешность у меня неприметная, но в состязаниях я вполне могу рассчитывать на третье место, да и с женщинами не испытываю затруднений. Мне скоро исполнится тридцать; характер мой находят приятным – иначе я бы не мог заниматься таким ремеслом. С политической точки зрения меня считают благонадежным, пусть и не особенно активным.

Вот несколько слов о моей персоне. Приводимые мною сведения правдивы, хотя пока и нечетки. Я буду постепенно уточнять их, поскольку в них содержится завязка некоей диспозиции.

*

Уточнять нечеткое, все более и более внятно определять неопределенное: в этом задача любого развития, любого временного усилия. Поэтому физиономии и характеры с годами проступают яснее. Так же происходит и с рукописями.

Поначалу ваятель противостоит необработанной глыбе, чистой материи, заключающей в себе любую возможность. Глыба же отвечает резцу: ваятель может ее разрушить или высвободить из нее влагу жизни, ее духовную силу. Все пока неопределенно, даже для самого мастера, и не совсем зависит от его воли.

Нечеткое, неопределенное, а также вымысел – не значит неверное. Пусть это будет неправильным,

главное, чтобы не было неправдивым. Какое-нибудь утверждение – нечеткое, но не неверное – может проясняться фраза за фразой, пока высказывание наконец не сфокусируется на главном. Если же высказывание начинается со лжи, оно вынуждено поддерживать себя все новой и новой ложью, пока в конце концов постройка не рухнет. Отсюда мое подозрение, что уже сотворение мира началось с вкравшегося подлога. Будь то простой ошибкой, рай можно было бы восстановить в ходе дальнейшего развития. Однако Старик засекретил дерево жизни.

С этим связаны и мои страдания: с неисцелимым несовершенством, не только сотворенного мира, но и собственной личности. Осознание такого несовершенства ведет, с одной стороны, к вражде с богами, а с другой – к самокритике. Возможно, я склонен преувеличивать, но, во всяком случае, и то и другое ослабляет способность действовать.

Только не пугайтесь: морально-теологического трактата не последует.

2

Первым делом следует уточнить, что меня хотя и зовут Венатор, но не Мануэль, а Мартин: именно такое имя было мне дано при крещении, как выразились бы христиане. У нас оно присваивается отцом: подняв новорожденного, он нарекает его именем и позволяет ему огласить помещение громким плачем.

Мануэль же, напротив, – прозвище, полученное мною в период службы здесь, на касбе; его дал мне Кондор. Кондор – это мой патрон, нынешний

властитель Эвмесвиля. Он уже много лет живет на касбе, в цитадели, которая приблизительно в двух милях по ту сторону города венчает голый холм, издревле называемый Пагос.

Такого рода соотношение между городом и крепостью встречается во многих местностях; это наиболее удобно не только для тирании, но и для любого личного правления.

Свергнутые Кондором трибуны, наоборот, незаметно закрепились в городе и правили из Муниципио. «Там, где лишь *одна* рука, она эффективней действует на длинном рычаге; где могут высказываться многие, требуется брожение: они внедряются в человеческое сообщество, как закваска в тесто». Так говорит Виго, мой учитель; о нем еще речь впереди.

*

Почему же Кондор пожелал, то есть фактически повелел, чтобы я звался Мануэлем? Предпочитал ли он иберийское звучание, или имя Мартин ему не нравилось? Так я предположил вначале: существует ведь, в самом деле, какая-то антипатия или, во всяком случае, чувствительность к некоторым именам, которую мы недостаточно учитываем. Иные на всю жизнь обременяют своего ребенка именем, отвечающим их сокровенным мечтам. Подходит к тебе какой-то гном и говорит, что его зовут Цезарь... Другие выбирают имя господина, в данный момент стоящего у кормила власти, так же как и здесь среди бедных и богатых уже есть маленькие Кондоры. Это тоже может принести вред, особенно во времена без надежного порядка наследования.

Слишком мало – и это касается большинства – обращают внимание также на то, гармонирует ли имя с фамилией. «Шах фон Вутенов»: это громоздкое, почти непосильное с фонетической точки зрения требование. Зато: Эмилия Галотти, Евгения Гранде – такие сочетания легко и уравновешенно парят в акустическом пространстве. Естественно, «Евгения» произносится подчеркнуто на галльский, а не на алеманнский манер: Ёжени, со смягченным «ё». Точно так же здешний народ сгладил имя Эвмена: в просторечии наш город называется Ёмсвил.

Теперь подойдем ближе к делу: «Мартин» несовместим с явно выраженным музыкальным слухом Кондора. Оно и понятно, поскольку средние согласные звуки звучат твердо и зазубренно, они царапают ухо. Покровитель моего имени – Марс.

Такая чувствительность у владыки, обязанного своей властью оружию, конечно, представляется странной. Я осознал данное противоречие лишь после длительных наблюдений, хотя оно бросает тень на каждого. Ибо у каждого человека есть дневная и ночная сторона, и с наступлением сумерек он становится другим. У Кондора эта разница была выражена с необычной остротой. Внешне он, правда, оставался одним и тем же: холостяк средних лет с чуть склоненной вперед фигурой человека, часто едущего верхом. Прибавьте сюда улыбку, привлекающую на его сторону многих: свойственную ему любезность, ко многому обязывающую.

Однако сенсориум изменяется. Дневной пернатый хищник – ловец, видящий далеко окрест и следящий за дальними движениями, – превращается в ночного; глаза среди теней отдыхают, слух же обо-

строяется. Как будто на лицо пала пелена, и потому открылись новые источники восприятия.

Кондор придает значение дальнорзости; у него редко находит удачу претендент на какую-то должность, который носит очки. Особенно это касается командирских должностей в войсках и в береговой охране. Человек, притязавший на одну из них, приглашается для непродолжительной беседы, во время которой Кондор прощупывает его. Кабинет Кондора возвышается над плоской крышей касбы круглым, вращающимся стеклянным куполом. Во время разговора Кондор обычно проверяет остроту зрения кандидата, указывая на какой-нибудь корабль или на очень далекий парус и задавая вопрос о классе этого судна или о направлении его движения. Разумеется, разговору предшествуют тщательные проверки; а собственное суждение Кондора должно лишь подтвердить их результат.

*

С превращением дневной хищной птицы в ночную привязанность к собакам уступает место привязанности к кошкам – за теми и другими на касбе ухаживают. Пространство между крепостью и опоясывающей ее наружной стеной в целях безопасности не засажено растениями и содержится открытым: это сектор обстрела. Там в тени бастионов дремлют сильные доги – или, резвясь, носятся по простреливаемой полосе. Чтобы животные не слишком докучали, от площадки, где ставят машины, до входа в касбу ведет мост.

Когда мне надо сделать что-нибудь на простреливаемой полосе, я никогда не вхожу туда без одного

из охранников; я дивлюсь той невозмутимости, с какой они управляются со зверями. Мне становится не по себе, уже когда собаки тычутся в меня мордами или облизывают мне руку. Эти животные во многом умнее нас. Очевидно, они чувствуют мое замешательство, которое могло бы усилиться до страха – – – тогда они напали бы на меня. С ними никогда не знаешь, где заканчивается игра. Это у них с Кондором общее.

Доги, темные тибетцы с желтыми мордами и желтыми же бровями, используются также для охоты. Они неистово прыгают от радости, слышав рано поутру рог. Их можно спускать на самых грозных противников; они атакуют льва и носорога.

Эта свора здесь не единственная. Удаленный от касбы, но видимый с высоты, вдоль берега моря тянется корпус конюшен, ремизов, вольеров, открытых и крытых манежей для верховой езды. Там тоже есть загон – для борзых. Кондор любит со своими миньонами скакать галопом у самого моря; обычно их окружает стая бледно-желтых гиеновидных собак, предназначенных для охоты на газелей. Аллюр борзых напоминает бег гонщиков и ловцов мяча, торжествующих здесь на арене: интеллект и характер принесены в жертву травле. Черепа у них продолговатые, со сглаженными лбами, мышцы нервно играют под кожей. Во время долгой охоты они загоняют свою жертву до смерти – неустоимо, как будто в них раскручивается какая-то пружина.

Впрочем, газель нередко могла бы еще спастись, не будь она настигнута соколом. Пернатого добычика освобождают от колпачка и подбрасывают в воздух; собаки и конные охотники следят за его полетом, наводящим их на дичь.

Такая охота на раздольных, поросших лишь эспарто равнинах представляет собой величественное зрелище: мир будто упрощается, тогда как напряжение нарастает. Это лучшее, что Кондор может предложить своим гостям; сам он празднично наслаждается охотой, и одно стихотворение, сложенное на краю пустыни, было придумано, кажется, специально для него:

*Хороший сокол, быстрый пес и благородный конь
Дороже стоят двух десятков женщин.*

Само собой разумеется, что соколиная охота – со всеми тонкостями ловли как таковой, правил поведения и натаскивания птиц – пользуется почетом. Кречеты и балабаны добываются в сельской местности с помощью специальной защелкивающейся западни; другие ловчие птицы, в том числе белоснежные соколы Крайнего Севера, поступают издалека. Желтый хан, знатнейший из приглашаемых на охоту гостей, ежегодно привозит их в подарок Кондору.

Соколиная охота разворачивается на обширном пространстве вдоль берега Суса. Близость реки благоприятна и для дрессировки. В пойменных лесах гнездятся бесчисленные водоплавающие птицы; они собираются, чтобы ловить рыбу, на затопляемых песчаных мелях. Для обучения соколов, используемых во время охоты на пернатую дичь, подходит в первую очередь цапля. При этом необходимы также собаки: длинноухие спаниели, которые охотно идут в воду; шкура у них в белых пятнах, чтобы стрелок различал их в камыше.

Главный сокольничий, Роснер, – зоолог по образованию, который в силу душевной склонности обратился к охоте. И он правильно поступил, ибо профессоров здесь можно отыскать сколько угодно, тогда как такой сокольничий считается счастливой находкой.

Впрочем, он тоже профессор. Роснера я часто вижу на касбе и в его институте, а также встречаю порой, когда он одиноко прогуливается по охотничьим угодиям. Однажды я сопровождал его во время вылазки за сапсаном к одной из засад. Степь там граничит с зарослями кустов дрока высотой с дом, в тени их и прячется птицелов. Голубь на длинной бечевке служил приманочной птицей. При приближении сокола Роснер подбрасывал голубя, чтобы тот взлетел. И едва хищник вцеплялся в него и удерживал, их обоих можно было без труда подтянуть к кольцу, через которое проходила бечевка и возле которого на них падала специальная сеть.

Процесс был увлекательным – как образец продуманного преследования. Сюда добавлялись обстоятельства, далеко выходящие за границы человеческой перспективы и кажущиеся магическими. Так, голубь должен быть уже в воздухе, когда мимо проносится сокол, которого не замечает даже самый зоркий глаз. В качестве дозорного сокольничему служит пестрая птица величиной с дрозда, которую он привязывает рядом с голубем и которую хищник на невероятном удалении скорее угадывает, нежели распознает. Тогда эта дозорная птица пронзительным криком предупреждает о его появлении.

Магическое воздействие такой охоты заключается в том, что она, кажется, превращает в пернатое существо весь мир. Охотники сливаются со своей

добычей в общей зачарованности, их уловки вибрируют в едином порыве. Не только смуглый капканщик, всю жизнь прошедший за этим занятием, но даже образованный орнитолог превращается в Папагено, уподобляется сомнамбулическому танцору. Даже меня захватывало учащенное и глубокое дыхание этой страсти.

При этом нужно заметить, что я не охотник; более того, охота – вопреки моему имени – мне неприятна. Возможно, все мы рождены для ловли рыбы и птиц, и убивание – наша задача. Что ж – во мне, значит, эта предрасположенность трансформировалась. Во время охоты на цаплю я чувствую себя скорее заодно с жертвой, нежели с соколом, который ее забивает. Все снова и снова цапля пытается найти спасение в высоте, а он опять и опять настигает ее – пока, наконец, не полетят во все стороны перья.

Газель – одно из самых нежных существ: беременные женщины охотно держат этих животных рядом с собой, газельи глаза воспеты поэтами. Я видел, как газели теряют силы в конце травли, когда сокол вьется в клубах пыли, а собаки тяжело дышат. Охотники с особым удовольствием убивают *красивое*.

*

Однако речь сейчас не о газельих глазах, а о глазах Кондора и его дневном зрении. Конечно, мне еще придется иметь дело с охотой, и притом в различных ее аспектах, – но не в роли охотника, а в роли наблюдателя. Охота – это прерогатива, привилегия правителей; она передает суть господства не только символически, но и ритуально, благодаря пролитой крови, которую освещает солнце.

Моя должность предполагает, что я больше принимаю участие в ночной стороне жизни Кондора. И вижу в основном бледные лица в очках, собранные вместе, точно в совином гнезде, – – – профессоров, литераторов, мастеров малоодоходных искусств, чистых гурманов, способствующих умножению удовольствий. Остроумие тут рассчитано только на слух. Намеки заключаются уже не в словах, а в самом тоне или даже в мимике – тогда мне приходится вслушиваться. Обсуждаются другие, главным образом мусические темы, а охота, как кажется, – лишь в странно зашифрованном виде. За этим стоит понаблюдать.

Бар – помещение с хорошей звукоизоляцией; настройка тембра входит в мои обязанности. Громкий и резкий говор – здесь – неприятен Кондору, даже причиняет ему боль. Поэтому постоянным гостям и части официантов он дал другие имена, а также проследил за тем, чтобы они благозвучно сочетались друг с другом. Например, Аттила, его врач, который почти ни на шаг от него не отходит, здесь носит имя «Альди». Если Кондор хочет, чтобы я оказал Аттиле какую-нибудь услугу, он говорит: «Эмануэло – – -: Альди»; это звучит красиво.

Кондор подобрал для меня новое имя, когда я – как всякий, кому предстоит работать с ним рядом, – ему представлялся. «Мануэль, Мануэло, Эмануэло» – в зависимости от сочетаемости с другим именем. Дифференциация имен, их модулирование усиливают воздействие обращений Кондора. На агоре «как» еще важнее, чем «что», а сама речь сильнее фактов, которые она может изменять и даже порождать.

«Домогаться благосклонности»: это тоже искусство. Оборот речи, изобретенный, видимо, кем-то, кто оказался в положении небезызвестной лисицы, мечтавшей о винограде. Впрочем, когда «домогающийся» сидит в начальственном кабинете, положение дел, естественно, меняется. Конечно, если «соблазнитель» не выходит за порог кабинета, обстоятельства изменяются. Толпа, словно возлюбленная, радостно приветчает своего господина, после того как впервые пустила его к себе в светелку.

*

Я был представлен в форменной одежде – тесно облегающем костюме из льняного полотна в голубую полоску, обновляемом ежедневно, поскольку белья под ним не носят. К нему – мавританские чуваки из желтого сафьяна. Мягкие подошвы удобны и беззвучны, когда я передвигаюсь за стойкой бара, где нет ковра. И, наконец, забавная шапочка – этакий кораблик, который следует надевать набекрень. В общем, нечто среднее между униформой и эффектным вечерним костюмом: мой внешний вид должен свидетельствовать о сочетании надлежащего служебного рвения с радостным настроением.

Во время представления Кондор, чтобы проверить мою прическу, снял эту пилотку у меня с головы. Тогда же он дал мне новое имя, используя какой-то каламбур, точная формулировка которого выпала у меня из памяти. Но смысл был таков, что он-де считает возможным и надеется, что из *Венатора* когда-нибудь выйдет *сенатор*.

*

Над словами могущественных людей следует задумываться. Это высказывание допускало различные истолкования. По сути, Кондор, вероятно, хотел указать мне на значение моей должности. Конечно, если вспомнить те чины и почет, до которых возвышаются иные его *миньоны* – а почему бы и нет? – то и от должности ночного стюарда не стоит воротить нос. В конце концов, Папа Сикст IV тоже делал кардиналов из своих эфебов.

Но Кондор мог иметь в виду и мою личность. В Эвмесвиле все знают о расположении Венаторов – по крайней мере, моего отца и брата – к трибунам. Хотя ни тот ни другой не проявляли политической активности, но по убеждению и симпатии они всегда были республиканцами. Старик еще пребывает в должности, а вот брат из-за дерзких речей отправлен в отставку. Возможно, намек на сенатора имел еще и такой оттенок: дескать, кровное родство с оппозиционерами не должно меня пачкать.

Мануэло: этим закладывались основы своеобразного опекунства. Одновременно я получил фонофор с тонкой серебряной полосой – отличительный признак служащих, хоть и занимающих небольшую должность, однако относящихся к непосредственному окружению тирана.

3

Вот вкратце о моем имени и его вариациях. Далее следует уточнить мою профессию. Хотя и верно, что я работаю на касбе ночным стюардом, к этой работе мое существование не сводится. Об этом можно, пожалуй, судить уже по моей разговорной манере.

Внимательный читатель мог бы даже по ней догадаться, что в глубине души я историк.

Склонность к истории и тяга к историографии передаются в моей семье по наследству; это касается не столько корпоративных традиций, сколько генетической предрасположенности. Я сошлюсь здесь лишь на своего знаменитого предка Иосию Венатора, чье ключевое произведение «Филипп и Александр» издавна пользуется авторитетом как важный вклад в теорию влияния среды на личность. Данное сочинение публикуется все снова и снова, а недавно было выпущено новым изданием. В нем нельзя не заметить симпатии к наследственной монархии, а потому историки и специалисты по государственному праву Эвмесвиля хвалят его не без смущения. Хотя лучи славы великого Александра вроде могли бы падать и на Кондора, однако прежде должен был бы восстать из пепла – как птица Феникс – гений этого императора.

Мой отец и мой брат, типичные либералы, осторожно обращаются с Иосией по другим причинам. Прежде всего, и это понятно, им мешает соответствие античного предка политической злободневности. Кроме того, дух их смущает масштаб этой незаурядной исторической личности. Александр кажется им стихийным явлением – молнией, достаточно отчетливо освещающей напряженность в отношениях между Европой и Азией. Есть странные соответствия между либеральной историографией и историографией героической.

*

Итак, мы уже на протяжении нескольких поколений порождаем историков. В качестве исключения обнаруживается один теолог, а также один бездельник, чей след теряется в неизвестности. Что же касается меня, то я нормальным путем стал магистром, был ассистентом Виго, а сейчас в качестве его правой руки участвую в коллективных исследованиях и занимаюсь собственными работами. Кроме того, я читаю лекции и забочусь о докторантах.

Этих занятий мне хватит еще на несколько лет; я не спешу ни к званию ординарного профессора, ни к чину сенатора, поскольку хорошо себя чувствую в своей шкуре. Не считая периодических депрессий, я пребываю в душевном равновесии. В таком положении можно позволить времени покойно течь мимо тебя — — само его протекание дарит наслаждение. Читатель, конечно, догадается о тайной роли в моей жизни табака и вообще легких наркотиков.

*

Над своими темами я могу работать дома, то есть у себя в квартире, или в институте Виго, а также на касбе — последний вариант предпочтительнее из-за наличия неподобной документации. Я живу здесь как зяблик среди семян, и меня бы вообще не тянуло в город, если бы Кондор терпел присутствие в крепости женщин. Но у него их не встретишь даже на кухне, мимо охраны не пройти и молоденькой прачке, с которой, имея я ее под рукой, можно было б неплохо коротать время; исключения не допускаются. Женатые мужчины держат свои семьи в городе. Кондор полагает, что присутствие женщин, будь то молодых или старых, лишь порождает

интриги. А между тем обильную пищу и праздную жизнь сложно сочетать с половым воздержанием.

*

Отец с недовольством взирал на то, что я слушаю лекции Виго, а не *его* лекции, как то делал брат. Однако из разговоров за столом я знаю, что может мне предложить мой старик, а кроме того, считаю Виго гораздо лучшим историком. Моему родителю не нравится «ненаучность», даже «фельетонизм» Виго; а значит, он не понимает подлинного корня присущей моему учителю силы. Что общего у гения с наукой?

Однако я не хочу спорить с тем, что историк должен основываться на фактах. Впрочем, Виго нельзя упрекнуть в невнимании к ним. Мы живем здесь в безветренной лагуне, где море выбрасывает на берег огромное количество предметов с затонувших кораблей. И мы лучше, чем когда-либо раньше, знаем, что именно – тогда-то и там-то – происходило на нашей планете. Материал этот вплоть до мельчайших подробностей известен Виго; он знаком с фактами и умеет объяснить ученикам, как их оценивать. В этом я тоже многому у него научился.

*

И если минувшее таким образом приблизилось к современности и снова воздвиглось перед нами стенами городов, сами имена которых давно позабыты, можно сказать, что была проделана честная работа.

При этом следует заметить, что Виго ничего произвольного в историю не привносит. Он скорее

оставляет открытыми последние вопросы, подводя нас к пониманию сомнительности происходящего. Когда мы обращаем взор назад, мы видим могилы и руины, груды развалин. При этом мы сами подчиняемся отражательному эффекту времени: полагая, что движемся вперед и дальше, мы на самом деле приближаемся к этому прошлому. Вскоре мы будем принадлежать ему: время нас обгонит. И эта печаль тенью падает на историка. Как исследователь, он не более чем копатель в пергаментях и могилах, но потом, держа на ладони череп, он ставит судьбоносный вопрос. Основной настрой Виго – фундированная печаль; я чувствовал, что она близка моей убежденности в несовершенстве мира.

*

Виго владеет особым – произвольным, то есть *не хронологическим*, – методом продвигаться сквозь прошлое. Его глаз – глаз не столько охотника, сколько садовника или ботаника. Так, наше сродство с растениями он считает обоснованным глубже, нежели сродство с животными, и полагает, что по ночам мы возвращаемся в леса, даже к водорослям морей.

В животном мире сродство с растениями повторно открыла пчела. Ее спаривание с цветками является не прогрессом и не регрессом, а своего рода сверхновой звездой – вспышкой космогонического эроса в некий звездный час. Такая смелая мысль еще никому в голову не приходила; реально лишь то, что не может быть выдуманно.

Ожидает ли он чего-то подобного в человеческом мире?

*

Как и в любом незаурядном произведении, в его труде тоже больше невысказанного, чем сформулированного. В его расчетах остается некая неизвестная величина; это ставит его в неудобное положение перед теми, у кого все делится без остатка, – в том числе и перед собственными учениками.

Я хорошо помню день, сблизивший меня с ним; все произошло после окончания одной лекции. Темой ее были «Растительные города»; семинар продолжался более двух семестров. Рассеивание культур по суше и морям, по побережьям, архипелагам и оазисам профессор сравнивал с полетами семян или с намывом на берег плодов на кромке приливов и отливов.

Виго имеет обыкновение во время лекций показывать маленькие объекты или же просто держать их в руке – не в качестве подтверждений, а как носителей той или иной субстанции: иногда лишь черепок или кусочек кирпича. В тот полдень это была фаянсовая тарелка с причудливым орнаментальным мотивом из цветов и букв. Виго указал нам на краски: поблекший шафранно-розово-фиолетовый узор, а поверх него мерцание, представляющее собой не глазурь и не роспись кистью, но порожденное самим временем. Так *грезят* стекла, извлеченные из римского мусора, или же черепичные крыши жилищ отшельников, выжженные тысячами летних солнц.

Виго подбирался к этому моменту извилистым путем – начал он с рассказа о побережье Малой Азии, столь благоприятствующего попыткам укорениться на новой почве. Он продемонстрировал свой тезис на примере финикийцев, греков, тамплиеров, венецианцев и прочих народов.

Виго питал особое пристрастие к торговым культурам. Уже в древности по пустыням и морям были проложены пути для соли, янтаря, олова, шелка, а позднее – также для чая и пряностей. На Крите и Родосе, во Флоренции и Венеции, в лузитанских и нидерландских гаванях накапливались, как мед в сотах, всевозможные сокровища. Они потом превращались в более роскошный образ жизни, в наслаждения, постройки и художественные произведения. Золото олицетворяло солнце, благодаря его сосредоточению начали развиваться и процветать искусства. Все это неизбежно сопровождалось и миазмами упадка, ощущением осенней пресыщенности. Рассказывая, Виго держал на ладони тарелку, точно ожидая подаяния.

Как получилось, что он заговорил о Дамаске и затем – о бегстве в Испанию, благодаря которому Абд ар-Рахман избежал убийства? Почти триста лет в Кордове продолжала цвести ветвь искорененных в Сирии Омейядов. Наряду с мечетями, фаянсовые изделия тоже свидетельствуют об этой давно засохшей боковой ветви высокоразвитой арабской культуры. Позже и в Йемене возникли крепости потомков Бени Тахир. Зерно упало в песок пустыни и принесло там еще четыре урожая.

Предок Абд ар-Рахмана, пятый из Омейядов, послал эмира Мусу в Медный город. От Дамаска через Каир отряд, совершив переход по великой пустыне, попал в западные земли и добрался до самого побережья Мавритании. Целью экспедиции были медные бутылки, в которые царь Сулейман когда-то запер мятежных демонов. Рыбаки, забрасывавшие сети в море Эль-Каркар, время от времени вытягивали вместе с уловом одну из таких бутылок;

эти сосуды были запечатаны печатью Сулеймана; если откупорить бутылку, из нее вырывался демон – как дым, затемняющий небо.

Эмиры по имени Муса позднее встречаются также в Гранаде и в других резиденциях мавританской Испании. Упомянутый здесь завоеватель Северо-Западной Африки может считаться их прототипом. Западные черты в его образе несомненны; следует, правда, помнить, что в моменты наивысшего напряжения сил различия между расами и регионами стираются. Как в моральном отношении люди, приближаясь к совершенству, становятся похожими, даже почти идентичными, так же происходит и в сфере духа. Отстраненность от мира и от объекта увеличивается; растет любопытство, а с ним – стремление приблизиться к последним тайнам, несмотря даже на большую опасность. Это аристотелевская черта. Ставляя себе на службу искусство счета.

Предание умалчивает, испытывал ли эмир опасения относительно откупоривания бутылки. Из других рассказов мы знаем, что такое действие таило в себе опасность. Так, один из плененных демонов поклялся сделать человека, который освободит его, могущественнейшим из смертных; он сотни лет размышлял, как кого-то облагодетельствует. Но потом настроение его переменилось: за время заточения накопились яд и желчь. И когда спустя сотни лет один рыбак все-таки откупорил бутылку, он лишь хитростью избежал злой судьбы – быть разорванным этим демоном в клочья. Зло всегда становится тем ужаснее, чем дольше оно остается в безвоздушном пространстве.

Как бы то ни было, ясно, что Муса не побоялся распечатать бутылку. Об этом свидетельствует

уже необыкновенная смелость его перехода через пустыню. Седой Абд эс-Самад, который владел «Книгой скрытых сокровищ» и был сведущ в астрономии, за четырнадцать месяцев привел караван к Медному городу. Они устраивали привалы в покинутых крепостях и на заброшенных кладбищах. Иногда находили воду в источниках, вырытых еще по велению Искандера, когда тот продвигался на запад.

Медный город тоже оказался вымершим и был наглухо обнесен высокой стеной; понадобилось прождать еще два лунных месяца – пока кузнецы и плотники соорудили приставную лестницу, достигающую до самого верха. Всякий, кто взбирался по ней, был настолько ослеплен колдовским заклятием, что хлопал в ладоши и с возгласом «Ты прекрасен!» прыгал со стены вниз. Так погибли один за другим двенадцать спутников Мусы, пока Абд эс-Самаду не удалось, наконец, разрушить колдовские чары. Поднимаясь по лестнице, он безостановочно возглашал имя Аллаха, а наверху прочитал спасительную суру. Галлюцинируя, он, словно под водной поверхностью, увидел разможенные тела своих предшественников. Муса: «Если так поступает благоразумный – что тогда делать безумному?»

Потом шейх спустился по лестнице одной из башен и изнутри отворил ворота мертвого города. Но не ради этих приключений, хотя у них была своя подоплека, упомянул Виго эмира Мусу, а чтобы рассказать о его встрече с историческим миром, который перед реальностью сказки превращается в фатаморгану.

Поэт Талиб прочитал эмиру надписи на надгробных камнях и на стенах опустелых дворцов:

Где ныне те, что построили и воздвигли
Эти горницы, которым нет подобных?
Где теперь Хосрои, чьи крепости неприступны так?
Мир оставили, как будто их и не было?
Где ныне тот, что застроил земли когда-то все,
И Синд и Хинд, и был врагом-притеснителем?
Абиссинцы, зииджи послушны были словам его,
И нубийцы также, и гордым был и кичливым он.
Не жди же ты вестей о том, что в могиле с ним:
Не бывает тому, чтоб нашел об этом ты вестника!
Поражен он был смерти гибельной превратностью,
Не спас его дворец, ему построенный.

Эти стихи наполнили Мусу такой скорбью, что жизнь стала ему в тягость. Проходя по залам, Муса и его спутники наткнулись на стол, изваянный из желтого мрамора или, по другим сообщениям, отлитый из китайской стали. На столешнице арабскими письменами было вырезано:

«За этим столом трапезничала тысяча царей, которые были слепы на правый глаз, и тысяча других, которые были слепы на левый глаз, — — все они сгинули и населяют ныне могилы и катакомбы».

Когда Талиб прочитал это, в глазах у Мусы потемнело; он возопил и разорвал на себе одежды. А после велел переписать все стихи и надписи.

*

Едва ли когда-нибудь боль историка была понята столь проникновенно. Это – боль человека, которую он почувствовал задолго до возникновения наук и которая сопровождала его с тех пор, как были вырыты первые могилы. Тот, кто пишет историю,

хотел бы сохранить имена и их смысл, хотел бы даже вновь отыскать названия городов и народов, которые давно изгладились из памяти. Писать историю – все равно что возлагать цветы на могилу: «Вы, мертвые, и вы, безымянные, – – – князья и воины, рабы и злодеи, святые и блудницы, не печальтесь: о вас вспоминают с любовью».

Но и такая память ограничена определенным сроком, она становится добычей времени; любой памятник выветривается, и вместе с покойником сгорает также венок. Как получается, что мы тем не менее не отрекаемся от этой службы? Мы могли бы удовлетвориться тем, что предлагает Омар Хайям, Шатровщик: выпить с ним до дна вино Шираза, а потом выбросить глиняную чашу: прах к праху.

Вскроет ли страж – когда-нибудь – могилы ушедших, пробудит ли их к свету пение петуха? Такое должно случиться, порукой тому – скорбь историка, его мучения. Он – судья мертвых, хотя давно смолкло ликование, шумевшее вокруг могущественных владык, хотя триумфы их и их жертвы, их величие и их позор позабыты.

И все-таки важен лишь намек. Мука, беспокойство исторического человека, его неутомимая работа несовершенными средствами в брэнном мире – – – такое нельзя было бы почувствовать, нельзя было бы осуществить, если б не некое указание, порождающее этот намек. Утрату совершенного можно ощутить лишь тогда, когда совершенное все еще существует. К нему и относится намек, дрожь пера в руке. Стрелка компаса дрожит, потому что есть полюс. По своему атомарному строению она ему родственна.

Как поэт взвешивает *слово*, так и историк должен взвешивать *деяние* – по ту сторону добра и зла, любой

мыслимой морали. Как стихотворение закликает муз, так в этом случае должно обращаться к нормам; и они подойдут к столу. Тогда в комнате, где сидит историк, наступит тишина; и могилы отверзнутся.

Здесь тоже есть грабители могил, которые в угоду рынку подделывают стихотворения и деяния – – – поэтому лучше пьянствовать с Омаром Хайямом, чем в одной компании с такими грабителями провиниться перед мертвыми.

4

На этом месте в аудитории раздалось легкое шарканье. Я услышал его по сути уже в коридоре, поскольку тихонько отворил дверь, чтобы выйти. Позднее, в библиотеке, Виго заговорил со мной:

– Вам, видимо, тоже показалось весьма старомодным то, что вы давеча слышали?

Я отрицательно качнул головой. Скорее было ощущение, что сказанное *слишком* меня захватило: оно касалось моей собственной задачи, моей собственной муки. Не знаю, верно ли я набросал конспект. Виго располагает исключительным запасом образов, которые вплетает в свою речь так, словно берет их из воздуха. Они обволакивают последовательность мыслей, не нарушая ее, и тем напоминают деревья, которые пускают цветы непосредственно из ствола.

Я ограничился, как было сказано, тем, что отрицательно качнул головой; когда имеешь дело с мужчиной, лучше дать ему догадаться о твоих чувствах, нежели объяснять их. Я ощутил, что он меня понял. И это мгновение заложило основание нашей дружбы.

Мои сокурсники же, очевидно, совершенно не заметили того, что захватило меня. А такое случается, лишь когда между двумя людьми происходит что-то наподобие короткого замыкания. В иных местах студенты откровенно хихикали – например, когда прозвучало слово «лу́ны».

Они легко срываються на смех, который дает им чувство превосходства. Слово «лу́ны», как и вообще лекцию Виго, они сочли чем-то *старомодным*. Главную роль для них играет момент времени. От них наверняка ускользнуло, что Виго цитировал старинный текст, опираясь на перевод Галланда с арабского языка. Не говоря уж о том, что фонетически, грамматически и логически «луны» звучит, естественно, лучше, чем «месяцы». Это слово, конечно, заездили, поскольку пошлые рифмоплеты часто им злоупотребляли. Поэтому я бы его не использовал. Виго же выше подобных сомнений; он мог бы восстановить уважение к языку. В любое другое время, кроме сегодняшнего, когда никто уже не принимает друг друга всерьез, этот ученый, несмотря на некоторые присущие ему странности, был бы оценен по достоинству.

И если сейчас он проявляет строгость и неуступчивость в данном вопросе, то объясняется это его глубокой чувствительностью. Он мог бы, конечно, говорить, что и как хочет, нести даже самый несуразный вздор, когда бы прислушивался к современным требованиям. Но поступать так ему мешает субстанция излагаемого материала; она вынуждает его к добросовестности. Он не мог бы, даже если б хотел, повернуть дело к своей выгоде.

То, что человек высокой культуры гармонирует с духом времени, издревле уже было счастливым

случаем, редким исключением. Сегодня лучше всего придерживаться слов древнего мудреца:

*Чтоб те, в ком нет стыда, тебя не обокрали,
Прячь золото, мысли и веру подале.*

Так поступают даже властители: внешне они подлаживаются под большинство. Кондор, хотя и может себе многое позволить, тоже проявляет такую осторожность; уж кто-кто, а ночной стюард может об этом судить.

*

Исходя из существующего положения вещей, преподавателю лучше всего ограничиться естествознанием и областью его практического применения. Во всем, что выходит за эти рамки, скажем в литературоведении, философии и истории, он ступает на зыбкую почву – особенно если его подозревают в «метафизической подноготной».

Подобные подозрения у нас высказывают два сорта доцентов: либо прохиндеи, вырядившиеся профессорами, либо профессора, которые, в поисках дешевой популярности, корчат из себя прохиндеев. Они состязаются в подлости, но друг другу глаза не выцарапывают. Однако, если в их круг случайно забредают такие умы, как Виго, они выглядят там белыми воронами; против них сплываются все. Удивительно, как все тогда объединяют свои усилия, будто им грозит уничтожение.

Студенты, хотя сами по себе и не злые, получают лозунги из этой среды. Я не хочу здесь вдаваться в подробности. Если смотреть на дело с исторической точки зрения, открываются главным образом две

перспективы: одна из них направлена на людей, а другая – на власти. Это соответствует также некоему ритму в политике. Здесь монархии, олигархии, диктатуры и тирании – там демократии, республики, охлос и анархия. Здесь капитан, там экипаж, здесь крупный вождь, там община. Для посвященного человека само собой разумеется, что эти противоречия хотя и необходимы, однако одновременно иллюзорны – это мотивы, которые нужны для того, чтобы заводить часы истории. Лишь изредка сияет Великий полдень, когда противоречия счастливо разрешаются.

*

После триумфа Кондора над трибунами у нас снова высоко котируются «люди». Сам Кондор в этом отношении держится либеральнее профессоров, которые любой ценой хотят втереться ему в доверие – – – те, что помоложе, по чистой глупости, те, что постарше, которые занимали должности еще во время трибуната, – из обоснованных опасений.

Здесь можно проводить исследования как в паноптикуме. Например: какому-нибудь молодому доценту преподносят теорию, которая ему чужда, даже, возможно, несимпатична. Заниматься ею его заставляет мода. Доцент поддается внушению – на что нечего было бы возразить, хотя уже это не совсем чистоплотно. Но потом он начинает вести себя точно неполовозрелый юнец, который не различает, где можно предаться мечтам, а где требуется пошевелить мозгами. Он приобретает авторитарные, а вскоре и просто опасные наклонности. Университет кишит такими *образованцами*, которые, с одной стороны, стараются все разнюхать, с другой

же – сами смердят и распространяют мерзкое зловоние стойла, когда собираются вместе. Если в руках них оказывается маломальская власть, они, не умея пользоваться ею, теряют всякую меру. В конечном счете получается какая-то казарменная муштра.

В настоящее время Кондор и его мажордом держат их в узде и мешают охотиться на жертв, которые, по их мнению, не заслуживают доверия. К таким жертвам относится и Виго. Поскольку теперь снова «историю делают люди», его пристрастия – например, к торговцам, которые нанимали себе солдат, – считаются декадентскими. При этом упускается из виду, что его идеалом является культурное достижение. Так, карфагеняне, хотя они тоже сражались с помощью наемников, – не в его вкусе. По сути, он служит красоте. И считает, что власть и богатство должны подчиняться ей. Вероятно, в этом он больше, чем сам догадывается, родственен Кондору – по крайней мере, ночной стороне его личности.

*

Виго, как уже говорилось, – человек впечатлительный; он трагически воспринимает распри профессоров, пусть и не угрожающие его безопасности. Конечно, в нашем затхлом болоте формируется тип преследователей, отличающихся повышенной вьедливостью. «С каждым учеником ты вскармливаешь на груди змею» – так в один из мрачных часов сказал мне Виго о Барбассоро, который, правда, скорее относится к разновидности *благородных крыс*.

Благородная крыса высокоинтеллектуальна, любезна, трудолюбива, пластична и отличается тонкостью чувств. Это последнее качество – украшение

ее характера, делающее крысу особо пригодной для роли любимого ученика. К сожалению – и это заложено в ее природе – она не может противостоять соблазну, исходящему от стаи. Заслышав свист – пусть даже призывающий атаковать почтенного мастера, – крыса присоединяется к большинству, которое на него набрасывается. Особенно опасной она становится благодаря своим познаниям и сведениям интимного свойства, приобретенным ею в общении с учителем. Она становится *лидирующей крысой*.

*

Критическое отношение Виго к духу времени выражается всегда в настолько зашифрованной форме, что разглядеть это отношение трудно. Впрочем, словосочетание «критическое отношение» не совсем точно. Скорее это его сущность, которая так воспринимается. Там, где все движется – да к тому же еще в одном и том же направлении, будь то направо, налево, вверх или вниз, – *человек покоящийся* оказывается помехой. Его воспринимают как некий упрек – и, натыкаясь на него, считают вредителем.

Такого рода движение пытается трансформировать дело во *мнение*, а мнение – в *образ мыслей*; и тот, кто сохраняет верность делу как таковому, невольно предстает в ложном свете. Это вполне возможно на каком-нибудь факультете, где всемирную историю приходится – в угоду текущему моменту – переписывать после каждого переворота. Учебники нынче не устаревают, а *теряют актуальность*.

Чтобы сделать уязвимым такого умного человека, как Виго, требуются определенные познания. Но как *обременительная личность* он воспринимается

сразу – уже потому только, что существует. У дураков на это инстинкт безошибочный. Далее вопрос заключается в том, чтобы доказать, что этот докучливый субъект хотя, с одной стороны, и не представляет собой ничего значительного, но, с другой стороны, опасен. Доказательство добывают ученые такого пошиба, как Кессмюлер. Это – *трюфельные свиньи*, выкапывающие лакомство. Чтобы потом на него набросились *крысы*.

*

Кессмюлер, лысый гей, основательно изучил Вигго. Но мысли у него остаются плоскими, как его плешь; он кутила и чревоугодник, не обделенный чувством юмора. В качестве эвмениста он «беспорен»; он мог бы даже зарабатывать себе на жизнь как конферансье в «Каламаретто» и неизменно развлекает собравшихся на академических вечерах. Этот талант уже позволил ему, точно сельдяному королю, который поблескивает на поверхности, благополучно пережить разные, в том числе антагонистические, режимы. У него инстинктивное стремление к конформизму и к неотразимым пошлостям, которые он умеет претенциозно стилизовать. Он может даже перетолковывать эти пошлости – в зависимости от того, куда в данный момент дует ветер. Этаким сибарит; с материальной точки зрения ему лучше живется при Кондоре, с материалистической – при трибунах.

На своих лекциях он редко упускает случай процитировать Вигго, при этом лицо его всякий раз озаряется радостью. Хороший комик производит впечатление на зрителей уже одним своим

обликом – комичностью самой по себе. Кессмюлер может преображаться как хамелеон: он словно мгновенно меняет костюм педагога на клоунский наряд Панталоне – безо всякого перехода, используя лишь короткую паузу. Выглядит это так, будто он влезает в бочку. Нетерпеливое единодушие распространяется тогда по аудитории еще прежде, чем он раскроет рот. Некоторые уже еле сдерживают смех.

Я посещал курс его лекций лишь для того, чтобы изучить эти фокусы; поразительно, что он в таких случаях почти не кривит лицо. Слушатели смеются; напрашивается мысль, что дело не обошлось без телепатии. Кессмюлер – оратор, знающий секрет паузы.

Потом он начинает наизусть цитировать Вигу, одну его фразу или даже целый абзац. Порой он делает вид, будто в голову ему пришло что-то забавное; он извлекает книгу, чтобы вслух зачитать в ней что-то – – – вся сцена кажется «фаустовской импровизацией», как любят выражаться аптекари, однако она тщательно подготовлена. Кессмюлер водит пальцем по строкам, туда-сюда, будто бы в поисках места, которое на самом деле заранее старательно подчеркнул. Имя Вигу не упоминается, однако любой в аудитории понимает, о ком идет речь.

Места эти, правда, вырваны из контекста, но цитируются они дословно. Кессмюлер знает, чем он обязан науке. Он также не делает вид, будто цитирует смешной текст; самое большее – мягко подчеркиваются такие слова, как «луны». «Высоко» и «выше» Кессмюлер тоже с удовольствием выделяет, а когда произносит слово «красиво», выглядит как клоун, надевающий красный нос.

Все это относится к сфере персифляжа, простирающейся от легкой имитации до грубой вульгарности. Кессмюлер владеет таким искусством. То, что для передразнивания он выбирает тексты Виго, которые я особенно люблю, не случайно. В одном портовом кабаре выступает пародист, который читает стихотворения в гротескной манере, подражая, например, еврейскому акценту рабби Тайтелеса или голосу человека, тужащегося в уборной. Он подбирает для этого классические тексты и кривит рот точно так же, как Кессмюлер. Странно, что слушателям эти стихотворения кажутся знакомыми; они, должно быть, учили их еще в школе, в противном случае пропал бы повод для веселья.

*

Виго я обязан одним из геологических определений Эвмесвиля: *феллахоидная заболоченность на александрийской основе*. Слои под ней были александрийским знанием на классической основе.

Таким образом, ценности продолжали мельчать. Сперва они были *современными*, потом – *все еще почитаемыми*; и, наконец, стали *досадным недоразумением*. Для Кессмюлера подозрительно уже само слово «ценность».

До нас все-таки еще оставалось какое-то остаточное свечение. Однако печь холодна – она больше даже рук не греет. От эксгумированных богов спасение не приходит; мы должны глубже проникать в субстанцию. Когда я кладу на ладонь какое-нибудь ископаемое, например трилобита – здесь в каменоломнях у подножия касбы находишь превосходно сохранившиеся экземпляры, – меня очаро-

вызывает впечатление математической гармонии. Цель и красота, свежие, как в первый день, еще неразрывно объединены в выгравированной рукою мастера медали. *Бюсс*, должно быть, открыла в этом первобытном рачке тайну трисекции. Потом трехчастное членение много раз снова встречается, и *без* естественного родства; фигуры, симметричные в сечении, живут в триптихе.

Сколько миллионов лет назад это существо могло населять море, которого больше не существует? Я держу в руке его оттиск, печать непреходящей красоты. Эта печать тоже когда-нибудь выветрится или сгорит в грядущих всемирных пожарах. Штамповочное же клише, которое придало ей форму, остается скрытым в законе и действует согласно ему, неприкосновенное для смерти и огня.

Я чувствую, как моя ладонь теплеет. Если б это существо было еще живым, оно бы ощутило мое тепло как кошка, которую я глажу по шерстке. Но и камень, в который оно превратилось, не может избежать этого тепла; его молекулы расширяются. Чутьочку больше, чутьочку сильнее – и оно бы зашевелилось в моей руке, словно во сне наяву.

И хотя мне не преодолеть такой преграды, я все же чувствую, что нахожусь на пути к этому.

5

Эти преследования были отвратительными, и все же Виге оказывал им слишком много чести, страдая от них. Иногда, встречая Виге в библиотеке или сидя с ним в принадлежащем ему саду, я находил, что он бледен и избегает света – как сын, прячу-

щийся в пещере. Казалось, стоит ему выйти на свет, и на него обрушатся вороны. Тогда я старался подбодрить учителя, напоминая ему о его силе и его задаче. Аргументов мне хватало.

Ведь Виго должен был видеть и благодаря своим обширным историческим познаниям понимать, что такого рода дешевые преследования подчеркивают слабость противников и *его* внутреннюю силу. Внутренняя свобода Виго – укор и заноза для этих полутрупов, которые поэтому не устают шпынять его, хотя в нем отсутствует всякая агрессивность. Он не был в свое время с трибунами и сейчас также не принадлежит к окружению Кондора; то и другое выводит их из себя. Он не вписывается ни в один режим. Формы государственного правления представляются ему тонкими кожицами, которые беспрерывно отслаиваются. Государство же как таковое, не зависимое от перемен, а напротив, их обуславливающее, является для него важной величиной, неким масштабом.

Он отдает предпочтение определенным формам, но не поддерживает ни одну из них, и уж тем более – актуальную; зато ему интересно, как они, развиваясь изнутри – из исторической субстанции, – сменяют одна другую. Муж и власти следовали друг за другом, будто мировому духу надоедали то те, то другие – после того как они, всегда будучи несовершенными, исчерпывали себя до дна. Здесь – учения, идеи, идеалы; там – более или менее незаурядные одиночки. Высокая культура – мертвый штиль, будто утрачена воля, – была все снова и снова возможна как здесь, так и там: космическая красота проламывала структуру, особенно если та еще не затвердела или после

того, как та стала трещиноватой. Увертюра, как и финал, уплотняет мотив.

Вторая возможность, похоже, больше возбуждала Вигу, поскольку она подразумевает, что боги уже не столь могущественны. Многообразие богов и государств для культуры более благоприятно. Здесь – палитра, там – монотонность. Римляне создали образец государства, греки – культуры. Здесь – Колизей, там – Парфенон.

«Как вы собираетесь, вдохновляясь такими идеями, внушить уважение Кессмюлеру, да даже просто дебатировать с ним? Ему это только даст повод к веселью».

Материализм Домо был по своей природе реалистичным, материализм его предшественников – рационалистичным. Обе разновидности материализма поверхностны, предназначены для политического употребления. Однако пустозвону легче выжать что-нибудь у трибунов, поэтому Кессмюлер лучше ладил с ними.

Но заметные результаты давали и хитроумные ходы, с помощью которых он приспособливался также к Кондору. Моему брату и моему родителю это не так хорошо удавалось. Тут сказывалось различие между потрепанным либералом и чистейшим доктринером, который живет обещаниями. Послушать его, так все становится развитием, прогресс превращается в рай на земле. Подобные разглагольствования можно раздуть до бесконечности.

«Вам следовало бы рассматривать такие фигуры в качестве храмовых стражей, которые своими гримасами, по крайней мере, держат на расстоянии от вас самых злобных болванов. Разве вам хотелось бы, чтобы и на ваших семинарах распространи-

лось это самодовольное удовлетворение? Такие умы нужно застигать там, где они полагают, что находятся у своих богов. Тут обнаруживается подкрашенная повседневность, становятся очевидными глиняные ноги».

Виго – как, впрочем, и мой родитель – все еще надеется на уважение к объективному знанию. Но разве такое возможно в ситуации повальной утраты всякого понятия об уважении? Он живет еще в тех временах, когда театр, парад, чествование, парламентский акт, даже лекция могли превратиться в праздник, – – – но как такое возможно без умения радоваться празднику? К этому прибавляется педагогическая страсть Виго, которая у меня – хотя я, вероятно, тоже когда-нибудь стану ординарным профессором – совершенно отсутствует.

Не то чтобы я не считал себя способным на такое. Я тоже мог бы достичь этого – как человек, который становится генералом, потому что так было издавна заведено в его семье. Он знаком с техникой, знает, как обучать войска, обладает необходимой сноровкой. Поэтому он может занимать данный пост при любом режиме, даже при совершенно противоположных, и внезапно переходит на сторону врага, что у революционных генералов является почти правилом. При этом он остается бесстрастным – как Жомини, который в самый разгар битвы воскликнул: «Черт побери, а теперь мне хотелось бы покомандовать на той стороне: вот это был бы праздник!» То же относится и к историку. Чем меньше он ангажирован, тем более непредвзятым оказывается его суждение; Эвмесвиль – хорошая почва для этого.

Человек, разумеющий свое ремесло, ценится везде и всегда. В этом – один из шансов на выживание

для аристократов, чей дипломатический инстинкт почти незаменим. Мне следует подробно обсудить это с Ингрид – имея в виду ее докторскую диссертацию, – после одного из наших исландских объятий.

*

Специалист тем сильнее, чем неопределеннее субстрат, по которому он движется. У специалиста не должно быть ни личных связей, ни предубеждений; его потенция нарастает от основания по экспоненте. Тот, кто – в этическом и этническом смыслах – приносит с собой меньше всего багажа, становится матадором быстрых перемен и хамелеоновых превращений.

Крупный шпион воплощает это правило в чистейшем виде; что не случайно. С каждым первоклассным шпионом рождается и шпион-противник; это заложено глубже, чем раса, класс и отечество. Люди чувствуют это и находят для этого выражение – повсюду, где такие понятия еще хотя бы отчасти сохраняются, – – – Шварцкоппен смотрел на Эстерхази только в монокль, а князь Урусов не подавал Азефу руки.

*

Внутренний нейтралитет. Человек принимает участие в чем-то лишь постольку, поскольку ему это нравится, и до тех пор, пока это его устраивает. Когда в автобусе становится неуютно, из него выходят. Если я не ошибаюсь, Жомини был швейцарцем, кондотьером наподобие тех, что жили в эпоху Ренессанса, ландскнехтом высокого уровня. Мне следует справиться о подробностях в луминаре или поручить это Ингрид.

Генерал – это специалист, в том смысле, что он владеет своим ремеслом. Сверх того и кроме любых «за» и «против» он держит в резерве нечто третье: собственную субстанцию. Он знает еще больше, чем показывает и чему обучает; ему знакомы и иные искусства, помимо того, за которое он получает жалованье. Он сохраняет это для себя; это – его собственность. Она остается зарезервированной для его досуга, для его разговоров с самим собой, для его ночей. В благоприятный момент он как-нибудь применит ее в деле, сбросит маску. До тех пор он и без того будет выдерживать гонку, но когда появится цель, мобилизует основные резервы. Судьба бросает ему вызов; он отвечает. Мечта будет реализована, среди прочего и в эротической встрече. Но и здесь – только мимолетно: любая цель останется для него проходной. Такой лук скорее сломается, чем выберет своей целью конечное.

Слово «генерал» здесь обозначает любого индивида, который *вступает в действие* – будь то по собственной воле или потому, что его к этому принудили. Поскольку анархия предлагает ему особенно благоприятный разгон, данный тип сегодня является повсеместно распространенным. Это слово, следовательно, имеет не частный, а именно что генеральный смысл. Его можно заменить на любое другое. Под ним подразумевается не служебное положение, а некое состояние. «Генерал» может проявиться и в кули, и даже с особой отчетливостью.

*

Виго имеет в своем распоряжении большие резервы, однако неправильно их применяет. Он распыляет

их, стараясь вложить в человека и ожидая, что они принесут дивиденды. Но разве показывают золото в сомнительных кабаках? Это вызывает подозрение, зато чаевые принимаются с радостью; достаточно одного обота.

Не то чтобы ему не хватало сознания собственной ценности, но он не умеет перевести ее в ходячую монету. Князь в царстве духа роется в карманах в поисках мелочи.

Став его ассистентом и потом другом, я видел свою главную задачу не в обслуживании луминара, а в том, чтобы создать вокруг Виго такой круг, в котором бы не все пропадало впустую – – – корпорацию, которая была бы его достойна.

Кто ищет, тот найдет; даже в Эвмесвиле нет недостатка в натурах, тоскующих по духовной родине, хотя один такой человек приходится на сотню или тысячу. Трех, пяти, а то и семи слушателей было достаточно для послеобеденного сбора в саду или для вечернего возлияния, во время которого Виго чувствовал бы себя хорошо. Ингрид, моя преемница на ассистентской должности, тоже присутствовала.

Мы старались сохранять это в тайне – – – приглашения на чай, на прогулку, случайную встречу у могил, в которой никто бы не предположил попытки уединения. Но слухи, конечно, распространялись – как всегда, когда несколько человек обособляются от других. Ко мне обращались любопытные, а также люди, в самом деле жаждущие знаний, и я мог выбирать.

*

Бывали часы, когда врата истории распахивались и отверзались могилы. Приходили мертвые с их стра-

даниями и наслаждениями, сумма которых всегда остается одной и той же. Мы вызывали их к свету солнца, которое светило им, как и нам. Луч касался их лбов; и я чувствовал тепло, как будто в моей руке шевельнулся трилобит. Мы могли разделить их надежду; то всегда была обманутая надежда, которая передавалась по наследству из поколения в поколение. Они сидели среди нас; часто друг и враг были почти уже неразличимы, мы могли подробно обсуждать их раздоры. Мы становились их поверенными. И каждый был прав.

Мы протягивали друг другу руки; они были пусты. Но мы передавали *это* дальше: передавали дальше богатство мира.

*

Однажды мы сидели в саду в поздний час; полная луна стояла позади касбы, которая на фоне лунного диска была точно выгравированной на печати. Четко прорисовывались купол и минарет.

Время от времени один из нас покидал круг собравшихся, чтобы подышать свежим воздухом, как когда-то я – после лекции об эмире Мусе и Медном городе. Наконец, казалось, и самого Виго одолело что-то – но не усталость, ибо лицо у него пылало; он поднялся: «Дети, оставьте меня одного».

6

Вот несколько предварительных слов об имени и профессии. Остается уточнить вопрос о моей политической благонадежности. Она даже не подлежит

обсуждению; иначе как бы я мог работать на касбе в самом узком кругу приближенных Кондора – – – в пределах его досягаемости? Я же ношу фонофор с серебряной полосой.

Естественно, досконально проверили всю мою подноготную, меня выбрали и, так сказать, пропустили сквозь сито. И хотя я невысокого мнения о психологах, как и вообще о технике, должен, однако, признать, что они свое дело знают. Это тертые калачи, мимо которых не проскользнуть никому, кто явится с худыми мыслями или тем более намерениями.

Начинают они приветливо – после того как врачи обследовали физическое состояние, а полицейские выяснили предысторию кандидата; проверяют чуть не до седьмого колена. Пока одни беседуют с кандидатом за чашкой чая, другие вслушиваются в его голос, наблюдают за жестами и мимикой. Человек становится доверчивым, полностью раскрывается. Незаметно регистрируются его реакции: биение сердца, кровяное давление, пауза испуга, возникающая при упоминании чьего-нибудь имени или после какого-нибудь вопроса. Кроме того, у них имеется психометр, которому позавидовал бы старый Райхенбах; они проявляют фотографии, на которых лоб, волосы и кончики пальцев излучают желтую или фиолетовую ауру. То, что для древних философов было метафизическими пограничными областями, у них оказывается областями парапсихическими – – – и они считают похвальным одолевать их с помощью мерки и числа. Само собой, они используют также гипноз и наркотики. Одну капельку в чай, который они пьют вместе с кандидатом, чуть-чуть какой-то цве-

точной пылицы – и мы уже не в Эвмесвиле, а в горном краю Мексики.

Если любезные соседи – например, из Каппадокии или Мавритании – засылают агента или тем более ассасина, его разоблачают в три дня. Более опасными представляются ловкие эмиссары Желтого и Синего ханов; невозможно помешать им угнездиться в порту или в городе. И там они орудуют до тех пор, пока однажды не допустят неосторожность. Внутри касбы они не проникают.

*

Мой случай не представлял головоломки для нашей комиссии; трудностей не возникло. Я, позволю себе упомянуть, сориентирован не криво, а под прямым углом – я не отягощен пристрастиями ни вправо, ни влево, ни вверх, ни вниз, ни к западу, ни к востоку, я придерживаюсь равновесия. Меня, правда, занимают эти противоположности, но лишь с исторической точки зрения, а не с актуальной; я не ангажирован.

Известно, что мой отец и брат симпатизировали трибунам, хотя и сдержанно, даже не без некоторой критики. Это было правилом в Эвмесвиле; исключений почти не существовало. Да и к чему? В конце концов, у пекаря, композитора или профессора есть и другие заботы, кроме как корчить из себя важную политическую персону; он хочет в первую очередь вести свою торговлю, заниматься своим искусством и исполнять свои обязанности, не теряя зря свои лучшие годы; он хочет просто как-нибудь выжить. К тому же его легко можно заменить; другие только того и ждут.

Кроме того, такие типы полезнее для преемника правителя, нежели «смельчаки, которые хранили верность идее, высоко несли знамя» и вообще *заслуживают похвалы*, если воспользоваться выражением, которое из армейского жаргона переключалось в жаргон гражданской войны. Наилучшее впечатление они производят в некрологах. Оставшись же в живых, они вскоре опять становятся неприятными.

Проверяющие это знают; воодушевление подзрительно. Поэтому очком в мою пользу было то, что о Кондоре я высказался объективно, как историк. Полагаю, что под влиянием сильного наркотика я произнес: «Он не народный вождь; он – тиран».

Они знают, что безоговорочная преданность опасна. Политического деятеля, автора, актера почитают издалека. Наконец, дело доходит до встречи с этим идиолом – и как личность он не оправдывает ожидания. Тогда отношение к нему легко может измениться на противоположное. Тебе выпал невероятный шанс, доступ в спальню дивы, – и тут не избежать разочарования. Вместе с одеждами спадает и божественный ореол. Сильнее всего эрос действует в нечаемом, в неожиданном.

Вывертов они у меня не нашли. Я оставался нормальным, как бы глубоко они ни проводили замеры. В то же время – сориентированным прямоугольно. Конечно, редко случается, что нормальность совпадает с прямоугольностью. Нормальность – это человеческая конституция; прямоуглолен же логический ум. Благодаря наличию у меня логического ума я мог отвечать на вопросы так, что их это удовлетворяло. *Человеческое* же есть нечто настолько обобщенное и вместе с тем столь зашифрованное, что они этого попросту не замечают, как не замечают вдыха-

хаемый воздух. Потому они и не смогли проникнуть в мою анархическую субструктуру.

Звучит сложно, но на самом деле все просто, ибо анархичен каждый – как раз это и является в нем нормальным. Анархичность, правда, с первого же дня ограничивается отцом и матерью, государством и обществом. Стихийную силу урезают и отнимают, такого не избежать никому. Нужно смириться с этим. Однако *анархическое* остается на дне как тайна, чаще всего не осознаваемая и самим носителем. Оно может вырваться из человека как лава, может его уничтожить, может освободить.

Здесь следует различать: любовь анархична, брак – нет. Воин анархичен, солдат – нет. Смертельный удар анархичен, убийство – нет. Христос анархичен, Павел – нет. Но, поскольку *анархическое* является нормальным состоянием, оно наличествует и в Павле тоже – и иногда мощно вырывается из него. Речь идет не о противоположностях, а о стадиях. Всемирная история движется анархией. Короче говоря: свободный человек анархичен, анархист – нет.

*

Будь я анархистом и ничем больше, они бы без труда разоблачили меня. Личности, которые, «спрятав кинжал под одеждами», стремятся приблизиться к властителям, особенно эталонны. Анарх может жить в одиночестве; анархист же – субъект социальный, и ему нужно объединяться с такими, как он.

Как и повсюду, в Эвмесвиле тоже водятся анархисты. Они образуют две секты: добродушных и злонравных. Добродушные не опасны; они грезят о золотом веке, их святой – Руссо. Другие твердо уве-

рены в правильном поведении Брута; они заседают в подвалах и мансардах, а также в задней комнате «Каламаретто». Они сбиваются вместе, как филистеры, которые попивают пиво и при этом вынашивают свою неприличную тайну – ее выдает их хихиканье. Они состоят в списках; когда же дело доходит до образования ячеек и к работе приступают химики, за ними начинают следить пристальнее. «Нарыв скоро вскроется». Так выражается *Mayordomo mayor*¹, которого Кондор коротко зовет «Домо»; я сохранию это сокращение. Еще до того, как дело доходит до покушения, их либо арестовывают, либо берут диверсию под контроль. Нет более сильного лекарства против твердо стоящей на ногах оппозиции, чем возможность приписать ей какое-нибудь покушение.

Туманный идеализм анархиста – свойственная ему *доброта без сострадания* или же *сострадание без доброты* – делает его пригодным для использования по многим направлениям, и для полиции тоже. Он, конечно, смутно сознает некую тайну, однако в состоянии именно лишь догадываться о ней: об огромной силе одиночки. Эта сила опьяняет его; он безрассудно расточает себя – подобно моли, сгорающей в пламени свечи. Абсурдность, присущая покушению, заключается не в преступнике и его самоуверенности, а в самом преступлении и его связи с мимолетной ситуацией. Преступник продает себя слишком дешево. Поэтому его намерение чаще всего превращается в свою противоположность.

*

¹ Старший мажордом (исп.). – Здесь и далее прим. редактора.

Анархист зависим – во-первых, от своей туманной воли, во-вторых, от власти. Он следует за владыкой как тень, и правитель всегда опасается встречи с ним. Когда Карл V стоял со своей свитой на башне, один капитан вдруг начал смеяться, на вопрос же о причине смеха ответил: ему-де пришла мысль, что если б он сейчас обнял императора и вместе с ним бросился вниз, то его имя оказалось бы навсегда вписанным в анналы истории.

Анархист – *партнер по игре* того монарха, уничтожение которого он замышляет. Анархист уничтожает личность монарха, но тем самым укрепляет порядок наследования. Суффикс «изм» имеет сужающее значение: он усиливает волю за счет субстанции. Этим замечанием я обязан грамматике Тоферну, непревзойденному *граверу слогов*.

Позитивное соответствие анархисту – анарх. Он не партнер монарха, а дальше всего удаленный от него человек – недостижимый для него, хотя тоже опасный. Он не противник монарха, а необходимое дополнение к нему.

Монарх хочет владеть многим, даже всем; анарх же – только самим собой. Это вырабатывает в нем объективное, даже скептическое отношение к власти, представителям которой он предоставляет следовать своим путем – а сам остается внешне бесстрастным, но в глубине души все же не равнодушным, не лишенным исторической страсти. Анархом – в большей или меньшей степени – является любой историк по крови; если же он обладает величием, то – именно по причине своей беспристрастности – поднимается к судейской должности.

Это касается моей профессии, к которой я отношусь серьезно. Кроме того, я ночной стюард на

касбе; я вовсе не хочу сказать, что к этой второй работе отношусь менее серьезно. Здесь я непосредственно вовлечен в происходящее, имею дело с живыми людьми. Позиция анарха не идет во вред моей службе. Она скорее является основанием для этой службы, будучи чем-то таким, что сближает меня со всеми другими, но только я, в отличие от них, свою позицию осознаю. Я служу Кондору, *тирану*: это его функция; как моя функция – быть его стюардом; мы оба можем отступить к нашей субстанции: к *человечному* в его безымянности.

*

Когда я по ходу своей работы с луминаром реконструировал историю государственного права, от Аристотеля до Гегеля и дальше, мое внимание привлекла аксиома одного англосакса о равенстве людей. Он ищет такое равенство не в постоянно меняющемся распределении власти и властных средств, а в том неизменном принципе, что *каждый может убить каждого*.

Это – банальность, высказанная, правда, с обескураживающей прямоотой. Способность убить другого человека относится к потенциалу анарха, которого каждый носит в себе, только эта способность редко осознается. Она всегда дремлет где-то на заднем плане, даже когда двое приветствуют друг друга на улице или уступают один другому дорогу. Уже когда ты стоишь на какой-нибудь башне или перед подъезжающим поездом, она подступает ближе. Мы отмечаем для себя, наряду с опасностями технического порядка, и близость Другого. Этот опасный Другой может быть даже моим братом. Старый

поэт, Эдгар Аллан По, осмыслил это в «Мальстреме» с геометрической точки зрения. В любом случае мы стараемся, чтобы за спиной у нас оставалось свободное пространство. И все же случаются такие вещи, как давка в момент катастрофы, плот «Медузы», голод в спасательной шлюпке.

Упомянутый англосакс свел это к механистичной формуле. Чему способствовал опыт гражданской войны. Такая постановка вопроса представляет собой подкоп под Декарта. Оказывается, что *под* человеческим законом – слоем ниже – действует закон зоологический, а под ним, в свою очередь, – закон физический. Мораль, инстинкт и чистая кинетика – вот что определяет наши поступки. Наши клетки состоят из молекул, а те – из атомов.

*

Я упомянул данное обстоятельство лишь потому, что оно имеет отношение к моей службе. Во всяком случае, с таким знанием я вступил в пределы досягаемости Кондора, в тот самый узкий круг, который монсеньор обозначал как свое *parvulo*¹. Я могу убить его, драматично или обыденно. Все его напитки – он особенно любит легкое красное вино – в конце концов проходят через мои руки.

Впрочем, маловероятно, чтобы я стал его убивать, хотя такое не исключено. Ибо кто знает, во что он еще впутается? Мое знание, следовательно, оказывается, прежде всего, чисто теоретическим, но оно важно в том смысле, что ставит меня на одну

¹ От *lat. parvulus* – малый, маленький.

ступень с Кондором. Я не только могу убить его; я могу его и помиловать. Это в моей власти.

Естественно, я не буду пытаться убить его только потому, что он – тиран; для этого я слишком хорошо знаком с историей и, особенно, с той моделью исторического развития, которую мы построили здесь, в Эвмесвиле. Тиран, не соблюдающий меру, сам себе подписывает приговор. Но задачу приведения приговора в исполнение можно оставить анархистам: они ни о чем другом и не помышляют. Поэтому власть тирана редко передается по наследству; линия наследования – в отличие от того, что происходит в монархиях, – почти никогда не ведет дальше внука. Парменид унаследовал тиранию от своего отца, «как какую-то болезнь». Когда он путешествовал – после Фалеса – «тираны в старости» почти уже не встречались.

Я выполнял свою службу, исходя из такой принципиальной позиции, – и выполнял, вероятно, лучше, чем многие другие. Я ему ровня, различие между нами заключается в платье и в правилах поведения, которыми пренебрегают только болваны; лишь когда дело принимает серьезный оборот, одежда отходит на второй план.

Сознание моего равноправия идет службе на пользу, помогает исполнять ее легко и галантно – это как в танце. Поздний час часто наступает незаметно, и если все сложилось удачно, я перед закрытием бара сам себя похлопываю по плечу – словно артист, которому удался номер.

Властители ценят такой настрой, прежде всего в пределах своего *parvulo*. Когда люди из их окружения ведут себя непринужденно, им это приятно. Но, конечно, тут важно не перегнуть палку. Само собой,

я не пью, даже если меня приглашают – как то случается, когда у нас гостит Желтый хан, – – – но именно в таких случаях требуется особая осмотрительность.

В разговоры я тоже не вмешиваюсь, хотя внимательно за ними слежу, и нередко они меня увлекают. Я безучастно улыбаюсь, что как бы входит в мои должностные обязанности, однако не смеюсь вместе со всеми удачной остроте. Я образую *красивый фон*.

Могу предположить, что Кондор мною доволен. Его «Доброй ночи, Мануэло», когда он покидает бар, звучит благосклонно. Иногда он осведомляется о моих занятиях. Он интересуется историей – например, эпохой диадочов: для живущего в Эвмесвиле она не может не быть близка. История морских сражений, похоже, его тоже захватывает; прежде чем прийти к власти, он некоторое время командовал флотом. Переворот начался обстрелом города со стороны моря.

Эта интермедия оставила в нем нечто вроде дилетантского пристрастия к морским пейзажам. На касбе он, кажется, чувствует себя как на корабле, на котором уже довольно долго бороздит волны времени. Я заказываю напитки из *камбуза*, стюарды подают на стол в *кают-компании*. Купол касбы подобен капитанскому мостику; женщин на борту нет.

Свою карьеру Кондор начинал в пехоте; его отец был фельдфебелем, солдатом фортуны. Однажды я услышал разговор между Кондором и Домо, всегда сидящим от него по правую руку. Речь шла о надежности войска; похвалы достались в первую очередь пешей гвардии. Во вторую очередь – кирасирам; на гусаров же, по их мнению, полагаться не стоило. Сравнения распространялись также на моряков и летчиков. Домо, ответственный за безопасность, очевидно, и теоретически продумал этот вопрос.

«Чем быстрее человек может двигаться, тем пристальнее за ним нужно присматривать».

7

Разговор был больше теоретическим еще и потому, что у нас едва ли уместно вести речь о войсках. Эвмесвиль с его территорией и островами образует оазис между диадоховыми империями великих ханов и эпигонскими городами-государствами. На севере наша область граничит с морем; в зависимости от настроения я иногда считаю, что это – Средиземное море, а иногда – что Атлантика. На юге область незаметно переходит в пустыню; присмотр за ней возложен на подвижной отряд.

За пустыней следуют степи, край труднопроходимого кустарника, девственные леса, которые после огненных шквалов стали еще гуще, и, наконец, снова океан. В этих регионах охотятся самыми разными способами. Именно благодаря обилию дичи Желтый хан в первую очередь и покровительствует Эвмесвилю. Он ежегодно прибывает сюда со своей свитой; подготовка к его визитам составляет важный аспект нашей внешней политики.

Охота должна устраиваться во всех зонах – вплоть до лежащих по другую сторону пустыни степей – и вестись на любого, даже самого крупного зверя. При этом приходится заботиться об антураже и о сюрпризах для избалованного повелителя, обладающего железным здоровьем и ненасытной жадностью. «Я наполняю колчан испытаниями и с наслаждением его расходую».

Должно быть, существует тесное родство между преследуемым и тем, кто его преследует. Егер-мейстеры надевают тотемные головы; на главном охотнике – волчья морда. По таким маскам можно догадаться, кто охотится на льва, кто – на буйвола, кто – на кабана. Играют свою роль также характерные движения и телосложение. Я не хочу ничего обобщать, поскольку важны здесь не только соответствия, но и принцип взаимодополняемости. Так, охоту на слона Желтый хан открывает карликами, которые с клинками подкрадываются к животному. Вообще, звероловством он занимается по старинке, почти без пороха и оптических вспомогательных средств. Жестокий по отношению к людям, с дичью он придерживается благородных правил игры.

Большая охота заканчивается в непроходимом южном лесу. Там, должно быть, скрываются такие виды диких животных, которые не зрел еще ни один глаз и о которых знают только по слухам. Большинство людей считают их выдумками искателей приключений, которые отважились забраться в эти дебри и вернулись обратно со смертельной лихорадкой.

Между тем кажется, что хану именно там грезится кульминация его охоты. Он платит жалованье разведчикам – прежде всего тем карликам, которых никто не превзойдет в умении читать следы. Кроме того, он содержит ученых, не представляющих никакого определенного факультета, – наполовину мифологов, наполовину толкователей снов, над которыми потешается не только Роснер, как зоо-

лог, но и мой родитель. Последний сравнивает их с алхимиками, которые в старину предлагали свои услуги князьям в качестве изготовителей золота. Недурное сравнение: трансмутация здесь, как и там, означает великую надежду, никогда не сбывающуюся мечту.

То, что этот лес таит в себе неожиданности, не подлежит сомнению: время от времени нам доставляют добытых на его окраинах новых зверей и часто – новые растения. Таким образом, находят подтверждение некоторые слухи, которые еще со времен Геродота почитались за басни. Однако речь не об этом. Раньше ученые полагали, что после Всемирного потопа возникли не только новые породы, но и новые виды. Теперь роль воды взял на себя огонь; раскаленные завесы отделяют одно преобразование от другого.

*

Просматривая в луминаре фолианты, напечатанные еще до эпохи великого Линнея, я натываюсь на существ, которые, очевидно, жили только в фантазии человека, однако настолько в ней закрепились, что их воспроизводили в рисунках, – к примеру, единорога, крылатого змея, фавнов и морских нимф. Чаще всего предполагалось, что странные создания обитают в лесу, и их даже описывали. Так, некий доктор Геснер описал *лесного черта* – «чудное создание», четвероногое и со шпорами на пятках, с венком грудей и с человеческой головой. Лесного черта поймали, должно быть, в 1531 году христианской эры в епископстве Зальцбург, однако он через несколько дней умер, поскольку отказывался принимать пищу.

Это напоминает мне приключение, напугавшее Периандра, на которого некоторыми чертами, как кажется, похож Кондор. Периандру один из его пастухов показал существо, которое принес под накидкой. Существо это – жеребенка с человеческой головой – будто бы родила кобылица. Периандр велел позвать Фалеса, чтобы тот вынес суждение о случившемся. И Фалес ему посоветовал впредь «или не приставлять к кобылицам таких молодых пастухов, или не оставлять этих пастухов без женщин».

В ту пору мифическая древность была еще не настолько далекой, чтобы сомневаться в возможности подобных рождений, – – – а сегодня в Эвмесвиле развитие науки опять сделало такую возможность представимой для нас. Круг замкнулся – как если бы змея укусила себя за хвост.

*

Эти заметки – не курьезное отступление; они касаются сути дела. Ради них мне приходится не упускать из виду Аттилу, сидящего слева от Кондора, – особенно в поздние часы – – – ведь если кто и знает, что творится в лесах, так это он.

Похоже, он приобрел там также основательное знание наркотиков и целительных средств. Он и прежде хорошо разбирался в их синтетической структуре. В качестве кравчего я имею с ним дело, когда он предписывает определенные добавки Кондору или его гостям. При этом мне бросается в глаза, что он использует такие чудодейственные средства, обращение к которым считалось суеверием и которые давным-давно исчезли из аптек.

Например, некоторые напитки для круговой чаши я должен смешивать в скорлупе *coco de mer*¹ – пальмового плода, прибываемого к берегу в бухтах Суматры. Одни говорили, что плод этот происходит от дерева, растущего на дне моря. Другие полагали, что его приносит туда птица Гриф. Ювелиры издавна умели оправлять скорлупу такого плода в золото, превращая ее в сосуд для питья; кроме того, она считалась надежным средством против сильнодействующих ядов.

Аттила, похоже, верит также в силу единорога; тот мог бы быть его тотемным животным. Сегодня знают, что витой стержень принадлежит не белой лошади, скрывающейся в тени лесов, а особой разновидности кита – нарвалу. Такие стержни хранились в сокровищницах. Когда врачи в бессилии отступали от одра умирающего, его можно было спасти, соскоблив с такого рога щепотку субстанции и добавив ему в вино.

Не менее ценным считался корень мандрагоры, который я часто использую как добавку. Он служит чудодейственным средством от всех недугов и в особенности полезен для укрепления мужской потенции. Это значит, что Желтый хан в первую очередь именно ему обязан геркулесовыми успехами в данной области. Это деликатес для больших господ, ибо, чтобы найти корень нужной величины и качества, требуется приложить много усилий. Дикое растение – а только оно обладает необходимой действенностью – растет уединенно в глухих уголках вокруг Кукунора; там его называют женьшень. Тот, кто узнает его местонахождение, бережет это как

¹ Морской кокос (фр.).

тайну; он отмечает место находки и выкапывает мандрагору в определенный час полнолуния.

Здесь, в баре, корень этот хранится взаперти под особым замком, поскольку китайские повара падки до него, как потребители опиума – до своего зелья. У меня есть кодовое слово для коктейля с такой добавкой. Если хан требует этот напиток в поздний час, значит, лупанарам¹ на западной окраине города предстоит выдержать монголо-татарский набег.

8

Когда я еще колебался, стоит ли мне принимать должность ночного стюарда, Виго настоятельно советовал мне сделать это:

– Мартин, вы увидите там такое, что обогатит вас бесценным опытом.

Он имел в виду, что я смогу наблюдать, как обдумываются и претворяются в жизнь вопросы власти, – непосредственно буду изучать методику управления на практической модели. Здесь историка ждал спектакль, особенно в *parvulo*.

Виго проводит различие между взглядом хирурга и взглядом анатома: первый хочет оперировать, второго же занимает лишь состояние. Время одного ограничено, тогда как в распоряжении другого времени сколько угодно. Эвмесвиль особенно благоприятен для историка, поскольку живых ценностей там уже не осталось. Историческая субстанция израсходовала себя в страстях. В идеи никто уже не верит, и принесенные ради них жертвы кажутся чуждыми.

¹ Дом терпимости, бордель (лат.).

С другой стороны, все картины распознаются отчетливее, никакая сокровенная мечта не отвлекает от них. Когда, например, Кондор разыгрывал личность, колеблющуюся в выборе между просвещенным деспотизмом и тиранией, он тем самым как бы позволял заглянуть в далекое прошлое. Мне следовало бы, так считал Виго, понаблюдать за этим вблизи как за экспериментом, сместив акцент: стоя за стойкой бара, я оказался бы ближе к действительности, нежели тот, кто ее только симулирует – именно потому, что относится к ней серьезно.

Прежде я всегда следовал рекомендациям своего наставника, а поскольку намеревался делать это и впредь, принял предложенную должность. Хотя утверждать, что руководствовался только этим соображением, я, конечно же, не стану, ибо подобные решения имеют комплексный характер. Здесь сыграли свою роль и другие факторы, которые принято называть *дополнительными выгодами*: много свободного времени для собственной работы, луминар, хорошее жалованье, фонофор с серебряной полосой, аура власть имущего.

Вскоре мне пришлось убедиться, что исторического взгляда здесь недостаточно. Как человек, существующий вне истории, ты становишься свободнее, однако и власти, которым ты – в этом контексте – служишь, преобразуются непредсказуемым образом. В иные ночи, когда я прислуживаю в *parvulo*, мне становится жутко. Обсуждаются вещи, о которых Виго ничего не хотел бы знать и в которых он ни за что не принял бы участия – как и я долго пытался не принимать в них участия. Когда господа молчат, атмосфера в помещении, кажется, сгущается еще больше, чем когда полунамеком произно-

сятся слова, которые они, очевидно, даже будучи среди своих, высказывают с опаской. Тогда Домо делает знак рукой. Я должен оживить обстановку и смягчить резонанс.

Это, без сомнения, касается леса. Там, должно быть, захватываются такие трофеи и переживаются такие опасности, которые напоминают скорее плавание аргонавтов, нежели блестящие времена исторической и даже доисторической охоты.

*

Когда я приступил к своим новым обязанностям, мой родитель повел себя как настоящий либерал – – – с одной стороны, ему было неловко, что я сделался кельнером, а с другой – он почувствовал себя увереннее в политическом отношении. Для Кадмо, так зовут моего брата, я просто княжий слуга. Старик – добродушный бородач, а парень – перманентный анархист, правда, лишь до тех пор, пока не запахнет жареным. Но как раз внутренняя свобода, позволяющая делать – или допускать, чтобы другие делали, – все что угодно, им обоим чужда.

Я живу у них, когда прихожу с касбы; за столом возникают неприятные разговоры. Они не могут освободиться ни от политического, ни от социального балласта. Поэтому я предпочитаю проводить время на свежем воздухе в саду Виго; кроме того, у меня есть пристанище в городе – комнатка под крышей одного старого дома у самого моря, который раньше составлял часть бастиона. Там я мог бы забрасывать удочку прямо из окна, однако рыбы, лениво двигающиеся плавниками вниз, кормятся сточными водами Субуры и малопригодны в пищу. Иногда на

моем подоконнике отдыхает чайка. На первом этаже один виноторговец содержит придорожную лавку – *салумерью*¹, где можно наскоро перекусить.

Голая мансарда: каменные перекрытия и крошащиеся, инкрустированные морской солью стены. Я прихожу сюда, чтобы медитировать и смотреть на морскую гладь, до самых островов и дальше, – особенно на закате солнца. Один стол, одно кресло, один матрас, который лежит на полу. Умывальный таз на подставке, рядом кувшин с водой. А еще – ночной горшок, который я опорожняю в окно, поскольку мне, когда я выпиваю, лень спускаться по лестнице. На стенах никаких картин и книг, зато над тазом есть зеркало, в качестве уступки для Ингрид, которую я привожу сюда, после того как мы поработаем в библиотеке или проведем Вигу в его доме за городскими стенами. Ингрид остается здесь не дольше часа; для нее это своего рода обязанность, причитающаяся учителю благодарность.

*

Таким образом, дома меня можно застать только за трапезами, да и то не всегда. У нас в семье даже профессиональные разговоры оказываются бесплодными, потому что позиции собеседников не имеют между собой ничего общего: метаисторик, который давно покинул историческое пространство, пытается спорить с партнерами, воображающими, будто они еще пребывают в пределах такого пространства. Это приводит к различиям в восприятии времени: те двое продолжают копаться в трупе, который для

¹ Колбасная лавка; торговля гастрономическими товарами (*ит.*).

меня давным-давно превратился в ископаемое. Порой мне становится просто смешно – – когда они горячо отстаивают ценности, которые в Эвмесвиле в лучшем случае существуют еще лишь как предмет для пародии. В этом смысле моих родичей можно даже воспринимать серьезно: как типичных для нашей эпохи персонажей.

*

Если я охотно называю своего старика *родителем*, это не значит, что я невысоко чту отца. Напротив; вот только отец мой не соответствует исполняемой роли или в лучшем случае выглядит как комедиант, приклеивший себе рождественскую бороду. Поденщик, рыбак и носильщик в порту представляют свои роли убедительней. Примечательно, что именно эти свободные умы требуют уважения к себе в пределах общественного порядка, погубленного еще их дедами.

Отец был женат дважды. Здесь, в Эвмесвиле, принято, что человек – например, партиец, – начиная продвижение вверх, сперва берет то, что подворачивается под руку. Когда же он достигает успеха, первая жена его больше не удовлетворяет – ни с точки зрения молодости и красоты, ни тем, как она репрезентирует его новое положение. Он тогда меняет ее на новую – символ теперешнего его статуса. Здесь, к примеру, – в нашем смесительном чане, – это выражается, среди прочего, в том, что теперь выбирается жена с более светлым оттенком кожи.

А начинающий с более высокой ступени ведет себя обычно иначе: сначала он продумывает карьеру и внешние обстоятельства. И лишь к середине

жизни, когда он уже крепко сидит в седле, в нем зарождаются другие желания. Теперь Афродита требует от него поздней жертвы. При этом нередко происходят конфузы. Так, недавно один высокопоставленный генерал угодил в сети к известной всему городу потаскухе. На касбе такое воспринимается с юмором. Я как раз прислуживал в *parvulo*, когда Домо сообщил об этом Кондору. Кондор рассмеялся: «В таком случае в шуринах у него недостатка не будет». Репутация самого Домо не вполне чиста, у него, как говорили в старину, «пятна на жилете»; но он становится высоконравственным человеком, когда это идет ему на пользу.

Профессора охотно женятся на студентках – – на тех, что сидят в первом ряду и тянутся к высокой духовности. Иногда такие браки оказываются удачными. Мой родитель выбрал в качестве второй жены свою секретаршу; ради нее он развелся; первая жена еще живет в нашем городе. Она родила ему Кадмо; они разошлись мирно – время от времени отец еще навещается к ней, чтобы освежить приятные воспоминания.

Моя же мама умерла рано, когда я еще ходил в начальные классы. Я ощутил эту утрату как второе рождение, как будто меня вытолкнули на светлую и холодную чужбину, – но теперь ощущение рождения было осознанным.

С ее смертью мир изменился. Дом стал негостеприимным, сад – голым. Цветы утратили краски и аромат. То, что они нуждались в материнской руке, проявилось не постепенно, а сразу. Пчелы больше не летали вокруг них, пропали и бабочки. Цветы не меньше, а даже тоньше, чем животные, чувствуют расположение к ним человека и отвечают симпатией.

В доме, в саду я искал укромные уголки. Часто сидел и на лестнице, которая вела в подвал, в темный погреб. Плакать я не мог; я давился комком, застрявшим в горле.

*

С болью дело обстоит как с затяжными болезнями: когда мы от них избавляемся, они больше не трогают нас. Мы получили прививку от змеи. Зарубцевавшаяся ткань уже не чувствительна к укусам. После прививки остается особая бесчувственность. И вместе с тем уменьшается страх. Я воспринимал окружающий мир тем острее, чем более сокращалась моя причастность к нему. Я мог верно оценивать его опасности и достоинства. Позднее это тоже пошло на пользу историку. Должно быть, в то время, когда я, не находя выхода, подолгу сидел в темноте, во мне и сформировалось убеждение в несовершенстве мира, в его ненадежности – убеждение, не покидающее меня до сих пор. Я оставался чужим в отцовском доме.

Боль эта продолжалась, должно быть, год или дольше. Потом она начала остывать – подобно лаве, покрывающейся твердой коркой. Рана зарубцевалась; я уяснил правила игры общества, которое меня окружало. Я начал делать успехи в школе; учителя обратили на меня внимание. Потом пошли уроки фортепиано.

Мой родитель взирал на меня с нарастающей благосклонностью. Я мог бы установить с ним более доверительные отношения, но мне было скорее неловко, если он клал мне на плечо руку или выказывал чрезмерную фамильярность.

И тем не менее именно я был дитя любви – в противоположность моему брату, с которым у ста-

рика в духовном плане находилось больше общего и который, как законный наследник, видел во мне бастарда. Я готов признать, что его суждение основывалось не только на ревности, но его родители настолько ускорили развод, что я появился на свет в подобающий момент. Да к тому же у нас в Эвмесвиле в таких подсчетах не проявляют излишней строгости.

*

Мама стала для меня целым миром; лишь постепенно она обрела в моем восприятии черты личности. В более поздние годы, когда мой родитель посещал какой-нибудь конгресс, у меня появлялась возможность обстоятельнее заняться своей предысторией. Историка трудно представить без архивистских наклонностей, и он хранит многие документы, которые другие домовладельцы по завершении какого-то процесса обычно уничтожают. Почти за каждым случаем смерти тут же следует принесение жертвы огню.

Мой родитель тоже поступил бы правильней, кабы сжег письма, которыми он обменивался с моей мамой в критическую четверть года. Но он, очевидно, не смог с ними расстаться и хранил их на чердаке. Я раскопал их в груде бумаг и углубился в сумеречную историю первых месяцев своего существования.

Так я узнал дату начала этой истории, а также место: картографический кабинет Исторического института. Я знаю это помещение: в него редко заходят, а географические карты являются хорошим прикрытием для мимолетной любовной атаки. Как

бы там ни было, но такого пыла я у старика не предполагал.

Должно быть, есть женщины, которые моментально понимают, что в них зародилась жизнь. Это почти необъяснимо с физиологической точки зрения; мама относилась к таким. Она завуалированно, но недвусмысленно огласила тот факт, что я дал знать о своем появлении или, по крайней мере, обратил на себя внимание. Старик не пожелал признать эту очевидность. Он попытался отговорить ее от меня – сначала теоретически, что продолжалось еще и на третьей неделе, когда я уже принял вид тутовой ягоды и начал мягко прорисовываться в деталях. Я был не больше рисового зерна, однако уже разделился на правую и левую стороны, а внутри меня – как острие иглы – прыгающей точкой двигалось сердце.

Когда меня уже нельзя было представить несуществующим, он покусился на мою жизнь практически. Я не хочу вдаваться в подробности. Во всяком случае, пока я плавал в околоплодных водах, мне, как Синдбаду Мореходу, грозили всяческие опасности. Старик пытался разделаться со мной посредством яда или колющего оружия, у него был и сообщник с медицинского факультета. Но мать за меня держалась; она хотела иметь меня, и в этом было мое счастье.

По версии брата, мое рождение было для нее способом заарканить старика – – – такое вполне возможно, но это лишь практическая сторона элементарной симпатии. Как мать, она хотела иметь меня, как человеческая личность – была вправе позаботиться о собственном благополучии.

*

Вообще, о таких обстоятельствах следует судить, учитывая их многослойность. Умением это делать я обязан не только Вигу, но и Бруно, моему наставнику в философии.

Припоминаю один семинар, на котором он рассматривал время и пространство с мифологической точки зрения. Согласно Бруно, отец всегда олицетворяет время, а мать – пространство – – в космическом плане отец – это небо, а мать – звезды; в теллурическом плане он воплощает воду, а она – землю; он создает и уничтожает, она принимает в себя и сохраняет. Времени присуще неутолимое беспокойство: каждое мгновение изглаживает предыдущее. Древние представляли себе время в образе Кроноса, пожирающего собственных детей.

Как титан, отец проглатывает новорожденного; как бог, он жертвует им. Как царь, он расточает своих сыновей в войнах, которые сам же и затевает. Биос и миф, история и теология предлагают сколько угодно примеров тому. Мертвые же возвращаются не к отцу, а к матери.

*

Бруно еще остановился на различиях между трупожжением и захоронением в земле. Не знаю, верно ли я передал его мысль. Мне самому вода кажется скорее материнской субстанцией; христиане же идентифицируют ее с духом. Это вопросы классификации, которые послужили причиной для продолжительных войн. Кирилл считает воду важнейшим из четырех элементов и материалом для

великих превращений. Результаты полетов в космос, кажется, подтверждают это *ex negativo*¹.

Сведущие в мифах люди знают, что чудовищная протяженность моря – лишь внешняя видимость. В Эвмесвиле, где уже многие поколения мыслят чисто количественно, таких вещей не понимают. А вот в записках одного русского паломника я прочитал, что глоток воды, который мы подаем в горсти умирающему от жажды, больше Семи морей. Так и околородные воды. Во многих языках слова «море» и «мать» близки по звучанию.

9

Во всяком случае, я готов согласиться, что мой родитель, преследуя меня, действовал естественно. И, как анарх, я должен признать, что он защищал свое право. Но, разумеется, признание прав другого должно быть взаимным.

Здесь полно сыновей, которые, как и я, ускользнули от своих отцов. Как правило, такие случаи не получают огласки. Комплекс Эдипа сведен к неприязни между индивидами. Утрата почтения неизбежна, однако люди как-то уживаются друг с другом.

И мне мешает не столько моя предыстория, сколько то, что старик – на основании своего отцовства – требует уважения к себе. Он хочет получить кредит, который ему не полагается: апеллируя к тому факту, что когда-то-де жили наши предки, князья и профессора, заслуживавшие таких наине-

¹ От обратного (лат.).

нований. Но сегодня все это не более чем непроверенные слухи.

Когда он хвастается, у меня иногда возникает желание напомнить ему о картографическом кабинете и о тех хитростях, которыми он докучал моей маме. Она же спасла меня от него в своей пещере, как Рея некогда спасла Зевса от прожорливого Сатурна.

Разумеется, я избегаю этого шахматного хода, замечая и здесь несовершенство, что является моей неизменной бедой. Существуют истины, о которых нам следует умалчивать, коли мы хотим жить вместе; люди играют друг с другом хуже или лучше, но шахматную доску не опрокидывают.

Умением сдерживать себя я тоже обязан Бруно, который включает в курс своих лекций основы магического и даже практического поведения. Он говорил: «Когда слово уже готово сорваться с ваших уст, вы, будто хватаетесь за портмоне, поднесите руку к левой стороне груди. Так вы сэкономите злую шутку, и она обратится в капитал. Вы ощутите свое сердце».

Так я и поступаю со своим папашей. И на меня даже порой накатывает расположение к нему. Обычно я советую это и Вигу, когда на язвительную критику он собирается ответить той же монетой.

*

Тот факт, что мне недостает отца – именно потому, что я не узнаю его в своем родителе, – к делу не относится. Я ищу того, к кому могу испытывать уважение. Такое даже в Эвмесвиле возможно, пусть и в качестве исключения. Находят же люди себе при-

емных отцов – в плане духовной жизни. И тогда возникают узы, которые крепче уз крови.

Такое высказывание следует, разумеется, воспринимать осторожно, ибо всегда остается еще и материальный субстрат. А значит, мы обязаны отцу присоединением к бесконечному корневому плетению. В акте зачатия он справляет неведомую ему мистерию. Собственная его самость может при этом погибнуть. И получится, что мы больше похожи на какого-нибудь дядю или отдаленного предка, чем на него. Специалистам по генеалогии, а также биологам такие неожиданности привычны – и часто взрывают их систему. Наследственная масса необозрима; она простирается до самых глубин неодоушевленного мира. И из нее могут вынырнуть существа, которые давным-давно вымерли.

*

Вышеприведенный экскурс может отчасти объяснить, почему усыновление я предпочитаю естественному родству. Отцовство становится духовным; речь идет уже не о естественном родстве, а о родстве по выбору. Эрос, следовательно, царит и в сфере духовного родства: такое усыновление – повторение института крестного отцовства на более высоком уровне. Мы выбираем себе крестного отца, *pater spiritualis*¹; и он в нас узнает себя – он принимает нас. Это соприкосновение, которому мы обязаны жизнью, причем обязаны в ином, осмелюсь сказать, *нетленном* смысле. О сердце я не хочу говорить: здесь это неуместно.

¹ Духовный отец (лат.).

Обстоятельства моего рождения и среда, в которую я попал, объясняют, почему я ощущаю себя связанным таким родством с тремя университетскими преподавателями, тремя профессорами. Если бы я чувствовал призвание к ремеслу, к искусству, к религии или к войне, я выбрал бы другие примеры для подражания, если бы предпочел преступное поприще – опять-таки другие.

Наблюдая за ловлей тунца, я вижу, как *раис*¹ с подручными рыбаками занимается своим суровым трудом; их послушание – это лишь оснастка доверия, которое привязывает их к нему; он для них – глава, они его выбрали. Отцовство в его поведении выражено больше – хотя он держит своих подопечных в строгости, – чем когда я сижу с моим стариком, плавающим в застойных водах.

*

От философа ждут какой-то системы; у Бруно же было бы тщетно ее искать, хотя история философской мысли ему известна. Его семинар о развитии скепсиса – начиная с Гераклита – занимает полный год; Бруно точен, и на этом основывается его репутация. Курс охватывает практическую часть его концепции – учит, так сказать, основам ремесла. Тот, кто прослушает этот цикл лекций, не потратит деньги зря; он будет доволен. Одаренные ученики, даже сами уже став преподавателями, найдут полученным знаниям превосходное применение. Тот, кто учит нас мыслить, подчиняет нам и людей, и факты.

¹ Староста общины (*араб.*).

То, что за этим скрывается большее, не должно их заботить; это скорее сбило б их с толку. Разумеется, и то, о чем он умалчивает, тоже не остается для них без последствий; оно как бы лучится сквозь рациональность его лекций. В молчании авторитет воздействует еще сильнее, чем в речах; это справедливо как для монарха, может быть и неграмотного, так и для преподавателя высокого духовного ранга.

После того как я имел счастье близко сойтись с Бруно, на заднем плане все равно всегда оставалось невысказанное – даже в те ночи, когда мы с ним осушали не по одному бокалу вина. Он любит вино, которое, не овладевая им, все сильнее и сильнее его воспаляет.

Бруно – невысокого роста, широкоплечий, с полным, красноватым лицом. Глаза, из-за их выпуклости, обладают особым блеском. Когда Бруно говорит, лицо его принимает выражение всепроникающей смелости; тогда оно краснеет еще больше. Улыбка почти незаметно – однако любезно, как комплимент, – сопровождает иронические пассажи. И тогда кажется, что произнесенная им сейчас сентенция была словно дегустация изысканного вина: напитка, отложенного для знатока. Я часто видел, как Бруно, сидя напротив меня, делал легкое и свободное движение рукой, как будто – когда входил ангел молчания – приподнимал занавес, освобождая проход в область бессловесного. Тогда на смену простому пониманию приходило ощущение согласия между нами.

*

Бруно тоже считает положение в Эвмесвиле благоприятным: историческая субстанция здесь израс-

ходована. Здешние жители больше ничего не принимают всерьез – кроме грубых удовольствий и того, чего требует повседневность. Социальный организм похож на паломника, который, устав от долгого странствия, предается покою. Теперь-то к нему и подступают воображаемые картины.

Эти мысли имели и практическое значение для моей службы. Виго советовал мне, как историку, принять предложение: дескать, я тогда получу возможность заглянуть в такие исторические модели, которые, не затрагивая мою жизнь и не воодушевляя меня, будут тем не менее вновь и вновь повторяться. Так изучают чеканку монет, вышедших из обращения. Хотя на рынке они ничего не стоят, коллекционер ими восхищается.

Бруно пояснил в дополнение: у него есть предчувствие, что на стене, когда с нее осыплется штукатурка, появятся идолы, которые давно были позабыты, однако дремали в своей неповторимости – – – граффити, обладающие доисторической, первобытной силой. Когда это произойдет, существование наук прекратится.

*

Таким образом, внимание, которое я проявляю, стоя за барной стойкой, имеет три временных направления. В первую очередь оно направлено на то, чтобы удовлетворить Кондора и его гостей: это *настоящее*. Затем я слежу за их разговорами, за формированием их волевых устремлений, за сплетением их политических расчетов. Для них все это, может быть, актуально; а для меня – лишь модель (в том смысле, как ее понимает Виго); модель, которую

именно маленькие государства воплощают отчетливее, чем большие империи. Небезызвестному Макиавелли хватало одной Флоренции. Я уверен, что Домо изучал идеи этого политика: некоторые его фразы звучат как заимствования из «Государя».

После полуночи – а к этому времени все уже успевают напиться – моя бдительность обостряется. Присутствующие роняют слова и целые фразы, которые определенно имеют отношение к лесу; я же складываю эти осколки в мозаику. Более крупные фрагменты можно выудить из воспоминаний Аттилы: он долго жил в лесу и щедр на увлекательные истории. Их трудно классифицировать по времени и по степени достоверности; тут требуется скорее чутье мифолога, нежели профессионализм историка. Ведь любой лесной путник живет как бы в горячечном сне.

Я, точно охотничий пес, слежу за разговором по мимике и жестам, стараясь проникнуть и в молчание. Потом что-то вдруг шевельнется в зарослях – – – только ли ветер или на поляну сейчас выскочит неведомая мне дичь? Тут желание остановить мгновение посредством письменной записи оказывается неодолимым; это инстинкт, живущий в любом историке. Я знаю средство, как мне добиться своего.

В мои обязанности входит ведение *журнала кают-компании*; в нем должны регистрироваться напитки и легкие закуски из *камбуза*, проходящие через бар. Речь при этом идет не столько об учете, сколько о вопросах безопасности.

Таким образом, я не привлекаю к себе внимания, когда беру карандаш и начинаю что-то подсчитывать. Правда, я должен показывать этот журнал Домо. Его, среди прочего, интересуют вкусы и привычки некоторых участников вечерних сборищ.

Но то, что между строк скрыта тайнопись, он едва ли заметит. Я ввел свою точечную систему и незаметно усиливаю определенные буквы. Мне важно не столько зафиксировать услышанное, сколько выделить главные моменты. Здесь я снова возвращаюсь к значению молчания. Мне приходится также контролировать обстановку, и в такие мгновения, когда я чувствую: что-то витает в воздухе, – я позволяю себе определенные вольности, чтобы еще больше сгустить атмосферу.

В конечном счете я добился того, что мне достаточно видеть наклон букв; я смотрю на рукопись и будто заглядываю в зеркало времени. Я бы не стал здесь вдаваться в подробности, если бы они не проясняли методику Бруно:

То, что сообщает письменный текст – идет ли речь просто о домашнем хозяйстве или о духовных сферах, – всегда будет общим местом – – – графологи знают, что специалисту текст еще может раскрыть характер человека, который его написал. Бруно пошел дальше: для него написанное является зеркалом, которое ловит мгновение и снова отпускает его, если ты в него погрузишься. Зачем евреи брали с собой в странствие Синайские скрижали? Ведь и без того каждый знал Десять заповедей наизусть. И все же изнутри скрижалей заявляло о себе еще и нечто иное, большее, чем заповеди: сама повелительная сила. Потому-то первосвященник тайно рассматривал их, прежде чем принести жертву, – – – а возможно, и прикасался к ним.

Бруно – я говорю это, помня о разнице в пропорциях, – двигался в том же направлении. Тут большую роль играло зеркало: «Первообраз – это образ и отражение». Кажется, Бруно ждал необычного от

моей ночной разведки и даже предполагал во мне нях на такие вещи. Что же касается записывания, то именно Бруно я обязан световым пером, в накопитель которого вставлены разные стержни. Когда разговор разгорается и лес подступает ближе, я нажатием пальца выдвигаю из резерва предназначенный для такого протоколирования стержень, будто снимаю оружие с предохранителя. Тогда мне не надо вставлять специальные знаки, я просто продолжаю список затребованных напитков.

Возможно, это лишь фантазия (однако что такое фантазия?), но при виде написанных так колонок разговоры подступают ближе, чем в тот момент, когда я их впервые услышал. Как если бы за ними раскрылся задний план. Тогда слово уже не просто сообщение – оно обретает силу заклинания. Оглядываясь назад, я видел лица, застывшие, как во время жертвоприношения. Мне становилось не по себе.

Какое волшебство могло вызвать такой эффект? Напрашивалось предположение, что стержень начинен одной из тех субстанций, которые выносят тебя за пределы чувственного восприятия. Они воздействуют даже в мельчайших дозах – невесомые, как разносимая ветром цветочная пыльца.

Бруно имел обыкновение экспериментировать с такими субстанциями, однако своих адептов к ним не подпускал. Однажды, зайдя к нему без предупреждения, я застал его в совершенно отрешенном состоянии. За стеклянной маской я увидел лицо, на которое было страшно смотреть. Впрочем, сам Бруно, похоже, не помнит об этом моем визите.

Как бы то ни было: я не вижу в нем мага. Хотя его путь несомненно включает и магическую ступень. Эта ступень, должно быть, лишь помогает прибли-

зиться к чему-то – аналогично тому, как курс лекций по логике предваряет изучение философии. Здесь возникают проблемы перехода: нужно забыть магическое знание, ибо оно обманет, когда начнется космическая охота. Потому-то боги и вынуждены обращаться к человеку за помощью. Я предполагаю, что Бруно тем не менее предпочтет нижний мир.

*

Некоторые фирмы в Эвмесвиле имеют обыкновение рассылать своим клиентам к Новому году скромные рекламные презенты, преимущественно писчие стержни. Они таким образом ненавязчиво напоминают о себе и о своей деятельности. Полагаю, что Бруно принес мне это световое перо, полученное им как сувенир, после очередного визита в катакомбы.

Всего лишь игрушка. Наверное, она должна наметать на достигнутый там высокий уровень техники и вызывать если и не страх, то, во всяком случае, уважение. Подходит ли здесь слово «техника»? Правильнее, видимо, было бы сказать «метатехника». Под этим следует понимать не доведение технических средств до совершенства, а резкий переход их в какое-то иное качество. Когда бегун достигает наивысшей скорости, его бег превращается в полет. Эти световые перья изготавливались на пробу: потому что словесного сообщения уже было недостаточно.

В какой-то момент дело дошло до пресыщения чистой динамикой и, соответственно, до усреднения уровня техники в пределах больших регионов. Этому соответствует, с другой стороны, плутоническая компрессия, осуществляемая малочисленным, уже никому не подотчетным персоналом.

Я смотрю на них как на своих духовных отцов: Виго я обязан беспристрастным взглядом на историю, достижимым лишь тогда, когда мы больше не делимся на выступающих «за» и «против». Для историка это удовольствие: он тогда участвует в событиях в том же смысле, в каком Зевс участвовал в битве богов и людей. Лишившись лака, которым их покрыло Просвещение, такие картины являются во всем своем блеске.

Бруно же помог мне догадаться о *задних планах*, которые не относятся ни к истории, ни к царству природы и вообще не зависят от присутствия во Вселенной человека. Бруно умел упразднить историческое сознание и связанные с ним муки.

Как получается, что я не могу достаточно четко разделить этих двоих, несмотря на их непохожесть? Вероятно, это происходит потому, что они все-таки где-то сходятся и соединяются – к примеру, во мне. Ведь так сходятся все дисциплины – скажем, биология и физика, – там, где в атомах взаимно уничтожаются противоположности. Я не случайно выбираю это сравнение. Виго обращен к богам, а Бруно – к титанам; к лесу – один, к нижнему миру – другой.

*

Виго смотрит в мир как в книжку с картинками. Все предметы под его взглядом будто заряжаются энергией и подскакивают к нему. Однажды вечером, когда мы сидели в его саду на окраине города, он указал на араукарию:

– Мартин, вы видите в ней что-то особенное?

Перед нами был красивый экземпляр этого вида деревьев, силуэты которых придают нашему побережью оттенок суровости, но я не узрел в нем ничего необычного. Тогда Виго объяснил мне:

– Семь лет назад у нее надломилась верхушка. Вероятно, птица хотела свить там гнездо или почку изгрызло какое-нибудь насекомое. Из-за этого изъязна, нарушившего красоту, я чуть было не срубил дерево. Хорошо, что я не стал этого делать. Знаете, что случилось потом? Одна из боковых ветвей выгнулась вверх и образовала новую верхушку, словно к стволу примкнули штык. Через несколько лет и следа повреждения не осталось. Что вы на этот счет думаете?

– Я бы назвал это восстановлением внешнего облика посредством ориентации на идеальный целостный образ.

– Вижу, что вы учились у меня. Вам следует поразмыслить над тем, что такой поворот на девяносто градусов не только исправляет морфологический ущерб; сама анатомия меняется вплоть до микроструктуры, до образования рубцов – лесничий называет этот феномен *раненой древесиной*. Вы можете взглянуть на это и с генеалогической точки зрения. Когда мутовка поднимается – это как если бы боковая линия какого-то правящего семейства вдруг пришла к власти. В лесах можно обнаружить элементарные, в садах – социальные модели человеческого существования.

Потом он еще чуть подробнее остановился на моем ответе:

– Что же здесь обнаруживается? – – – Не что иное, как *внутренний врач*, о котором говорил Парацельс;

такой врач может оживить даже обезглавленное существо. Я полагаю, что уже само лицезрение подобного чуда целительно.

Я могу долго слушать Вигу, могу и долго молчать вместе с ним. Над касбой стояла луна; дерево выделялось на фоне бледного ночного неба. Его тонкие ветки были украшены круглыми шишечками, как линии нотного стана – кружочками.

*

Как Вигу хочет вывести нас за пределы истории, так же Бруно выводит за пределы науки; первый использует в качестве инструмента волю, второй – представление. Коллеги по цеху воспринимают такие идеи как регрессивные или утопические; оба моих учителя считаются людьми несерьезными. Но мне они дороги – хотя бы уже потому, что я нередко наблюдал, как мой родитель и брат за столом насмеяются над ними.

«Неисследованные моря лежат по ту сторону Гераклитовых столбов. Геродот и Гераклит – их таможенные стражи».

Такого рода сентенции, принесенные мною с семинара Вигу, мои родичи слушать не любили. Находя их недостаточно трезвыми. Однако идеализм очень далек от меня, хоть я и приносил ему жертвы. Меня же, наоборот, не удовлетворяет, что отец и брат оценивают факты по их весомости, а не по присущему им эросу. А ведь именно в нем сгущается материя, мир становится волнующим. На этом пути оба учителя вовремя оказались рядом со мной. Они дали мне то, что мой родитель не мог дать – ему не хватало любви и знания.

*

Хотя я анарх, это не значит, что моя позиция анти-авторитарна. Напротив, я нуждаюсь в авторитете, даже верю в него. А то, что ничего достойного доверия, хотя я стремлюсь к такому, мне не попадает, только усиливает мой критический настрой. Как историк, я знаю, что нынче может быть предложено.

Почему умы, которые ни с чем больше не считаются, со своей стороны все еще претендуют на что-то? Они пользуются тем, что когда-то жили *боги, отцы и поэты*. Однако эссенция этих слов истощилась, превратившись в лишенные содержания титулы.

В царстве животных имеются паразиты, которые выедают изнутри гусениц. В итоге вместо мотылька на свет появляется оса. Так и нынешние люди поступают с культурным наследием, в особенности с языком, – как фальшивомонетчики; поэтому я предпочитаю находиться на касбе, пусть и за стойкой бара.

*

«В университетах всегда существовал круг преподавателей и учеников, которые вместе и не без удовольствия наблюдали за ходом вещей в мире. Предмет наблюдений меняется, а общий настрой наблюдающих остается все тем же; он напоминает настрой сектантов, не порывающих с официальным культом – без заблуждений тут не обойтись».

Так говорит Вигу. А Бруно: «Это касается любых духовных усилий. Не следовало бы слишком на них уповать. Ибо куда они заведут в конечном счете?

Люди убеждают друг друга в несовершенстве мира. Потом посылают сигналы бедствия и зажигают огни надежды. Нет никакой разницы, очищает ли Геракл от навоза Авгиевы конюшни или какой-нибудь почтальон – свою голубятню. И расстояние до звезд не уменьшается, на какой бы цоколь человек ни взобрался».

Нечто похожее слышится человеку, когда дует ветер со стороны пустыни. Однако и эйфорические настроения тоже порой возникают.

11

– Всегда найдутся люди, говорящие лучше других.

– Ну-ну, – прокатилось по аудитории.

– Найдутся и те, кто говорит хорошо.

Беспорядок усилился. Студенты неохотно приходили на это дополнительное занятие, посещения которого требовал от них Домо: на обязательную лекцию грамматиста Тоферна.

Я же следовал этому распоряжению Домо, как и некоторым другим, без всякого принуждения; погружение в подобные темы для человека моей профессии – наслаждение. Я любопытен по натуре – для историка это необходимо. Ты – либо историк по крови, либо вечно скучающий пень.

Сен-Симон являлся ко двору не потому, что относился к числу придворных, а потому, что был историком по крови. То, что он вдобавок был и аристократом, облегчало ему задачу. Это всё роли – – – достанься ему роль камердинера, от него, вероятно, не ускользнули бы и рыбешки поинтересней, помельче. Для него как историка гораздо важней,

чем *grandes entrées*¹, оказалось знание *derrières*² – то, что он был на короткой ноге с Блуэном и Марешалем. Герцог был не только очевидцем страшной сцены в Марли вечером того дня, когда монарх потерял самообладание, потому что его любимый внебрачный сын плохо проявил себя в битве. Сен-Симон знал также разговор с банщиком, предшествовавший этой сцене.

*

Это не отклонение от темы. Я говорю о своей побочной профессии – работе ночным стюардом Эвмесвиля. В этом качестве я стал молчаливым участником разговора между Кондором и Домо; речь шла о приговоре по одному гражданскому делу. Домо велел принести из своего бюро протокол судебного заседания и зачитал вслух несколько фраз:

«Вы довольны решением».

«Здесь должен был бы стоять вопросительный знак».

Домо перечитал предложение еще раз и покачал головой: «Нет – стоит восклицательный знак... Этот парень не к месту употребил повелительное наклонение».

Он взглянул на подпись:

«И даже не копировщик – референдарий!»

*

Домо, в отличие от Кондора, не принадлежит к солдатам фортуны; он происходит из старинного рода.

¹ Привилегия входить в покои короля в определенные часы (фр.).

² Здесь: тайны, конфиденциальные сведения, закулисные секреты (фр.).

То обстоятельство, что таким семействам удастся пережить целую череду переворотов, граничит с чудом; объясняется это способностями, которые развились в порядке наследования и со временем превратились в инстинкт, – прежде всего, дипломатическим талантом. Служба при министерстве иностранных дел предлагает ряд шансов на выживание; я не хочу вдаваться в подробности. Во всяком случае: если в том собрании, которое я обслуживаю, можно вообще предположить наличие исторической субстанции, то ею наделен Домо. Однако он скорее будет скрывать ее, чем выпячивать.

Его отношение к власти можно с одинаковым основанием считать как «примитивным», так и «поздним». К первому мнению склоняется мой родитель, ко второму – мой учитель Виго. Виго прозорливее и потому знает, что одна возможность не исключает другую. Он может выразить это знание и в образной форме.

По его мнению, *примитивное* является фундаментом как отдельного человека, так и человеческих сообществ. Оно – коренная порода, на которой основывается история и которая, когда история хиреет, снова обнажается. Гумус с его флорой наслаивается на скалы и исчезает снова, неважно как – – он или иссыхает, или его смывают дожди. Тогда обнажается чистый камень; он сохраняет первобытные включения. Например: князь становится вождем, врач – знахарем, голосование – аккламацией.

Отсюда можно сделать вывод, что Кондор стоит ближе к началу, а Домо – к концу этого процесса. Здесь преобладает стихийное, там – рассудок. В истории можно найти немало таких примеров – – скажем, в отношениях между королем и канцлером

или между главнокомандующим и начальником штаба, короче: всюду, где дела распределены между характером и интеллектом или между бытием и достижениями.

*

Мой родитель – если оставаться в рамках картины, нарисованной Виго, – представляется мне человеком, который наслаждается высохшим букетом, цветами из гербария Руссо. Я могу даже отнестись к этому с академическим пониманием. Самообман старика на трибуне превращается в обман народа.

Мое участие в распрях между Домо и трибунами, напротив, является *метаисторическим*: меня занимает не животрепещущий вопрос, а модель. Я проследил в луминаре подробности приезда Руссо к Юму, вместе с недоразумениями, которые побудили Юма его пригласить. Жизнь Жан-Жака ведет от разочарования к новым разочарованиям и в конечном счете к одиночеству. Это находит отражение и в жизни его последователей – вплоть до сегодняшнего дня. И позволяет предположить, что гуманизм ущербен по своей сути. Великие мысли рождаются в сердце, говорит один старый француз; можно было бы добавить: и терпят крушение в мире.

*

Я считаю дурным историческим стилем насмехаться над заблуждениями предков, не выказывая уважения эросу, который был с ними связан. Мы, как и наши предшественники, находимся в плену духа времени; глупость переходит по наследству, мы лишь надеваем новый шутовской колпак.

Поэтому я бы не обижался на своего родителя, если бы он просто впадал в заблуждение: этого не избежать никому. Меня раздражает не заблуждение как таковое, а пережевывание затасканных фраз, которые когда-то – в качестве великих слов – привели в движение мир.

Заблуждения могут сорвать политический мир с петель; однако с ними дело обстоит как с болезнями: в период кризиса они могут многое исправить и даже исцелить – – – горячкой испытываются сердца. При обострении: это водопад с новыми энергиями; в хронической форме: прозябание, трясина. То же происходит и в Эвмесвиле: мы прозябаем – правда, только в смысле отсутствия новых идей, во всех прочих отношениях наш позор щедро вознаграждается.

Недостаток идей – или, проще говоря, богов – вызывает необъяснимую тоску, подобную туману, сквозь который не проникает солнце. Мир становится бесцветным; слово теряет субстанцию – и прежде всего там, где оно должно выходить за пределы чистого сообщения.

*

Мне приходится заниматься политической позицией Домо, поскольку она имеет значение для моих исследований. Но я должен стараться не выходить за эти рамки – к примеру, из-за личной симпатии, как должен вообще избегать любого вида засасывающей воронки.

Это не мешает мне охотно слушать, как он говорит; а удобных случаев для этого предостаточно. Когда не потчуют Желтого хана или других важных гостей, в ночном баре царит спокойная атмосфера;

часто присутствуют только Кондор с Аттилой и Домо, да еще дежурные *миньоны*.

Я сижу за стойкой бара на высоком табурете; со стороны вид у меня такой, будто я в полном параде стою наготове. Мое внимательное наблюдение за гостями является частью сервиса, я «по глазам угадываю их желания». При этом я всегда должен приятно улыбаться. Я проверяю свою улыбку в зеркале, прежде чем приступить к работе. О том, что веду записи о потреблении напитков, я уже упоминал. Обслуживанием же за столом – подачей заказанного – занимаются *миньоны*.

Я как бы наблюдаю за дичью с охотничьей вышки.

Мои слова о том, что я охотно слушаю, как говорит Домо, следует понимать прежде всего в негативном смысле: то есть мне нравится, что он не употребляет громких слов, которые сидят у меня в печенках с тех пор, как я научился самостоятельно мыслить. Впрочем, должен признать, что поначалу его манера говорить и мне казалась чересчур сухой: человек очень привыкает к стилю, заменяющему аргументы краснобайством.

Впечатление сухости производит, прежде всего, бережливость в использовании выразительных средств: минимум прилагательных, минимум придаточных предложений, больше точек, чем запятых. Отсутствуют стилистические ухищрения, и становится очевидно, что *верное* весомее *красивого*, а *необходимое* – *безупречного* с точки зрения морали. Это не столько язык, на котором ораторы обращаются к публике, чтобы навязать ей определенное настроение и затем привести к согласию, сколько речь, обращенная к кругу единомышленников, в котором согласие существует изначально. Чаще всего это

формулировки, укрепляющие Кондора в решимости осуществить что-то, чего он и без того желает.

То есть Домо говорит как человек, который знает, в чем состоит его воля, и переносит эту волю на других. «Dico»: я говорю – – «dicto»: говорю с решимостью, предписываю; «t» здесь концентрирует смысл.

Вскоре я привык к его манере говорить, как привыкаешь к какой-нибудь старой школе – например, в живописи. Все видели берег реки с деревьями, каким его воспринимали живописцы конца XIX века христианского летоисчисления: свет, движение в листе, игра обычных, переменчивых впечатлений... умение изобразить такой пейзаж со всеми деталями оттенков развивалось со времен Рубенса. Я смог хорошо проследить это с помощью луминара. Теперь представим себе другой музейный зал: с полотнами флорентийских мастеров, созданными около 1500 года, после изгнания Медичи. Воздух на картинах становится сухим и прозрачным. Неподвижны деревья, контуры их не сливаются: здесь кипарис, там пиния. Этому соответствуют и лица, и тогдашние законы, и политика.

*

Из армии испокон веку приходят все деятели, которые хвастаются, что это они вытаскивают повозку из грязи, если та застряла. Положение тогда – и для них самих тоже – становится еще опаснее. Был один переходный период, когда они формулировали идеи, которые как две капли воды походили на идеи трибунов. Нынче в Эвмесвиле это уже ни к чему. Впрочем, Домо воздерживается от циничных суждений; и это следует отнести к сильным его сторонам.

Что войсковые служаки тоже продвинут повозку ненамного дальше, чем это удавалось всем прочим, известно. Здесь у нас, кажется, с античных времен, со времен Мария и Суллы, имеет место процесс обрушения породы; во всяком случае, запасы веры, доброй воли и просто жизнелюбия давно израсходованы. Мировой дух любит неисписанные листы; как только листы заполняются письменами, они опадают сами собой.

*

Я воздерживаюсь, как уже было сказано, от проявлений симпатии, внутреннего участия. Как анарх, я должен быть свободен от этого. Что мне приходится где-то служить – неизбежно; однако я веду себя как кондотьер, который на время предоставляет свои силы в чье-то распоряжение, но при этом не чувствует себя связанным никакими внутренними обязательствами. Кроме того, служба – такая, как здесь, в ночном баре, – составляет часть моей исследовательской работы, часть практическую.

Как историк, я убежден в несовершенстве, даже в бесперспективности любого усилия. Я готов признать, что на мою точку зрения повлияло, среди прочего, ощущение пресыщенности, свойственное поздним эпохам. Каталог возможностей, кажется, исчерпан. Великие идеи из-за частого повторения обветшали; на такую приманку не выманишь даже собаку из-за печки. Если смотреть на вещи с этой точки зрения, то я веду себя – в своих рамках – так же, как любой житель Эвмесвиля. Здесь ради идей больше не выходят на улицы; беспорядки случаются, только если подорожает на хеллер хлеб или вино либо во время состязаний гонщиков.

*

Как историк, я настроен скептически, как анарх, всегда стараюсь быть начеку. Это идет на пользу моему душевному здоровью и даже чувству юмора. Таким образом я сохраняю доставшуюся мне собственность – разумеется, не только для себя как Единственного. Моя личная свобода – это дополнительный выигрыш. Сверх того, я всегда нахожусь в готовности для Великой встречи – для *вторжения Абсолюта во временную длительность*. Там, где такое происходит, история и наука кончаются.

*

Я сказал, что речь Домо нравится мне больше, чем речь моего родителя, но справедливость такого высказывания относительна. Язык Домо конкретнее, однако – по сравнению, например, с языком Аттилы – он напоминает дерево, лишенное листьев. Ты видишь отходящие от ствола ветви, голый каркас, который – не могу этого не признать – указывает на наличие корней. Корневая система как бы отражается в безлиственной кроне. Сразу чувствуется: есть некая глубина, откуда в язык поднимается логика – – – я имею в виду не ту логику, которой обучают здесь в Эвмесвиле, а ту, которая лежит в основании Универсума и, поднимаясь во все разветвления его кроны, снова и снова заставляет мировое древо тянуться вверх.

*

«Кто не умеет говорить, не вправе быть судьей» – такую сентенцию я часто слышал от Домо. Поэтому

меня и не удивило, что его рассердили грубые ошибки в упомянутом выше приговоре. Непосредственное следствие: он предписал студентам юридического факультета в обязательном порядке посещать лекции Тоферна. Этот профессор считается нашим лучшим грамматистом.

12

Итак, Тоферн, чьи вводные слова – о качественных различиях между разными типами говорения – возбудили в аудитории недовольство, предпринял затем своего рода диверсию, снискавшую одобрение студентов и развеселившую их:

– Вчера ночью, сидя в «Синем яйце» и даже в мыслях не имея ничего дурного...

Тут надо заметить, в Эвмесвиле нет недостатка в сомнительных кабаках. Население обеспечено удовольствиями на любой вкус, сколь бы причудливым он ни был. Объясняется это либеральными взглядами Домо – позицией, которую поддерживает и Кондор. «Каждому свое» – у нас это изречение толкуется в самом широком смысле.

Домо говорил:

«То, что человек вытворяет в постели или даже на конюшне, – его дело; мы в такие вещи не вмешиваемся. *Bien manger, bien boire, bien foutre*¹ – одобряя все это, мы избавляем полицию и суды от огромной работы. И можем сосредоточиться на борьбе с закоренелыми уголовниками, сумасшедшими, а также борцами за лучшее будущее, которые опаснее всех.

¹ Хорошо поесть, хорошо попить, хорошо заняться любовью (фр.).

Наши люди в Эвмесвиле не стремятся к какому-то лучшему будущему – они хотят хорошо жить уже сегодня. Они не желают слушать звон монет, предпочитая иметь их в своем кошельке. Синица в руке для них лучше журавля в небе. А мы можем предложить им не только синицу, но и курицу в суповой кастрюле».

Как мой родитель опирается на идеи, так Домо – на факты. В этом заключается разница между либерализмом и либеральностью. Будучи историком, я должен заметить по этому поводу: все хорошо в свое время. Методика Домо имеет предпосылкой наше феллахоидное состояние. Великие идеи, ради которых когда-то миллионы людей готовы были идти на смерть, израсходованы. Различия в большой мере исчезли: обрезанные и необрезанные, белые, желтые и негры, богатые и бедные уже не воспринимаются в своих качествах так серьезно. На улицу люди выходят лишь тогда, когда не сходится денежный баланс, или во время карнавала. В общем и целом каждый здесь может делать, что пожелает, и вести себя так, как хочет.

Кондор, хоть он и тиран, ходит и по рынку, и в гавани – правда, сопровождаемый не выделяющимися в толпе охранниками – как равный среди равных. Он любит заговаривать со встречными:

– Карим, старина, ты по-прежнему на ногах – – – полагаю, ты еще способен дать жару?

Эти слова обращены к *раису*, добытчику тунцов, седобородому старцу, которому вот-вот стукнет восемьдесят. И тот отвечает:

– Кондор, ты имеешь в виду *на неделе* или *ночью*?

*

«Синее яйцо» – это кабак, который предпочитают распутники и уголовники. О новостях, касающихся *bas-fonds*¹, Домо информируют соглядатаи. Профессия эта рискованная. Не проходит и месяца, чтобы ночной патруль не подобрал в окрестностях упомянутого заведения труп какого-нибудь информанта, заколотого кинжалом.

Разумеется, упоминание Тоферном этого кабака, которого стараются избегать даже тертые сутенеры, было встречено взрывом веселья. Оказалось, наш профессор в самом деле отправился туда, чтобы послушать, как там обсуждается очередное убийство с помощью кинжала. Действительно, собравшиеся в кабаке мошенники разбирали между собой этот случай. Поскольку им чаще приходится работать ночами, чем днем, они иногда по утрам отправляются в суд и слушают судебные разбирательства. Это для них и занимательно, и поучительно.

Здесь, в «Синем яйце», они обсуждали дело по обвинению в убийстве, обстоятельства которого были весьма туманны. Жертвой оказался некий торговец опиумом; власти терпят такого рода промысел, однако занятие это не лишено риска. Терпимость вообще относится у нас к главным управленческим принципам: существует масса вещей, заниматься которыми не разрешается, однако винного вряд ли будут преследовать; получается так, что края *легальной сферы* словно погружены в полумрак, что соответствует сновидческой атмосфере нашего города.

В этом промежуточном царстве обложения данью тоже не ограничены. Что выгодно как для касбы, так

¹ Подонки общества, дно (фр.).

и для живущих в подполье. Время от времени случаются и неприятные инциденты, не столько из-за мака, сколько из-за конопля: ведь мак притупляет все чувства, а конопля возбуждает. То какой-нибудь одержимый носится по улицам с ножом в руке; то студентка сгорает в постели... И когда после этого Домо вызывает к себе одного из оптовых торговцев, чтобы воззвать к его совести, мажордому не приходится тратить много слов, чтобы убедить вызванного совершить акт благотворительности; а такие пожертвования тоже не оставляют следов.

Но и преступный мир взимает свою мзду. Торговцы, уличные разносчики товара и кабатчики особенно часто становятся жертвами вымогателей и вынуждены как-то договариваться с преступниками. Они платят им регулярную дань и воспринимают это как необходимую статью расходов; такие сделки тоже не оставляют следов.

В данном случае торговец имел неосторожность довести конфликт с преступниками до пробы сил, к которой он не был готов. Дело приняло обычный оборот: после писем с угрозами перед его дверью оставили ананас, потом изрешетили пулями его телохранителя и, наконец, обложили его со всех сторон, как крысы. Наступило самое время бежать из Эвмесвиля; торговец даже успел добраться до корабля, готового к отплытию из гавани. Торговец, вероятно, собирался укрыться у Желтого хана, на защиту которого слишком сильно рассчитывал.

С крысами, однако, шутить не стоит: уж если они начали кого-то преследовать и учуяли поживу, ими овладевает алчная страсть. Когда торговец поднимался по забортному трапу, с одного из погрузочных кранов сорвался ящик, пролетевший на

волосок от него. Ящик был таким тяжелым, что пробил насквозь лестницу. Торговец же невредимым добрался до своей каюты – *camera di lusso*¹ с ванной и гостиной.

Когда чуть позднее *facchino*² внес в каюту багаж, он обнаружил перед зеркалом в уборной безжизненное тело пассажира. Судовой врач, находившийся уже на борту, мог лишь констатировать смерть. Паралич сердца – очевидно, волнение было слишком сильным, как когда-то у всадника на Боденском озере.

Ни один моряк не потерпит присутствия на борту трупа. В данном случае еще оставалось время, чтобы избавиться от него. Составив свидетельство о смерти, врач вместе с носильщиками вернулся в каюту, чтобы проследить за транспортировкой. Покойник лежал на кровати, голый до пояса. Таким он и был, когда некоторое время назад врач осматривал тело. Поэтому врач мог бы заявить под присягой, что тогда в левую часть груди еще не был воткнут стилет. Теперь же из груди торчала его рукоятка.

Удар был нанесен с профессиональной уверенностью, и притом – в короткий промежуток времени между обследованием трупа и приходом носильщиков, которым предстояло этот труп вынести. Ни капли крови не вытекло: клинок пронзил мертвое сердце. Это подтвердило вскрытие, на котором присутствовал и Аттила. Потому-то я уже знал о случившемся – из разговоров в ночном баре.

На борт поднялась полиция; возникла досадная задержка. Были допрошены пассажиры и команда,

¹ Каюта-люкс (ит.).

² Носильщик (ит.).

как и вообще каждый, кто в тот момент находился на палубе и под палубой. Внимание обратил на себя *facchino*, который, похоже, знал больше, чем признавался, – хотя к преступлению, очевидно, никакого отношения не имел.

Простолюдины, когда им грозит необходимость выступить в качестве свидетеля, предпочитают – как обезьяны из храма Никко – держать глаза, рот и уши закрытыми, и не без оснований. Разумеется, полицейские на таких вещах собаку съели; клубок может быть очень запутанным, но стоит им ухватиться хоть за одну ниточку, они его размотают.

Поэтому им не понадобилось много времени, чтобы вытащить из носильщика показания. Тот сказал, что приметил шабашника. Носильщик признался в этом тем легче, что речь шла о *facchinaccio*. Так называют молодых парней, которые в суете перед отплытием пробираются на корабль, чтобы хитростью раздобыть чаевые и стибрить, что плохо лежит. Поскольку работают они без лицензии, понятно, что *facchini* относятся к ним не лучше, чем к докучливой соринке в глазу.

Показания в самом деле помогли полицейским взять горячий след: этот-то фальшивый носильщик и нанес удар – как наемный убийца. Он тенью проскользнул в сумеречную каюту, где лежал мертвый торговец, которого только что покинул врач, – и мгновенно исполнил данное ему поручение.

*

Это и было темой разговора, который Тоферн подслушал или хотел подслушать – я толком так и не понял – в «Синем яйце». Мне показалось, что о

подобном стечении обстоятельств я уже читал в каком-то романе или видел нечто похожее в одной из тех детективных пьес, которые составляют здесь главный вид развлечений, однако очень быстро забываются. Охота на человека со всеми присутствующими ей тонкостями относится к таким темам, которые никогда не теряют притягательности и беспрерывно варьируются. Иногда в луминаре я проигрываю короткие эпизоды из Питавалья и других авторов. Что же касается покушения на убийство покойника, то похожий рецепт я обнаружил у Дзя Кина, классика этого жанра. Данный сюжет относится к тем вариациям, которые постоянно возвращаются, поскольку дело касается кошмарного сна, гнетущего нас со времен Каина. Мы во сне думаем, что совершили убийство; пробуждение же возвращает нам невинность.

Но почему профессор так детально остановился на этом? Ведь он, в конце концов, вел семинар не по юриспруденции, а по филологии. Тоферн, однако, оказался на высоте той задачи, которую поставил перед ним Домо.

*

«Господа, суду пришлось рассматривать дело, в котором все было поставлено с ног на голову. Защита настаивала на оправдательном приговоре и добилась своего. Давайте же проследим за ее аргументами, разобрав значение глагола “колоть”.

Если мы допустим, что удар был нанесен торговцу при жизни и стал причиной смерти, то это без сомнения было бы убийством, что соответствовало намерению обвиняемого. Окажись удар смертельным, адвокат настаивал бы на том, чтобы ква-

лифицировать случившееся как нанесение телесных повреждений. Ни того ни другого в данном случае не было. Труп не может быть ни убит, ни – в таком смысле – поврежден. Иначе и анатома, который совершает вскрытие, следовало бы покарать.

Защитник, стало быть, доказывал, что торговец был не “заколот”, а “поколот” – то есть что имело место действие, наказание за которое в законе не предусмотрено. Сам *facchinaccio* не мог бы привести такой аргумент, превосходящий уровень его грамотности; значит, это защитник научил его так сказать.

Господа, различие между двумя приставками кажется незначительным; однако здесь вы видите пример важности его возможных последствий. Приставка “за” ведет к корням языка; это ослабленный языковой реликт.

А вот приставка “по” расширяет и обобщает, превращая, например, *ток* в “поток”. Этот слог тоже сильно ослаб и измельчал в употреблении».

Тоферн улыбнулся:

«Данное положение применимо ко многим случаям. В приставке “за” еще сохраняется суверенитет. Расстояние до Луны может вычислить каждый, кто хоть что-нибудь смыслит в тригонометрии. Он его “померил”, – – – это общее достояние, которое он делит с обществом. А вот “замерить” указанное расстояние может только он сам».

Потом профессор подробно остановился еще на одном обстоятельстве:

«Мы могли бы также допустить, что торговец подвергся нападению целой банды и последнего удара уже не почувствовал. В таком случае мы имеем дело не с продолжением действия, а с продолженным действием.

И это различие заключается не столько в непроизвольности, сколько в наказуемости. Судья должен уточнить момент совершения преступления. И если грамматических временных форм для этого недостаточно, необходимая точность будет достигнута посредством описаний».

Он привел примеры.

*

Тоферну было, видимо, важно первым делом представить нам себя – как личность, – что ему превосходно удалось. Этот зачин его лекции был задуман как введение к семинару о префиксах и представлен в форме этимологического расследования головоломной детективной истории – – – увлекательного, а для меня как историка даже захватывающего. Потом Тоферн еще подробно остановился на намерении *facchinaccio* и объяснил нам разницу между разными типами преступной воли, пользуясь классическими примерами.

Скажем: если бы торговец после укола стилетом оказался лишь мнимо мертвым, а преступник, дабы избавиться от трупа, сбросил его в море и причинил ему смерть утоплением, то перед защитником встала бы куда более сложная задача.

«К успеху тогда можно было бы прийти, сославшись на то, что преступник совершил ряд действий, соединенных между собой причинно-следственными, но не логическими связями, – действий, которые древние юристы подводили под понятие *dolus generalis*¹. Сегодня юристы облегчили себе задачу – – –

¹ Общий умысел (лат.).

волей-неволей: поскольку стало труднее отличать реальное от возможного, а возможное, в свою очередь, – от желаемого. Этому соответствует утрата некоторых глагольных форм, которая не может быть возмещена психологическими спекуляциями. Я подробнее остановлюсь на этом, когда мы подойдем к *ирреалису*».

*

Эта мысль тоже живо заинтересовала меня, правда, с других точек зрения, – ибо в Эвмесвиле мы живем в таком городе, где ничто уже не кажется *реальным* и все кажется *возможным*. Это сглаживает различия и благоприятствует нагнетанию сумеречной атмосферы, в которой явь и греза легко переходят друг в друга. Общественная жизнь уже не так серьезна; это придает диктатурам какой-то новый оттенок; не зря Виго так часто ссылается на аналогии с «Тысячей и одной ночью».

Рыбак, грузчик, красильщик не только мечтают о неслыханном в своих снах, но сон как бы самовластно от них отделяется. Между желанием и его исполнением больше нет барьера. Это напоминает ситуацию с магическим кольцом; уличный сапожник, нашедший такое кольцо, трет его, и из стены внезапно появляется демон:

– Я – слуга кольца и его обладателя... Господин, ты только прикажи, и я за ночь построю для тебя дворец, истреблю любой народ или сожгу любой город.

Так происходит в сказке... Но и в реальности целый народ уничтожается, дальневосточный город сжигается дотла. По произволу никому не ведомого торговца текстилем. Историки тщетно пытались

разобраться с такого рода материалом – он попросту никак не укладывался в привычные для них масштабы.

Бруно прав, относя подобные феномены скорее к магии, которая, достигнув определенной ступени развития, превращается в *scienza nuova*¹ и подчиняет себе науку. У техники есть подпочва. Техника начинает страшиться самой себя. Она приближается к порогу, за которым мысль реализуется непосредственно, как это происходит во сне. Недостает, кажется, лишь одного шажка; быть может, кто-то сделает этот шаг из самого сна, как из зеркала. Эвмесвиль благоприятствует этому.

Не нужно больше толкать дверь; она распахнется сама. Любое желанное место должно достигаться мгновенно. Какой угодно мир будет приходить из эфира – или, как в луминаре, из катакомб.

Это комфортная сторона дела. Тоферн считает слово «комфорт» производным от *conferto*² – «я сгущаю». Однако комфорт может стать *слишком* сгущенным, насыщенным.

*

Начиная с того введения в курс для юристов, я регулярно посещал лекции Тоферна, а также его семинар. Я встречал там немногочисленных и почти всегда одних и тех же слушателей: грамматика – мертвая наука. Потому-то в рамках изучения вымерших языков ею занимаются серьезней, чем в связи с языками нынешними.

¹ Новая ученость, новое знание, новая наука (*ит.*).

² *Conferto* – собирать, сносить в одно место, сгущать; *confertus* – густой, плотный (*лат.*).

Домо хотя и желал, чтобы юристы, дабы научиться выносить суждения, овладели языком как логическим средством, но эстетические и вообще мусические порывы были ему несвойственны, если не считать музыки.

Тирания должна придавать значение хорошему отправлению правосудия в приватной сфере. Что, с другой стороны, укрепляет ее политический авторитет. Авторитет этот основывается на равенстве, в жертву которому приносится свобода. Тирания стремится к нивелированию общества, в этом она родственна народовластию. Оба типа государственного устройства порождают сходные формы. Элиты, которые пестуют собственный язык и по нему распознают своих представителей, в государствах обоих типов воспринимаются с неприязнью, а поэты – даже с ненавистью.

Слову «пестовать» Тоферн, как грамматист, придает особое значение, и в этом я, как историк, с ним солидарен. Обязанности историка трагичны; в конечном счете ему приходится иметь дело со смертью и вечностью. Отсюда его копанье в мусоре, его кружение вокруг могил, его неутолимое стремление к источникам, его робкое вслушивание в сердцебиение времени.

Я часто спрашивал себя, что может скрываться за этим беспокойством. Мне очень понятен страх дикаря, который видит, как исчезает солнце, и боится, что оно никогда больше не вернется. На возвращение надеялся тот, кто сохранял в скальной гробнице мумию, а мы лишаем мумию ее покровов, чтобы подкрепить его – нет, нашу – надежду. Когда мы наделяем прошлое жизнью, нам выпадает счастье совершить преодолевающий время акт, кото-

рый намекает на возможность преодоления смерти. И если этот акт удастся, значит, можно себе представить, что когда-нибудь и в нас некий бог вдохнет новую жизнь.

13

«Упадок языка – не столько болезнь, сколько симптом. Симптом иссякновения живой воды мироздания. Слово еще имеет значение, но уже утратило смысл. Оно все чаще заменяется цифрами. Становится непригодным для поэзии, недейственным в молитве. Духовные наслаждения вытесняются грубыми удовольствиями».

Так говорил Тоферн. На семинаре он останавливался на этом подробнее:

«Всегда, более или менее тайно, люди радовались жаргону, книгам, которые продаются из-под полы и прочитываются в один присест. Но в какой-то момент их объявляют образцом. И тогда начинает доминировать третий тон».

Под «третьим тоном» Тоферн понимал самый низкий уровень, на котором именуются вещи и виды деятельности. Говорить о тех и других можно в возвышенном, общеупотребительном либо низменном тоне; каждый тон хорош на своем месте.

«Если употребление низменных слов становится обычным явлением в обиходной речи или тем более в поэзии, с этим, как правило, сочетается атака на возвышенное. Тот, кому нравится *жрать* и даже хвастаться этим, тем самым отмечает от себя подозрение, что в хлебе он видит чудо, воплощающееся в каждой трапезе.

Такого рода профанация стимулирует низкие формы веселья. Голова может возвыситься и стать челом (а лицо – ликом), но она может и *скорчить рожу*. Последняя вызывает веселье там, где она появляется в пандемониуме; боги тоже смеялись над Приапом. Паяц уместен в интермеццо. Овладевая сценой как *buffo assoluto*¹, он превращает ее в кривое зеркало.

На представлениях *opera comica*² я всегда видел, как несколько зрителей выходят из зала, едва начинает греметь смех. Это больше чем вопрос вкуса. Существуют такие виды коллективного удовольствия, а тем более ликования, которые свидетельствуют о непосредственно грозящей опасности. Добрые духи, столкнувшись с чем-то подобным, покидают дом. В римских цирках, прежде чем проливалась кровь, занавешивали изображения богов».

*

Время от времени я как историк имел возможность помогать Тоферну при подготовке его тем. Так, занимаясь упадком языка, он попросил меня найти материал, связанный с участием в этом процессе эвменистов.

Дела эти происходили уже довольно давно, и можно сказать, что никто этим больше не интересовался. В луминаре я, разумеется, обнаружил необозримое количество книг – даже если говорить лишь о тех, что касаются ограниченной территории нашего города. Как и в любой работе с аппаратом, главной моей задачей было ухватить ключе-

¹ Комик как главное действующее лицо (*ит.*).

² Комическая опера (*ит.*).

вые моменты. На тебя хаотично вываливается то, что когда-то двигало духом времени; и ты должен постичь исторический смысл, скрывавшийся за разрозненными мнениями и событиями.

Тот упадок языка, который имел в виду профессор, пришелся на последний период эпохи борьбы наций, уже предвещавший новые крупные объединения. Но чтобы они возникли, нужно было сперва лишить могущества региональных богов – по всему миру; то, что при этом посягнули и на бога-отца, указывало на планетарный характер смуты.

Лишить власти Отца – значит поставить под угрозу небо и великие леса; когда уходит Афродита, мутнеет море; там, где войны уже неподвластны Аресу, распространяются живодерни, а меч превращается в нож для убоя скота.

В эпоху надвигающегося конца, когда считалось похвальным содействовать гибели собственного народа, никого не удивляло, что и языку подрезают корни – прежде всего в Эвмесвиле. Утрата истории и упадок языка взаимно обуславливают друг друга; в том и другом сыграли немалую роль эвменисты. Они чувствовали себя призванными, с одной стороны, лишить языковое древо листвы, а с другой – придать авторитет воровскому жаргону. Так, *внизу* – под тем предлогом, что хотят облегчить процесс усвоения языковых норм, – они лишили народ языка, а с ним и поэзии, одновременно «украсив» *верхние ярусы* своими перекошенными рожами.

Атака на развитый язык и грамматику, на письменность и знаки составляет часть процесса примитивизации, вошедшего в историю под именем *культурная революция*. Первое Всемирное государство, еще невидимое, тогда уже отбрасывало на нас свои тени.

Что ж, теперь все это осталось позади. Нас лишили желаний и воли, зато ничто не мешает нам выносить непредвзятые суждения, если мы на такое способны. Думаю, в Эвмесвиле этой способностью обладают Виго, Бруно и Тоферн. Эти трое, при всей их непохожести, умеют вести беседу, обходясь без расхожих фраз. У нас часто возникает впечатление, что тебе отвечает не личность, а толпа. Разумеется, существуют и «возвышенные платформы», как у моего папаши, и, с другой стороны, – глубоководные плоские рыбешки, которые объединяются в секты.

Объединяет этих троих также их непосредственная укорененность в мифе, который они, в отличие от психологов, не стерилизуют и не секуляризуют. Потому они могут проверять богов на их субстанциональность. Удаляясь от времени, они приближаются к фундаментальным структурам, которые вновь и вновь повторяются в происходящем.

Виго характеризует Всемирное государство как одну из перманентных утопий, осуществить которую носителям истории удастся лишь в той или иной мере.

«Как своего рода голод, утопия эта заложена уже в естественной истории, что выражается, например, в образовании гигантских молекул. Таким молекулам, правда, ощутимее грозит распад – они, вероятно, даже являются его предзнаменованием. Чем больше государство расширяется, тем больше оно ориентируется на равенство; а равенство достигается ценой утраты субстанции».

В то же время Виго рассматривает стремление к максимальному расширению и неизбежно следую-

щий за таким расширением распад как своего рода пульсацию:

«Уже медуза передвигается, разворачивая и снова сокращая свой зонтик. Так же и в ходе истории желание максимальной величины сменяется стремлением к разъединению. Еще Бутфо знал – а мы испытали это на собственном опыте, – что Всемирное государство, достигнув кульминации, за одну ночь распадается. Левиафану положены не столько пространные, сколько временные пределы».

*

Я уже упоминал о пристрастии Виго к периодам упадка. Оно связано не столько с декадансом высокоразвитых культур, сколько с их поздней зрелостью после первых заморозков. Поэтому Афины и Фивы для моего учителя «больше», нежели мировая империя Александра, – вообще же его любовь отдана городам-государствам:

«В них кристаллизуется ландшафт, тогда как великая империя высасывает из ландшафта все соки и низводит его до уровня провинции. Малая Азия до Александра – да даже еще и при сатрапах – была сказочной страной. Геродот и даже еще Овидий дают нам представление об этом».

Впрочем, Александра, на его взгляд, с полным основанием называют Великим:

– Возможно, это величие проступило бы в более чистом виде, если б не заложило основы *чудовищного*. В Александре была больше чем историческая – в нем была божественная мощь. Потому он – одним из последних – и вошел в миф.

– А Христос?

– Тот уже не имеет отношения к мифу.

Войны диадохов в глазах Виго тоже обладали тем качеством неповторимости, единственности, которое было свойственно Александру. Они представляют собой модель участия всех великих империй. Потом Виго перешел к Эвмену – греку среди македонцев, диадоху, к которому мы оба неравнодушны. Эвмесвиль носит его имя; все прочие официальные отсылки на него суть проявления феллахоидной наглости.

– Когда великая империя распадается, как это случилось после смерти Александра, древние роды снова пытаются обособиться, ссылаясь на будто бы присущее им своеобразие. Но как раз это своеобразие они потеряли, пройдя, словно зерно, через жернова великой империи. Они сохраняют еще только свои имена – как это было с греческими городами в римскую эпоху. А вот Александрия расцветает.

Там культура уже не растворена в крови, а сосредоточена в головах. Начинается время разносторонних ученых, лексикографов, эрудитов и коллекционеров. Цена на древности и произведения искусства резко возрастает. Отголоски такой ситуации вы найдете еще в Эвмесвиле. Этот интерес похож на интерес к животному миру, усиливающийся именно в те периоды, когда животные начинают вымирать. Так же и крыши светятся именно на закате солнца.

*

Приблизительно так говорил Виго. Я цитирую по памяти и в самых общих чертах. Будучи историком, Виго видит ход мировой истории как циклический процесс, поэтому его скепсис, как и его опти-

мизм, имеет границы. Ведь в любую эпоху сыщется местечко, согретое солнцем, – даже в Эвмесвиле.

Бруно же, напротив, смотрит на мир как маг. Земля время от времени снова показывает свой тотем, тотем древней змеи, – она и сама то отбрасывает от себя отдельные члены, то вновь вбирает их. Этим объясняется феномен Всемирного государства, исчезновение культур, вымирание животных, возникновение монокультур и распространение пустынь, увеличение частотности землетрясений и плутонических извержений, а также возвращение титанов. Возвращение, например, Атланта, который воплощал единство Матери, Антея, воплощавшего ее силу, и Прометея, унаследовавшего ее хитрость.

С этим соединяется богоборчество. Возвратились те, кто некогда столкнул Отца с трона, – только роль алмазного серпа, которым они тогда его оскопили, теперь приняли на себя разум и наука. Бруно указывал на inferнальный характер техники, на ее пищу из руды и огня, на плутонический блеск ее ландшафтов.

Змея, мол, опять обрела могущество: это родовые схватки. В Эвмесвиле же люди живут, словно на каком-нибудь острове или в руине потерпевшего крушение судна, – как долго это может продолжаться? Над богами теперь насмеются даже школьники. А почему бы и нет? Скоро у них будут новые куклы, запас кукол неизмеримо велик. Так зачем нужны боги? Предстоят всякие неожиданности...

Бруно имеет доступ к катакомбам, и по части знания истинных сил его можно сравнить даже не с Виго, а с Аттилой, который неоднократно бывал в лесах.

Бруно удалился с поля истории решительнее, чем Виго; поэтому одному из них я больше доверяю, когда речь заходит о ретроспективе, а другому – когда пытаюсь определить перспективы на будущее. Как анарх, я решил ни во что не вмешиваться, ничего в конечном счете не воспринимать всерьез – – разумеется, сказанное не следует понимать в нигилистическом смысле; скорее я ощущаю себя стражем на границе, который оттачивает зрение и слух, прогуливаясь по нейтральной полосе между приливами и отливами времени.

Поэтому на *Возвращение* я тоже не могу полагаться. Упование на него – последнее прибежище консерватора, утратившего надежду в политическом и религиозном смысле. Тысяча лет тогда становится для него самой мелкой монетой; он делает ставку на космические циклы. Мол, в один прекрасный день явится Параклет¹, из горы выйдет заколдованный император.

Однако и в такой ситуации все еще есть *истечение*, все еще есть время. Временное возвращается, заставляя даже богов работать на себя, – потому и не должно быть Вечного возвращения; это парадокс – но Вечного возвращения нет. Уж лучше *Возвращение Вечного*: оно может произойти лишь однажды – и тогда время вытянется в прямую линию.

Так я *выходил из себя* в саду Виго, когда над касбой стояла луна.

¹ Параклет (от гр. Παράκλητος, «призванный») – человек, которого призывают на помощь, для утешения.

– Смотри-ка, – проговорил он, – мы обнаружили твое больное место.

Это мне-то, чье тело состоит из сплошных ран.

Мысль о Вечном возвращении – это мысль рыбы, которая хочет выпрыгнуть из сковороды. Рыба, коли ей удастся задуманное, упадет на раскаленную плиту.

*

Тоферн прежде всего ощущает потерю. Его страдание – это страдание мусического человека, живущего в немусическое время. Он знает ценности, а также меру; тем более глубоким оказывается его разочарование, когда он пытается приложить их к современности. Предполагаю, что изначально им двигало влечение к поэзии, однако шанса выразить это влечение ему не представилось. В лишенном богов пространстве он похож на рыбу, которая еще продолжает шевелить жабрами, после того как прилив выбросил ее на утес; однако то, что в родной стихии было для рыбы радостью, превращается теперь в пытку. Время рыб миновало.

Мне как историку эта боль слишком хорошо знакома. В нашем цеху есть знаменитые произведения, которые выросли из нее. Сюда прибавляется ощущение, что ты находишься в пустыне. В ее безвоздушном пространстве все структуры придвигаются ближе, кажутся сверхреальными. Возбуждающий наркотик, предошущение смерти – вот что такое чары Медного города.

Тот, кто с почтением вскрывает могилы, обнаруживает там больше, чем гниль, и даже больше, чем радости и страдания минувших эпох. Этим и объясняется, что историк страдает меньше, чем поэт,

которому никакое знание не приносит пользы. Поэту покинутые дворцы уже не предлагают приюта.

*

Я бы охотно присоединился к Тоферну, как присоединился к двум другим моим учителям, однако вскоре увидел, что это невозможно. У него чрезвычайная боязнь соприкосновений. Он избегает даже солнца; юристы называли его «бледнолицым».

Принимая по должности какого-нибудь слушателя, он старается не подавать ему руку и посылает на место в самом дальнем углу. Кисти рук у него воспалены от частых умываний, во время которых он обрабатывает их щеточкой.

Кажется удивительным, что он все-таки стал профессором. Историю он изучал как побочную специальность, и Виго рассказал, что проэкзаменовать его удалось, только прибегнув к хитрости. Виго посадил Тоферна к себе в машину и вовлек в разговор, но как только тот догадался, о чем в действительности идет речь, он выпрыгнул из машины и при этом поранился. Тем не менее экзамен он выдержал.

Подобные страхи возникают из-за его чувствительности – у него будто нет кожи, – которая, с другой стороны, делает его восприимчивым к самым тонким оттенкам. Истинное наслаждение – принимать участие в одной из тех экзегез, посредством которых он раскрывает тело стихотворения, бережно следует за его движением, нащупывает биение пульса. Он никогда не объясняет, почему стихотворение благозвучно, однако цитирует его так, словно пригласил войти самого поэта.

Каждая лекция Тоферна одновременно сдержанна и страстна, она прерывается паузами, захватывающими еще глубже, чем слово. Устоять перед его обаянием не могли даже юристы. Он скандирует пальцами, слегка отмеряя такт рукою. Когда возможно, он добывает себе рукопись или просит сделать ее светокопию в луминаре. Я наблюдал, что он, хотя и с листом в руке, цитирует только по памяти – ему важно создать ощущение присутствия поэта. Магическая черта, которая порадовала Бруно, когда я рассказал ему о ней.

С другой стороны, языковое чутье приносит Тоферну больше страданий, чем удовольствий. Его даже в беглой беседе коробят – как панибратский афронт – погрешности, которых никто, кроме него, не замечает.

Поразительна при всем том уверенность его речи, когда он говорит *ex cathedra*¹. В таких случаях он призывает на помощь иронию – классическое оружие побежденных.

*

Вот несколько слов о моих учителях, с которыми я ощущаю бóльшую близость, чем с собственным отцом, поскольку предпочитаю духовное родство родству по крови. Наверное, было бы прекрасно, если бы то и другое совпало: «сердце и душа», как говорили в старину; тогда слово «душа» еще употреблялось как синоним «духа». Да только и брат мне чужой.

Я уже упоминал, что ничего не имею против авторитета, но нельзя сказать, что я слепо верю в авто-

¹ С кафедры (лат.).

ритет. Я скорее испытываю в нем потребность, ибо имею некое представление о величии. Поэтому я, хотя и не без скепсиса, остаюсь в этом смысле верным первому выбранному мною комплекту наставников.

Справедливости ради не хочу умолчать и о том, что я многим обязан слоям, которые можно было бы назвать *гумусом воспитания*. Есть некий эрос обучения – привилегия простых умов. Знания у них отрывочные, но они получают их и раздают, как если бы это был хлеб. Показать что-нибудь ребенку – например, часы – и объяснить, как движутся стрелки: это доставляет им такую радость, как если бы они подняли штору или начертили на белом листе бумаги круг. Здесь явно присутствует волшебство.

ОТМЕЖЕВАНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

14

Дни на касбе проходят довольно однообразно. Я почти не различаю службу и свободное время. Первое мне так же любо, как и второе. Это соответствует моему принципу, согласно которому пустого времени быть не должно, ни одной минуты без духовного напряжения и наблюдательности. Тот, кому удастся вести жизнь как игру, найдет мед в крапиве и в болиголове; даже недоразумения и опасности доставляют ему наслаждение.

Отчего появляется ощущение постоянного отпуска? Пожалуй, оттого, что духовная личность не стесняет личность физическую и наблюдает за ее игрой. Далеко в стороне от любой иерархии она наслаждается гармонией покоя и движения, неуязвимости и высокой чувствительности – – – иной раз даже гармонией авторства. Она пишет текст на чистой странице и так преодолевает судьбу; мир благодаря письменности изменяется. Это единство танца и мелодии.

*

С другой стороны, я постоянно пребываю на службе. Это касается не только моего умственного участия во всем, что происходит на касбе и в ночном баре, но и тех повседневных банальностей, что предписаны моей служебной инструкцией. Здесь нет ничего осо-

бенного: к постоянной готовности обязывают многие профессии – прежде всего, если они связаны с опасностью.

Состояние постоянной готовности предполагает, что *может* произойти что-то, – – – то есть является такой формой службы, при которой не происходит ничего или мало что происходит. Но уж если что-то случится, понадобятся все руки. Это напоминает меры предосторожности на случай пожара или морской катастрофы. Учебная тревога в начале плавания устраивается для того, чтобы каждый знал свою задачу и свою спасательную шлюпку. Каждый, когда его разбудит сирена, должен найти шлюпку автоматически, как находит свой дом лунатик.

Так и на касбе: в каждом квартале проводятся учения на случай внутренних беспорядков. Это не более чем вооруженная прогулка – в остальном же я свободно располагаю дневным временем, а довольно часто бываю свободен и ночью, ибо Кондору не всегда хочется после кают-компаний идти еще в бар. А там он тоже не всегда надолго засиживается, часто ему хватает чашки турецкого кофе, бокала шампанского или рюмки дижестива. Я вряд ли должен подчеркивать, что меня больше всего устраивают именно те ночи, когда гости пьют долго и предпочитают крепкие напитки.

Иногда может пройти неделя, прежде чем я надену свою пилотку. Жизнь как в Стране лентяев, стало быть, – по крайней мере, с точки зрения большинства; а для меня – еще более притягательная благодаря связанным с ней духовным наслаждениям.

*

«Вот тут и видно дьявольское копыто». Так глаголет мой братец, который, как и родитель, считает, что мне, доценту, не пристало заниматься такими делами. На его взгляд, я прислуживаю сибаритствующему тирану и помогаю ему угнетать подданных. «Человек, который стреляет в народ – да к тому же без особой надобности. Старый Иосия переворачивается в могиле».

Этот добрый человек забывает, что я уже не раз разгонял грозовые тучи, сгущавшиеся над ним и стариком, когда они, по причине своей пронырливости, отваживались немного высунуться. И при чем здесь дьявол – во времена, когда любое движение удастся лишь по кривой? Мы играем в шахматы на искривленных досках. Если его бонзы, в чем я не сомневаюсь, в один прекрасный день свергнут Кондора, Эвмесвиль вновь отпразднует *liberatione*¹, то есть переход от зримого насилия к анонимному. Солдаты и демагоги с давних пор периодически сменяют друг друга.

Хотя я часто занимался этим в луминаре, мне кажется, что нашей науке не удалось четко определить разницу между типами тирана, деспота и демагога. Понятия эти сливаются, и разделить их трудно, поскольку они отражают укорененную глубоко в человеке установку, которая лишь варьируется в разных индивидах. На практике это проявляется в том, что поначалу люди с ликованием приветствуют любого, кто «захватил власть».

Человек от рождения склонен к насилию, обездыхивает его общество. Если же ему тем не менее удастся сбросить эти оковы, он может рассчитывать на

¹ Освобождение (лат.).

одобрение, ибо каждый узнает в нем себя. Глубоко укорененные в плоти, можно сказать, погребенные в ней мечты реализуются. *Бездержное* отбрасывает волшебный ореол даже на преступление, которое не случайно составляет преобладающий компонент в развлечениях жителей Эвмесвиля. Я как анарх – то есть человек не безучастный, но по своему усмотрению выбирающий, в чем ему принимать участие, – могу это понять. Свобода имеет широкую шкалу, и граней у нее больше, чем у бриллианта.

*

Этой частью своих исследований я занимался специально для того, чтобы отчетливо представить себе положение Кондора. Я изучал с помощью луминара множество феноменов и эпох, для которых они были характерны: греческие города, в особенности находившиеся на Сицилии, малоазийские сатрапии, позднеримских и византийских цезарей, города-государства эпохи Ренессанса. Я по собственному почину, а также по поручению Виго все снова и снова обращался к Флоренции и Венеции, затем – к очень коротким и кровавым восстаниям охлоса, к ночам топоров и длинных ножей и, наконец, – к продолжительным диктатурам пролетариата, со всеми их «задними планами» и оттенками.

Проводя дни и ночи у луминара, попадаешь в подобие лабиринта, в котором я боюсь потеряться; жизнь для таких блужданий слишком коротка. Но как безмерно растягиваются время и времена, когда ты через узкие воротаходишь в них. Это зачаровывает; и никакие наркотики не требуются – разве что бокал, который я держу в руке.

Возьмем, к примеру, «Хронику Перуджи» Матараццо, историю одного города среди многих других, в одной из многих стран, – я *цитирую*, среди прочего, этрусские ворота, кафедру, созданную Пизано, представителей клана Бальоне, Пьетро Перуджино, двенадцатилетнего Рафаэля. Уже эта небольшая выборка уводит в безбрежное – и так происходит с каждым источником, за какую бы узловую точку предания я ни схватился. Я ощущаю потрескивание, потом свечение: это и есть исторический заряд с его несокрушимой и неделимой силой. Друзья и враги, преступники и их жертвы внесли в него самое лучшее, что имели.

Настоящее, полноценно расходуемое время – это время, которое я провожу перед луминаром, будь то на касбе или внизу, в институте Виго. Такой настрой переносится и на мою службу здесь наверху, и на мои хождения в город. Сказанное не означает, что я – на эпигонский манер – живу только литературными памятниками; я вижу современность даже острее, чем другие, – – – как человек, который поднимает взгляд от ковра, на котором он совершал молитву. Звенья цепочки – дар столетий, застежка – дар сегодняшнего дня. Понимание этого позволяет смотреть на близкое с некоторой дистанции; личности и факты обретают фон. Их тогда легче переносить.

*

Итак, к какому типу мне следует отнести Кондора? К тиранам, вне всякого сомнения, – но этим еще не все сказано. Принято считать, что *тираны* находят наилучшую питательную среду на Западе, а *деспоты* – на Востоке. Неограниченную власть имеют

и те и другие, однако тиран скорее следует определенным правилам, а деспот – собственным прихотям. Поэтому тирании могут легче передаваться по наследству, хотя даже в самом благоприятном случае линия продолжается лишь до внука. Личная охрана у тирана тоже надежнее, равно как и собственный сын. Ликофрон, сын Периандра, несмотря на серьезные разногласия, восстает против отца лишь в духовном плане, а не с применением силы.

Если исходить из классической схемы, Кондора нельзя отнести к древним тиранам, которые пришли к власти в борьбе с аристократией или в результате цареубийства. В Эвмесвиле об этом уже давным-давно не может идти и речи. Прежние тираны, как «смесители человеков», разумеется, выполнили подготовительную работу, не только посредством уничтожения элит и выравнивания демоса до уровня массы, но и посредством депортаций и заполнения возникающих пустот иностранными наемниками и рабочими. Это от десятилетия к десятилетию уменьшает внутреннее сопротивление, коль скоро оно проявляется качественно. Перевоороты приобретают хронический характер, да только они уже ничего не меняют. Типы властителей, следующие один за другим, похожи друг на друга, прежде всего силой воли. Они используют одни и те же громкие слова – как фейерверк, маскирующий боевые выстрелы.

Кондор, однако – несмотря на некоторые присущие ему черты южноамериканского диктатора, – напоминает древних тиранов тем, что обладает вкусом. Как солдат, он читал мало; теперь он пытается восполнить этот пробел и охотно видит на каске художников и философов, а также ученых и интеллигентных ремесленников. Я извлек пользу из этой

его склонности, когда он оборудовал для меня дорогостоящий люминар.

Признаюсь: нередко по вечерам я наслаждаюсь созвучием того, что происходит в нашем ночном баре, с жизнью – при древних властителях – Сикиона, Коринфа и Самоса, но прежде всего Сиракуз. Переплетение всего и вся, принявшее мировые масштабы, имеет своим следствием, среди прочего, и то, что появляются «солитеры», то есть таланты, которые не привязаны к определенному ландшафту или традиции. Они, точно «одинокие вершины», возвышаются над равниной. Так, правда, не может образоваться стиль. Потому что нет объединяющего такие таланты места, нет обмена среди равных, стоящих на более высокой ступени, нет пестрого портика с колоннами, нет ателье мастера. Порой кажется, будто плоскостное напряжение разрядилось шаровой молнией.

Уже не привязанный к определенному месту и времени, значимый индивид свободен в своих передвижениях. Крупные и мелкие властители стараются приковать его к себе; они его *присваивают*. Желтому хану больше нравятся планирующие умы, архитекторы для азиатских резиденций, его партнеру по игре – художники и метафизики. Таких, правда, в Эвмесвиле видишь не постоянно, а лишь как редких гостей, попадающих к нам проездом. Мне, однако, хватает и того, что я слушаю разговоры между Кондором, Аттилой и Домо. Впрочем, и от *миньонов*, когда к ним обращаются с вопросом, можно услышать поразительные ответы. Я имею в виду тех гладковолосых пажей, чьи профили словно вырезаны в карнеоле. Позднее эти мальчишки нередко попадают на высокие должности.

Поздний диадок, стало быть? Мы не зря живем в Эвмесвиле. Один историк сказал об Эвмене, что из всех необходимых для диадоха свойств ему не доставало лишь подлости; то же относится и к Кондору. А еще ему не хватает жестокости; он даже испытывает к ней отвращение.

Однако я спрашиваю себя, почему бы мне не выбрать более удовлетворительное сравнение. Виной тому, должно быть, разжижение – как когда вновь и вновь заваривают чай, подливая кипяток ко все той же заварке. Мы живем за счет органической субстанции, которая уже в большой мере израсходована. Ужас ранних мифов, Микены, Персеполь, древние и более молодые тирании, диадохи и эпигоны, упадок Западной Римской и потом Восточной Римской империй, князья эпохи Ренессанса и конкистадоры, сверх того экзотическая палитра от Дагомеи до ацтеков – – – кажется, будто все мотивы уже использованы, их не хватает ни для деяний, ни для злодеяний – они годятся самое большее для блеклых отголосков.

Как историк, я умею не поддаваться такому пессимизму, поскольку передвигаясь в истории словно по залу с картинами, окруженный шедеврами – – – они хорошо знакомы мне по моим исследованиям. Но лишь освободившись от всякого рода привязанностей, я постигаю их ранг. Я ухватываю человеческое качество глубоко под живописными слоями: в Каине и Авеле, в князе, как и в грузчике.

Итак, я всегда нахожусь при исполнении служебных обязанностей – как на касбе, так и в городе. Если бы я целиком и полностью вернулся к преподавательской деятельности, мне бы пришлось отказаться от обязанностей здесь наверху, но я в любом случае считаю себя «сочувствующим» власти и как таковой известен не только Кондору и его штабу, но и его противникам. Я вынужден с этим считаться, хотя, как уже говорилось, мое сочувствие имеет свои границы.

Я имею обыкновение делать различие между тем, что думают обо мне другие, и собственной самооценкой. Другие определяют мой социальный статус, который я – опять же, конечно, в известных границах – воспринимаю серьезно. И я им доволен. Этим я отличаюсь от большинства жителей Эвмесвиля, которые не довольны ни тем, что они получают, ни тем, что собой представляют.

С не меньшими основаниями я мог бы сказать, что я *не* доволен своим положением и *не* принимаю его всерьез. Это касалось бы тогда положения нашего города как такового, отсутствия в нем некоего центра, который только и может придавать смысл обязательствам, сопряженным со всякой должностью, и всякому вообще роду деятельности. Здесь же больше не ценят ни клятву, ни жертвоприношение.

Тем не менее там, где возможно все, ты и себе можешь все позволить. Я анарх – и не потому, что презираю авторитет, а потому, что нуждаюсь в нем. Следовательно, я не неверующий, а человек, ищущий то, что достойно веры. Я себя чувствую как невеста, сидящая в своей комнате: она чутко прислушивается, чтобы уловить даже самые тихие шаги.

Мои притязания – хоть и не вполне, но в значительной мере – основываются на полученном мною образовании: я историк и как таковой знаю, чего можно ожидать от идей, живописных полотен, мелодий, архитектурных сооружений и человеческих характеров.

*

Мое сегодняшнее положение – это положение техника на предприятии по сносу зданий, специалиста, который работает с чистой совестью, поскольку знает, что замки и соборы, да даже и старые бюргерские дома давным-давно снесены. Я – лесоруб в лесах с тридцатилетним оборотом рубки; если хоть один режим продержится так долго, он может считать, что ему повезло.

Лучшее, чего мы вправе ожидать, это скромная легальность – о легитимности не может быть и речи. Гербы лишились своих инсигний или заменены флагами. Дело, впрочем, не в том, что я жду, как Шатобриан, возвращения вспять или, как Бутфо, – циклического повторения; пусть этим занимаются, в политическом аспекте, консерваторы, а в аспекте космическом – астрологи. Нет, я надеюсь на *равноценное* этому, даже на *более сильное*, – и не только в человеческой области. Нагльфар уже выдвинулся на поддающуюся расчетам позицию.

*

То, что я смотрю на себя с известным юмором, когда читаю лекции перед аудиторией, которая клюет только на самую примитивную однодневную наживку, – неизбежно. Змея здесь превращается

в дождевого червя. Ощущение уместности того, что я делаю, скорее возникает тогда, когда я в форме стюарда обслуживаю Кондора и его гостей.

Итак, свои дела я воспринимаю серьезно в пределах некоего целого, которое из-за его убожества отвергаю. Важно, что отрицание это касается именно целого, а не его части – консервативной, реакционной, либеральной, ироничной или какой-то иной, поддающейся социальному определению позиции. От смены слоев в условиях гражданской войны с ее постоянно ужесточающимися требованиями следует держаться подальше.

Учитывая все это, я, конечно, могу воспринимать всерьез то, чем здесь занимаюсь. Я знаю, что *подстилающая порода* сдвигается, как, например, при оползне или лавине, – но именно поэтому соотношения верхних слоев, в их частностях, остаются ненарушенными. Я косо лежу на некоей покосившейся поверхности. Дистанции между людьми не меняются. На обманчивой почве я вижу их даже отчетливее. То, что люди так упорно удерживаются на краю бездны, даже вызывает мое сочувствие.

Иногда я вижу их так, словно брожу по улицам Помпей незадолго до извержения Везувия. Это – наслаждение для историка и, в еще большей степени, его боль. Когда мы видим, как человек делает что-то в последний раз, пусть даже всего лишь съедает кусок хлеба, это действие поразительным образом обретает в наших глазах глубину. Мы принимаем участие в преображении *эфемерного* в *сакральное*. Мы догадываемся, что в какие-то времена такое зрелище было повседневным.

*

Итак, я лишь присутствую при происходящем, как если бы Эвмесвилл был моим сном, игрой или даже экспериментом. Это не исключает внутреннего участия, какое мы испытываем, когда в театре нас захватывает игра актеров.

Вследствие такого взгляда на вещи я охотней общаюсь с Виго и Бруно, чем со своим родителем и братцем. Будь я похож на них, я бы выбрал себе занятие, никоим образом меня не интересующее, как бы я на него ни смотрел – сверху, снизу, справа или слева.

Тогда Кондор не только фактически, но и с нравственной точки зрения был бы для меня «тираном». А тиранов должно ненавидеть, следовательно, я бы его ненавидел. Или же: он бы в моих глазах воплощал волю к власти, восхваляемую Бутфо: мне бы казалось, что он, как прославленный капитан, ведет свой корабль по бурным волнам борьбы за существование. Тогда бы он стал для меня образцом, и я бы следовал за ним без раздумий, я бы им восторгался. Что бы там ни было: от того и другого чувства я намерен воздерживаться.

Когда я рассматриваю нас *en famille*¹ как историк, мне кажется, что я обитаю этажом выше отца и братца: в помещениях, где живет непринужденнее. В любое время я мог бы спуститься вниз. Это был бы спуск от историка к политику – изменение, которое могло бы иметь благие и даже благородные мотивы, однако в любом случае было бы связано с утратой свободы.

*

¹ В (узком) семейном кругу (фр.).

Такова роль анарха, который со всех сторон свободен, однако сам может повернуться в любую сторону: как посетитель, сидящий на веранде одного из тех знаменитых кафе, названия которых вошли в литературу. Я представляю себе анарха таким, каким его мог бы изобразить Мане, один из старых живописцев: с темной, коротко подстриженной бородой, в круглой шляпе, в руке сигара, лицо расслабленно-сосредоточенное – – то есть человек спокойный и вместе с тем наблюдательный, довольный собой и окружающим миром.

В ту пору была, видимо, возможна бóльшая личная свобода... Кафе находится поблизости от дома, мимо проходят известные современники – – министры, депутаты, офицеры, художники, адвокаты. Кельнеры во внутреннем помещении начинают накрывать столы для вечерних гостей; входит продавец с корзинами устриц, подтягиваются первые проститутки.

*Ambiance*¹: в эти часы большие города начинают грезить; ночь набрасывает на них свое покрывало. Наш гость видит знакомых и незнакомых, которые побуждают его вступить в разговор, решить какое-то дело, чем-то развлечься. Только, сколько б их ни проходило мимо, он от общения отказывается. То есть отказывается разменивать сокровище, которое в нем накапливается, на мелкие монеты. Сам вид этих людей трогает его больше, чем их бранные личности. Будь он живописцем, он сохранил бы это в себе и потом выпустил на свободу в каком-нибудь шедевре. Будь он поэтом, он мог бы вновь оживить это настроение для себя и других: гармонию людей

¹ Окружение, среда, атмосфера, обстановка (фр.).

и домов, затухание красок и пробуждение звуков по мере наступления ночи. Все перетекает одно в другое и сплавляется воедино.

*Tout, jusqu'au souvenir, tout s'envole, tout fuit
Et on est seul avec Paris, l'onde et la nuit¹.*

Как всякое наслаждение, и это тоже усиливается благодаря воздержанию. Способность ощущать, а вместе с нею и сами ощущения обостряются до внушающего тревогу чутья. Незримая гармония все больше и больше – до ослепления – вливается в гармонию зримую. Гость в любой момент мог бы войти в реальность. Если же он отказывается от нее и упорствует в нежелании, это значит, что сверхчувственный жених еще не удовлетворен предлагаемым. Теперь фигуры выгибаются во все более сильных родовых схватках; они хотят быть узванными.

Скала ждет своего Моисея, чей посох должен ее коснуться.

16

А как же тогда с пресловутым *дьявольским копытом*? Отец и брат подразумевают под ним мою службу, особенно в периоды внутренней смуты, на время которой они прячутся в нашем домике, чтобы снова выползти из него, когда худшее останется позади. У них не только в фигуральном смысле, но и на самом деле спрятаны на чердаке два флага, которые они вывешивают в зависимости от политической

¹ «Все это канет в Лету, но память будет полна: / Ты один на один с Парижем, ночь и плещет волна» (фр.).

погоды. Если удержится Кондор, они могут козырнуть незапятнанной репутацией; а если восторжествуют его противники, то они-де всегда были на их стороне. Возможно, когда-то они вели семинар по Джордано Бруно; теперь они станут хвалиться этим как героическим подвигом. Однако любой историк знает, что и людей, и власти можно описывать с самых разных, даже противоположных точек зрения.

Меня снова и снова поражает та непосредственность, с какой мой родитель пытается согласовать свои, по сути похвальные, теории с нашей искривленной действительностью. Я, в отличие от него, знаю, что в пределах искривленной действительности я в любом случае лежу криво, и полагаю, что именно это знание придает моему мышлению чистоту. Впрочем, когда я действую, то действую не криво, а по кривой: соответственно ситуации и без сострадания к себе. Правда, разница между тем и другим типом поведения в сегодняшнем Эвмесвиле в расчет не принимается.

*

Кондор придерживается учения Макиавелли, согласно которому фундаментом государства являются надежное войско и хорошие законы. Можно было бы добавить сюда и третий компонент – гарантированное каждодневное пропитание. Компонент этот в самом деле присутствует; власти заботятся и о добавках к хлебу насущному – в особенности о зрелищах. Как раз в таком контексте – во время соревнований, а также на рынках (реже – в связи с судебными заседаниями), – могут возникнуть волнения. Полиция легко справляется с ними, еще лучше,

когда Домо просто дает им выдохнуться. «Им надоест, когда они достаточно набуянятся». Он также придерживается мнения, что лучшие полицейские – как и лучшие домашние хозяйки – это те, о которых меньше всего говорят. От многих забот его избавляет телевидение: трансляции всякого рода игр и репортажи о трагических происшествиях привлекают наших сограждан больше, чем политика. Кроме того, массы рассредоточены по разрозненным домашним хозяйствам.

Надо еще заметить, что Кондор популярен в народе. А значит, внутренних беспорядков опасаться не стоит, хотя они возможны в любое время. Они, если и случаются, то неожиданно – подобно землетрясению. На смену классическим революциям уже давно пришли военные мятежи, которые чередой следуют друг за другом. Даже трибунам для переворота требуется прежде всего генерал. Это прописная истина; все заговорщики ссылаются на коррупцию при предыдущем режиме. И тут они почти всегда правы.

А в том, как новые господа себя преподносят, имеются варианты: одни ссылаются на народ и его волю, другим, как Кондору, достаточно силы самих фактов. В некоторых случаях важную роль играет правдоподобная жовиальность лидера.

Кто бы ни победил, он должен присматривать за полицией и военными, генералами и личной охраной. Клики гвардейских офицеров – вроде той, из которой вышли Орловы, – на касбе трудно себе представить; все-таки отец Кондора был простым фельдфебелем. У Домо имеются доверенные лица во всех кругах, вплоть до батальонов, – и, опять же, другие агенты, которые приглядывают за первыми. Не сле-

дует думать, будто людей принуждают шпионить друг за другом: все происходит куда более естественным путем.

«Мой дорогой прапорщик, вы знаете, какие большие надежды возлагает на вас Кондор...» К такому прапорщику обращаются по имени во время парадов, он получает возможность отличиться; и, соответственно, нисколько не удивляется, если ему приказывают составить рапорт. Дельный солдат, открытый приверженец нового режима – из этого не делается никакой тайны, нет даже намека на доноительство. Подразумевается как бы само собой, что Домо таким образом «поддерживает непосредственный контакт с армией». Я время от времени вижу таких молодых военных, когда после обеда в *кают-компании* Кондор приводит их в ночной бар – что является знаком особого отличия. Открытые лица, никакого глубинного критического настроения, чистосердечная доверчивость. Это третий вариант поведения в Эвмесвиле: неумение распознать искривленность общей ситуации – искривленность, которую я принимаю как стоящую передо мной задачу, тогда как мой родитель намеренно делает вид, будто никакой искривленности нет.

Доверчивость – это нормально, это кредит, за счет которого живут государства; без нее они не просуществовали бы даже самый короткий период.

*

Внутренние беспорядки, таким образом, маловероятны, но уж если они вспыхнут, на карту будет поставлено все. Они начнутся сразу с тяжелых уда-

ров – – с бунта на кораблях, захвата радиостанций, воззвания офицеров и, прежде всего, с покушения на самого Кондора. Так ведь и он пришел к власти.

Подготовку к такого рода делам почти невозможно полностью скрыть. В большинстве случаев что-нибудь да просачивается наружу. Многие восстания лишь потому и удались, что властители не приняли всерьез ранние симптомы. А ведь симптомам предшествует еще и инкубационный период.

Домо вряд ли позволит, чтобы его застали врасплох: разведывательная служба у него работает превосходно. Каждое утро его информируют о чрезвычайных происшествиях, случившихся ночью. Начальник полиции ежедневно является с отчетом, в котором, кроме прочего, существенное место отводится данным, полученным при перлюстрации писем, и *chronique scandaleuse*¹.

Между полицией и армией существенной разницы нет. Если и может идти речь о войне между нашими феллахскими государствами, то выражается такая война главным образом в устроении пожаров на чужих территориях. Более масштабные действия – прерогатива великих империй.

Для тирании действует закон звериной тропы: если какой-нибудь молодой олень думает, что может воспротивиться матерому самцу, дело доходит до пробы сил. Тогда объявляется боевая готовность. Домо приказывает подавать Красный сигнал: сперва на протяжении целой минуты, потом – более короткими повторяющимися вспышками, с регулярными интервалами. Затем включаются фоновые: для связи используется диапазон, который

¹ Скандальная хроника (фр.).

обычно остается незадействованным – – – разумеется, это касается только тех аппаратов, которые, как мой, имеют специальное оборудование.

Военные подразделения собираются на занимаемых по тревоге позициях. Каждый заранее знает свою задачу.

17

Если сигнал застанет меня на касбе, я первым делом должен буду надеть боевое снаряжение, которое (как на море – спасательный жилет) лежит упакованное у меня под кроватью: удобный комбинезон и, в дополнение к нему, сапоги и шапка. Все – в красноватой тональности Замковой горы. Паек в железной коробке, перевязочный материал и тому подобное заполняют вещмешок, предусмотрена даже фляжка с коньяком в нагрудном кармане. Склад оружия расположен в подвале; там я получу карабин и боеприпасы. Под мое командование поступят два каютных стюарда. Поскольку они прислуживают мне на касбе, я с ними ежедневно общаюсь и хорошо их знаю.

Потом мы втроем спустимся по одной из дорог, которые, извиваясь, ведут вниз, к городу, и на пути займем предназначенный для нас пост. Прежде там высилась небольшая сторожевая башня – она обрушилась во время землетрясения. Руина заросла камышом и напоминает теперь одну из хижин, построенных внизу, на берегу Суса, для охоты на уток. Там мы устроим себе пристанище. Для начала я пошлю обоих своих помощников еще чуть дальше вниз по дороге – до того места, где установлена табличка с надписью «Проход запрещен».

Они сорвут с этой таблички фольгу, обнажив нарисованный светящейся краской череп.

Домо считает, что полицейским следует воздерживаться от применения огнестрельного оружия: даже один выстрел, произведенный с целью самообороны, должен быть занесен в протокол и его необходимость – обоснована. Но уж коли начнется перестрелка, стрелять будут прицельно и на поражение.

Оба помощника установят еще предварительное оповещение, после чего вернутся обратно. Я распределяю вахты, и мы обсудим возможные варианты. Каютные стюарды меняются; предположительно под моим началом окажутся один из китайских поваров, которые также прислуживают наверху, и ливанец по имени Небек. У повара длинное имя; коллеги зовут его Чанг. Жирный малый, которому я не особенно доверяю; его бабенка, Пинь-Син, проживает в городе.

Я могу их себе представить: ливанец постоянно пребывает в радостном предвкушении; он любит пострелять и надеется, что нападающие *наступят нам на горло*. Его словарный запас насыщен агрессивными выражениями, особенно наверху на касбе, когда он неделями вынужден обходиться без своей голубки. «Сжечь негодяя, задать перцу, прикончить». Китаец же спокойно сидит и слушает, сложив руки на животе.

По сути, здесь мало что может случиться. Это тепленькое местечко. Дальше предупредительной надписи на табличке сунул бы только самоубийца. Днем его уже издалека обнаружили бы на горном склоне, а ночью передовые посты оповестили бы нас сигнальными ракетами и по фоно-

фору. Свернуть с дороги невозможно, потому что Замковая гора густо заросла кустами молочая, о котором народ говорит, что он «злее тещи». Нападение можно было бы провести только по шоссе-ной дороге, с применением оружия и боевой техники. Но для такого требуется долгая подготовка.

*

Я обдумываю свое задание с трех точек зрения: сперва – как ночной стюард Кондора; затем – как историк; и, наконец, – как анарх.

Мне приходит в голову, что составители инструкции не учли или, скорее, намеренно упустили из виду одну очень важную возможность, предусмотреть которую следовало бы. А именно: что нас могут атаковать и с тыла. Это будет означать, что касба уже оказалась в руках заговорщиков. И что это произошло внезапно, потому что, если бы захвату предшествовало нападение, оно не осталось бы для нас незамеченным. От нашей хижины просматривается изгибающийся отрезок подъездной дороги, и мы могли бы принять участие, пусть и скромное, в обороне касбы.

Значит, классический случай дворцового переворота... Чтобы совершить такое, достаточно нескольких выстрелов, а при определенных обстоятельствах – кинжала. Местонахождение резиденции властителя по отношению к столице относится к проблемам сравнительной историографии. Цитадель может располагаться либо в самом городе, либо за его пределами. Первый случай дает преимущество непосредственной близости: мятеж можно подавить в зародыше. Положение же цитадели за пределами города предоставляет некоторый про-

стор, позволяющий обдумать ситуацию и потом применить эффект длинного рычага. Оптимальная удаленность от столицы должна быть просчитана. Эвмесвиль с касбы виден как на ладони, зато сама касба труднодоступна. Капри расположен достаточно далеко от Рима; тем не менее Тиберию, находившемуся на этом острове, удалось посредством дипломатических шахматных ходов справиться с опасным заговором Сеяна. На всякий случай в гавани острова стояли готовые для бегства корабли.

Из ранней истории Ближнего Востока известны дворцы, которые располагались внутри городских стен, однако по потайному ходу оттуда можно было выбраться за пределы города. В наследных монархиях резиденции, расположенные в окрестностях столицы, приобретали характер увеселительных дворцов или мест летнего пребывания. Тиран же должен всегда быть во всеоружии. Ему бы следовало иметь глаза на затылке. Кондор и Домо всегда сидят в ночном баре, прислонившись спиной к стене. В других помещениях и даже в коридорах установлены зеркала.

Таким образом, я полностью исключаю, что составители инструкции не подумали о дворцовом перевороте. Наоборот, эта мысль преследует тиранов даже во сне и может принимать маниакальные формы, что крайне опасно в особенности для ближайшего окружения. Это может пагубно повлиять даже на человека с хорошими задатками, как получилось с тем же Тиберием. Неудивительно, что историки судят о нем столь разноречиво.

Служба на касбе приятна также и потому, что недоверие не переходит границ обычной предусмотрительности, коль скоро оно обусловлено объ-

ективными причинами. Тон разговоров здесь лаконичный, но не лишенный доброжелательности, а по ночам он может становиться почти сердечным. Атмосфера взаимного уважения от этого не страдает. Лишь когда у нас гостит Желтый хан со своими приближенными, уровень общения понижается. Зато в таких случаях можно увидеть много любопытного.

*

По правде говоря, я бы не отказался прислуживать какому-нибудь Тиберию. В таком случае я находился бы ближе к исторической субстанции, тогда как здесь причастен лишь к последним ее опивкам.

Время после сражения у мыса Акциум открывало блестящие возможности, которые реализовались лишь частично. Виго указал нам на фон этого события: флот Антония был уничтожен в тени *святилища Великих Арканов*. С одной стороны – Исида и Осирис, с другой – Аполлон. Октавиан обращается к своему деверю: «Тебя следовало бы называть впредь Серапионом, а никак не Антонием!» Без Асклепия дело тоже не обошлось. Корабли Антония были построены из деревьев рощи на острове Кос, посвященной этому богу. Август, одержав победу при Акциуме, велел казнить Публия Туруллия за такое кощунство.

Мне не стоит пускаться в подробности, если я не намерен предаваться мечтам. Африканские набеги на Европу почти так же увлекательны, как азиатские, и даже красочней по своей природе. Однако я начал с Тиберия, о котором думаю, что из-за переселения на Капри он упустил большие возможности. Такое в истории повторяется, пусть и в гораздо более

мелком масштабе – например, когда герцог Орлеанский, будучи регентом, свалил все дела на мерзкого Дюбуа, чтобы свободно предаваться разврату со своими приспешниками.

Тиберий был выдающейся личностью; уже тот факт, что он так долго – живя почти как частное лицо – удерживал бразды правления в своих руках, граничит с волшебством. В этом, несомненно, есть что-то магическое. Еще и сегодня, когда овчары на Капри говорят «il Tiberio»¹, это звучит как-то по-особенному. Тиберий до сей поры обретается в тамошних камнях.

По вечерам, сидя перед луминаром, я часто воскрешал его образ. Некоторые дни Тиберия зарегистрированы там чуть ли не поминутно. А это иногда важно, поскольку историческая наука в силу необходимости основывается на сокращениях. Мне же хотелось бы знать, среди прочего, как долго и в каком окружении такой человек томился от скуки, – я бы хотел быть к этому причастным. Историк в этом отношении похож на хорошего актера, который идентифицирует себя со своей ролью.

*

Разумеется, трактовки могут быть разные. Это неизбежно: даже для гениального композитора не найдется дирижера, который воспримет его исторически правильно. При этом сильные отклонения порой фальсифицируют оригинал меньше, нежели отклонения незначительные. Когда подоснова звуков, их собственная жизнь, их порывы воспроиз-

¹ «Тот самый Тиберий» (ит.).

водятся в конгениальной импровизации, время судьбы торжествует над историческим временем.

Я поступил легкомысленно, коснувшись этой темы за семейным столом, и получил достойный моего родителя ответ, а именно: изобретение фонографа сделало подобные умозрительные спекуляции ненужными. Это изобретение, насколько я помню, принадлежит одному особенно неприятному американцу – ученику Франклина, Эдисону.

На самом деле дело обстоит так – хотя с отцом я спорить не стал и поступил правильно, – что изменяется не только техника, но и человеческое ухо. Следовательно, даже при самом совершенном воспроизведении оригинала мы слышим его иначе – не говоря уж о том, что и лучшая машина не заменит живой оркестр.

Как бы то ни было, с того изобретения и началось проникновение в музыку автоматов. В результате в музыке возник первый всемирный стиль, началось обобщение и выхолащивание национальных мелодий – а также, заметим попутно, появился целый арсенал отвратительных музыкальных инструментов. Я часто вслушиваюсь в музыку; каждый стиль имеет свое содержание – – – эпоха борющихся государств едва ли могла породить что-то иное, кроме ностальгических реминисценций. В ту пору врачи чаще имели дело с пациентами, оглохшими от музыкального ада, чем с потерявшими слух на войне.

Этим я ничего не хочу сказать против всемирного стиля как одной из надежд анарха. Может, и найдется новый Орфей, который воздаст должное нашему миру вкупе с его небесами и подземными безднами.

«Конгениальными импровизациями» я могу наслаждаться в луминаре; значительные умы, должно быть, на протяжении многих поколений накапливали и формировали в катакомбах исторический материал мира.

Такое возможно лишь в долгие периоды стабильности и, прежде всего, если этим занимаются как игрой. Прибавьте сюда архивную страсть и чудачества в духе китайских евнухов – а еще страх перед уничтожением, перед мировыми пожарами. Архивы Ватикана заполнили там только одну нишу.

Я часто спрашиваю себя, на что может быть направлено такое влечение к архивированию. Оно, кажется, выходит за пределы любой исторической цели. Возможно, оно пойдет на пользу какому-нибудь эмиру Мусе грядущих пустынь и пустошей.

Впрочем, на чем я остановился? Да, на Тиберии, на мысли, что я мог бы прислуживать ему в каприйском дворце, – – – моя должность здесь, на касбе, служит мне в первую очередь в качестве исторической модели.

Полагаю, я не лишен определенных способностей к обхождению с важными персонами. Здесь дело обстоит так же, как с искусственными спутниками, вращающимися вокруг планет: лучше всего сохранять среднюю дистанцию. Если слишком приблизишься к Юпитеру, ты сгоришь; если же будешь держаться чересчур далеко, это отрицательно скажется на результативности наблюдения. Ты будешь иметь дело с теориями и идеями, а не с фактами.

*Res, non verba*¹ – – – вообще хорошо, чем бы ты ни занимался, ориентироваться на физические законы. Это важная максима; ей следует слон, который перед каждым шагом прощупывает почву. Однажды Роснер в ночном баре заговорил об этом животном; он рассказал среди прочего, что слон, когда ему угрожает опасность утонуть в зыбучих песках или в болоте, не колеблясь, поднимает своего наездника хоботом из седла, чтобы положить его себе под ноги, словно кусок дерева. Домо, который любит подобные анекдоты, в ответ на это сказал: «Ошибку допускает вожатый, который требует невозможного. С опытным погонщиком слонов такого бы не случилось». Тут он, пожалуй, прав: тот, кто ездит верхом на слоне, должен понимать, на что он отважился.

Правильная дистанция по отношению к владыке подразумевает и сдержанность: не следует приближаться к нему по собственному почину, пусть даже желая сделать ему добро, а иначе получится, как с тем рыбаком, который поймал огромную краснобородку и, преподнеся ее в подарок Тиберию, жестоко поплатился за это. Нечто подобное случилось с центурионом, который должен был показывать дорогу носильщикам паланкина цезаря и при этом завел их в тупик. Тут необходима осторожность, как при обращении со взрывчатыми веществами; мне вспомнился астролог, который должен был предсказать час собственной смерти, и то присутствие духа, с каким он вытащил себя из петли. Он сказал: «Как я вижу, в данный момент мне грозит большая опасность».

¹ Дело, а не слова (лат.).

Лучшая должность – та, на которой ты много чего видишь, но сам не привлекаешь к себе внимания. В этом отношении я своим положением доволен; в ночном баре я часто уподобляюсь хамелеону, почти сливаясь с обоями. По сравнению с Капри то, что я ловлю здесь, – мелкая рыбешка; но мне грезится Тиберий, болтающий в триклинии с Макроном, в то время как я наполняю бокалы *спинтриям*. Сейчас прозвучит судьбоносное имя: Германик.

*

Работа, даже на невысокой должности, которая, как выражается братец, мне «не пристала», абсолютно меня не смущает; она – основа моих наблюдений. Работая шофером, переводчиком или секретарем, я бы тоже использовал свою должность для собственных целей. Ведь то, что происходит как бы между прочим – сдержанная улыбка, реплика за кулисами, – для историка важнее, нежели большие приемы или речи на форуме, когда ты видишь могущественных людей стоящими на котурнах. Такой пищей пусть питается Плутарх.

Я же предпочитаю придворную и культурную историю истории политической, а Геродота – Фукидиду. Поступкам подражать легче, чем характерам; об этом свидетельствуют пошлые повторения событий всемирной истории. Хотя Эвмесвиль – это город эпигонов и даже феллахов, зато здесь даже на касбе говорят не для будущих поколений. Мелкие, будничные радости и заботы – вот что заполняет беседу.

*

Я слышу человеком трудолюбивым и стараюсь поддерживать эту репутацию. Мой день протекает приятно; мне вполне хватает времени для моих исследований. Но если поднимаются высокие волны, как во время визитов Желтого хана или праздничных банкетов, я добровольно вызываюсь обслуживать *каюты* и подавать на стол, что вообще-то не входит в мои обязанности. Это оплачивается дополнительно и делается с ведома самого Домо. В итоге у меня потом появляется свободное время, и тогда я за луминаром превращаюсь из Эмануэло в Мартина.

Правда, подобные превращения не происходят так просто, как может показаться на первый взгляд. Сначала нужно научиться воспринимать работу как игру, в которой я и участвую, и наблюдаю ее со стороны. Это придает своеобразное очарование даже таким опасным местам, как Утиная хижина. И предполагает, что ты можешь рассматривать себя в качестве феномена – то есть с некоторой дистанции, словно фигуру в шахматной партии, – – – одним словом, что историческая расстановка сил для тебя важнее, чем твоя личная ситуация. Звучит это, может быть, слишком претенциозно; однако раньше такого требовали от любого солдата. Моя особенность как анарха заключается в том, что я живу в мире, который «по большому счету» не воспринимаю всерьез. Это повышает степень моей свободы: я служу своему времени, но как вольноопределяющийся.

*

Умением дистанцироваться от самого себя я отчасти обязан Бруно; он также научил меня приемам преодоления страха. Солдат, шедший в атаку,

знал, что может быть ранен или убит; это входило в его служебные обязанности и могло даже принести ему славу. Попадание в тебя пули здесь, в Утиной хижине, было бы просто фактом, не имеющим никакого отношения ни к королю, ни к отечеству, – несчастным случаем на производстве. Я должен принимать это в расчет; меня увлекает тактическая ситуация, а не ее куцее идеологическое обоснование. Это знает и Домо; после подобных неприятных инцидентов Кондор раздает не ордена или знаки почета, а земельные участки и деньги. Может, тебе достанется и фонофор немного повыше рангом.

Труднее справиться с проблемой оскорбления, связанной с глубоко укоренившимися понятиями чести. Удар при посвящении в рыцари был последним, который мог наноситься клинком плашмя, после него приемлемым считался только удар, оставляющий резаную рану. Офицера, раненного в национальной войне, награждали орденом. Если же он получал удар в обществе и не добивался удовлетворения, его дисквалифицировали. Мыслители, склонные к цинизму, всегда над этим потешались: дескать, кавалер, который, если его ударила копытом лошадь, с улыбкой хромотает прочь, жаждет крови, если ему дал оплеуху какой-то осел.

Мировая гражданская война изменила систему ценностей. Народные войны ведутся между отцами, гражданские – среди братьев. Испокон веку было лучше пасть от руки отца, нежели угодить в руки брата: национальным врагом быть проще, чем врагом социальным.

Я не хочу углубляться в эту тему. Мне достаточно в луминаре сравнить, например, положение военнопленных в XIX столетии христианского лето-

исчисления с положением социальных узников в веке двадцатом, а кроме того – проследить различия между разными вариантами языка политического общения. Согласно Тоферну, примитивизация этого языка происходит параллельно усилению давления на массы. Если на знамени написано «гуманность», то сие означает не только исключение врага из общества, но и вообще лишение его человеческих прав. Этим объясняется: возвращение к пыткам в обширных регионах, изгнание целых народов, восприятие человека исключительно с меркантильной точки зрения, официальные и криминальные формы захвата заложников, батарейная система содержания людей. Сверх того громкие слова – – – это напоминает мне моего родителя, который одной ногой стоит в Афинах Перикла, а другой – в Эвмесвиле.

*

Строить из себя рыцаря в таких условиях мог бы только комедиант; но об этом никто теперь и не помышляет. Скорее люди ощущают себя – как мой родитель и брат – мучениками. Эвмесвиль наполовину населен типами, которые пострадали за идею – или, по крайней мере, претендуют на это. Они-де оставались верны своему знамени, оказывали героическое сопротивление – короче, воскрешаются обветшалые фразы из военного лексикона. Если же присмотреться, то эти люди, за немногими исключениями, старались спасти свою шкуру, как и все остальные. Но на это у нас предпочитают смотреть сквозь пальцы, если хвастуны не слишком перегибают палку.

Анарх же придерживается не идей, а фактов.

Он страдает не за идеи, а из-за них, и чаще всего – по собственной вине, как бывает при транспортной аварии. Разумеется, случается и непредвиденное – когда тебе вдруг наносят оскорбление. Однако я, полагаю, уже достиг такой степени дистанцированности по отношению к самому себе, что могу и оскорбление рассматривать как несчастный случай.

*

Но давайте вернемся к Утиной хижине – – – какой вывод должен я сделать из того факта, что случай дворцового переворота в моей инструкции не упоминается? Такое событие занимает обычно считанные минуты и заканчивается уничтожением нападающего либо подвергшегося нападению. Очевидно, Кондор и Домо не рассчитывают на возможность бегства. Я тоже полагаю, что бежать они не сумеют.

Итак, распоряжения для внешних постов – на этот случай – отсутствуют. Что не избавляет меня от необходимости самому оценить свое положение. Быть уничтоженным с тыла и мимоходом – это судьба для крестьян, и ничего соблазнительного в ней нет. Следовательно, я должен знать, что происходит на касбе, еще когда мы будем вести наблюдение за местностью перед ней. Осуществить переворот совершенно бесшумно заговорщикам вряд ли удастся.

Я надеюсь на собак: у них нюх на насильственные действия – они сразу начинают выть. О случаях смерти они тоже возвещают своеобразным повизгиванием. Скулят даже собаки, находящиеся довольно далеко, и дело тут не только в нюхе.

Кроме того, я периодически буду посылать одного из двух своих караульных на касбу, за продоволь-

ствием и чтобы «поддерживать связь», как значится в руководстве по караульной службе. Я буду в курсе событий и одним из первых узнаю о свержении Кондора. Что сулит выигрыш во времени.

После такого переворота в городе начнется роевание, словно в пчелином улье – – наполовину как перед брачным вылетом, наполовину как при убийстве трутней. Папаша и брат совещались бы дома, нужно ли вывесить старый флаг. Поспешность может стоить головы. Вероятно, в своей семейственности я бы дошел даже до того, что отсюда сверху известил бы их о случившемся. Тогда они первыми бы узнали, что Кондор лежит в луже крови, и извлекли бы из этого свою выгоду.

Для анарха же мало что изменяется: флаги имеют для него значение, но не имеют смысла. Я уже видел их и вверху, и внизу – словно листья в мае и в ноябре; видел как очевидец, а не только как историк. Майский праздник останется, только будет оформлен иначе. Перед процессией понесут новые изображения. Праздник Великой Матери будет снова опошлен. Пара влюбленных в лесу больше ему соответствует. Я имею в виду лес как нечто нераздельное, в котором *каждое* дерево еще является деревом свободы.

Для анарха мало что изменится, когда он сбросит свою униформу, которую носил отчасти как шутовской наряд, отчасти – как камуфляж. Она прикрывает его внутреннюю свободу, которую в такие переходные периоды он будет *осуществлять вовне*. Это отличает его от анархиста, который, по сути несвободный, начнет буянить – и так будет продолжаться, пока на него не наденут еще более тесную смирительную рубашку.

Оба караульных, которым я до сей поры мог приказывать от имени Кондора, теперь будут подчиняться непосредственно мне – то есть я их себе подчиню. Я велю им разрядить карабины и отнести боеприпасы в безопасное место. Потом я смогу с ними посоветоваться, и не потому, что мне нужен их совет, а потому, что это производит лучшее впечатление. Я изучал деятельность таких *советов*. Много болтовни, но всегда находится один человек, который знает, чего он хочет, и у которого припасена дубина. От нее-то в конечном счете все и зависит.

Наверное, я еще раз пошлю их разведать, как далеко зашли дела наверху, на касбе, и внизу, в городе. Нет ничего опаснее, чем доверять пустым слухам: не ровен час окажешься в роли осла, который решился ступить на еще слишком тонкий лед. *La journée des dupes*¹ – это тоже одна из фигур, которые повторяются.

Китаец – прирожденный квиетист; его я пошлю в город – там он не будет привлекать к себе внимания. Небеку же присуща некоторая агрессивность; он больше пригодится на касбе. Он должен будет сказать мне, видел ли труп Кондора. И: «Взглянул ли ты на лицо, а не только на сапоги? Но главное: кто теперь – наверху – играет первую скрипку?»

Не исключено, что Небек там чем-нибудь поживится; он, собственно, вправе так поступить. Я должен принять в расчет и то, что он начнет тянуть канитель. Китаец, возможно, вообще не вернется, а продаст свой карабин в городе и останется у Пинь-

¹ День одураченных (фр.).

Син. Он тоже имеет на это право, а я в результате отдаюсь от него.

Наверное, я сам отпущу обоих со службы; они мало чем могут способствовать моей безопасности и скорее обременят меня. Я почти каждого считаю потенциальным предателем – это характерный для меня недостаток, но оказалось, что он идет мне на пользу. В большинстве случаев даже пыток не требуется, чтобы люди донесли на тебя. Впечатление такое, будто им это даже нравится: они делают это задаром.

*

Вероятно, в моем распоряжении будет достаточно времени, чтобы разведать, что происходит и насколько основательных чисток следует ожидать. Как бы то ни было, мне придется на какой-то период *уйти под воду*. Каждый благоразумный человек в Эвмесвиле считается с такой возможностью. Он меняет жилье, пусть даже только на одну ночь. Уезжает «отдохнуть на природе», на какую-нибудь фазенду, местонахождение которой скрывает. Люди исчезают, как лягушки, а через несколько дней, месяцев или лет снова выныривают. Все они хотят *перезимовать*, пока новая весна не принесет новый майский праздник.

Что же касается меня, то я не собираюсь долго отсутствовать. В конце концов, ночной стюард – не такая уж крупная рыба. Однако и ему лучше до поры до времени не высовываться. Хуже то, что я и как историк слышу человеком подозрительным. Целые своры профессоров-импотентов специализируются на политических преследованиях. И даже если бы я не имел причин их бояться, уже одна их близость

была бы для меня несносной. Тогда уж лучше стать посудомойщиком.

Итак, не исключено, что я – на неопределенный срок – покину эти места. Если на касбе начнется заваруха, меня, может быть, даже причислят к погибшим. Такая форма исчезновения особенно благоприятна для позднейшего воскресения.

18

Исчезнуть – еще лучше, чем просто нырнуть на дно; обычаю лягушек я предпочитаю обычай мышей. Я имею в виду не черных или серых мышей, которые водятся в домах и садах, а желто-рыжую мышку из заросшего кустарником леса, похожую на миниатюрную белку. Такая мышь кормится орехами, которые ранней осенью запасает в своем зимнем гнезде. Там, надежно спрятанная, мышка спит полгода или даже дольше, пока листья опадают на лесную почву, а потом их покрывает снег.

По ее примеру и я приготовил все необходимое заранее. *Орешниковая соня* – родственница *сони-полчок*; еще ребенком я думал, что у таких сновидцев – в высшей степени приятная жизнь. Совсем не случайно, что после смерти мамы я мысленно затерялся в этом предлагающем защиту мире. В своем одиночестве я – прямо на территории дома – превратился в орешниковую соню. Она на долгие годы стала моим тотемным животным.

На опушке леса я выбрал себе местечко для гнезда. Я хотел, чтобы входной лаз начинался не на поверхности земли, а лучше – в углублении скалы либо в дупле. От такого места я принялся копать

ход, который день ото дня становился чуть глубже: выгребал землю и разбрасывал ее вокруг, чтобы никаких следов моей деятельности не осталось.

Спустившись достаточно глубоко, я начал рыть второй ход, наверх, – как запасной выход. Какой бы у тебя ни был вход, нужно позаботиться о выходе, по какой бы дороге ты ни шел, нужно подумать об обратном пути – это мне было ясно уже тогда. Работать приходилось медленно и осмотрительно: днем сверху грозил ястреб-перепелятник, а ночью – филин, на земле же – враждебные животные, прежде всего гадюка; орешниковая мышь всегда находится под угрозой. Это – дань, которую она платит свободе.

Выкопав проходы, я приступил к сооружению жилища – удобной каморки, не слишком маленькой и не слишком большой. То, что рядом со мной могла бы находиться и самочка, мне тогда в голову не пришло. Об удобствах для мамы я тоже не заботился: она была вездесущей, была самой норой.

Закончив с каморкой и выровняв ее овальный пол, я начал рыть тупиковый ход к кладовой. Она была просторней и выгнута в форме пирога; при таком амбаре я ни в чем не знал бы нужды. Не забыл я и об отхожем местечке: орешниковая соня славится своей чистоплотностью. Она не воняет, как другие мыши, только весной от нее исходит легкий запах мускуса. Зимой местечко заполнится черными катышками: и в этом случае тоже я не мог не подумать не только о ротовом, но и о заднепроходном отверстии.

По завершении строительных работ я приступил к внутреннему обустройству. Для постели, на которой мне предстояло смотреть сны всю зиму напро-

лет, подходили лишь самые мягкие пушинки. Я знал места, где уже не раз находил такой пух: гнезда крапивников и корольков. Я собирал пух, услышав «зи-зи-зи» корольков: это их зов, когда вылетает новый выводок. Я еще раньше выследил, где находятся птичьи гнезда, – когда они только строились. Орешниковая мышь лазает по ветвям осторожно. Там наверху я находил пушинки, которые птицы выщипали друг у друга, волоконца, которые они приносили в гнезда, – и взимал причитающуюся мне дань.

На опушке леса, в зарослях крапивы и скабиозов, вверх вьется клеверная шелковница. Она вполне оправдывает свое название, поскольку образует подобие войлока из мягких шелковистых нитей, которые с наступлением осени засыхают. Такие нити я тоже собирал и вплетал потом в свое ложе, добавив немного орешков собачьей розы и сонный терн.

Я работаю с удовольствием; придерживая волокна ногами, я руками и ртом вплетал их в общий ковер. Работа мне давалась легко, хотя и происходила в темноте. Когда материалы приятны на ощупь и подвижны, труд может стать игрой: тактильное наслаждение превращается в наслаждение духовное.

Таким было мое настроение, пока я занимался строительством, и оно сделалось еще более восторженным, когда упали первые орехи – со звуком, который я отличу от любого другого. То был стук в дверь, возвешение. Пророчество, которое я предпочитаю всем другим. Не пустое обещание, а феномен – маленький материальный задаток. Я – как Фома Неверующий: покажи, дескать, Твои раны! Тогда поверю.

Вскоре орехи начали падать в большом количестве; когда по листьям пробегал ветер, казалось, будто идет град. Их также сбрасывали на землю ореховки – стимфалийские птицы с медными крыльями, стаями прилетавшие сюда с севера, где проводили лето в лесах Желтого хана.

Я собрал обильный урожай; лучшие орехи, зажав во рту, относил вниз, однако действовал всегда с осторожностью. Другими плодами я тоже не брезговал, будь то трехгранные буковые орешки, плоды шиповника и рябины или всякого рода семена.

Мои закрома быстро наполнялись. Но я не забывал и о повседневной пище, ибо важнее всего – тот запас, который ты перед зимней спячкой накопил в своем брюхе. «Зиму без просыпу сплю напролет и жирею я очень / Этой порою, когда сном я питаюсь одним» – так сказал уже один римский поэт, воспевший нашу жизнь.

Голод маленькой сони утоляется быстро. Зато фантазия ее ненасытна: она радуется изобилию мира. Я, маленький толстопузый мастер по устройению погребов, радостно возился со своими запасами. Я распределял их по сортам, укладывал пластами. Пусть зима приходит, и чем суровее она будет, тем лучше; я предусмотрел всё.

Когда листья гуще усеяли землю, находиться снаружи стало неприятно.

Однажды утром их покрыл иней. Я еще раз проверил свою постель и, выщипав жесткие волоконца, привел ее в порядок. Потом я замуровал вход сухим сеном и выход тоже – но только его не наглухо. Теперь пусть падает снег: начинается время волков.

Я приготовился ко сну, подтянув колени и опустив голову. Мое дыхание не пошевелило бы даже

перышка, биение сердца стало почти неосязаемым. Я был там как ребенок во чреве матери. Почему же это не могло продолжаться всегда?

*

Как получалось, что мечтания мои прекращались, едва я доходил до этого момента? Мечта рано или поздно достигает кульминации; она становится слишком сильной – и нам приходится ее оборвать. Мы ждем возлюбленную, издалека выделяем шум ее экипажа из всех других шумов и слышим, как она подъезжает. Экипаж останавливается внизу, перед домом, и начинается игра дверей – дверец экипажа, садовой калитки, дверей дома; вот уже она поднимается по лестнице. Сейчас распахнется последняя дверь...

19

Игры детей различны, как и их характеры; в играх уже намечается то, чем эти дети будут заниматься, когда станут мужчинами и женщинами. Лейтмотив игры повторяется потом в каждом возрасте. Так же все складывалось и у меня в Эвмесвиле – словно у орешниковой сони с ее укрепленным убежищем. Я должен по этому поводу еще кое-что прибавить.

Еще прежде, чем Кондор подверг нашу гавань бомбардировке, в воздухе чувствовалось беспокойство, которое обычно предшествует такого рода событиям. В критические моменты повсюду много говорят и даже шепчутся; люди, которые раньше едва ли друг с другом здоровались, теперь встречаются, чтобы обсудить происходящее.

В доме моего родителя тоже устраивались собрания тех, кто – подобно ему – надеялся, что трибуны удержатся у власти, и у кого имелись более или менее веские основания для подобных надежд. Они старались подбодрить друг друга; звучали более или менее разумные высказывания. Я же судил обо всем как анарх, которому происходящее, с одной стороны, безразлично, а с другой – интересно как исторический объект. Кроме того, я был, вероятно, единственным, кто не испытывал страха. Я вслушивался в события с чувством внутреннего удовлетворения, как поступал при аналогичных обстоятельствах Стендаль. Я, между прочим, ценю его и как историка.

Я не хочу сказать ничего плохого о страхе. Страх имеет природные, даже физические причины. Когда почва становится ненадежной и дом в любой момент может рухнуть, все взгляды обращаются на дверь. В такой ситуации происходит некий отбор – например, тех, кто не попал в западню. С этой точки зрения Одиссей – один из величайших образцов для подражания: олицетворение безупречного чутья. Страх первичен: это инстинктивное предчувствие опасности. С ним соединяется осторожность, затем – хитрость, даже коварство. Осторожность Одиссея столь необычна, потому что сопрягается с мужеством и любопытством. В Одиссее впервые заявляют о себе разум, отвага и исследовательская страсть, собственные западноевропейскому человеку.

*

Своими страхами *они* даже лучше подтверждали мою оценку сложившейся обстановки, чем тем, что выражали словами. Кондор уже стал центром про-

исходящего – невидимым для своих противников, видимым для приверженцев. Они сидели, собравшись вместе, – все, от молодого Катона до предателя Ганелона. Кондор определял ход их мыслей, потом – движения. Могли ли *они*, были ли вправе еще раз попытаться приноровиться к нему или даже перейти на его сторону?

Тиран накануне таких событий нуждается в друзьях, но ему необходим и враг. Прольется кровь – это своего рода *посвящение*, без которого тирану не обойтись. Народ ждет от него чего-то подобного. «Зажравшаяся морда, черт хромоногий! Тащите его на крюк, этого отцеубийцу, бросайте его в Тибр!»

А как там с проскрипционными списками? Есть лица, в большей или меньшей степени запятнавшие себя различными преступлениями, но иск предъявляется и *попутчикам*. Обвинители, до сей поры молчавшие, вдруг проявляют поразительную жажду справедливости. Ведь уже перспектива потерять свой пост вызывает содрогание, и чтобы такого не случилось, пойдешь на многое. Лучше всего, конечно, – маленькая должность, на которой человек не привлекает к себе внимания. Однако и в этом случае в завистниках недостатка не будет.

Так они просчитывали шансы, обдумывали вопросы, связанные с пространством и временем. В сомнительной ситуации разумней всего исчезнуть, хотя бы на одну ночь. Если понадобится, отсутствие может растянуться надолго. Вода между тем знай себе течет, и в подходящий момент каждый сможет вынырнуть на поверхность.

– Дорогой друг, где вы пропадали, вас так давно не было видно?

– Я жил.

*

Что касается пространственного вопроса, то о нем лучше позаботиться заранее, когда небо еще не омрачено ни одним облачком. Некоторые друзья моего родителя имели родственников за границей; другие покупали себе бунгало где-нибудь на северном побережье Средиземного моря. Третьи на крайний случай договаривались с какой-нибудь подругой. Есть женщины, которые годами прятали любовника за потайной дверью или на чердаке. По ночам он выходил подышать свежим воздухом.

Приблизительно так они думали и планировали – стараясь держаться в тени, – тогда как я потирал руки. Человек – разумное существо, и он не готов жертвовать своей безопасностью ради каких-то теорий. Афиши меняются, стена же, к которой их приклеивают, остается. Так же теории и системы меняются где-то над нашими головами.

«Тебя вообще невозможно потрясти», – сказал мой братец во время одного из наших бесплодных споров; я воспринял это как комплимент.

*

Впрочем, события развивались не так скверно, как они ожидали, хотя без насилия все-таки не обошлось: крови требует каждая революция. А тогда крови пролилось едва ли больше, чем на обычной корриде.

Осторожность, правда, необходима всегда: есть некий промежуток времени, когда творится непредсказуемое. На протяжении нескольких дней и ночей всякие подонки чувствуют, что руки у них

развязаны. Новая власть предоставляет им свободу действий – это как *сокращения*. Они – часть общей концепции. Ливанец сказал мне однажды: «Знаете, когда пришли первые ужасные новости, с цветистыми речами было покончено». На лесном участке в Нахр-эль-Кельбе были найдены трупы, которые никого не интересовали – и меньше всего полицию. Был убит, среди прочих, один ясновидящий. Одноглазым в таких случаях везет больше.

*

Почти каждый дрожит за свое рабочее место. А перед кем-то, наоборот, открывается перспектива повышения по службе вне очереди; соответственно, множатся доносы. Происходит такое и там, где одна властная группировка сменяет другую легально. И расставляет своих приверженцев повсюду – вплоть до табачных лавок.

При перевороте следует считаться и с типами, которые говорят себе: «Лучше всего, если такой-то никогда не вернется». Чем выше стоял их предшественник, тем глубже ему придется падать, тем вероятнее, что его ждет смерть. Однако и с мелким попутчиком из предместья кто-нибудь пожелает свести счеты. Его заставят платить за свой хлеб дважды.

Бывают пласты, которые граничат с магмой, и для историка они слишком горячи, слишком вязки. Мое пресыщение, вероятно, вызвано дурацким повторением событий. Если какой-нибудь Шекспир уже досконально исследовал такого рода материал, хотелось бы, чтобы этого хватило раз и навсегда.

*

Мы должны были бы действовать либо как животные – инстинктивно, – либо как существа, обладающие духовностью: то есть в соответствии с разумом. Тогда нас не мучили бы угрызения совести. Но здесь, в Эвмесвиле, почва уже слишком истощена, чтобы породить новую Варфоломеевскую ночь или Сицилийскую вечерню; сил хватает только на подлость. С другой стороны, нужно считаться с возможностью ликвидации по административным каналам. Ею занимаются – совершенно бесстрастно – чиновники, отсиживающие задницы в своих кабинетах, – – нередко такие типы сами даже не могут смотреть, как режут цыпленка.

*

То, о чем говорилось выше, – отчасти ретроспективный обзор, отчасти перспектива на будущее. «Ремиссией» называют врачи временное ослабление болезни. Однако тело остается уязвимым. Поначалу кажется, будто оснований для беспокойства нет; Домо даже перебарщивает с юридическими формальностями. Однако и это – настораживающий симптом. Модель нашего положения – не зал судебного заседания, а транспортная авария. Ты игнорируешь красный свет либо не пропускаешь кого-то вперед – и в результате сгораешь вместе с сотней других случайных жертв.

Мой родитель и почти все его друзья даже сохранили свои должности; только моего братца чуточку ощипали. Но вскоре они уже снова сидели все вместе, как Семеро отважных.

*

Впрочем, меня поражает в наших профессорах, что они хвастаются своей оппозиционностью по отношению к государству и нынешнему порядку – чтобы выставить себя в выгодном свете перед студентами, – однако ждут от того же государства, что оно будет пунктуально платить им жалованье, пенсию и пособие на детей, то есть, по крайней мере, в этом смысле вполне способны оценить преимущества твердого порядка. Левая рука сжата в кулак, а правая тянется за подачкой – так они и шагают по жизни. При трибунах это получалось еще легче; отсюда ностальгия моего братца по прежним благословенным временам. Но ведь и он – вместе с другими – подпиливал сук, на котором они все сидели.

*

Кондор ощущает себя тираном и держится как тиран; в результате лжи вокруг стало меньше. Для меня, в сущности, ничего не изменилось: мой характер, характер анарха, каким был, таким и остался. Для историка же материал теперь даже богаче, поскольку выигрывает в пластичности. Политическое течение всегда следует рассматривать отчасти как спектакль, отчасти – с позиций собственной безопасности. Либерал недоволен любым режимом; анарх же проходит через их череду как по анфиладе залов – стараясь по возможности не удариться. Это рецепт для каждого, кому сущность мира важнее, нежели его внешняя видимость, – для философа, художника, верующего. Поэтому я думаю, что иудеи поступали неправильно, отка-

зываясь приветствовать цезаря. Приветствие было формальностью. Конечно, нужно преодолеть внутреннее сопротивление, прежде чем нехотя согласишься на нечто подобное.

*

Поначалу здесь, как после любой смены правительства, была зона ясной погоды, а благодаря реформам даже наметилось известное оживление: новые метлы метут хорошо. Потом возникли неполадки преимущественно персонального характера. Я еще вернусь к этой теме, когда речь пойдет о смертной казни.

То, что новый режим, возможно, когда-нибудь увлечет за собой в пропасть и меня, я почувствовал не на касбе, а в городе. В институте ко мне стали относиться с большей сдержанностью, в разговорах со мной коллеги – хотя и почти незаметно – проявляли теперь осторожность. Обычно такое легко заметить, потому что снижается степень откровенности, возникают табу. Так, в моем присутствии отныне избегали любого, даже шутливой намек на властителя – или, если все же отваживались на подобный намек, звучал он как-то нарочито. На улице это еще больше бросалось в глаза. Незнакомые люди, увидев мой фонофор, отворачивались, будто заметили что-то неприятное. Другие, наоборот, на меня пялились – с неприкрытым неодобрением.

Фонофор, как правило, носят так, чтобы его край выглядывал из левого нагрудного кармана. На фонофоре маркируется класс его обладателя. Если у нас вообще можно говорить о классах, то они скорее потенциальной, динамичной природы.

Равенство и различия в среде лишенной истории массы сведены к степеням свободы передвижения. Социальная функция механически закодирована и разбита на ранги. Кондор обладает монополией на вызов абонента и делегирует это право по своему усмотрению. Фонофор гарантирует возможность того, к чему стремились – как к идеалу – еще якобинцы: непрерывный форум, «перманентное совещание».

Золотой фонофор увидишь редко: обладатель такого вряд ли станет передвигаться по городу пешком. У меня, естественно, – всего лишь фонофор незначительного служащего, приближенного к особе правителя; но важно, что фонофор этот подсоединен к Красной системе. Это имеет и свои преимущества, и недостатки. Так, меня в любой момент могут затребовать в качестве вспомогательного полицейского.

*

Изменения в глубинных слоях отзываются на поверхности образованием легкой ряби. Ты вдруг становишься чувствительным к переменам погоды: тебе кажется, что температура понизилась на одну десятую градуса.

Неприятно, когда группа знакомых, едва ты вступишь, явно меняет тему разговора. В ту пору я замечал за собой, что в некоторых местах или в определенных ситуациях прикрываю фонофор клапаном нагрудного кармана. Сначала это было чисто рефлекторным действием, но вместе с тем – и началом маскировки – а вскоре я всерьез задумался о своей безопасности. Решил, что стоило бы на неопределенное время перестать показываться на людях.

Я не хочу сказать, что собирался попросту дезертировать; это противоречило бы моим правилам игры. Партия – все равно, начал ли я ее с белыми или черными фигурами – должна быть доведена до конца. Кондор, без сомнения, тоже размышлял об этом конце и потому в своей инструкции вообще не упомянул возможность нападения на Утиную хижину с тыла. Тиран хочет оставаться верным самому себе. И пока так будет, он может рассчитывать на меня. Это не следует трактовать как ленную верность. Здесь – вопрос собственной чистоплотности.

20

Перспектива взять полный отпуск от общества и некоторое время пожить, чувствуя, что я сам себе господин, была очень привлекательной. Мне приходилось сдерживать себя, чтобы не накликать катастрофу невольно или даже не поспособствовать ей в меру моих ограниченных сил, – отрицать не стану. *Carne vale*¹ – это безумие выламывается из человека, даже когда на исходе год, не говоря о тысячелетии.

Я решил, что пора подыскать себе местечко для линьки – и вспомнить об орешниковой соне. Устье Суса – мелкое и широкое; во время отлива обнажаются песчаные отмели. На них собираются группы фламинго, а также цапли, выпи-бугаи, утки, ибисы и бакланы; одним словом, дельта превращается в птичий рай. Рыбаки, охотники и птицеловы – а также, естественно, орнитологи вроде Роснера – чувствуют себя там отлично. Роснер сидит на берегу, на

¹ Да здравствует плоть (ср.-лат.), отсюда слово «карнавал».

своем ловчем участке, где наблюдает за пернатыми, а также ведет дневник наблюдений и окольцовывает пойманных птиц. Я иногда сопровождаю его: отчасти ради удовольствия, поскольку там царит жизнь, как в первый день Творения, отчасти – полуофициально, когда предстоит визит Желтого хана и готовятся большие охоты. Тогда сокольничие тренируют своих птиц на захват, охотники натаскивают собак.

Оттуда я и начал свои разведывательные вылазки. Человек, который бродит с охотничьим ружьем и запасом провизии, не привлекает к себе внимания. Сразу выше устья расстилаются заросли мискантуса. Они были бы непроходимы, если бы звери не протаптывали свои стежки: полутемные шахты в массиве слон-травы. Ходить по таким шахтам опасно; особенно на утренней и вечерней заре ты должен быть готов в любой момент вжаться в травную стену, чтобы уступить дорогу какому-нибудь животному. Кроме того, перед каждым шагом нужно проверять, куда ты ступаешь. Зато я могу не бояться, что кто-то за мной последует.

Дальше вверх по реке мискантус редет, а болото становится коварным. Коварны, прежде всего, отмели из наносного песка, намытые высокой водой. Достаточно провалиться по колено, и тебе уже не спастись. Прилив оставляет после себя трясину и вымоины, в которых хорошо себя чувствуют рептилии. Мне потребовалось много времени, чтобы наметить надежную тропу.

Посреди этого лабиринта куполом поднимается плоская вершина – не больше средних размеров площадки для игры в гольф. Даже бушмену не пришлось бы в голову на нее забираться, поскольку

она густо заросла кустарником с колючками длиною в ладонь – *Acacia horrida*¹. Холм Девятикратного убийцы – – чтобы достигнуть вершины, мне пришлось прорубать дорогу топором. Наверху меня ждал сюрприз.

*

Как историку, мне приходилось заниматься геомантической потенцией, присущей многим местам и в особенности холмам. Эта потенция – прежде всего материальной, физической природы. Именно оттуда происходит ее сила. В любой выпуклости скрыта полость. Новалис: «Перси – это женская грудь, поднявшаяся до мистического состояния». Хорошо сказано, но «из мистического состояния» было бы еще точнее.

Моделью для меня служил галльский Лугдунум – город, близкий моему сердцу. Оплот и святыня для племен и народов, которые сменяли друг друга с тех древних пор, о которых археологи могут лишь строить догадки, и вплоть до туристических толп третьего христианского тысячелетия, – – – это заполнило бы больше, чем одну книгу. Роланд тоже имел там резиденцию. Холм, видимый издалека и господствующий над обширным пространством. Кафедральный собор сооружен из его камня: скала, поднявшаяся из мистического состояния. Под фундаментом собора – склепы и катакомбы; там тайна ощущается сильнее, чем наверху, в лесу колонн. Об этом я, кажется, думал, когда – исцарапанный колючками и искусанный москитами – добрался наконец до макушки холма.

¹ Акация устрашающая (лат.).

Исторически это побережье всегда лежало в тени – под властью чужих господ, которые делили его на провинции и колонии или удалялись сюда во время гражданских войн. *Мавританская земля*: здесь сражались на лошадях, слонах и верблюдах, на бронетранспортерах и танках.

Тому, кто хотел бы постоянно держать под обзором равнину – до самого моря и по ту сторону реки, – этот холм предоставлял такую возможность. В последний раз это, должно быть, происходило после Второй мировой войны, то есть после окончательного триумфа техника над воином. Как после крупных пожаров по краям выгоревшей зоны продолжают полыхать языки пламени, так и после заключения мира всегда продолжают изолированные междоусобицы. От них почти не остается имен и дат; для историка это маршруты через безводную пустыню, самое большее – курьезы, чаще всего отвратительные по своей природе. Луминар дает то преимущество, что можно мгновенно уточнить любую деталь из какого-нибудь толстого фолианта наподобие «Истории города Афины в Средние века».

Здесь наверху какой-то султан, должно быть, планировал возвести укрепленный наблюдательный пост – бункер, который торчал бы из земли лишь амбразурами. Сооружение это было построено, но, очевидно, никогда не использовалось, поскольку бетономешалки и прочие механизмы так и остались неубранными. Они ржавели в кустарнике. Бункер был накрыт зеленым колпаком; на нем давно уже разрослись акации. Ни один пилот, как бы низко

он ни летел, не обнаружил бы ничего подозрительного. Но, конечно, костры в дневное время я бы не жег – чтобы не было видно дыма.

Таким образом, я уже с первого взгляда почувствовал себя хозяином этого места. Оно показалось мне исключительно подходящим для переселения в лес – если понадобится, и на долгий срок. Вниз вел входной лаз; я вошел в него, предварительно проверив свечой на наличие газов и счетчиком – на излучение. Дверь была бронированной и вполне исправной. Потребуется разве что немного смазки. Внутреннее помещение, рассчитанное на одну боевую группу, с точки зрения размеров было для меня в самый раз.

*

С этой первой разведки началась работа целого года, которую я, несмотря на все тернии, всегда вспоминаю с удовольствием. Я строил планы на касбе, когда служба это позволяла; а воплощение планов заполняло мое свободное время и продолжительный отпуск.

Задача была проста, однако ее осуществление растянулось надолго. Главным образом потому, что я занимался этим как игрой. А как известно, играм мы предаемся с большим усердием, чем любой работе ради хлеба насущного. Это относится, например, к рыбалке, верховой езде, играм с мячом, сооружению бунгало, ко всем вообще развлечениям и к коллекционированию. На протяжении тысячелетий война, охота, верховая езда, театр, возведение роскошных построек считались княжеским времяпрепровождением. Конец всему этому положила техника. Самое позднее с момента

изобретения пороха стало очевидно, что войны не без внутреннего сопротивления принимают более эффективное оружие – поскольку оно портит игру.

*

Проблему, которую мне предстояло решить, можно свести к простой формуле: «Как на некоторое время стать невидимым?» Не я один озаботился этим: в Эвмесвиле каждый человек более или менее основательно размышляет о таких вещах. Такие мысли как бы сами напрашиваются в период гражданской войны. Они витают в воздухе, обусловлены общественной атмосферой.

Дворцовый переворот, армейский мятеж возможны в любое время; однажды утром в дверь могут постучать оккупанты. Обладая хоть какой-то индивидуальностью, ты непременно попадешь в черный список. Полиция действует в таких случаях весьма изощренно, некоторые частные лица тоже ведут картотеки. В этом отношении никакие меры предусмотрительности не будут лишними.

Участие в определенных демонстрациях и собраниях, пренебрежение какими-то должностными обязанностями и общепринятыми формами чинопочитания, вплоть до отказа от обычной формулы приветствия, – все это принимается к сведению с кажущимся безразличием или даже с либеральной доброжелательностью – – – на самом же деле, как выразился однажды Тоферн, не только замечается, но и «берется на заметку». В карточке пробивается отверстие, и система таких перфорированных отверстий в общих чертах дает представление о том, что принято называть политическими принципами.

Я же стараюсь обходиться без политических принципов и потому слышу у своего братца человеком беспринципным. «Свободный от принципов» – это было бы, конечно, точнее. Я держусь не за принципы, а за возможность свободно распоряжаться собой. Так, я нахожусь в чем-то распоряжении лишь в той мере, в какой это мне угодно, идет ли речь о любви или о войне. Я уважаю не принципы, а конкретного человека. *Je regarde et je garde.*

*

По одному замечанию Домо в ночном баре я сделал вывод, что он велел завести картотеку на подписчиков «Крапивника». Этот «Крапивник» является – разумеется, в весьма скромных пределах – единственным оппозиционным журналом Эвмесвиля. Его терпят, хотя это и не имеет отношения к девизу одного слабого прусского короля: «Я люблю принципиальную оппозицию». Можно скорее предположить, что журнал обязан своим существованием именно идее такой картотеки. Кусочек сахара – и мухи слетаются пировать.

Редакторы «Крапивника» ходят только на цыпочках. В таких условиях, однако, действует и самый тонкий намек. Слух читателей обостряется настолько, что они слышат, как на пол падает булавка. Такие журналы живут за счет анонимной популярности. Каждый читал их; тем не менее на них ссылаются украдкой, как на какую-нибудь табуированную тему.

Наполеон III имел гораздо более сильного противника, который досаждал ему на страницах

еженедельника «La Lanterne»¹. Обложка журнала печаталась дешевой краской; у читателей кончики пальцев становились розовыми. Считалось шиком демонстрировать их, даже император этим кокетничал. У «Крапивника» же, несмотря на большой тирж, – незначительное число подписчиков. Журнал покупают у уличных торговцев либо в киосках. Замечание Домо, следовательно, не застало меня врасплох – я постоянно начеку.

*

Находясь на искривленной поверхности, люди более основательно занимаются вопросами личной безопасности. Я в этом отношении не отличаюсь от прочих. Практические меры я начал принимать, когда заметил, что прохожие бросают на меня враждебные взгляды. Поиски укромного места и обнаружение бункера уже были предварительной подготовкой, потом дело дошло и до обустройства моего убежища.

Итак, проблему, как лучше всего – и по возможности бесследно – исчезнуть на неопределенный срок, я попытался разрешить на свой лад и наметил себе время для этого. Втягивая анарха в какой-то конфликт, в котором тот внутренне не участвует, общество провоцирует его на контр-игру. Анарх постарается изменить направление действия рычага, с помощью которого общество на него воздействует. Тогда само общество окажется в его распоряжении – например, как сцена для великолепных, придуманных для этого общества спектаклей.

¹ «Фонарь» (фр.).

Если анарх – историк, он сумеет воспользоваться историей. И все перевернется: плен станет пленительным, опасность же превратится в приключение, в увлекательную задачу.

В моем случае бегство превратилось в роскошь уединения. Жить как инок в келье, как поэт в мансарде, как Робинзон на острове: об этом ведь мечтал каждый. В моей памяти ожила орешниковая мышка, тотемный зверек моего детства. Когда речь идет об осуществлении мечты, мы не жалеем никаких усилий; так было и здесь.

21

Чтобы адекватно описать эти усилия, мне пришлось бы погрязнуть в сотнях и тысячах деталей; поэтому я ограничусь общей диспозицией. Она может пригодиться и другим, ибо рассчитана на решение универсальной проблемы.

Задача – незаметно протащить по болоту и густым зарослям в мое убежище продовольственные запасы на год и множество необходимых предметов – казалась почти невыполнимой для одного человека; однако происходить это должно было без посторонней помощи. Если бы о моих планах узнал хоть один человек, возможность обеспечения безопасности с самого начала была бы поставлена под сомнение.

Кое-какие вспомогательные средства предложила мне сама местность. Так, я заранее знал, что вид бетона будет действовать на меня угнетающе; поэтому я обшил стены и потолок похожим на бамбук камышом, разросшимся между акациями.

Сочно-желтый цвет трубчатых стеблей был приятным – почти оранжевым. Кроме того, большую часть дня я надеялся проводить под открытым небом. Кусты ведь скроют меня от посторонних глаз. Но при этом их перистые листья настолько редки, что я смогу наслаждаться солнечными ваннами. Для ночного ложа сгодятся мох и трава эспарто.

Ну а теперь транспортировка из города. Есть одно надежное средство, чтобы утаить от общества какое-то начинание: ты делаешь это начинание частью другого, которое общество одобряет и даже считает похвальным. Например: отец с благосклонностью взирает, как его сын изучает Библию. О благосклонности не было бы и речи, узнай отец, что это усердие направлено лишь на выискивание сомнительных мест. Или: опытный шпион открывает в городе фотоателье... И так далее.

Мне пригодилась орнитология: я замаскировался под *birdwatcher*¹. Роснер пришел от этого в восторг. Я сделал так, чтобы он сам дал мне подходящее для моих целей поручение. Дело в том, что еще и сейчас существуют птицы, которые мало знакомы ученым или вообще для них не известны. Егеря Желтого хана, к примеру, совсем недавно обнаружили по ту сторону пустыни лесного павлина. Аналогичную по важности находку посчастливилось сделать и Роснеру, когда в верховьях Суса он отыскал особую породу кур, ближайшие родственники которых обитают в кустарниковых зарослях Австралии: птицу со странными привычками. Роснер высказался о ней так: «Эта бестия изобрела инкубатор задолго до того, как до него додумались египтяне». Именно: в

¹ Наблюдатель за птицами, орнитолог (англ.).

космосе не сыщешь ничего нового – иначе Универсум не заслуживал бы своего названия.

Заботу о выводке эта птица препоручает природным стихиям: складывает холмик из листьев и прячет в нем яйца. А «высиживание» происходит за счет брожения гниющей листвы. Остается лишь позаботиться, чтобы теплота удерживалась в нужных пределах. Для этого необходимо регулировать влажность. Чтобы собрать влагу, птица во время дождя выкапывает на вершине холмика ямку, которую потом – когда вновь появляется солнце – прикрывает. Птица умеет не допускать, чтобы внутри становилось слишком тепло; а значит, она предвосхитила еще и изобретение термостата. Вообще, похоже, что наш интеллект – не более чем редуцированный инстинкт: ответвление на древе жизни, возникшее в результате многих тысячелетий естественного отбора. Это предположение не ново, однако с упадком истории, то есть в метаисторическую эпоху, оно приобретает новое значение. Среди прочего, животные могут потребовать возмещения тех жертв, которые они так долго нам приносили. Уже одно это дает представление о банальности мышления ученых, бьющихся над вопросом, обладают ли животные интеллектом.

*

Эти птицы могут – на свой лад – также считаться образцом решения семейной проблемы: поскольку работает у них только самец. Он отличается мощными скребущими лапами, которыми без устали сгребает листву. Только когда на его голой шее набухает нарост, появляется самка – для токования. Она

позволяет – после церемониальных поклонов и плясок – оплодотворить себя и потом откладывает яйца в гнездо. Уход за ними – дело супруга, пока не вылупятся птенцы. Они выпархивают из гнезда и уже в первую ночь, как это происходит у перепелов, могут взлететь на дерево.

Роснер воспринял такое обогащение нашей фауны как сенсацию.

Он составил каталог вопросов. По всей вероятности, удаленному месту обитания соответствовало и поведение, отклоняющееся от обычного. Для меня как историка это подняло проблему матриархата. Я процитировал в луминаре Бахофена. Мы с ним вступили в оживленный разговор. Само собой, я вызвался в свободное время наблюдать за этими курами. Роснер похвалил мое усердие; об этом узнал даже Кондор и, покидая ночной бар, удостоил меня несколькими словами одобрения.

Тем самым вопрос транспортировки был решен. Интересующий нас биотоп располагался удачно, он был почти недоступен, и недалеко оттуда начинался подъем на холм, густо заросший акациями. У подножия этого холма я и оборудовал свой пост наблюдения. Подразумевалось, что выполнение данного мне поручения займет – пусть и с перерывами – по меньшей мере один сезон.

Между обустройством поста наблюдения и запланированным мною обустройством бункера большой разницы не было. Все, в чем я нуждался, подвозилось к ловчим угольям Роснера в нижнем течении Суса, и потом мулы тащили это сквозь заросли слон-травы. Погонщики мулов построили там для меня хижину. Как только они ушли, началась настоящая работа: я доставлял вещи наверх, к бункеру, продираясь

через акации. Для этого я оставил себе одно вьючное животное. Из-за него мне пришлось прорубить более широкую тропу. Но это меня не тревожило, поскольку акации растут быстро. Уже вскоре после вселения в бункер я буду окружен непроходимыми зарослями, как Спящая красавица в своем замке.

Хижина для наблюдения за сгребаящими листья курами имела для меня то же значение, что для водолаза – барокамера, в которой он задерживается со своим снаряжением, прежде чем погрузиться на новую глубину. Хижина обеспечивала, кроме того, и некоторое политическое преимущество: преимущество пересадочной станции. Я мог, не вызывая подозрений, отойти в сторону, если бы в Эвмесвиле явственно наметился кризис, – и вернуться с установлением лучшей погоды. Тогда я работал на Роснера. А если бы ситуация изменилась, остался б на том же месте, но уже как отшельник. Я там с самого начала был мало замечен – а в случае перемены ситуации стал бы и вовсе невидимым.

*

Впрочем, Роснер, надо сказать, не досаждал мне своими визитами. У меня оставалось вдоволь досуга для наблюдения за его скребущей курицей. Я спрятал в лиственных холмиках маленькие аппараты, регистрирующие температуру в разных слоях, и установил другие, которые фиксировали kloчущий зов к токованию. Среди прочего я выяснил, что злейшими врагами этой птицы являются дикие собаки; нескольких собак мне удалось пристрелить. Уже из-за них эта местность считается небезопасной.

Прежде всего, я смог подтвердить, что речь действительно идет о новом виде. Роснер был воодушевлен; он непременно хотел назвать этот вид моим именем: *Alectura venatoris*¹ – – – мне лишь с трудом удалось отговорить его. Тем не менее я злоупотребил-таки доверием этого добряка. Впрочем, к дополнительным преимуществам, которыми пользуется анарх, относится и то, что его нередко вознаграждают за вещи, которыми он занимается как бы между делом или даже вразрез со своими прямыми обязанностями. Вот, пожалуй, и все о транспортировке.

*

Само собой, отправляясь к птичьему гнездовью, я прихватил с собою оружие. Там мне предстояло не только отстреливать птиц для музея Роснера, но и самому защищаться от хищников и крупных травоядных, прежде всего от рыжего буйвола, который всегда появляется неожиданно и очень опасен. Итак, я запасся охотничьим и боевым оружием. Анарх ведет свои собственные войны, даже когда шагает в сомкнутом строю.

Я позаботился и о боеприпасах для гладкоствольных ружей, от мелкой дроби до крупной, а также запасся полыми зарядами для стрельбы с короткой дистанции. Из нарезного ружья я намеревался вести огонь безоболочными пулями марки «Unedo»: «Одной вполне хватит».

Человеку, имеющему серебряный фонофор, не требуется разрешение на право ношения оружия. В разных магазинах я купил два одинаковых ком-

¹ Курица Венатора (лат.).

плекта: один остался в нижней хижине, другой хранился в бункере. Таким образом, я был снаряжен не только для обороны, но и для охотничьих вылазок с целью обеспечения себя свежим мясом. Там, наверху, кружит крупная антилопа, мясо которой превосходно вялится. Туши одной такой особи хватит на год.

*

Случайных посетителей вряд ли стоило опасаться; но предусмотреть возможность таких визитов все же следовало. Последний отрезок прорубленного в акациевых зарослях прохода я сделал бы прямым. На ночь я заменял бы оптический прицел нарезного ружья прожектором, который будет высвечивать незваного гостя. За лучом света непосредственно последует выстрел.

Впрочем, я услышу ищейку еще до того, как она свернет на простреливаемый участок тропы. Чувствительные акустические приборы в Эвмесвиле достигли почти полного совершенства. Есть зоны, в которых люди не решаются говорить даже шепотом. Разговоры могут быть опасны для жизни.

Я не хочу углубляться в подробности; упомяну лишь, что с самого начала отказался от мин. «С ними лучше вообще не связываться», – сказал мне однажды опытный сапер. Мои штудии практики партизанской борьбы полностью подтвердили справедливость такого мнения.

Вспоминая выражение русских о «пуле – дуре», мину можно назвать «слепой душой»; она – настоящий ящик Пандоры, даже для человека, который ее закладывает. Не говоря уж о том, что в нашем регионе случаются землетрясения, привести ее в дей-

ствие может лапа зверя или не знающий о ней путник. Пагубна также и собственная забывчивость.

Мина анонимна, она – грубое боевое средство. То обстоятельство, что ее охотно используют партизаны, объясняется особенностями их борьбы, цель которой – сделать небезопасным определенный ландшафт. Анарх уже потому не поддастся этому искушению, что он ориентируется не на идеи, а на факты. Он борется в одиночку, как свободный человек, который далек от мысли жертвовать собой для того, чтобы одно несовершенство пришло на смену другому и какая-нибудь новая власть восторжествовала над старой. В этом смысле ему ближе даже обыватель – например, пекарь, заботящийся в первую очередь о том, чтобы выпечь хороший хлеб, или крестьянин, ведущий плуг, в то время как по его полю движутся армии.

Анарх – это одинокий *лесной путник*, партизаны же – коллектив. Я – и как историк, и просто как современник – наблюдал их раздоры. Затхлый воздух, смутные идеи, смертоносная энергия, а в конечном счете в седле снова оказываются отставные монархи и генералы, которые в благодарность за помощь ликвидируют своих недавних помощников. Кое-кого из партизан я не мог не любить, потому что сами эти люди любили свободу, хотя дело, за которое они боролись, не заслуживало их жертвы; это всегда настраивало меня на грустный лад.

*

Если я люблю свободу «превыше всего», любое мое действие превращается лишь в подобие, в символ. Это связано с различием между *лесным путником* и

борцом за свободу; различием, имеющим не качественную, а субстанциональную природу. Анарх ближе к бытию. Партизан движется в пределах социальной либо национальной партийной группировки, анарх же пребывает вне каких бы то ни было партий. Хотя он тоже не может уклониться от вовлеченности в партийную систему, поскольку живет в обществе.

Разница между двумя этими позициями с очевидностью обнаружится, как только я отправлюсь в свою лесную хижину, а мой ливанец уйдет к партизанам. Я тогда не только сохраню свою субстанциональную свободу, но смогу полностью и зримо наслаждаться ею. Ливанец же, напротив, только поменяет свое положение внутри общества; он попадет в зависимость от какой-нибудь новой группы, которая будет иметь над ним еще большую власть.

*

Конечно, я мог бы так же хорошо или плохо служить партизанам, как служил Кондору; я иногда играл с такой мыслью. И там, и там я оставался бы тем же самым, внутренне незатронутым. То, что служба у партизан была бы опаснее, чем у Кондора, никакой роли не играет: я люблю опасность. Но как историк я предпочитаю, чтобы она была четко профилирована.

Убийства и измены, грабежи, поджоги и кровная месть почти не имеют значения для историка; длинные отрезки истории – например, корсиканской – оказываются для него бесплодными. История племен приобретает значение только тогда, когда – как, например, в Тевтобургском лесу – проявляется

в связи с всемирной историей. Тогда начинают сверкать имена и даты.

Партизан действует *по краям*; он служит крупным державам, которые снабжают его оружием и лозунгами. Но вскоре после победы он становится неудобным. И если ему вздумается продолжать играть роль идеалиста, его быстро урезонят.

*

В Эвмесвиле, где идеи влачат жалкое существование, все это выглядит еще проще. Стоит собраться какой-нибудь группе, и «один из двенадцати» наверняка уже думает об измене. Его вскоре *ликвидируют*, часто лишь на основании непроверенного подозрения. Я слышал в ночном баре, как Домо рассказывал Кондору об одном таком случае: «У нас он бы дешевле отделался, – добавил он. – Бестолочь! Мне больше по душе гангстеры: те свое дело знают».

Я внес это в свою записную книжку. В завершение хотелось бы повторить, что я вовсе не думаю, будто, как анарх, представляю собой нечто особенное. Я ощущаю все так же, как любой другой человек. Может, только чуть четче продумал сложившуюся ситуацию и осознал, что располагаю свободой, которая «субстанциально» присуща каждому: свободой, которая – в большей или меньшей степени – определяет поступки любого человека.

*

В первую очередь я должен был бы позаботиться о воде; но в связи с этим никаких трудностей не возникнет. Бункеры в наших краях прежде покрывали

наклонной кровлей, с нее в период дождей вода стекала в цистерну. На это, правда, я не могу рассчитывать, поскольку крыша бункера давно покрылась растительностью. Зато поблизости – один из рукавов Суса. И хотя летом эта старица высыхает, отдельные озерца всегда остаются наполненными. Там пережидают засуху рыбы и черепахи. Со стороны реки эти озерца недоступны: зыбкий песок между ними не выдерживает даже самого легкого веса.

Итак, для начала придется снова прорубать тропу через акации и потом сквозь камыш – в случае надобности она может послужить и для бегства; этим я займусь в первую очередь. И таким образом обеспечу доступ к воде.

В вине недостатка не будет: я уже приготовил большой запас, из расчета как минимум одна бутылка в день. Отмечу попутно, что вино у нас получается очень крепким: лозы стелются по горячей земле и приносят кисти, крупные, как во времена Халева. Я эти сорта знаю: как стюард, я перед каждой закупкой вина для касбы принимаю участие в дегустации.

Я уже упоминал, что намерен питаться преимущественно за счет охоты. Но я заранее запасаюсь солью и перцем, а также другими пряностями; наши повара почти для каждого вида жаркого используют особую приправу. В овощах тоже не должно ощущаться недостатка; я уже доставил наверх изрядный запас семян. Салаты, редис, вьющаяся фасоль растут здесь на удивление быстро. Я посадил и несколько кустов сладкого маниока: его клубневидные корни размножаются безо всякого присмотра.

Чай, кофе, шоколад упакованы в вакуумные контейнеры. Хоть помещай их в гробницы с муми-

ями, чтобы порадовать будущих археологов! Тростниковый и кленовый сахар, кристаллизованный мед для чая.

Посуда: прежде всего, мой серебряный бокал; его я принесу только в свой последний приход. Не забыть: столовые приборы, штопор, а также все, что требуется для варки и жаренья. Одной кастрюли хватит – из тех, какими пользуются здесь арабские женщины и которые понравились бы гастроному Румору. Здешние стряпухи собирают такую кастрюлю из нескольких маленьких – с продырявленными доньшками, – которые, по усмотрению хозяйки, можно наполнять различными сортами мяса, пшеном, листовыми, стручковыми и клубневыми овощами. Эти ингредиенты во время готовки взаимно обогащают друг друга – почти алхимическим способом.

Хотя там, наверху, полно хвороста, я – чтобы не было дыма – решил обходиться без костра. Со времени изобретения термических колец обогрев уже не составляет проблемы; относительно недавно появилась шкала, с помощью которой можно как угодно регулировать тепло, доводя его хоть до белого каления. Кольца стоят дорого; приобретать их вправе только лица, обладающие, по меньшей мере, серебряным фонофором. Это значит, что из катакомб еще могут прийти всяческие неожиданности.

О провианте все. Распространяться на эту тему можно было бы долго. Но иной читатель, возможно, сочтет излишне многословным уже этот перечень – и будет прав. Я слишком увлекся игрой фантазии – как когда-то заигрывался, представляя себя орешниковой мышью. Только на сей раз я был ближе к реальности: я бы мог, если бы захотел, осуществить

свою грезу. Сказанное относится, среди прочего, и к этим запискам. Но мне и их достаточно, чтобы в разговоре с самим собой подкрепить убежденность в моей свободе.

*

Меньше всего я ломал голову над будущими развлечениями, поскольку я никогда не скучаю – такова уж моя натура. Ребенком, чтобы насладиться одиночеством, я забирался в самые укромные уголки. Сегодня я в этом уже не нуждаюсь. И здесь мне тоже помог Бруно; вот вкратце изложение его взглядов.

Представление о том, что внешние атрибуты – скажем, чины, деньги и почести – делают человека счастливым, часто порицается, но это не значит, что оно ошибочно. Согласно Фоме Аквинскому, все это относится к «акциденциям». *Accidens*¹ – это несущественное, к которому следует причислить и тело. Если удастся отделить субстанцию от тела, то есть рассматривать самого себя с некоей дистанции, мы поднимаемся на первую ступень, ведущую к обретению духовной силы. На это направлены многие упражнения – – – начиная с учебных занятий солдата и кончая медитациями отшельника.

Но когда умение занимать по отношению к себе правильную дистанцию уже выработано, можно снова соединить субстанциональное и акцидентальное. Это напоминает вакцинацию собственной кровью и прежде всего проявляется в том, что само тело как бы обретает новую жизнь. Черты лица становятся такими, какие мы видим на полотнах старых мастеров. Те творили, добавляя в

¹ Случайное, побочное, несущественное, акцидентное (лат.).

картины что-то от *собственно своего*. Они будто подмешивали это *что-то* в краски. И с предметами так же: они всегда что-то значили, но теперь наполняются смыслом. На вещи падает новый отблеск, они вдруг начинают светиться. Такое может получиться у каждого; я слышал от одного ученика Бруно: «Мир казался мне пустым, потому что я сам был пустоголовым». Но и человеческая голова может наполниться. Только прежде мы должны позабыть то, чему научились.

В этом отношении я еще стою в самом начале пути. Чтобы достичь конечной цели, нужно пройти дальше того рубежа, до которого добрался Бруно. «О, если бы мне магию забыть...» – – – однако скука изгнана. Пьеса еще не началась; музыканты настраивают инструменты, за занавесом, кажется, происходит какое-то движение. Я упражняюсь перед зеркалом в умении отдаляться от самого себя – – – но как потом вернуться: вот в чем проблема.

*

Там, наверху, у меня хватит времени и для рыбалки, и для охоты. Ведь даже надобность в составлении заметок для Роснера отпадет. Еще при первой разведывательной вылазке, закончившейся обнаружением бункера, мое внимание привлекла одна акация; она росла на поляне, какие возникают, когда падает дерево. Куст акации, точно виселица, был увешан скелетами. И хотя скелеты эти были совсем маленькими, я в первый момент отпрянул. Такое иногда случается с нами, когда мы неожиданно сталкиваемся с жестокостью природы. Роснер объясняет это нашей обидой на природу. Он сравнивает

природу с праздничной кухней, где каждый наслаждается едой и, в свою очередь, оказывается съеденным. При этом ничто не пропадает: баланс всегда сходится. «Все удобряет все», – считают сельские жители. Если верить Роснеру, мы отчасти живем за счет существ, порождаемых нашим кишечником и затем вновь перевариваемых. Таким можно представить себе демиурга: сверху, как мировой дух, он в олимпийском спокойствии любит свирепостью зверей и человеческими войнами – – а внизу присутствует в образе толстяка, которому идет на пользу как любое пожирание пищи, так и все живое, что оказывается сожранным.

Правда, осознание этого положения вещей так же мало освобождает меня от боли, как освободило бы какого-нибудь гренадера, которому во славу короля отстрелили ногу. Как анарх, я должен воздерживаться от любой формы мученичества. А для историка вопрос о боли носит фундаментальный характер.

Замечу попутно: историку следует избегать рассмотрения истории как с биологической или экономической, так и с философской точки зрения; его наука *гуманна*; история – точно так же, как человек, – не может быть ни объяснена, ни сублимирована. Быть историком – значит смотреть в глаза самому себе.

*

На дереве-виселице висели скелеты птиц, лягушек и ящериц. Птицы были размером с воробьев – как взрослых, так и еще не оперившихся. Очевидно, я попал в охотничьи угодья *сорокопута*. В народе его называют также *девятикратным убийцей*, *накалывате-*

лем или смертным ужасом. Он селится поблизости от колючих кустов, которые использует как кладовую. И накалывает свою добычу на шипы, если не съедает ее сразу. По мере надобности сорокопут возвращается к кусту, чтобы в один присест проглотить маленькое животное или по частям расклевать более крупное, как я увидел здесь, на его лобном месте. Картина миниатюрная, но зловещая.

Здесь нашлось бы, за чем понаблюдать. Принесит ли сорокопут свои жертвы мертвыми или еще живыми? И как он их накалывает? Скорее всего, он, как рачительный отец семейства, заботится о том, чтобы они как можно дольше оставались свежими. Роснер знает похожие примеры. Оса парализует свою добычу – гусеницу, которая должна служить пищей для ее потомства, – уколом в нервный узел. Жертва еще может жевать, но личинки уже питаются ею, выжирая изнутри разрастающуюся плоть.

Возможно, здесь действует сорокопут какой-то мало известной разновидности. Дальше внизу, в камышах, охотится крупный экземпляр малого пегого зимородка. Эта птица в наших широтах встречается повсюду на реках и побережье, и она совсем не пугливая – ее чуть не рукою можно схватить. Однажды, когда я сидел с удочкой на берегу Суса, зимородок – с только что пойманной рыбой в клюве – уселся рядом со мной на столб и кивнул мне. О зимородках я вряд ли мог бы сообщить что-то новое, но вопрос тут не во мне.

Роснер знает обо всех этих животных бесконечно больше меня. Но он остается – если мне будет позволено вернуться к сказанному выше – *при акциденциях*.

*

Кроме календаря – чтобы вычеркивать дни – никакой печатной продукции я с собой не возьму. Перспектива прожить целый год, полностью освободив свой дух от бремени чтения, меня радует. Временное воздержание от чтения, возможно, так же благотворно подействует на душевное здоровье, как голодная диета действует на здоровье телесное.

Хорошо и то, что отпадет луминар. Трансформатор, размещенный в скале под касбой, без грузовика с места не сдвинешь. Мне будет не доставать общения с луминаром не как анарху, а как историку. Если не считать редких бесед – например, с Виго, – единственные часы, когда я чувствую, что занят настоящим делом, заполнены этим магическим и часто гениальным заклинанием времени: даром катакомб. Я часто размышлял о том, только ли временная дистанция повышает ценность происходящего, превращая его в историю; и мне представляется теперь, что, скорее, такая дистанция высветляет субстанцию, которая была скрыта в пене. Именно поэтому история порой становится темой и для поэта. С другой стороны, Эвмесвиль – даже по прошествии тысячи лет – не сможет стать объектом в этом смысле. Он лишен истории, и по отношению к нему оправданы ожидания совсем иного рода.

*

Бывает такая болезнь – поперечный миелит, – когда оказывается пораженным нерв истории. Это приводит к угасанию традиции. Деяния отцов могут тогда жить только в спектакле, в трагедии, но не в повседневной практике. С этим приходится

смириться. В Эвмесвиле такое случилось уже много поколений назад.

Разумеется, у нас тоже сохранились еще консерваторы, мечтатели, которые создают свои объединения и кажутся неприкаянными призраками. Их заседания обнаруживают определенное сходство с заседаниями анархистов. В кафе такие люди украшают свои столы флажками и подкармливают молодых людей, которые над ними же насмеются. Конечно, и революции порой дают материал для традиции. Я припоминаю один из таких кружков и его безвкусный идеализм – «Атакующие соратники Сократа». Туда меня ввел мой братец.

С точки зрения историка, подобные явления представляются скорее призрачными, чем эпигонскими. Представляются – длинными отрезками существования скудного и обескровленного прозябания, не дающего для него, историка, никакой добычи. Традиция сохраняется там, где она – вместе с последними своими носителями – гибнет и, значит, кровью просачивается в почву, а не там, где она, как при цезарях Запада, продолжает влачить жалкое остаточное существование. Из носителей же восточной традиции последние погибли при штурме городских стен. Большие города становятся трансцендентными в пламени пожаров. Я сейчас вспоминаю, среди прочих, супругу Гасдрубала – женщину, которую я почитал и любил. Порабощению она предпочла огонь.

*

Я прихватил наверх маленький телевизор. Чтобы иногда включать его и слушать новости. Они

транслируются на закате солнца, и, поскольку слушают их все поголовно, отдельного слушателя в это время запеленговать невозможно. За пространством теле- и радиовещания ведется тщательнейшее наблюдение; таким способом не только определяется местонахождение партизанских гнезд, но часто и планы партизан становятся во всех деталях известны властям.

Невероятно, с каким легкомыслием молодые люди из хороших семей пускаются в подобные авантюры. Фантазии им не занимать, а вот интеллекту за ней не угнаться. Они, правда, достаточно смелы, чтобы решиться вступить в борьбу с обществом, однако у них отсутствует потребный для этого инструмент. Поэтому они всегда начинают с одних и тех же ошибок; полиции нужно только дожидаться, пока они сами попадутся к ней в сети. И полицейские не торопятся.

«Дадим им дозреть». Это одна из максим Домо, которую я порой слышу в ночном баре; и тогда становлюсь особенно внимательным. Этими словами заканчиваются совещания, которые велись в кабинете, однако и после мне порой удастся поймать кое-какие отголоски уже обговоренного. Верховья Суса не относятся к числу облюбованных партизанами районов – в этом я уверен. Было бы крайне неприятно, если бы там поселились эти дилетанты и навлекли на мою голову полицию.

Как уже говорилось, с партизанами у меня нет ничего общего. Я не хочу вступать в спор с обществом – например, чтобы улучшить его; для меня главное – не подпускать его к себе слишком близко. Я привык сам формулировать стоящие передо мной задачи – и свои требования тоже.

Что же касается борцов за лучшее будущее, то я знаю, какие ужасы творились во имя гуманности, христианства, прогресса. Я эти ужасы изучал. Не знаю, точно ли я цитирую слова одного галльского мыслителя: «Человек – ни животное, ни ангел; но он превращается в черта, когда хочет стать ангелом».

*

Обычно я буду слушать последние известия по транзистору; но может возникнуть необходимость подтвердить их телевизором – – – например, в тех случаях, когда у меня возникнут сомнения относительно смерти властителей или сохранения жизни заложников. При тех и других обстоятельствах лучше подождать, пока тебе покажут головы.

Когда замечают чье-то отсутствие, начинаются поиски посредством звонков по фонофору. Получив ответ, ты понимаешь, что человек еще жив, и даже догадываешься, где приблизительно он в данный момент находится. Я, значит, надолго отключу свой фонофор. Все наше общественное существование исчерпывается нажатием каких-то кнопок и тем, что нажимают – как на кнопки – на нас. Идеалом является *всеобщая и одновременная включенность* – унификация.

Впрочем, соответствия между открытием и использованием электрических сил, с одной стороны, и развитием общественного сознания с другой, – статья особая. Чтобы найти здесь сопоставимые феномены, нужно углубиться в предысторию. Это одна из тем, которыми занимается Ингрид. Франклин – как ключевая фигура.

Я основательно размышлял о причинах, которые обрекают на неудачу всякий *лесной путь*. Этот вопрос занимает многих – например, каждого, кто планирует «идеальное преступление». Такие типы – почти все без исключения – предаются неоправданному оптимизму.

Само понятие *лесного пути* подтверждает особое положение анарха, который, в сущности, всегда и везде остается *лесным путником* – будь то в чаще леса или в большом городе, внутри общества или за его пределами. Между *лесным путником* и *партизаном* существует такая же разница, как между анархом и представителем криминального мира; разница эта выражается в отношении к закону. Партизан хочет изменить закон, уголовник – нарушить его. Анарх же не хочет ни того ни другого. Он – ни за закон, ни *против* него. Но, хотя анарх и не признает закон, он все же пытается распознать в нем подобие законов природы – и приспосабливается к нему.

Когда становится жарко, всякий человек снимает шляпу, в дождь он открывает зонт, а при первом подземном толчке покидает дом. Право и нравы становятся предметом новой науки. Анарх старается судить о них с этнографической, исторической, а также (о чем я, пожалуй, еще расскажу подробнее) с моральной точки зрения. В государстве анархом обычно всегда довольны; он едва ли привлечет к себе внимание. В этом отношении прослеживается определенное сходство между ним и преступником – например, опытным шпионом, который скрывает свои возможности за каким-то будничным занятием.

Я предполагаю, что у знаменитых личностей, чьи имена я даже не решаюсь назвать, был очень сильно выражен анархический элемент. Ведь если кому-то удалось добиться фундаментальных изменений в правовой системе и нравах какого-то общества, необходимой предпосылкой для этого была радикальная внутренняя отстраненность от действующих в этом обществе норм. И такое рычажное воздействие, если оно вообще имело место, мог осуществить лишь анарх.

Я вызывал в луминаре некоторых великих преобразователей, дабы заглянуть за революционный фасад, – и не потому, что интересовался их частной жизнью, а чтобы уяснить себе духовные мотивировки, которыми они руководствовались. Ведь то, что говорится – и воспринимается другим, – как бы между прочим, без определенного намерения, даже зачастую без слов, часто оказывается показательнее четко сформулированной программы.

«Величие» для анарха есть нечто вторичное, часто зависимое от случая. Понятно поэтому, что уже достигнутое не удовлетворяло великих, а нередко и раздражало. Последние слова: «And so much to do»¹. Они неохотно позволяют, чтобы их втискивали в какие-то жесткие рамки. Это отражается – *posthum*² – в разнообразии их приверженцев. Вырастают все новые школы и секты, ссылающиеся на одного и того же учителя.

*

¹ «(Жизнь коротка,) и так много нужно сделать» (английская пословица).

² После смерти (*лат.*).

Лесного путника и партизана, как уже говорилось, нельзя смешивать; *партизан* ведет борьбу в обществе, *лесной путник* существует сам по себе. С другой стороны, *лесного путника* не следует путать и с анархом, хотя на время эти двое могут становиться очень похожими и в экзистенциальном плане почти не различимыми.

Различие заключается в том, что *лесной путник* – человек, которого вытеснили из общества; анарх же, напротив, вытеснил общество из себя. Он есть и остается сам себе господин – при любых обстоятельствах. Если он решился на *лесной путь*, то для него это не столько вопрос права и совести, сколько следствие, так сказать, транспортной аварии. Он меняет способ маскировки; как бы то ни было, в ситуации лесного бродяжничества его инаковость проступает отчетливей, но именно поэтому принимает ослабленную, хотя и неизбежную в таком крайнем случае форму.

Само собой, я основательно этим занимался и с помощью луминара, и в библиотеке. И натолкнулся на возможность заблуждения, уклона в другую сторону. Могу сослаться в этой связи на одну фразу, обнаруженную мною во вступлении к старому труду о предыстории и ранней истории германцев. Некий профессор Кикебуш написал там: «Жить в качестве исполняющего некую службу члена определенного коллектива – это и задача, и награда. Наивысшая цель любой работы и любого стремления отдельной личности – благо сообщества, к которому эта личность принадлежит».

Это сформулировано в стиле, характерном для конца эпохи борющихся народов, когда менялся способ эксплуатации. Несколькими поколениями раньше, в период освободительных войн, ту же

мысль выразили бы более пламенно. Дух витает над плотью, как ветер, приводящий в движение все новые поколения. Воодушевление за ним следует и исчезает с ним вместе. В Эвмесвиле подобные фразы уже так давно стали историей, что даже на университетских семинарах их почти никогда не цитируют.

Для анарха – тем более если он получил историческое образование – дело обстоит не так просто. Если он держится независимо от власти, будь то власть князей или общества, это еще не значит, что он категорически отказывается служить. Как правило, он служит не хуже, чем все другие, – а иногда даже лучше, если такая игра ему нравится. Он лишь воздерживается от клятвы, от жертвы, от безусловной преданности. Это вопросы метафизической чистоплотности, которые в Эвмесвиле едва ли имеют значение. Зато ты избавляешь себя от общения с типами, которые полагают, будто здесь еще многое можно улучшить, или даже хлопочут о своей загробной жизни.

Я несу службу на касбе; если мне доведется пасть за Кондора, это будет несчастный случай, возможно даже достойный сострадания, – но не более того.

*

Я позволю себе бросить взгляд, так сказать, на метеорологическую ситуацию, но буду краток. Любому *историку по крови* знаком испуг перед фактами, которые, хотя и сохранились в традиции, однако стали бессмысленными. Да, ради чего жертвовали собой эти люди? Такое ощущение можно распространить и на картину мира. Сэр Ричард Бёртон, великий путешественник:

*How Life is dirn, unreal, vain,
like scenes that round the drunkard reel...
A drop in Ocean's boundless tide,
unfathom'd waste of agony;
Where millions live their horrid lives
by making other millions die.*

*А жизнь туманна, призрачна, напрасна,
как сцены те, что вдруг пьянчуге снятся...
Она – как капля в океане безграничном.
Людские толпы жизни страшные влечат –
непостижимо растраниживание боли –
за счет того, что миллионам смерть сулят.*

Есть некий градус бессмысленности и оледенения, который, пугая глаз, требует какого-то контраста. Реальность становится сомнительной, и потому ближе подступают фантомы. Потому, вероятно, вид скелета и ошеломляет нас больше, нежели вид трупа. То же можно сказать в отношении чисто математических картин мира. Школа, известная в истории искусства под названием *сюрреализм*, исходила из такого принципа воздействия. Она расцвела на короткое время незадолго до первого прилунения.

Представьте себе дом, который не просто не населен, но вымер, окаменел, превратившись в саркофаг духа, в мавзолей выгоревшего мира. Здесь ни один из смертных не выйдет из дверей.

Представьте себе вулкан, который с незапамятных времен считался потухшим: уже первые люди, поселившиеся рядом с ним, считали его мертвым. И тем не менее, когда начнутся подземные толчки, не по себе станет всем. В Эвмесвиле, однако, такое мало кто способен почувствовать.

*

Лесное бродяжничество похоже на идеальное преступление – это касается и предварительного планирования, и промахов. Нет ничего легче, чем решиться на самоуправство, и ничего труднее, чем осуществить это. Человек разучился опираться на себя самого – стоять на собственных ногах, непосредственно на земле. Он не привык обходиться без помощника и соучастника. Уже это вносит в его систему первые белые пятна.

Самое долгое *лесное бродяжничество* – в Исландии – совершил Греттир, сильнейший на острове мужчина, который не боялся людей, но, пожалуй, боялся могильных жителей. Когда Гудмунд посоветовал ему поселиться на Скала-Острове, Греттир ответил:

– Попытаюсь, но я стал так бояться темноты, что даже ради спасения жизни не могу жить один.

Гудмунд сказал:

– Может быть, это и так. Но ни на кого, кроме себя, не полагайся.

Греттир взял с собой пятнадцатилетнего брата Иллуги, и это было хорошо, однако с ним – еще раба Глаума. Иллуги погиб, сражаясь на стороне Греттира, тогда как Глаум своего хозяина предал. Этому Иллуги я поставил наверху, на Акациевом холме, памятный камень.

*

Здесь, на юге, тоже прославились бесприютные люди: островные жители, как те на севере, и, подобно тем, – пастухи овечьих отар и убийцы. Овечий пастух смелее и вольнолюбивее, чем пастух коров:

он меньше привязан к земле, пасет на пустошах. Плуг, ярмо, изгородь, дом – изобретения коровьего пастуха; и, значит, они представляют собой градации холопства и выгоды. Это феномены; за ними стоят великие знаки Овна и Тельца.

Такого рода замечания бессмысленны применительно к городу, где люди уже не умеют отличить основание от причины. Причина имеет основание, а вот основание не имеет причины. Причина объясняет что-то, тогда как основание опирается на неисчерпаемое – но это так, между прочим.

Проследивая в луминаре судьбу корсиканских и сардинских бандитов, например клана Тан-дедду – лесных жителей, которые удивительно долго и стойко противостояли большому количеству полицейских, – я обнаружил, что причиной их гибели почти всегда становилась женщина: и не потому вовсе, что женщины совершали предательство, как некогда Далила по отношению к Самсону, а потому только, что они слишком много знали. Женщина – в большинстве случаев единственный человек, который знает убежище скрывающегося мужчины, – пробирается к своему супругу либо любовнику. Жандармам с собаками достаточно взять ее след, и игра заканчивается.

Таким образом, у меня имелись все основания не посвящать в свои планы Ингрид. Ведь нас с ней часто видели вместе в городе и в институте, и в моем досье на касбе она наверняка упомянута как лицо, контактирующее со мною. Конечно, я верю, что она будет держать язык за зубами, – но какое это имеет значение? Полицейским стоит только узнать о ком-то, кто что-то знает, – и они, ухватившись за ниточку, распутают весь клубок.

Когда заговаривают о тирании, автоматически всплывает слово «пытки». В Эвмесвиле о пытках не может быть и речи. Полиция у нас *доброкачественная* (что, правда, не означает *добродушная*). Следят за тем, чтобы она *работала в перчатках* (что, опять же, не означает *в замшевых перчатках*). Хватка должна быть жесткой, хотя и не удушающей; она должна быть – я цитирую Домо – «ответом, соразмерным провокации». Имеется в виду, что, как выражались раньше, «на земле не должны оставаться следы крови».

Когда я стою за стойкой бара – по большей части выжидая, а не обслуживая посетителей, – мне вполне хватает времени для наблюдений за Домо. Жестокость ему не свойственна. Он человек не нервный, но весьма чувствительный. Движения обслуживающего персонала должны гармонично переходить одно в другое. В этом смысле особенно хорошо вышколены *миньоны*. Когда какие-то звуки или голоса раздражают Домо, его лицо неувлимым образом меняется, кажется заострившимся; я специально изучал такого рода энграммы. Вой собак перед касбой в лунные ночи, похоже, особенно ему неприятен.

Итак, когда Домо на полях какого-то протокола ставит свое красное «П», означающее, что допрос следует повторить, это не следует понимать как намек на тайные ужасы. Напротив – чем важнее дело, тем более приятным для подсудимого будет стиль разбирательства. В ночном баре иногда появляется толстый военный судья, который уютно устраивается за столиком вместе с подследственным и при этом, если я правильно понимаю, сле-

дит скорее за тем, чтобы такое настроение оставалось в определенных границах.

А вот во владениях Желтого хана все еще – или опять – используют жестокие пытки, что всем известно, хотя об этом и не трезвонят на каждом углу. По этому вопросу мнения Кондора и трибунов совпадают, хотя мотивы у них совершенно разные.

*

В Эвмесвиле правление тираническое, но не деспотическое. Деспот находит удовольствие в том, чтобы лишить человека достоинства; это ему свойственно от рождения – и потому он следует такому инстинкту даже во вред государственным интересам и собственной пользе. То, что это инстинкт – который хоть и представлен с особой отчетливостью в некоторых регионах, но не ограничен их рамками, – я заключаю по преступлениям определенного типа, которые здесь все снова и снова рассматриваются в суде. Молодые люди ночью останавливают какого-нибудь прохожего, завладевают им и уводят в глухое место. Там они мучают его и в конце концов убивают – хотя несчастный им ничего худого не сделал и они с ним даже не знакомы; но это только усиливает их неистовство.

Такие нападения совершаются не в гавани, где еженощно происходят кровавые потасовки, а в кварталах уважаемых лиц и ради забавы их отпрысков. В криминальном мире тоже существуют преступления *класса люкс* – этакое *l'art pour l'art*¹. «Основания, – говорит Виго, – это только тоненький кожный покров, скрывающий бездну безосновательного».

¹ Искусство для искусства (фр.).

*

Итак, если я храню при себе свою тайну, то поступаю так, во-первых, ради собственной безопасности и, во-вторых, потому, что не хочу никого этой тайной обременять. Ингрид знает лишь, что, если мне придется исчезнуть, я постараюсь ей один раз позвонить. Ей известно о птичьей хижине, куда я ее приглашу, но не о роще акаций. Там только и начинается моя собственность.

Полгода, по крайней мере, я намереваюсь сидеть в своем укрытии тихо; мой фонофор настроен только на прием пятнадцатиминутной сводки новостей. Даже слушать новости меня понуждает лишь осторожность: благоприятных политических изменений в Эвмесвиле в любом случае не предвидится, а потому любопытства я не испытываю.

Прожить шесть месяцев без женщины мне, наверное, будет нетрудно; в этом отношении касба дает хорошую тренировку. Я заметил, что, когда ты налагаешь на себя узду, грезы становятся не только более утонченными, но и обретают пластичность. Ходячая монета обменивается на золото – это не следует понимать в негалантном смысле.

*

По сути, я здесь мелкая рыбешка, пусть даже, возможно, и донная, – сателлит в свите тирана, как почти каждый в этом городе. Если присмотреться, ныне существуют только тираны; их дубины, обложенные ватой, различаются только по цвету, но не по материалу. Сходство, даже в выборе слов, показывает, что из трех великих принципов Француз-

ской революции верх одержал принцип *равенства*. Свобода потребляется так, чтобы это шло на пользу равенства. Тиран – сторонник уравниловки; каждый узнает в нем себя.

*Fraternité*¹ же означает, что отныне не отец приносит в жертву своих сыновей, а сами братья истребляют друг друга. На смену национальным войнам пришли войны гражданские. *Выравнивание* в глобальных масштабах, сначала еще под предлогом заботы о национальных интересах, привело к мировой гражданской войне, к ее нарастающей эскалации. У нас это позади. Мы теперь лишь играем в это, повторяя игру, как во сне, снова и снова, потому что ничего лучшего нам в голову не приходит, – – – но также потому, что некоторые, пусть и поодиночке, ведут себя выжидающе.

*

Почему я, будучи мелкой рыбешкой, донным пескарем, еще продолжаю трепыхаться? Вероятно, было бы достаточно, пробормотав «*pater pессави*», укрыться у своего родителя, которого вскоре – вкупе с дюжиной умерших либо еще живых бездарностей – объявили бы светилом науки.

Между прочим, большинство революционеров страдают от того, что они не стали профессорами. Это знает и Домо – однажды я услышал, как в ночном баре он сказал Кондору: «Этого мы сделаем професором – – – и тем самым от него отвяжемся».

Итак, зачем мне трепыхаться? Моя безопасность таких усилий не требует. Наоборот – я нахожу, что

¹ Братство (фр.).

только опасность и делает здешнее существование сносным. Поэтому здесь и процветают наркозависимость, преступность, всевозможные лотереи. Скорее я выйду из игры, когда заскучаю, а не когда почую опасность. Если я и доиграю до конца эту партию на стороне Кондора, то поступлю так не в силу своей ленной зависимости, и не из чувства преданности, и уж, конечно, не из-за партийной принадлежности. Это скорее вопрос собственной внутренней чистоплотности. Поэтому в эндшпиле я всегда становлюсь надежнее.

Смену власти я рассматриваю как интермеццо: две властные группировки, которые обе представляются мне неудовлетворительными, борются между собой. А я тем временем наслаждаюсь паузой, отчетливее высвечивающий тот факт, что жизнь моя вообще является сплошной паузой. Живя там, наверху, как Робинзон на острове, я не стану более свободным, чем был, когда обслуживал гостей в ночном баре. И как преступник я не в большей степени господин самому себе, чем я же, но как историк. Просто благодаря преступлению все становится более осязаемым. Внутренняя свобода *демонстрируется*. Возможно, я начну с того, что перед своей Утиной хижинкой устрою приватные Канны.

22

Анарх отличается от анархиста еще и тем, что умеет ценить предписания. Он чувствует, что в той мере, в какой он их соблюдает, освобожден от необходимости думанья.

Это соответствует нормальному поведению: каждый, кто садится в железнодорожный вагон, едет по мостам и через туннели, которые были изобретены ради него инженерами и над сооружением которых трудились сотни тысяч рабочих. Это не омрачает его сознания; он с удовольствием углубляется в газету, завтракает или размышляет о своих делах.

Так и анарх – с той только разницей, что он всегда воспринимает такую ситуацию осознанно и никогда не выпускает из виду предмет своих размышлений, свободу, какие бы горы или долины ни проносились за окном поезда. Он может выйти в любой момент: не только из поезда, но и из любой системы требований, которые предъявляют ему государство, общество, церковь, а также – из существования. Он волен пожертвовать существованием ради бытия, и необязательно по каким-то веским причинам, но и просто потому, что ему так захотелось – из озорства или от скуки.

Почему столь многие люди стремятся к карьере скромного служащего? Без сомнения, потому, что имеют разумное представление о счастье. Ты знаешь инструкцию и то, о чем в ней умалчивается. Ты сидишь в кресле, другие – со своими желаниями или приношениями – проходят мимо тебя. Время течет безмятежно. Ты уже ощущаешь себя чуть ли не тибетским монахом. К этому прибавляется ощущение безопасности. Ни одному государству не обойтись без такого служащего, сколь бы высоко ни вздымались штормовые волны. Правда, на такой должности нужно уметь *не высовываться*.

*

Как историк я должен признать, что существовали длинные отрезки истории и, прежде всего, предыстории, на протяжении которых *езда в поезде* была настолько приятной, что никаких поводов, чтобы сойти с него, не возникало. Неприятности начались с появлением монотеизма: на однокольной дороге уклониться в сторону нельзя. Палитра возможностей быстро оскудевает.

Равенство, как мы видели, держится на том, что *каждый может убить каждого*. Осознания этого факта для историка достаточно, чтобы разглядеть лицемерие за любезными ужимками супердержав – или чтобы, если он живет в Эвмесвиле, всерьез заняться изучением поведенческих клише.

*

Вот в нескольких словах о равенстве. Свобода же основывается на расширении процитированной максимы: на осознании анархом того факта, что он *может убить самого себя*. Он носит эту мысль с собой, она сопровождает его как тень, которую в любой момент можно вызвать. «Прыжок с этого моста делает меня свободным».

Так примерно смотрю я на свои *трепыхания* в акациевом лесу. Анарх, как я уже объяснил в другом месте, это дополнение к монарху; он так же суверенен, как монарх, но при этом обладает большей свободой, поскольку ему не надо править.

Бастион там, наверху, – часовня моей свободы, независимо от того, вхожу я в нее или нет. Она будет служить мне оплотом, если я превращусь в воюющую державу и буду отстаивать собственную

свободу вопреки требованиям общества – противопоставляя свое мужество его притязаниям.

*

Я исходил из того, что анарх относится к инструкциям с *респектом*. Латинский глагол *respectare*, будучи интенсивированной формой глагола *respicere*, означает: оглядываться назад, осмысливать, учитывать. То есть анарх соблюдает *правила движения*. Анархист же напоминает пешехода, который не признает этих правил и потому вот-вот попадет под колеса. Даже проверка паспортов окажется для него роковой.

«Судьба и в милостях мздоимец: / Какой, какой ее любимец / Свой век не бедственно кончал?» – так все и было в истории, как бы далеко я в нее ни заглядывал. Те же немногие, кого счастье не покидало – например, Сулла, – были, как мне хотелось бы верить, замаскированными анархами.

*

Что же касается, в частности, инструкции по «Поведению во время внутренних беспорядков», то до сих пор я упоминал только ту возможность, что сигнал тревоги застанет меня на касбе. В городе тоже передают по фонофорам Красный сигнал. Если такое случится, нужно быть готовым к непредвиденному – особенно если еще не было роздано оружие.

Иногда я проигрываю подобные сцены в луминаре – скажем, эпизоды из истории римских цезарей или из русской истории в канун и непосредственно после Красной революции. Я запираю дверь, занавешиваю окна – и передо мной разверзается бездна.

Я беру на себя роль монарха, например, Нерона – с того момента, когда ему сообщают, что его личная охрана сбежала. Это один из последних предупреждающих знаков. Теперь во дворце становится очень одиноко, зловеще. Никто из друзей, никто из облеченных властью лиц больше не откликается на призывы. Осталось лишь несколько вольноотпущенников; они надеются, что конец уже близок.

Цезарь менее любого другого человека на всем белом свете способен найти для себя убежище. Поразительно, что именно теперь – оставшись один в целом мире – он становится похож на анарха. Хотя страх смерти наваливается на его плечи огромным грузом, ему еще удаются величественные *à parts*¹. Даже когда удары копыт возвещают о прибытии преследователей, Нерон цитирует подходящий гомеровский стих: «Коней, стремительно скачущих, топот мне слух поражает». И потом произносит гениальное: «Qualis artifex pereo»².

Он слишком слаб, слишком неловок, чтобы заколоться мечом; секретарь Эпафродит направляет его руку. Этого благодетеля, впрочем, Домициан после прикажет казнить.

Мне бы не хотелось оказаться впутанным в подобные распри и услышать потом от Кондора: «Вот она, верность!» – как слышал от Нерона тот центурион, чье поведение на самом деле было более чем двусмысленно.

*

¹ Жесты, реплики в сторону (фр.).

² «Какой артист погибает!» (лат.)

Если тревогу объявят, когда я буду находиться не в цитадели, а в городе, ситуация для меня упростится – и не только потому, что я смогу отправиться в собственную цитадель, когда мне заблагорассудится. В этом случае мне даже не пришлось бы долго раздумывать над своими дальнейшими действиями, потому что меня ждал бы запечатанный приказ. В Центральном банке, в одной из ячеек, хранится предназначенный для меня конверт. В моем фонофоре зашифровано кодовое слово, которое обеспечит мне доступ к ячейке.

Получив вызов по фонофору, я прерву свою деятельность или свое бездельничанье и отправлюсь в банк. Если газетные киоски будут открыты, я куплю номер «Крапивника» и по дороге разорву его на две части, которые выброшу у ближайшего узлового пункта.

Я отмечаю эти мелочи, поскольку они, как и многое другое, свидетельствуют о свойственном Дому рационализме. То, что «Крапивник» станет отвратительным, как только «развернется знамя свободы», не подлежит никакому сомнению; могу держать пари, что мой братец уже сейчас хранит в ящике письменного стола «Призыв» к согражданам, пусть и зашифрованный.

Если на перекрестках будет валяться разорванный «Крапивник», эта картина врежется в память тысяч проходящих мимо людей. И у них останется впечатление, что Кондор тут ни при чем; что это инициатива снизу, из безымянной массы: журнал, доскать, порвал какой-то прохожий. В знак предупреждения и одновременно презрения. Рывок за «ленту, на которой он (этот выпел) реял».

ЗАПИСАННОЕ В НОЧНОМ БАРЕ

23

Догадайся мой братец, что я собираюсь так, мимоходом, выбросить номер «Крапивника», между нами все было бы кончено. Он расценил бы это как *покушение на святыни*. «Свобода печати» и «смертная казнь» – – – таких слов я за семейным столом старательно избегаю, ибо позволю я себе хоть в малейшей степени не согласиться с *их* мнением относительно этих понятий, я бы проиграл вчистую.

То, что свобода начинается там, где кончается свобода печати, моему брату и в голову не приходило.

«Свобода мысли» – – – это значит, что он со своими затасканными идеями не осмеливается выйти на тропу свободной охоты. Готов признать, что он продолжает либеральную традицию, хотя – по сравнению с тем, как представляет себе эту традицию мой родитель, – у брата она сильно разжижена и ослаблена. Однако всему свое время, в том числе и хорошим идеям. Либерализм соотносится со свободой так же, как анархизм – с анархией.

Кадмо часто берет меня с собой – чтобы просветить – к своим «Атакующим соратникам Сократа». Я там мало желанный гость – возможно, меня даже принимают за агента Домо, который, впрочем, знает об этих сходках и считает их неопасными, в чем-то даже полезными для него. «Собаки, которые лают, не кусаются».

Причина, по которой мне трудно понять, что творится в мозгах у подобных людей, заключается прежде всего в расплывчатости их представлений. Они *чувствуют* там, где им следовало бы *думать*, и наоборот. От Сократа они унаследовали только скепсис; но они не стали бы на плечах выносить своего кумира с поля боя, как сам Сократ некогда вынес раненого Ксенофонта. Будучи убежденными в бренности и конечности существующего, они страшатся боли, жертвы, самоотдачи.

*

Мой братец даже еще не стал анархистом – в отличие, например, от Цервика, который издает журнал «Крапивник». У того-то идеи гладко слетают с языка и выходят из-под пера; он превращает их в «фермент разложения». Я использую этот популярный у консерваторов образ, потому что нахожу его удачным, – – – ведь для анарха разложение – такой же процесс, как и всякий другой, а для историка этот Цервик интереснее, нежели мой родитель и братец. Цервика можно рассматривать как секретаря в приемной или даже как вахтера у дверей, который отступает назад, исполнив свои обязанности, – ибо он в самом деле занимается чем-то похожим. В его деятельности есть что-то лакейское: он принадлежит к свите властителя и вместе с ним исчезнет. Он прячется в оперении Кондора и ожидает мгновения, когда сможет взлететь чуть выше, чем тот.

Доведись мне когда-нибудь писать работу об этом социальном типе, я буду иметь в виду судьбу Бомарше, который сперва поносил аристократов, говоря, что они всего лишь «потрудились родиться»,

а позднее, став придворным, сам пал жертвой клеветы. Здесь у нас дискредитация человека посредством клеветы считается обычной, хотя и доходной работой.

*

Размышляя на эту тему, я снова и снова осознаю границы исторического описания или, лучше сказать, – исторического рассмотрения событий. Наши муки начинаются сразу же, стоит нам взяться за перо.

Я согласен со своим учителем Виго в том, что нам удаются только перспективы с четко очерченными краями – просеки, прорубленные в густой чаще. В первую очередь мы должны отказаться от воли, от стремления принять чью-то сторону. Настоящий историк – скорее художник (чаще всего трагического склада), нежели человек науки.

Исследуя – как здесь – отношение властителя к его оппоненту, я наталкиваюсь на противоположность между человеком, который претендует на свободу действий, и другим, претендующим на свободу мысли. Эти две фигуры вновь и вновь повторяются, и не только в истории, но и в мифе, и даже в животном мире. Ими живет сказка: лев – могущественный, лис – хитрый.

Все так, но антагонизм этот уходит корнями еще глубже: в саму материю. Властитель воплощает спокойствие; живописцы изображают его – как Зевса – сидящим или стоящим. Его противник отличается проворством, ловкостью – – – и едва ли найдется скульптура, отчетливее передающая ощущение энергии, подвижности, чем та бронзовая парная статуя, которую афиняне воздвигли в память о

тираноубийцах Гармодии и Аристоклитоне; оба они поплатились за свое покушение смертью.

Кровопролитие – классическая развязка; я просмотрел в луминаре целый ряд подтверждающих эту мысль эпизодов: начиная с убийства Юлия Цезаря и кончая убийством в Сараево. Оба упомянутых эпизода похожи, между прочим, в том отношении, что стали предвестиями мировых войн.

Если мы теперь обратимся к атомам, то различия – наподобие различий между Цезарем и тем менее значительным принцем – исчезнут. Оба они, как и их убийцы, подчиняются одной и той же неизбежности. Я согласен с Виго и в том, что историк должен давать не объяснения, а картины событий. Разумеется, сквозь краски и рисунок этих картин, сквозь деяния и характеры должна просвечивать *атомарная реальность*.

Конечно, нашего Цервика не стоит сравнивать с Гармодием, один другому не ровня. Да я и не собираюсь заниматься такими сравнениями. Не говоря уже о том, что я, как анарх, стараюсь воздерживаться от оценочных суждений, мне для моих исследований достаточно Эвмесвиля – именно потому, что я сохраняю беспристрастность. Ночной бар – мой аквариум: у здешних рыб имеются плавники и зубы, как и у их сородичей в океане. Ведь и моему учителю Бруно достаточно всмотреться в хрустальный шар, чтобы увидеть королей с их военными походами.

*

Цервик, как я уже объяснял, воплощает ту неугомонность, с какой *подвижное* кружит вокруг *покоящегося*, пытаясь вытолкнуть его из середины. Это закон

природы. Если Кондора свергнуть, Цервик вскоре начнет точно так же кружить вокруг трибунов; дело тут просто в том, что каждый, даже наилучший режим находит свою оппозицию, а вместе с ней – и публику, которая если и не приветствует прямо атаки на этот режим, то, во всяком случае, наслаждается ими как эквилибристическим номером.

В Цервике и правда есть что-то от канатного плясуна. А еще он напоминает певца-кабаретиста – мастера непристойных двусмысленностей, который всякий раз, когда его пытаются привлечь к ответу, ловко отделяется от недоброжелателей. Иногда Цервик даже проявляет дерзость пикадора: своими уколами он раззадоривает быка, ежеминутно рискуя, что тот проткнет его рогом.

Недавно, когда с помощью луминара я принимал участие в параде на Темпельхофском поле в Берлине, один инцидент напомнил мне акробатические номера Цервика. Король заставлял себя ждать; сидевший на дереве мальчишка, ученик сапожника, крикнул: «Да скоро этот пройдоха появится?»

На что жандарм, обращаясь к нему снизу, спросил:

– Чертов засранец, ты кого имеешь в виду?

– Своего брата, конечно, – – – кого же еще?

Наконец король появляется и принимает парад. После окончания церемонии этот мальчишка подходит к блюстителю порядка:

– Господин жандарм, – – – а кого *вы* имели в виду?

Приблизительно так же обстоит дело и с фамильярными намеками в статьях Цервика. Многих удивляет, что Кондор терпит его; но и терпение имеет свою шкалу: ибо этот борзописец, в зависимости от состояния погоды, может держаться в известных пределах – как придворный шут, – либо

становиться излишне назойливым или даже опасным. В настоящее время он пребывает в средней из трех упомянутых фаз, то есть от него еще можно избавиться, не доводя дело до скандала. Если осуществится переворот – и я переберусь в Акациевую рощу, – он, вероятно, на несколько недель станет в Эвмесвиле большим человеком.

Что как журналист Цервик весьма и весьма одарен, вынуждены признать даже его противники. Даже Домо читает каждый номер «Крапивника» сразу после его появления – и, как я предполагаю, не только потому, что обязан это делать как шеф полиции, но и ради собственного удовольствия. Разумеется, он умеет оценить чистый повествовательный стиль и логическую точность.

*

Пока длится званый обед, я стою наготове в баре. Я проверяю воздух, температуру, распылитель, стаканы, стоящие передо мною на барной стойке, бутылки на полке позади меня. Спрашиваю тех, что работают внизу, в буфете, во всеоружии ли они. Большинство блюд подаются наверх уже готовыми к сервировке; чтобы затребовать их, мне достаточно немногих ключевых слов.

Обед, как правило, прост; он длится три четверти часа; трио музыкантов исполняет свои мелодии в самом начале, после закуски и во время десерта. Обеденный зал называют «кают-компанией» или же «трапезной». Когда Кондор поднимается из-за стола, несколько сотрапезников – среди них всегда Аттила и Домо – сопровождают его в Желтый салон, куда подают мокко и ликеры. Там можно выкурить

и сигару, хотя Кондору это неприятно. В зависимости от расположения духа и настроения – вовсе не всегда, – он потом направляется в расположенный рядом ночной бар. Кто очень хочет, может (действуя по принципу: «Сир, Марли!») присоединиться к нему. Домо извещает меня о предстоящем визите; *миньоны* заранее занимают свои места.

*

Перед обедом Домо делает Кондору доклад, потом, собственно, о делах разговаривать не положено, но неизбежно снова и снова происходит обмен какими-то короткими репликами по поводу текущих событий. Мне такие реплики дают больше материала для размышлений, чем если бы я присутствовал на самом докладе: это лакомые куски для моего ненасытного любопытства. Позволю себе повторить, что истории государств я предпочитаю историю культуры. С нее начинается и ею заканчивается *гуманность*. Соответственно, *придворной* истории – включая даже историю *задворков*, – я придаю большее значение, нежели истории политической и партийной. История делается людьми и в любом случае регулируется законами; потому-то она так неистощима на неожиданности.

*

Я не хочу слишком далеко отклоняться от Цервика. Его имя, правда, никогда не произносится в ночном баре; этого человека как бы намеренно не замечают. И все-таки по поведению присутствующих в баре можно понять, что он в очередной раз взбала-

мутил пыль посредством одной из тех статей, при чтении которых мой братец потирает руки. Так было и совсем недавно, когда они пришли из Желтого салона. Домо сказал: «Я уже справился в “Майдингере”». *Майдингер* – это наша энциклопедия, труд поистине александрийских масштабов.

Домо требует точности, выходящей за пределы необходимого: он хочет не только понять точное значение слова, но и уловить его потаенный смысл. Для этого нужно, с одной стороны, как Тоферн, углубляться в этимологию, а с другой, как Бруно, – погружаться в магию звукописи.

Приверженность Домо к такому прощупыванию меня удивляет, поскольку едва ли можно предположить, что он обладает мусическими наклонностями. Скорее, мне кажется, он испытывает потребность в юридической точности. Слово, чтобы попасть в цель, должно точно соответствовать этой цели. Я уже упоминал дело о происшествии в гавани: на судебном заседании речь шла о жизни и смерти подсудимого, а исход процесса определился тем, что судья признал значимым различие между двумя приставками.

У Домо тонкий музыкальный слух сочетается с отчетливо выраженным рационализмом. У нас есть хирурги, архитекторы, даже полицейские с довольно сомнительной репутацией, которые тем не менее обладают мусическими наклонностями. Возможно, в их доме только эта винтовая лестница и ведет к фундаменту. «Когда мой супруг брал в руки скрипку, он как человек становился лучше» – я услышал однажды, как чья-то жена высказалась так на одном скверном процессе, и это понравилось мне, хотя я, будучи анархом, выразился бы иначе.

Как бы то ни было: до основания человеческого характера добраться невозможно. Зато у самого этого обстоятельства имеется свое основание.

*

Бережная заботливость, проявляемая Домо по отношению к языку, странным образом противоречит той небрежности, с какой *обычно* пользуются языком в Эвмесвиле. Здесь, как правило, слышишь только затасканные, истертые, словно нищенский грош, фразы – и притом слышишь их чаще от людей с высшим образованием, нежели в порту или на базаре. Так было не всегда: крестьянин, ремесленник, охотник, солдат, мошенник когда-то умели создавать сильные художественные образы.

Феллахизация с этим покончила. Эвменисты такого пошиба, как Шперлинг или Кессмюлер, тоже внесли в этот процесс свой вклад. Их целью было уничтожение возвышенного языка. «Tel style, tel homme» – – – они не хотели, чтобы такое принималось во внимание; не хотели, чтобы духовный уровень человека распознавался по тому, как он владеет языком. И результатом их усилий стало плоское пустословие, не отличающее уже верх от низа.

Этот расчет, однако, кое-где дал сбой. Даже во времена, когда столяров уже не осталось, люди отличают хорошо сработанный стол или даже хорошо выструганную доску от всех остальных. И точно так же там, где элиты сильно поределли или даже вовсе свелись к отдельным немногочисленным личностям, ясное, не утратившее своей силы слово по-прежнему убеждает необразованного человека – в первую очередь именно его, не-образованного. Он

смутно чувствует, и это его успокаивает: что человек, облеченный властью, несмотря на свою силу, все еще признает правила и закон. *Caesar non supra grammaticos*. Утешение в поздние эпохи.

24

Я далек от мысли сравнивать Домо с цезарем, однако, как я уже говорил, изучение рыб в нашей лагуне порой побуждает меня бросить ретроспективный взгляд на историю.

О чем же Домо справлялся в «Майдингере»? Мне предстояло узнать это тотчас же, поскольку он продолжил, как только *миньоны* пододвинули им стулья и они уселись:

– Насколько я понял, коршун – *Geier* – пользовался уважением как у романских, так и у германских народов – во всяком случае, в те эпохи, которые еще не были такими стерильными.

Далее он углубился в этимологические тонкости. Слово *Gihr*, дескать, изначально имело более узкое значение, чем наше *Gier* – «жадность», – которое приобрело неприятный оттенок. *Gierig* – так называли того, кто не позволял отнять у себя добычу. *Aas* в слове *Aasgeier*, «стервятник», раньше тоже означало не что иное, как «пища»; оно родственно словам *essen*, «кушать», *äsen*, «кормиться», и *Atzung*, «корм». Лишь позднее, понимаемое как «охотничья приманка», оно приобрело сомнительный смысловой оттенок: «падаль». *Vultur* – «коршун» у римлян – происходит от слова, означающего «быстрый поворот». *Volturnus* (Вольтурнус) – так называлась стремительная река в Кампанье. Язык не только расщеплялся

на волоконца все новых смыслов, но и приобретал морализаторский характер.

*

Вот как резюмировал Домо плоды своего чтения – я же, услышав слово «коршун», сразу понял, о чем, собственно, идет речь. Был первый день после моих выходных, когда я снова приступил к службе. Утром, возвращаясь пешком из города, я по дороге купил последний номер «Крапивника». Я время от времени читаю этот журнал, чтобы удовлетворить свое смешанное с отвращением любопытство относительно новейших веяний; но приобретаю я его только в киоске.

Помнится, я уже отмечал, что подписчиков у «Крапивника» мало, хотя читает этот журнал практически каждый. Списки подписчиков хранятся, разумеется, на касбе. Быть упомянутым в этих списках – не такое уж отягощающее обстоятельство, пока оно не соединится с двумя-тремя другими. У меня, к примеру, – политически неблагонадежная семья. Именно поэтому Цервик несколько лет назад начал одаривать меня бесплатными экземплярами – и это было чуть ли не хуже, чем если бы я подписался на журнал. Поэтому я вежливо попросил его «воздержаться от дальнейших почтовых отправлений». Это моя старая беда: я вечно оказываюсь между партиями, распри которых для меня обременительны и часто противны. То одна, то другая партия прилипает ко мне как банный лист, а иногда и обе одновременно.

*

В последнем номере появилась статья, которая, хотя и была подписана псевдонимом, несомненно вышла из-под пера Цервика: «Ястребиные». Цервик в целях маскировки прибегнул к академическому стилю. Сначала он подробно рассматривает зоологическую систему дневных хищных птиц и их образ жизни. Общая тенденция статьи сводится к сопоставлению орлов и соколов с коршунами: с одной стороны – гордые птицы, бьющие живую добычу, с другой – пожиратели падали. Автор, перечисляя видовые разновидности, описывает – как страшных живодеров – прежде всего коршунов, обитающих в Новом Свете. Кондора он не упоминает, хотя сама затея с публикацией такой статьи, разумеется, метила в нашего Кондора. Как настоящий полемист, Цервик знает, что, если хочешь что-то подчеркнуть, для этого лучше всего использовать фигуру умолчания. *Center of attraction*¹ должен оставаться прикрытым.

О чем бы Цервик ни думал и что бы ни писал, он всегда имеет в виду Кондора. В этой ситуации ничего не изменится, даже если журналист переживет Кондора: покойный тиран еще десятилетиями будет служить для него главной и единственной темой. И тогда сам Цервик превратится в стервятника. Преследователь и преследуемый всегда образуют неразлучную пару.

Эта статья заставила меня задуматься; разумеется, я отнесся к ней иначе, чем мой братец, которого она, несомненно, весьма порадовала. Описывая царского орла и благородного сокола, которых он выбрал в качестве лейтмотивных образцов, Цер-

¹ Центр притяжения (англ.).

вик прибегнул к возвышенному геральдическому стилю. Так мог бы писать, например, Шатобриан, чья проза, правда, тоже достаточно двусмысленна.

Когда Цервик может чем-то досадить Кондору, для него все средства хороши. Он, как нигилистический фокусник, извлекает из цилиндра – по своему усмотрению – якобинские колпаки или короны и скипетры. Я использую такую метафору, поскольку она соответствует той атмосфере предновогоднего вечера, которая характерна для тирании. Каждый лелеет свою картину желаемого, которая едва ли переживет ночь ликования. Как-то я даже подумал о Столетнем календаре с *journée des dupes* в качестве одного из постоянных праздников.

Анарх не имеет ожиданий. Он ни на кого, кроме себя, не рассчитывает. Другие же, по сути, остаются крысоловами, какими бы мелодиями они ни рекламировали себя. Что же касается крыс – это статья особая.

*

Петля была скручена очень изощренно, это касается и тайминга¹. При любой диктатуре бывает две фазы, которые требуют особой осторожности; первая начинается непосредственно после захвата власти: «Новая метла чисто метет». Вторая возвещает конец режима. Властитель еще раз пытается освободить себе руки; но на сей раз ему не хватает согласия со стороны подданных. От этого он становится еще опаснее. И тогда, значит, надо быть начеку – чтобы, так сказать, не угодить в давку перед закрытием ворот.

¹ Timing – выбор времени (англ.).

Между тем случаются и периоды затишья, когда можно позволить себе всякое – например, такого рода экскурс в зоологию. Во времена более богатые фантазией автор воспользовался бы жанром басни, у нас же он предпочел создать видимость научной статьи. Однако и Цервик не обошелся без «эпиграмматического заострения» темы, которого требует от баснописца Лессинг. Описание трапезы коршуна переходит, конечно же, все границы: ясно, что пером автора статьи водила чистая ненависть. И тот, кто хорошо знает внутренние дела Эвмесвиля, нашел достаточно материала для толкований.

В любом полемическом исследовании о ситуации захвата власти проводится различие между «приуготовителями пути» и «попутчиками». Что такое «приуготовитель пути», Цервик показал на примере питающихся падалью ворон – этих маленьких, юрких, вечно голодных и будто одетых в черные сутаны птиц. Они чуют слабость какого-нибудь крупного зверя еще до того, как тот умрет, и с веток голых деревьев наблюдают картину агонии. Но поскольку они не способны разодрать такую глыбу плоти своими клювиками, им приходится ждать коршуна, который выполнит эту работу. Однако прежде они выклевают у еще живого зверя глаза и раздирают ему задний проход.

Поднятый воронами шум привлекает внимание царского коршуна. Он тогда пикирует вниз и, что называется, *нарезает порции*. За ним следуют «попутчики», крупные и мелкие, и *получают свои отступные*. «Теперь порядок восстановлен».

С очевидностью демонстрируя «радость издавать зловоние», Цервик подробно останавливался на

деталей ужасной трапезы. Особенно пластичным получилось у него описание грифа-индейки, который своим ужасным загнутым клювом и морщинистой сине-красной шеей проникает в естественные отверстия тела и выковыривает внутренние органы животного – – – удачный портрет нашего министра финансов, за которым я часто наблюдаю в ночном баре, с близкого расстояния.

*

Цервик знает свое ремесло – в этом нет никакого сомнения. Как историк, я читаю подобные экскурсии с большой степенью отстраненности – не только как актуальную журнальную полемику, но и с учетом их вневременной значимости. Цервик ухватил самую механику государственного переворота – механику того, как происходит смена диктатур. У нас диктатуры давно уже являются единственной государственной формой, в которой еще сохраняется определенный порядок. Даже трибуны нуждаются в генерале.

Цервик видит все это не как историк, а как журналист. Поэтому он не понимает, что описывает не только методику Кондора, но и – одновременно с ней – методику Кондоровых предшественников и преемников. Кроме того, он рисует автопортрет, поскольку сам относится к питающимся падалью воронам.

Будь он не анархистом, а анархом без морализаторства и предубеждений, он мог бы создать себе репутацию неплохого историка. Однако он, как и все ему подобные, предпочитает большие тиражи и высокие прибыли.

*

Страдания историка и его превращение в анарха обусловлены осознанием того обстоятельства, что убрать с глаз долой мертвечину *невозможно* и что ею лакомятся все новые стаи коршунов и рои мух — — то есть, в общем и целом, речь идет о несовершенстве мира и о подозрении, что с самого начала в чем-то был допущен промах.

С политической точки зрения мы видим ряд чередующих систем, из которых одна пожирает другую. Они живут за счет надежды — постоянно передаваемой по наследству и постоянно приносящей разочарование, — которая никогда не угасает. Живой остается только искра этой надежды, бегущая по запальному шнуру. Для такой икры история — только повод, а вовсе не цель.

Еще о мертвечине: давать интервью Цервику все боятся — он мастер задавать провоцирующие вопросы. Например: «Как вы относитесь к тому, что ваши противники называют вас *могильщиком трибуната?*»

На что спрошенный, высокопоставленный чиновник юстиции, отвечает: «Прежде чем придет могильщик, должен иметься в наличии труп».

*

Кроме того, Цервик для Домо — своего рода парадный рысак, свидетельствующей о его, Домо, либерализме. Как бы то ни было, экскурс о коршунах оказался крепкой махоркой: «Этот субъект над нами издевается».

Неудовольствие витало в воздухе; когда все усе-
лись, Аттила, как обычно расположившийся по
левую руку от Кондора, сказал:

– У нас же есть специалист: Роснер, он мог бы нас
выручить.

На это Кондор:

– Правильно, давайте его пригласим – – – мне
любопытно, что за птица я сам.

Домо делегировал это поручение мне:

– Мануэло, позвоните ему, пожалуйста. Вы ведь
работаете у него в качестве наблюдателя за пти-
цами.

Так оно и было; я знал, что в эту пору профес-
сора еще можно застать в его институте. Между про-
чим, замечание Домо показало в очередной раз,
насколько досконально я просвечен.

Через полчаса Роснер уже был на касбе; охрана
доложила о его прибытии. Когда этот человек в
очках вошел в бар, он в первый момент сам напо-
минал вспугнутую ночную птицу; однако снова
обрел уверенность, как только услышал, о чем, соб-
ственно, идет речь. Кондор указал ему место за сто-
лом и препоручил *миньону*, тут же к нему прижавше-
муся. Мне было любопытно, как Роснер выйдет из
затруднительного положения: эксперт, вынужден-
ный выступать в двусмысленной роли.

Домо обратился к нему:

– Профессор, мы пригласили вас в связи со ста-
тьей об орлах и коршунах в «Крапивнике». Пола-
гаю, вы с ней уже ознакомились?

– Мне жаль, ваше превосходительство, но буль-
варную прессу я не читаю. Кроме того, моя работа
не оставляет мне на это времени. Однако по суще-
ству дела я с удовольствием сообщу, что знаю.

Неплохое начало; он наверняка выдержит испытание. Осведомившись затем о сути проблемы, Роснер перешел к рассмотрению основных пунктов. Прежде всего: что значит *пожиратель падали*?

– Мы не должны судить о таких вопросах с антропоцентрической точки зрения, то есть исходя из вкусов человека. Мы, люди, тоже потребляем животный белок – за исключением разве что устриц – не *in statu vivendi*¹. Если руководствоваться одним только этим критерием, получилось бы, что такие кровососы, как комар или вампир, или тот же дятел, выклевывающий личинок из-под древесной коры, питаются более благородно, чем человек.

Нам кажется, что сырое мясо хуже усваивается; поэтому мы на несколько дней подвешиваем его для созревания – пока у него не появится специфический привкус. Давайте вспомним и о молочных продуктах, таких, как сыр, сам запах которого свидетельствует о далеко зашедшем процессе разложения. Но тем не менее сыр возбуждает вкусовые нервы.

Впрочем, для биолога разложение – это процесс, не подлежащий нравственной оценке: просто все живое проходит целый ряд стадий в великом пищеварительном тракте природы.

*

Изложенные Роснером соображения показались мне интересными; это соответствовало моим представлениям об изменении форм государственного устройства.

¹ Здесь: в живом виде (*лат.*).

То, что династии и диктатуры без конца сменяют друг друга, объясняется не только их несовершенством. Этому способствует, должно быть, также некое перистальтическое движение. Оно не ведет к лучшему – сумма страданий всегда остается одинаковой. Скорее, похоже, подтверждается какое-то скрытое в материи знание. На это указывает уже тот наивный пыл, с каким все революционеры производят слово «движение». Это их судьбоносное слово, с которым они растут и погибают.

Роснер – материалист чистейшей воды и, как таковой, слишком интеллигентен, чтобы быть дарвинистом. Его можно считать последователем некоторых неовиталистов. Небольшая доза анонимной религиозности, отличающая классических натуралистов, в его сознании хорошо перебродила и сублимировалась. Не говоря уже о том, что он мне нужен для моей приватной войны, я часто и охотно беседовал с ним – как по вопросам, касающимся сферы его научных интересов, так и по другим, выходящим далеко за ее пределы. Орнитология обладает особыми чарами: ей свойственна глубина восприятия, соединяющая понятия родины и безграничности. К тому же эта дисциплина обращена к великолепию и полноте жизни. Глаз орнитолога видит все богатство природной палитры и находит удовлетворение не в надеждах на будущее, а в том, что происходит «здесь и сейчас». Никакого прогресса: *universalia in re*.

*

Впрочем, с последовательным материалистом анарх в большинстве случаев легко находит общий язык. Благоприятной почвой для этого – плавиль-

ней, в которой, правда, удавалось получать лишь амальгамы, – служил когда-то винный погребок Гиппеля в Берлине. Там собирались «Свободные», называвшие себя «затерявшимся добровольческим корпусом радикализма». Я вызывал их образы в луминаре и позднее детально остановлюсь на этом. Сперва я считал их одной из типичных германских клик, которые усаживаются возле ствола Мирового ясеня и, словно куры-несушки, высиживают судьбу. Всякий раз, пытаясь проследить генезис какого-нибудь *великого поворота*, ты в конце концов оказываешься в одном из германских университетов (но кто еще помнит их названия?) – в Тюбингене, Кенигсберге, Геттингене.

*

Когда Роснер сказал, что разложение не подлежит моральной оценке, это взволновало, кажется, и Аттилу – во всяком случае, наш Единорог погладил себе бороду: «Кое-что всегда перескакивает на ту сторону – разумеется, при одиозных обстоятельствах. Я могу подтвердить это как врач. Мы должны вернуть богам ту самую искру».

Тут он взглянул на Кондора и дотронулся до его руки. Я записал это и сохранил в памяти – как записывал все, услышанное в баре. Что замечание Аттилы было не просто брошенным походя красным словом, дошло до меня лишь тогда, когда кто-то упомянул Большую охоту.

Роснер сказал: «Такое не в моей компетентности».

Потом разговор принял другое направление, потому что о том, что «разложение не подлежит моральной оценке», задумался теперь и Кондор: «Я возьму это себе на заметку для следующей

выставки. Вид городской мусорной свалки порадовал бы меня больше, чем какая-нибудь *Богоматерь Кариона*. А нельзя ли хотя бы собрать воздерживающееся от моральных оценок жюри?»

На это Домо, которому адресовался вопрос, ответил: «Это невозможно уже потому, что противоречит логике. Ведь члены жюри должны как-то обосновывать свои суждения. Лучше позволить им делать, что хотят, при условии, чтобы они не вмешивались в политику. Но как раз к политике у них неискоренимая тяга».

*

Мусические наклонности Домо не выходят за пределы музыкальной сферы. Его суждения о стиле и языке ориентируются на классику. Я не взялся бы утверждать, что он ничего не смыслит в изобразительном искусстве, однако он всегда будет стоять на стороне «рисовальщиков», а не колористов. Его приватные покои декорированы в традициях классицизма, со строгой и лаконичной элегантностью. В них не слишком тепло, не слишком холодно, и разговаривают там скорее тихо, чем громко. Стены украшает единственная картина: одно из воскресших после великих пожаров полотен Вермеера с резко контрастирующими лимонно-желтыми и ультрамариновыми живописными плоскостями. Только окно с частым переплетом и выпуклыми стеклами переливается всеми цветами радуги – как если бы мастер хотел показать на одном примере, что он владеет и промежуточными тонами.

Там у Домо стоит конторка, откуда он диктует, если после званого обеда еще просит зайти к нему секретаря. Диктует он иногда и ночью, хотя в это

время предпочитает читать. Однажды мне довелось приводить в порядок книги на тумбочке возле его кровати: там были драмы и исторические труды, никаких романов или стихотворений, зато – сборник изречений, охватывающий период от Гераклита до Монтеня и Лихтенберга. Между прочим, сам Домо руководствуется сформулированной им максимой: «Сперва подумать о шахматной доске, а уже потом – о конкретной партии».

У себя в кабинете Домо принимает посетителей, сидя за письменным столом, – без лишних формальностей, но с дифференцированным подходом. Из большого окна виден город; а телевизор позволяет рассмотреть любое место в городе, даже не доступное взгляду. Второй аппарат бегущей строкой постоянно передает новости; когда модератор считает, что какое-то сообщение заслуживает особого внимания, звенит колокольчик.

Как в живописи Домо не ценит картины, на которых цвет смазывает, а то и вовсе уничтожает формы, так же ему ненавистно выпячивание каких-то политических фактов, продиктованное чувством. «Чувства – это приватное дело».

Воодушевление подозрительно ему и в тех случаях, когда его выказывают сторонники Кондора. «Человек – неблагодарное существо, особенно когда его балуешь. Мы должны с самого начала принимать такие вещи в расчет».

Когда Кондор обстрелял город, Домо занял ратушу и там от некоторых депутатов, которые не успели сбежать, услышал: «Мы подчинимся только насилию».

«Что ж, это разумно, а вот вам и насилие...» – с этими словами он указал на матросов, воздвигшихся в дверном проеме у него за спиной.

*

Сказанного достаточно, чтобы понять: новое направление беседы не могло понравиться Дому. Роснер же заговорил теперь об относительности запахов: «Для многих животных, если не для большинства, запахи становятся привлекательными, только когда разложение зашло уже достаточно далеко. С другой стороны, собаки иногда заболевают, понюхав духи. Нередко это вопрос дозировки; так, в драгоценном розовом масле присутствует в небольших количествах и скатол – – – та самая субстанция, которая сообщает экскрементам фекальный запах».

*

Я не пропустил ни слова из сообщения Роснера, пока смешивал для него апельсиновый сок с джином, делал пометки о заказанных напитках и занимался другими делами, связанными с моей службой. Все это, как я уже говорил, доставляет мне удовольствие: я определенно мог бы быть хорошим барменом даже и с полной занятостью, если бы у нас возникла нужда в таком человеке.

С этой, как и со всеми другими профессиями – шофера, продавца, преподавателя, регистратора, хирурга, – важно, чтобы ты некоторое время занимался ею всерьез, пока полностью не овладеешь приемами данного ремесла. А потом ты сможешь выполнять свои обязанности автоматически или как бы играючи. Потому что уже останется позади отрезок пути, когда над каждым движением нужно было думать. Я, к примеру, знаю одного крупье на площади Хасана, который с такой элегантностью

передвигает фишки на игровом столе, что люди почти не замечают, выиграли они или проиграли.

Вообще, люди, которым часто приходится держать в руках деньги, отличаются особой ловкостью – достаточно посмотреть, как они пересчитывают банкноты или передают в окошечко кассы монеты. Здесь, в Эвмесвиле, где платят золотом, это воспринимается как чистая поэзия. Таких людей узнаешь уже по манере надевать шляпу или по тому, как они проходят через дверь. Во всех их действиях угадывается какое-то волшебство – или, по меньшей мере, фокусничество.

Возникает ощущение уверенности; оно проявляется и в той ловкости, с какой я передвигаюсь за стойкой бара. Гостям такое нравится. Но они были бы куда меньше довольны, если бы догадывались, о чем я думаю.

Замечу попутно, что речь идет о трех диалектических ступенях: сначала – задача, поставленная перед тобой в личностно-материальном плане; затем – преодоление этой ступени благодаря упражнению; и, наконец, ты свободен для наблюдений общего характера, в моем случае – исторических.

*

В этом отношении рассуждения Роснера дали пример умения передвигаться по скользкому паркету. Поскольку он не мог отрицать принадлежность коршуна к питающимся падалью птицам, он, по крайней мере, попытался облагородить его пищу, то есть представить ее как общепринятую. Затем Роснер указал на различие в категориях – – – на то, что существуют-де жалкие орлы и могучие коршуны.

Домо, похоже, только того и ждал; он сразу вмешался: «Профессор, не задерживайтесь, пожалуйста, на вступлении. Нам бы хотелось услышать, как обстоят дела с кондором».

25

Тут Роснер развернул свое красноречие во всю ширь: он набросал впечатляющий портрет этой птицы, превосходящей всех пернатых размахом крыльев. Кондор, не взмахивая крыльями, парит над высочайшими вершинами Кордильер, над ледяными куполами дымящихся вулканов. Он остается невидимым даже для самого зоркого глаза, но сам видит все, что движется в узких ущельях – *quebradas*¹ – или в воздушном пространстве. Заметив кружащих ниже него коршунов и поняв, что те чуют добычу, кондор стремительно падет вниз, на нее, – и никто не осмелится оспаривать у него трапезу или даже приблизиться к нему, пока он не утолит голод.

Наш тиран, который с нарастающей благосклонностью прислушивался к рассказу, пожелал теперь узнать, только ли падалью питается эта птица. Отнюдь нет, если верить словам профессора, – этот могучий хищник берет, что ему нравится. Пастухи из долины Сорато утверждают (и ученые это подтвердили), что кондор взмахами крыльев пугает животных высокогорья – альпак и гуанако, – пока те не срываются вниз с отвесной стены. Потом он падает на добычу, чтобы на дне ущелья полакомиться ею.

¹ Ущелья, теснины (исп.).

Большого господина узнают в первую очередь по богатству его пиршественной трапезы. Все побережье становится столом для кондора, и море выбирает на этот стол особо лакомые куски: тюленей, морских львов и дельфинов, порой даже кита, который, будучи выброшенным на сушу, гибнет, раздавленный собственным весом.

Далее профессор подробно остановился на царстве кондора, которое называл его «биотопом». Орнитологи, как правило, – люди, побывавшие в далеких краях; Роснер, очевидно, занимался своими исследованиями и в Кордильерах, ибо он описывал горы с их грядями вулканов и гигантскими отвесными склонами как человек, сам исходивший эту местность вдоль и поперек, от берега океана до высокогорных плато. Он знал и девственные леса на границах этого региона, и ту кромку, где глетчеры соприкасаются с морем. Рассказывая, он даже вышел за пределы своей науки:

– Кондор – колосс, который утаивает собственное величие, скрывая его за массой. Он воздействует только присущей ему силой тяжести, непосредственно. А еще стоит задуматься о том, что мы видим его только со стороны зеркала моря, когда поднимаем глаза, – то есть видим лишь наполовину.

Страсть, преданность делу встречает отклик даже у тех, кто от этого дела далек, – – – как будто само дело находит себе посредника: подобие зеркала, которое, отражая, преобразует его свет в тепло. Правда, ощутить это способен не каждый: так, берлинские придворные боялись тех вечеров, когда Гумбольдт развлекал одного из прусских Вильгельмов рассказами о чудесах Нового Света.

Аттила вернулся к образу выброшенного на берег кита:

– Но кондор ведь не может осилить его в одиночку?

– Нет, он только разрывает его тушу. Потом на нее накидываются полчища вóронов, чаек и коршунов, а также наземных животных.

– Значит, можно сказать, что кондор питается Левиафаном?

Роснеру не захотелось пускаться в подобные спекуляции:

– Так мог бы выразиться поэт. Я думаю, с этим вопросом вам стоило бы обратиться к моему коллеге Виго.

Аттила не отступал:

– Но, во всяком случае, вы же не будете отрицать, что кондор обладает мифопорождающей силой? Вы, должно быть, слышали об этом и в горах, и в Мехико-Сити.

*

Мое внимание – в те вечера и, главным образом, ночи, когда я стоял за стойкой бара, – было сосредоточено на Аттиле. Лишь постепенно до меня дошло, что к этому человеку не приложимы те мерки, которыми я привык пользоваться как историк. Я вынужден был обратиться к архаике – не только в смысле определенного временного отрезка, но и в смысле пространственной глубины, которая наличествует всегда. Здесь я вступал в неисследованную область и приготовился к неожиданностям.

Как историк я был научен *расшифровывать*; здесь же приходится *догадываться*: в этом – различие между рациональным и нуминозным приближе-

нием. Египетские иероглифы были расшифрованы приблизительно в тот самый период, когда Александр фон Гумбольдт поднимался со своими инструментами на пик Тенерифе и на вулкан Чимборасо, когда геральдические фигуры на флагах заменялись национальными цветами, а границы национальных государств укреплялись. Когда же в XXI столетии христианского летоисчисления границы были аннулированы сперва экономическими, а потом духовными принципами, оказавшиеся не у дел элиты открыли для себя наследие народов *науа*. Здесь расшифровкой было не обойтись. Подобные встречи возможны лишь при условии взаимности; что подразумевает и восхождение. Археологический бум, который предшествовал этому, тоже был бы немислим без плутонической энергии. В благоприятный час сокровище, точно в сказке, поднимается из глубин.

Нечто похожее и поражает меня в Аттиле: эти внезапные световые вспышки. Старик, должно быть, много чего повидал и знает много такого, о чем умалчивает. Догадаться, о чем он молчит, – моя задача. Аттила – полная противоположность Дому, помощника Кондора по политическим делам: он всегда сидит по левую руку от нашего властителя как врачеватель его тела и в еще большей мере – души.

*

Аттила таит свое знание, поскольку хочет, чтобы о нем догадались. Что, например, он имел в виду, задавая свой вопрос о «мифопорождающей силе»? Современный человек обладает лишь фактопорож-

дающей силой. Он числится как избирательный голос, как налогоплательщик и получатель заработной платы, как особый вид, влачащий жалкое существование в реестрах всевозможных канцелярий и министерств. Память о нем сходит в могилу вместе с его внуками.

Анекдотопорождающая сила – более мощная: она беременна историей. В ней жанр анекдота сгущается, вместе с анекдотическими характерами; она впечатывается в человеческую память на столетия. По одному кристаллу можно узнать гору, по монете – металл, из которого ее отчеканили. И эта сила – отнюдь не привилегия князей и пап; монах, крестьянин, скоморох могут достучаться до нас еще эффективней, чем те.

Мифопорождающая сила, напротив, – внеисторическая: у нее нет ни происхождения, ни развития; она – не поддающимся учету и непредсказуемым образом – воздействует на историю. Она не принадлежит времени, она *творит* время.

Поэтому в последние сроки – когда историческая субстанция уже исчерпала себя и не может больше гарантировать сохранность даже зоологического порядка, то есть привычной иерархии видов, – именно с мифопорождающей силой всегда связывались смутные, невыразимые ожидания. Теология иссякает, уступая место теогнозису: люди не хотят больше ничего знать о богах – они хотят их видеть.

Разумеется, историк, разочаровавшийся в своей профессии, в такое время становится особо чувствительным и зорким – ведь он отвергает все, что может ему предложить его окружение, – – – то есть ведет себя как анарх.

*

Аттила, должно быть, долго жил в больших лесах по ту сторону пустыни. Мне кажется, он хотел бы повести Кондора в каком-то ином направлении, чем ведет его Домо, который желает железной хваткой удерживать *существующее* в нынешних границах – пусть и с предоставлением ему некоторого пространства свободы. Оба видят в тирании единственную рамку, которая способна придать форму распавшейся на атомы человеческой массе и не допустить борьбы всех против всех. Домо – прагматик, напрочь лишенный трансцендентных наклонностей. По его мнению, каждый новый день должен учиться у предыдущего. Лучше, дескать, плыть под красным парусом, пока не потерпишь кораблекрушение, чем бездейтельно дрейфовать в Красном море.

Однако любая власть ищет космических дополнений, иначе она погибнет от собственной ненасытности. Даже цезарям власти как таковой не хватало. К одному из них во сне приближалось море и нашептывало свою тайну, другому перед битвой являлись боги – как равные.

*

При сильном утомлении, когда утро застаёт меня в баре, я вижу этих троих в иероглифическом стиле: Кондор, в центре, – королевский коршун; по левую руку от него – Аттила в образе единорога с серебряной бородой. Только Домо сохраняет еще человеческие черты, хотя, конечно, изменившиеся: он теперь похож на Одиссея, каким его изображали на

античных вазах. Домо тоже бородат: медного цвета волосы курчавятся от висков до самого подбородка. Борода как бы заостряет его профиль. Вдруг у меня возникает мысль, что новые головы Аттилы и Кондора появились внезапно, будто их надели на старые, тогда как голова Домо менялась постепенно и потом застыла, будто металл, отлитый в форму.

Когда мне мерещится такое, я могу, наполняя чей-то бокал, пролить вино. И, конечно, я уже не делаю никаких записей.

*

Вопрос Аттилы о мифопорождающей силе кондора выходил далеко за пределы компетенции Роснера. Ибо был нацелен в пространство не воздушной, а космической охоты.

В честь каких величин можно давать имена звездам и созвездиям? Астрогнозия, начиная с халдейских времен, отвечала на этот вопрос с безошибочным инстинктом: в честь богов и животных; доступ в это пространство человеку не полагается, за редкими исключениями – такими, как, скажем, Палинур.

Профессор тем не менее не смутился. Фольклор, нравы и обычаи, даже тотемы и геральдика – все это еще не выходит за рамки позитивной науки. Роснер исколесил Анды от Кито до мыса Горн и там – в деревнях и городах, а также от дикарей – услышал много всего – – – «хотя на Огненную землю, – сказал он, – я попал, гоняясь за другой птицей: за южным колибри.

У коренных жителей действительно существовал культ кондора. Они приписывали ему сверхъестественные способности. К сожалению, популяция

этого пернатого владыки сильно сократилась: торговцы гуано из жадности, а индейцы ради нарядных перьев упорно истребляли ее.

Однажды в горах я наткнулся на старика, который тащил на плечах кондора как охотничью добычу. Он сказал, что у этой птицы превосходное мясо и что различаются три его разновидности: один сорт по вкусу напоминает говядину, другой – конину, а третий, самый лучший, имеет вкус собственно кондора; кроме того, желудок и сердце – чудодейственные лекарственные средства».

Потом Роснер перешел к рассказу о хитростях, с помощью которых ловят этого великого тирана. Охотник ложится под шкуру только что освеженного быка, вывернув ее окровавленной стороной наружу. Стоит кондору на нее опуститься, как индеец накидывает шкуру – точно мешок – на лапы и связывает их крепкой веревкой. После этого подбегают другие охотники.

В некоторых провинциях жители набивают труп ламы наркотическими травами. Отведав такого угощения, одурманенные коршуны принимаются скакать по кругу. Тогда их связывают с помощью боласа либо набрасывают на них пончо.

На высокогорном плато Хуахирин индейцы раскладывают по краям очень глубокой воронки околелвших мулов. Начиная разрывать их на куски, кондоры невольно сталкивают туши в пропасть и сами следуют за ними. Но подняться оттуда им уже не под силу, и они достаются охотникам.

Другое рассказывают старые путешественники: Александр фон Гумбольдт, Пеппинг, Чуди, Джерри и Либби Мак-Грэхем, а также один поэт, Пабло Неруда, который воспел кондора. Роснер продолжил:

– Однажды в Перу я принимал участие в ритуальном празднестве, во время которого в жертву приносят кондора. Это происходит в феврале. Люди жестоки; и хотя почитают кондора богом, истязают его, пока он не умрет. Но в первую очередь пойманного кондора сохраняют для корриды. Сначала его заставляют неделю голодать, потом привязывают, как будто он скачет верхом, на спину быка, которого прежде до крови искололи пиками. Народ неистовствует, пока кондор с раскинутыми крыльями терзает могучее животное.

*

Теперь профессор дошел до кульминации, которую он, очевидно, придумал прямо по ходу своего рассказа и, как я должен признать, с большим мастерством:

– Я предполагаю, что в этом зрелище скрыта встреча тотемов. Сакральная птица индейцев одолевает быка, символизирующего испанских завоевателей.

Впрочем, в Мексике живет не кондор, а его ближайший родственник, великолепный королевский коршун – викарирующий вид, как выражаемся мы, зоологи. Он пользуется там таким же почетом, как кондор – в Перу. Как известно, на мексиканском гербе изображен орел – орел, который держит в когтях змею. Так повторяется здесь образ крылатой змеи – символа ацтеков.

Во время моих поездок во внутреннюю часть страны и даже когда я видел мексиканцев в их гаванях, сидящими вокруг миски, мне иногда приходила в голову странная, однако простительная для

орнитолога мысль: они могли бы с тем же успехом изобразить на гербе и коршуна – он бы им вполне подошел. Им не хватает короля, который, насытившись сам, оделял бы потом пищей их, *нарезая порции*. Возможно, такой король время от времени и спускается к ним, узнаваемый как Первый среди равных: например, Хуарес, приказавший расстрелять императора. Это тоже была встреча тотемов: королевского коршуна с Габсбургским орлом – – Хуарес отомстил за Монтесуму.

*

Профессор договорился до того, что чуть не впал в несвойственный ему пафос; я же тем временем, как мне и положено, продолжал смешивать напитки. Распылитель работал на средних оборотах; в помещении было уютно. Высказался специалист – «Крапивник» с ним тягаться не мог. Больше того: профессор перешагнул границы своей дисциплины, воспарил выше, чем от него можно было ждать как от орнитолога, – возможно, и не совсем с чистой совестью, все-таки его институт получал более чем щедрую субсидию.

26

Было уже поздно; заперев бар, я наверху, в постели, размышлял об этом разговоре. Как правило, собеседники только отчасти отдают себе отчет в том, что, собственно, они говорят – – я имею в виду, что слова имеют больший вес, чем высказанные мнения. Некий дополнительный смысл скрывается даже в банальном разговоре. Когда кто-то, напри-

мер, входит в комнату и говорит «Доброе утро» – это пустая учтивость или, может быть, искреннее пожелание. Но вместе с тем и весть о событии космического масштаба.

Те, в баре, лучше, чем сами они полагали, уловили суть политической структуры Эвмесвиля – а насколько лучше, знал, вероятно, только Аттила. Ибо находился дальше всех от нее. Разумеется, Кондор питался Левиафаном. Но Левиафан этот был трупом – – – уже не исполинской игрушкой, которой некогда развлекался мировой дух, а падалью, выброшенной на берег приливом. Конечно, королевский коршун тоже оказался сильнее орла, да только орел в тот момент вызывал уважение не больше, чем изъеденное молью чучело. Упомянув Максимилиана, одного из последних эпигонов Карла V, Роснер попал в самую точку.

*

Этот Хуарес убил одного из князей декаданса, Кондор же покончил с последними трибунами. Тогда еще существовал орел – печальная птица, растопырившая пустые когти, у которой уже отобрали и скипетр, и корону. Внизу заседали они, эти наполовину Катоны, наполовину Бруты: то приходя к единому мнению, то ссорясь между собой, они сменяли друг друга в своей беспомощности. Все это рухнуло, как карточный домик, о котором до сих пор горюет мой папаша.

Когда авторитет изношен до последней нитки, настает черед правителей, опирающихся на насилие. *Auctoritas* уступает место *potestas*, как объяснил Дон Каписко. Такие переходные периоды часто представляют особый интерес для историка, тем

более если связаны с великими переломами. Один из них Ингрид выбрала в качестве темы диссертационной работы; мы поэтому процитировали в луминаре образ Помпея Великого. Помпею несомненно были присущи царские черты, с него могло бы начаться восстановление монархии. Эта травма столетиями сопровождала римлян.

Если иметь это в виду, то идеальным противником для Брута был, собственно, Помпей, а не Цезарь.

*

Цезарь, пораженный Брутом, упал к ногам статуи Помпея; обычно такие картины удаются только во сне. Я хочу устоять перед искушением потеряться в них. Поэтому сейчас я лишь кратко упомяну одну из моделей средневековой истории, которую мы проигрывали в саду Виго. Бруно тоже принимал в этом участие.

Тема Ингрид касалась сравнения одного русского революционера по фамилии Троцкий с Петром Великим – – – перед обоими вставала проблема, как можно увязать ограниченную пространственными рамками революцию с международным положением, и прежде всего – с политическим положением в Европе. Царю найти решение удалось, Троцкому же – нет. Возможно, он слишком полагался на стереотипы 1789 года и потому, как Брут, неправильно понял сложившуюся ситуацию. Тем не менее в IV Интернационале скрывался более сильный импульс к мировой революции.

Я не хочу сейчас входить во все детали. Важно, что Бруно резко изменил направление дискуссии, высказав мысль о приоритете технического раз-

вития перед развитием экономическим; Троцкий упрекал Сталина в «термидорианском перерождении». Сам Троцкий требовал «социализма плюс электрификации», но при этом, как считал Бруно, «остановился на полдороге». Материалисты XVIII столетия христианской эры мыслили последовательнее, чем материалисты столетия двадцатого.

Так или иначе, Первое Всемирное государство было бы немислимо без нивелирующего воздействия техники, и особенно электроники – – – можно даже утверждать (как заявил, опять-таки, Бруно), что «государство это было побочным продуктом технического развития». Виго, по своей натуре испытывающий отвращение к технике, с живостью согласился.

*

Если трибуны свергнут Кондора, это мало что изменит, поскольку и им тоже придется применять насилие. Изменится только стиль. На место тирана придут демагоги. Демагог же осуществляет власть, манипулируя по своему желанию институтом плебисцита. Искусство здесь заключается в постановке вопроса; если вопрос сформулирован удачно, то ответ получится убедительным – подавляющим не только своей массовостью, но и духовной унификацией, результаты которой будут ощутимы повсюду, вплоть до верхних слоев общества.

Кондор стремится избегать плебисцита: этот язык ему чужд. Зато он использует в своих целях скопления народа. Если оппозиция становится слишком заметной, Домо в любой момент может вызвать бурю в гавани либо на базарах, а потом усмирить ее. Начинается все с увертюры: полуле-

гальная бульварная пресса выдвигает требование о принесении в жертву таких-то и таких-то голов – в стиле «Ami du Peuple», чего в большинстве случаев оказывается достаточно. Иначе ярость народа всколыхнется и станет вирулентной.

Во время таких беспорядков обычно не увидишь ни военных, ни полицейских, ни даже известных соратников по партии. Даже наоборот: Домо приказывает своим людям вмешаться, когда дело заходит дальше битья оконных стекол. Могущественный Кондор берет своих противников под защиту.

*

Власть не переходит в политику непосредственно; к ней неизбежно примешивается личностный фактор. Это – рубеж, на котором как тираны, так и демагоги унижают себя, становясь деспотами. Здесь вторгается безумие, воспаряющее над властью и часто граничащее с комизмом. Так, Нерон, хотя он имел слабый голос, захотел добиться первенства и в роли певца. Недавно я проследил за его гротескным выступлением в неаполитанском театре, перед началом которого пять тысяч тогдашних хиппи были распределены по рядам зрителей, чтобы создать впечатление бурных оваций. Ликование началось с «жужжания», усиливалось до «желобков» и, наконец, накатывало на арену «кирпичиками».

Другой – Коммод, который разыгрывал из себя потомка Геркулеса, – самолично убивал в Колизее диких зверей и, бражничая, пил из бокала, по форме напоминающего Геркулесову палицу. Этот Коммод, впрочем, примечателен для меня как тип *неудавшегося анарха*. Говоря так, я не имею в виду тех

подробностей, о которых повествует Лампридий, – например, что император собирал во дворце знатных женщин, приказывал им раздеться догола и потом исследовал их, как заупщик в борделе. Необычным мне представляется другое: что эти и прочие свои развратные подвиги он приказывал заносить в государственные акты.

Изучение истории цезарей имеет для анарха скорее теоретическое значение – – – это образцовое собрание всех возможных типов правителя. Тогда как *in praxi*¹ самодисциплина – единственная форма господства, которая подобает анарху. Он тоже может убить каждого – это остается глубоко замурованным в крипте его сознания, – но, прежде всего, может уничтожить себя самого, если он собой не удовлетворен.

*

Тиран – даже если он опустился настолько, что стал деспотом, – обладает большей способностью порождать анекдоты, чем демагог. Хороший пример тому – Сулла и Марий.

Один крупный демагог, выступивший на политическую арену, когда была открыта планета Плутон, по-дилетантски занимался живописью, как Нерон – пением. Он преследовал художников, чьи картины были ему не по вкусу. Он по-дилетантски пробовал свои силы и в других областях, например, выступал как стратег на беду многим, однако в техническом смысле был безупречен – шофер до мозга костей, чем бы ни занимался, в конечном счете он и себя велел кремировать с помощью бензина.

¹ На практике (лат.).

Очертания этой фигуры расплываются в несущественном: их стирает поток цифр. Для историка, как и для анарха, он малоинтересен. Красная монотонность, даже в злодеяниях.

Кондор, в отличие от него, держится в скромных границах Эвмесвиля. Прогресс закончился; внутреннее беспокойство гонит происходящее – как часовую стрелку – по кругу.

«Никакого продвижения вперед», – часто слышу я от своего родителя; похоже, он считает это несчастьем. Он полагает, что «застой есть движение вспять», – – – зато маленькие люди довольны, если повседневное остается неизменным: им больше нравится видеть дым, поднимающийся из трубы, нежели дым пожарищ.

*

К этому надо добавить, что генералы в большинстве своем действуют с меньшей фантазией, нежели демагоги. Генералы чуть не с детского возраста вплетены в иерархию, привычны к приказу и послушанию. Они обучены действовать диктаторски, а не диалектически. Но бывает, что в одной личности сходится то и другое; хороший пример тому – Троцкий. (Что евреи не умеют командовать – один из тогдашних предрассудков.) *Dicto* и *dico*¹ – вот в чем разница. С ранних лет искушенные в проявлениях власти, евреи знают ее статику и динамику; им известно, как, самому не сдвинувшись с места, приводить в движение других. Когда к власти приходит профессор, литератор или адвокат,

¹ «Диктовать» и «говорить» (лат.).

эта власть его опьяняет. Он теряется в беспредельных проектах; не знает меры, когда пытается их осуществить.

Мой родитель упрекает Кондора и в том, что у него, дескать, «нет идей». Однако идеи, даже хорошие, в таких головах чаще всего оборачиваются бедою для мира. Человечество уже пережило в этом плане самое абсурдное, что только можно вообразить.

Свойственная демагогам навязчивая идея равенства еще опаснее, чем жестокость людей в генеральских мундирах, — — — правда, для анарха это остается теорией, поскольку он избегает и тех и других. Тот, кого угнетают — пригибают книзу, — может потом снова выпрямиться, если такое упражнение не стоило ему жизни. Тот же, кто подвергся уравниловке, разрушен физически и морально. Тот, кто не похож на других, не может быть равным им; в этом одна из причин, почему на евреев так часто обрушивались несчастья.

Выравнивать можно только по нижнему уровню — так происходит и при бритье, и при подстригании живой изгороди, и при батарейном содержании кур. Кажется, что мировой дух иногда превращается в жуткого Прокруста — — — кто-то начитался Руссо и начинает практиковать равенство, снося головы или, как выражалась Мими ле Бон, «давая абрикосам скатиться». В Камбре гильотинирования предшествовали вечерним трапезам. Пигмеи укорачивали ноги высоким неграм, чтобы подогнать их под свою мерку; нынешние же белые негры опошляют возвышенный язык.

*

Анарх, который не признает никакого правительства, но и не предается, подобно анархисту, мечтам о рае, именно поэтому обладает способностью беспристрастного наблюдения. Историк в нем смотрит на людей и на силы, выходящие на арену, словно судья – на участников состязания. Время постепенно сжирает любой господствующий режим, хороший – даже еще проворнее.

Понимая это, Домо, похоже, больше ориентируется на настоящее, нежели на долгую перспективу; он знает, что *выиграл еще один день*, когда после его вечернего доклада происходит смена караула. Довольно часто пропуская обед, Домо никогда не отсутствует в ночном баре; я должен позвонить ему, если Кондор появляется там вопреки ожиданию. И вскоре я уже вижу его сидящим по правую руку тирана; после долгого рабочего дня Домо до поздней ночи остается бодрым и точным в своих высказываниях, однако напряжения в нем не чувствуется.

27

Я все еще нахожусь на пути к Центральному банку – но предыдущий пассаж вовсе не был отклонением в сторону. Мне пришлось даже прибегнуть к сокращению. Это – мысли, которые приходят в голову во время таких хождений, а также при любой другой деятельности. Они созвучны теме. Поэтому мне легко дается механическая работа: я вытесняю ее посредством *наплыва*. Бесплатно играет какой-то домашний театр, и часто – даже на разных сценах одновременно, в верхнем этаже. А то, что я тем временем передвигаю ноги, обслуживаю посетителей в

баре, на углу улицы разрываю номер «Крапивника», делается как бы между прочим. Иногда я спускаюсь с верхнего этажа, чтобы полностью насладиться текущим мгновением.

Оказавшись в банке, я узнаю свои задания. Некоторые уже будут лежать там, в запечатанном виде; другие я получу позднее, в соответствии с ситуацией. Возможно, их уже формулируют, пока я нахожусь в пути.

Предполагаю, что Домо не без основания выбрал для этой должности именно меня. Человека с высшим образованием, доцента, можно без всякого прикрытия вызвать в такое место, где хранятся большие запасы золота. Охрана здания, естественно, будет усилена. От меня же, похоже, ожидают такой услуги, которая требует интеллекта и, вероятно, такта. Замечу в скобках, что свободному течению денежного потока придают на касбе куда большее значение, чем, к примеру, свободе прессы и другим постулатам, которые, как выражается Домо, «хороши и прекрасны, но на них ничего не купишь». Он говорит также: «У нас каждый человек прежде всего интересуется тем, сходится ли его денежный баланс».

Поэтому Центральный банк, само собой, относится к невралгическим точкам. Клиента у кассового окошка должны нормально обслужить даже при критической ситуации: это вселяет чувство уверенности. Лишь при снятии со счета очень крупных сумм требуется предварительное уведомление. Вообще же наличность банка в любое время можно пополнить из подвалов касбы: этот запас превышает любой возможный запрос.

*

Здесь я должен сказать несколько слов о финансах. Стабильность финансовой ситуации объясняется в первую очередь тем, что здешняя тирания существует уже сравнительно долго. И предпосылкой тому служит полное отсутствие у Домо пустых фантазий. Зато он, очевидно, с особой тщательностью продумал две вещи: полицию и деньги.

И хотя я как анарх далек от этой темы, как историк я должен был помогать ему в его исследованиях. Случалось, он звонил мне уже поздно ночью: «Мануэль, мне нужна брошюра автора по фамилии Карски, “Вздорожание, цены на товар и добыча золота”. Она, кажется, была напечатана в старые времена, еще до Первой мировой войны. Пожалуйста, чтобы завтра текст был у меня. Возможно, имя этого человека пишется через ипсилон».

Раздобыть что-то подобное через луминар, здесь наверху либо внизу, в институте, – детская игра. Придя на следующий вечер в бар, Домо находил у себя на столе светокopию интересующей его брошюры. Из профессионального любопытства я к тому времени уже успевал ее просмотреть.

Наличный золотой запас – действительно важная проблема. Сначала Домо исходил из потребностей населения; он велел собирать сведения, чтобы узнать, сколько средств требуется простому человеку, чтобы быть довольным.

Определенный избыток становится необходимым там, где потребности культивируются или – что не одно и то же – одухотворяются. Недовольство духовного человека еще опаснее, чем недовольство голодного. Между золотом и искусствами существует магическая взаимосвязь. Изобилие на приватном уровне должно идти на пользу мусическим

искусствам и высоким ремеслам, вплоть до переплетного дела и кулинарии; изобилие же на государственном уровне, напротив, должно направляться на удовлетворение масс – прежде всего посредством зрелищ. Даровых выдач хлеба следует избегать; уж лучше тратить деньги на строительство зданий, пусть даже излишних. Разумеется, такие здания должны быть произведениями искусства; но как раз с этим у нас проблема.

Город без бедности не менее жалок, чем город без богатства: нам радостно видеть, что может предложить жизнь. Гавани, где накрашенные девушки подмигивают иностранцу, а торговцы предлагают излишнее: там приятно встать на якорь; там, верно, хорошо живется. Я купил попугая и выпустил его на волю; негры рассмеялись и пригласили меня пропустить рюмочку.

*

Золота в обращении имеется больше, чем нужно; поэтому оно, прежде всего, должно накапливаться в виде сокровищ; в способности образовывать сокровище заключена его незримая сила. Цены ползут вверх также из-за излишков золота. При этом возрождение задевает в первую очередь тех, кто перебивается с хлеба на квас.

Рудники расположены далеко на юге; золото залегают насыщенными жилами. Рудники эксплуатируются уже давно, и потому странным кажется тот возрастающий дефицит, который мы наблюдали при трибунате. Несмотря на имеющееся в стране богатство, в обращении можно было видеть только бумагу – гладкие купюры, словно только что

отпечатанные. Даже самую мелкую разменную монету, медяк, подделывали.

После этого показалось прямо невероятным, что Кондор стал платить золотом. Чудо объясняется тем, что он судит о человеке по существу, даже скептически – в отличие от трибунов, которые стилизовали слово «человек», превратив его в отвлеченное понятие. На это понятие они и ориентируются в своем педагогическом рвении, своих обещаниях счастья, даже мессианском обетовании. Само собой, все это требует денег, которые они, однако, взимают не с идеального, а с реального человека. А поскольку они оперируют иллюзиями, твердая валюта вскоре исчезает; сами деньги превращаются в фикцию. Это типичный фокуснический трюк. Однако трибуны, подобно моему папаше, могут так действовать, сохраняя чистую совесть.

И вовсе не случайно, что именно тогда, когда вера в богов начала иссякать, политика приняла на себя функцию одаривания счастьем. Против этого нечего было бы возразить, поскольку и боги обходились совсем недешево. Хотя тогда, по крайней мере, люди еще видели вокруг себя храмы, а не сплошные новостройки-термитники. Блаженство придвигается ближе: оно ждет нас уже не в потустороннем мире, а в посюсторонности – в какой-то момент времени, пусть и не прямо сейчас.

Анарх мыслит примитивнее: он не позволит, чтобы у него отняли его счастье. «Осчастливь самого себя», – гласит его основной закон. Это его антитеза к надписи «Познай самого себя» в храме Аполлона Дельфийского. Одно дополняет другое: мы должны знать свое счастье и свою меру.

*

Банкротство государства, от природы богатого плодами земли и полезными ископаемыми – хорошим примером и здесь служит Мексика, – может иметь самые разные причины: коррупцию, расточительство, ошибки в планировании. Строительная лихорадка и страсть к военным завоеваниям, свойственные как князьям, так и трибунам, тоже дорого обходятся народам. А вот затраты на персональные удовольствия остаются достаточно скромными, хотя и вызывают большее возмущение. Прогорают чаще всего из-за великих идей.

*

Кондор имеет возможность платить наличными, поскольку идей у него мало. Когда тебе выдают деньги на руки, это убеждает сильнее всего. В расточительстве Кондора можно упрекнуть, разве что имея в виду расходы на содержание флота; но ведь именно флоту Кондор обязан победой в гражданской войне. Охота тоже всегда обставляется с роскошью – однако не столько ради удовольствия Кондора, сколько потому, что это увеселение воспринимается как своего рода дань Желтому хану. Ну и, конечно, есть еще *миньоны*.

Эвмесвиль – феллахское захолустье. Это избавляет нас от расходов на вооружение, но, с другой стороны, требует гибкой политики, заключающейся в лавировании между великими державами. Держать при такой ситуации армию было бы бесполезно и слишком накладно.

Система денежных отношений базируется на принципах, которые оправдали себя в лучшие времена Гелиополя. Расчет производится по двум системам: ты покупаешь и продаешь либо товары, либо энергию. За дома, землю, машины, ручной инструмент, за любой вид изделий – одним словом, за все, что является зримым и осязаемым, – плату обычно требуют в золоте. Расчетной единицей служит «кондор» – монета, которую уже по причине ее большого веса можно увидеть разве что в банках. Один кондор равен ста скуди; один скудо – это приличный дневной заработок, тогда как на двойной скудо можно уже жить, ни в чем себя не стесняя. Проститутка, если она работает в гавани, потребует за свои услуги полскудо, а в лучших борделях – и целый скудо.

Энергия же – то есть механизированный труд людей и животных или, скажем, трансляция игр и известий – оплачивается в сольдо. Золотом принято оплачивать песню или стихотворение, прозаические сочинения и произведения изобразительного искусства – а также, как уже говорилось, любовные услуги. Таким образом учитывается различие между заработком и гонораром. В сущности, речь идет лишь о формах расчета, поскольку различные величины свободно конвертируются. Они даже пересекаются внутри автоматов, когда опущенная монета может превращаться как в различные ценности, так и в определенную услугу. В Гелиополе существовала еще более высокая категория, чем золото, – металлы, которые непосредственно излучали энергию. В Эвмесвиле от технологии производства таких металлов отказались – во-первых,

потому что она весьма опасна; и, во-вторых, потому что исчезли специалисты, ею владеющие. Зато в катакомбах она была доведена до совершенства. Об этом можно судить по тем скромным пробным образцам «для мирного использования» – вроде световых карандашей или термических колец, – которые импортируются оттуда. Такие предметы напоминают стеклянные бусы и зеркала, которые европейцы некогда дарили туземцам с побережий, откуда они вывозили рабов и золото.

*

Итак, мы расплачиваемся посредством сольдо за динамические, посредством скудо – за материальные услуги. В чем же смысл этого различия, если ту и другую монету можно обменять в любое время и в любом кассовом окошке?

Специалист по валютным вопросам – профессор Скаво, которого Домо иногда приглашает с собой в ночной бар. Из оброненных им замечаний кое-что попадает в мои записи. Хотя речь чаще всего идет о практических вопросах – например, об утечке золота, которая издавна составляет проблему торговых государств, – однако в ходе таких бесед неизбежно затрагиваются и вопросы принципиальные.

И здесь меня опять удивляет сдержанность Домо – трезвость, побуждающая его ограничиваться рассмотрением только рациональных и поддающихся измерению величин. Он принимает в расчет лишь вес золота, а не его магический ранг, очаровывающий таких людей, как Бруно. Последний как-то сказал в одном из наших ночных разговоров, что существует три «явленные посредством откровения

тайны»: змея, евреи и золото. «Здесь благо и зло еще не обособились друг от друга, и все попытки человеческого разума постичь этот феномен терпят крушение».

Скаво, как всякий специалист, не решается вдаваться в скрытую подоплеку интересующего его явления – и такое самоограничение мне как исторiku симпатично. Его основная пища – факты, а не идеи. Скаво, очевидно, и с практической точки зрения считает важным сохранение двух валют: «Должны быть деньги, которые быстро расходуются. Сольдо служит денежному обороту, он склонен к циклическому движению, скудо же, напротив, – к перемещениям по вертикали. Этой силой тяжести объясняется его стремление исчезать в земле и лежать там, пока место клада не зарастет травой».

Сформулировано было недурно; это имело непосредственное отношение к другому виду исчезновения, а именно – к тезаврации. Золото исчезает в сберегательных кубышках. Самый крупный запас Кондор хранит под касбой; это создает противовес. Золото следует и выставять напоказ – на столах менял. Туда, где уже есть сколько-то голубей, слетаются и другие голуби.

*

Исходя из функционального признака, сольдо правильнее перечислять на текущий счет, а скудо – на сберегательный. В повседневном же денежном обращении разница, как уже говорилось, стирается – не говоря о том, что платежные операции приобрели высокую степень абстракции. Человек, владеющий

фонофором, то есть почти каждый, может в любой момент расплатиться с помощью этого аппарата. Его счет регистрируется автоматически. Фонофор – сложное устройство, но обращаться с ним просто; через него я расплачиваюсь быстрее и легче, чем если бы выписывал чек.

Нивелирование общества посредством автоматизма – способ, каким были поставлены с ног на голову кардинальные вопросы зарплаты и труда, – это статья особая. Впечатление такое, что здесь, в Эвмесвиле, вся общественная система иногда засыпает и город погружается в грезу. Будто корабль сел на мель и потом снова с нее снялся. Или будто напряжение тока упало до нуля, но через некоторое время машины заработали снова. В такие паузы анарх как раз и может измерить собственную силу и независимость.

*

Несколько раз послушав Скаво в ночном баре, я стал заходить также и на его лекции, если оказывался в это время в университете. Я вскоре понял, что не случайно мне в голову пришла метафора, связанная с электрическим током. Использование электричества оказывало на собственность, а значит, и на деньги, гораздо большее влияние, чем – в свое время – использование силы пара.

Скаво говорил: «Эквивалентом сольдо является энергия. Скудо же имеет ценность сам по себе. Поэтому он обладает покупательной способностью как применительно к вещам, так и применительно к энергии. Соотношение между той и другой валютой остается скрытым: ведь люди, не задумываясь, принимают в качестве оплаты и сольди, и скуди.

Однако сольдо – я не хочу сказать, что *фиктивен*, но, пожалуй, *эффективен*, то есть привязан к производительности; это становится очевидным при любых нарушениях в пределах рабочего мира. В самом крайнем случае – скажем, при *black-out*¹ – сольдо обесценивается, тогда как золото сохраняет свою ценность и даже возрастает в цене».

*

Таким приблизительно был теоретический каркас, на который Скаво наращивал исторические реминисценции: инфляция как следствие неумеренного расточительства – например, после войны, – накопление потенциальной производительности благодаря резерву безработных, манипуляции с валютой, принудительные курсы обмена, подделка монеты, раковины каури, аферы с тюльпанами, аббат Галиани, Лоу и госпожа Шпицедер, скандал вокруг Панамского канала и так далее.

Хорошее историческое образование; буйная, но контролируемая игра ассоциаций. На этих лекциях я получал импульс к собственным изысканиям, к дальнейшей работе с луминаром. Историк – нейтральный, не поддающийся эмоциям наблюдатель. Анарх же, говоря упрощенно, держит сторону золота: оно очаровывает его – как все, что ускользает из-под власти общества. Золото обладает собственной, неизмеримой властью. И где бы оно ни появлялось, там общество вместе с его порядком оказывается в опасности.

¹ Здесь: временное отсутствие электрического освещения (вследствие аварии и т. п.), вырубание света (англ.).

Анарх держит сторону золота: это не следует понимать буквально, как жажду золота. Анарх распознает в золоте центральную, покоящуюся в себе власть. Анарх любит золото не как Кортес, а как Монтесума, не как Писарро, а как Атауальпа: есть ведь разница между плутоническим огнем и солнечным блеском, которому поклонялись в храмах Солнца. Высшее свойство золота – это свойство дарить свет; золото одаривает человека самым фактом своего существования.

*

Движение, обусловленное золотом («все к золоту стремится»), даже когда оно покоится в сейфах, является лишь отражением того, что Агриппа называет его «достоинством». Это и есть истинная ценность золота, цена же – только ее выражение.

Ценность покоится в себе, цена же изменчива и подвижна, зависима от моды. Более высокий ранг покоя обнаруживает себя и в теориях Скаво, и даже в нашей повседневной практике, хотя в ней – не с такой очевидностью.

Один разговор, который Домо в этой связи вел со Скаво, особенно мне запомнился. Речь зашла о подлинном смысле работы, который Домо называл ее «гением». Он имел в виду, что там, где этот гений оказывает влияние на работу – безразлично, столяра, живописца или серебряных дел мастера, – она «сто́ит золота» и, соответственно, должна золотом же оплачиваться.

К тому времени все уже изрядно выпили; Скаво пришел в хорошее настроение и разоткровенничался. Я еще малость поспособствовал этому, включив распылитель. Очевидно, профессор заметил,

чем обеспокоен Домо. И для начала упомянул об уничтожении ценностей в век экономики. Сказал, что исчезновение ценностей можно уподобить операции – надрезу на человеческом теле, – после которой всякое движение расположенных выше этого надреза мышц становится невозможным и человек никогда уже не оправится от полученной раны.

Я могу представить лишь резюме этого разговора, да и то неточно. В основном, сказал Скаво, человеческий труд оплачивается в соответствии с затраченным временем и количеством произведенных изделий, то есть понятие качества заменяется понятием нормы. «То, что вы, ваше превосходительство, называете *гением*, не укладывается во временные рамки; а потому не может быть измерено или оплачено в соответствии с принятыми нормами. Там, где талант намного превосходит норму, он распознается не полностью либо не распознается вообще. Произведение искусства получает высокую цену лишь спустя много времени после смерти своего создателя, часто умирающего в нищете. Но даже наивысшая цена лишь указывает на то, что художественное произведение неоценимо. Потому что гений, даже если меценаты или князья его балуют, работает безвозмездно. В этом он похож на богов, которые безвозмездно расточают свои дары. Мир как творение пребывает не *по ту сторону* времени, а *вне* его. Именно за пределами времени покоится его дрящущееся бытие».

*

Ночной бар обладает тем преимуществом, что в нем специалисты чувствуют себя свободно, у них развязывается язык. В баре царит особая атмосфера,

поэтому я предпочитаю обслуживать гостей здесь, а не на званных обедах, хотя там звучит превосходная музыка.

Профессор поднес ладонь ко рту: его, кажется, смутило, что он проявил излишнюю горячность. Кондору же нравится, когда его гости говорят с воодушевлением. Он поблагодарил профессора и добавил еще одно замечание. Он обычно выражается очень просто, но, к сожалению, в тот раз я не записал дословно, что он сказал. Я с большим интересом следил за разговором: он касался тех различий, которые занимают меня и как историка, и как анарха.

Кондор тонко чувствует историю со всеми ее переплетениями, о чем свидетельствует уже одно то, что он предоставил в мое распоряжение луминар. Он тоже подвержен склонности, особенно распространенной во времена эпигонов и феллахов, – я имею в виду желание добиться «исторической равноценности». Предание с его литературными произведениями и документами воспринимается такими личностями как упрек. Попытка реставрировать ставшее несовершенным Творение – древнейшая из задач, которые люди перед собой ставили. Проблема, однако, заключается в том, что желание, хоть и может быть отцом мысли, никогда не станет отцом художественного произведения – пусть даже самого невзыскательного стихотворения.

Поэтому Кондора задело высказывание Скаво: что, дескать, гений пребывает вне времени и только оказывает на него влияние. Тогда, значит, гений пребывает и вне общества, он от общества не зависит – – – мысль, которую анарх может лишь подержать. Порой я подозреваю, что Кондор хотел бы

превратить Эвмесвиль в маленькую Флоренцию; на этот случай свой Макиавелли у него уже имеется – в лице Домо.

Но если добрые духи однажды покинули дом, их больше не заманишь туда никакими заклятиями. Этот изъяз беспокоил Кондора. Аттила, однако, обнаружил в его рассуждениях логическую ошибку: «Если бы гений пребывал *во* времени, мы бы никогда не увидели его в Эвмесвиле. Но, поскольку это не так, мы не теряем надежды».

Он коснулся руки Кондора: «Чудо ведь тоже *не* во времени».

*

Что он хотел этим сказать? Они уже не первый раз заговаривали о гении, только обозначали его разными именами. Из ключевых слов, записанных мною во время ночных бесед, я мог бы составить мозаику – которая, правда, как всякая мозаичная работа, имела бы трещины и лакуны.

Будь Аттила христианином, я бы истолковал то, что он сказал о чуде, в этом смысле – как отголосок старых церковных песнопений. Но такие вещи – как и вообще представление о трансцендентности – ему чужды. Для него чудо возможно в любое время: чудо можно пережить – оно живет среди нас. Трансцендентность же – это для разума тупиковый путь. Мир чудеснее, чем его изображают наука и религия. Лишь искусство способно приблизиться к чуду.

В гении он, похоже, видит изошренно распределенную силу, которая может проявить себя в любой момент и повсюду. У какого-нибудь животного развиваются необычные органы, оно начинает летать, меняет свою видовую и родовую принадлежность;

или вдруг приходит какой-то индивид и придает всемирной истории новое направление – – – в таких случаях не вера порождает чудо, но само чудо предшествует рождению иной веры. Постоянно возникают новые неожиданности, и именно в *последние времена*.

Аттила долго жил в больших лесах по ту сторону пустыни. У него там, должно быть, случались странные встречи. Он – лейб-медик Кондора, но не только лейб-медик.

*

Поздним вечером в ночном баре воцаряется *подводное настроение*; я приободряюсь, наблюдая за своим аквариумом. Как и повсюду, где ведутся дискуссии, за одним и тем же словом скрываются различные содержания. Легче всего я понимаю Домо. «Гений» для него – это тот, кто добился выдающихся достижений, не только в искусстве или науке, но и в ремеслах. Почему Домо оценивает таких людей на вес золота, хочет осыпать их наградами и почестями, ясно как божий день. Он понимает, что расчлененным обществом можно управлять эффективнее, чем обществом нивелированным; это справедливо даже применительно к телесному устройству живых организмов. Змея опаснее многоножки.

В Эвмесвиле, где демагоги и удачливые солдаты периодически сменяют друг друга, давно исчезли все социальные различия. Орденам уже не придают никакого значения, а вот от сотни кондоров, отчеканенных из чистого золота, здесь никто не откажется. Следовательно, тот, кто хочет расчленить общество, должен привести в соответствие золото и конкретные заслуги.

Кроме того, Домо старается обогатить нашу палитру, вводя поблажки в закон об обязательном школьном образовании, а для некоторых профессий даже упраздняя этот закон. Пастухи и рыбаки благодарны ему за это, и их дети – тоже. Недавно, когда я сидел на одной из наблюдательных вышек Роснера, на берегу Суса, мимо гнали своих овец два подпаса. Они, кажется, говорили о каком-то приятеле; я услышал, как один из них произнес: «Ему приходится ходить в школу». Непохоже было, что мальчик этому школьнику завидует. Я порадовался, поскольку, как анарх, отвергаю любые оковы, любое ограничение свободы и, стало быть, принцип обязательного обучения – тоже. Он был одним из величайших источников несчастья, в мировом масштабе.

*

Кондор тоже хотел бы уравновесить гениальные достижения золотом, однако он тщетно оглядывается в поисках таких достижений. В нем повторился тип мелкого немецкого князька эпохи барокко – тип хорошего отца семейства. Каждый должен быть – по возможности и на свой лад – доволен. При этом Кондора меньше, чем Домо, заботит сохранение порядка и безопасности. Скорее он чувствует, что от благополучия подданных зависит его собственное довольство. Это тот рубеж, на котором эгоизм становится достойным любви.

Каждому свое; вокруг Кондора не должны звучать диссонансы. Уже одно то, что, сидя за обеденным столом, он хочет слушать хорошую музыку – как и Домо, – подтверждает правильность такой оценки его личности. Он не мог бы, следовательно, – в отли-

чие от колонизатора – с чистой совестью съесть за завтраком килограммовый бифштекс, видя, что ему прислуживают голодающие. Музыкальность придает ему некую грацию, которая распространяется и на его *миньонов*.

*

Я смотрю в свой аквариум, словно в зеркало, которое возвращает мне далекие или, может быть, даже никогда не существовавшие времена:

*Чего никогда и нигде не бывало,
Останется истиной навсегда.*

Иногда одно мгновение счастья, точно волшебное заклинание, прерывает историю. Порядок с его различиями сохраняется – – – и все-таки все теперь двигаются иначе, от короля до поваренка и каторжника, влачащего свои цепи. Они танцуют, вместо того чтоб шагать, они поют, словно в опере, вместо того чтобы разговаривать, они возвышают свою радость в песне, углубляют свою печаль в песнопении.

Здесь, как я предполагаю, и есть настоящее пристанище Аттилы: гений превращает незримую гармонию в зримую. Это его удостоверение личности, его непосредственный вклад в сотворение шедевра-мира. Гений обитает не где-то в потусторонности, а среди нас; все возможно, сейчас и здесь.

*

По поводу обязательного обучения: анарх учится читать и писать, если и когда ему этого захочется. Многих детей прирожденное любопытство влечет

к книге. Но Карл Великий, например, оставался неграмотным и после того, как на протяжении многих лет правил своей могучей империей. Даже общаясь с такими учеными, как Алкуин и Петр Пизанский, он не научился писать, однако умел делать много другого, лучшего.

То, что Гомер мог писать, маловероятно: приверженность букве мешает вольному пению. В любом случае предписывается осторожность, когда ты после плавания в открытом море направляешь свой корабль в узкий канал; и, должен заметить, цифры еще хуже букв. Как историк, я вынужден делать записи, как анарх же вполне могу без них обойтись. Впрочем, в катакомбах, похоже, разработали методы, которые делают знание письменности излишним; пример тому – световой карандаш, — — — но это к обсуждаемому предмету не относится.

Обязательное школьное образование – это, по сути, способ, позволяющий обкорнать природные способности человека и сделать его пригодным для эксплуатации. То же самое относится к всеобщей воинской повинности, представления о которой развились аналогичным образом. Анарх отвергает воинскую повинность, наряду с обязательными прививками и всякого рода страхованиями. И даже присягу приносит с оговорками. Хотя он – не потенциальный дезертир, а *уклоняющийся от воинской службы*. Этим выражением я обязан одному старому поэту, которого *цитировал* в луминаре – Густаву Сакку.

Анарх, правда, может убить каждого – на этом основывается его самосознание, – однако убивает он лишь там и тогда, где и когда ему этого захочется, — — — такое случается все-таки гораздо реже, чем когда убийство совершает профессиональный

преступник, водитель автомобиля или само государство. Архаичная фигура наемника больше соответствует анарху, чем фигура призывника, который является на освидетельствование и кашляет от неожиданности, когда врач хватает его за яйца.

«Плати золотом – и я буду тебе помогать, пока не захочу от тебя уйти». В наемники можно податься от нужды, со скуки или же потому, что тебе нравятся какой-то человек и его дело. В любом случае, если от анарха чего-то требуют, он оставляет право решения за собой, пусть даже требование исходит от членов его семьи.

Когда ему навязывают оружие, он становится не надежнее, чем был прежде, а еще опаснее. Коллектив может стрелять только в одном направлении, а анарх – по кругу.

*

Солдат (в изначальном значении – «наемник») и *золото*: они соотнесены друг с другом. Эвменисты наподобие Кессмюлера – буквоеды с куцими умишками – не понимают магии языка. И даже боятся ее.

Schlange, «змея»: *sch* – – – *lange*: «шшш», выражающее робость перед мгновением, и его «долгое» – *lange* – развертывание. В «золоте» неутоленная жадность, «з», в «солдате» жадность утихомирившаяся, «с», подчеркивают силу желтой, сверкающей гласной «о».

Когда я хочу заплатить Латифе, речь о которой еще впереди, за то, что она укладывается ради меня на матрас, я ей даю золото. Взять бумажные деньги она – как и наемник – не захотела бы. Там, где жизнь предстает в обнаженном виде – потому что раздевается женщина, совершается разбой или прино-

сится, как в древнем храме, человеческая жертва, – принято расплачиваться кровью и золотом. То, что человек *вправе* получать золото, знает мужчина и еще лучше знает женщина; и это знание будет жить дольше, чем все государства, гибнущие и вновь возникающие.

Отнять у человека золото, лишить его высоких притязаний – таково стремление любого государства, человек же старается свое золото утаить. Государство хочет «взять у своих граждан лучшее» – – – и потому изымает золото. А потом накапливает его в сейфах, расплачивается же бумажными деньгами, которые с каждым днем все больше обесцениваются. Чем покорнее становится человек, тем легче он поддается на обман. А вот золоту всегда можно доверять. Это его свойство, золото ничего из себя не изображает. И то, что в Эвмесвиле его показывают открыто, – одно из преимуществ нашего города.

ОДИН ДЕНЬ НА КАСБЕ

28

Пора поведать, как протекает мой день, поскольку его распорядок относится к этому сюжету. Начать лучше с ночи, ибо мой день – лишь ее отражение. Я думаю так уже потому, что не люблю просыпаться: мне неохота каждый день заново облачаться в свое снаряжение.

Ночь темна, день ясен. По словам Бруно, этот свет дня – лишь ответвившаяся, ослабленная, отфильтрованная темнота. В такой мысли есть что-то верное. Когда я смыкаю глаза, становится не темно, а ясно, будто вспыхнули софиты, в то время как раздвигается театральный занавес. Появляются цветы, которые мягко падают откуда-то сверху вниз, вращающиеся пестрые диски, бесчисленные лица, стремящиеся к индивидуации, и среди них – мое собственное. Все это – пока я еще не заснул. Потом я погружаюсь глубже.

*

Зов совы с ее мягкими крыльями внушает мне больше доверия, чем петушиный крик. Я предпочитаю струнные инструменты духовым. Пауза: это темнота. Я ощущаю свет как царапину: это скорее неприятно, чем больно. Я с удовольствием еще раз ныряю в сон.

Сон без сновидений после полуночи – самый глубокий; потом в сновидческую страну хозяином входит дух. Он не только дирижирует происходящим,

но также выдумывает все, что ему угодно, извлекая из своей неисчерпаемой кладовой персонажей и декорации.

Это мое владение – живое. Дух превращается в поток; и пронизывает созданную им конструкцию. Он раскрывает глаза всюду – – в людях, вещах, зверях и растениях; он наделяет свои творения дыханием и позволяет им говорить: он *суфлирует*. Однако то, что они говорят, приводит его в изумление, как будто сказанное им слово, преобразившись в эхе, само исполнилось духа. «В сновидении мы боги», как справедливо сказал один грек.

*

Ближе к утру сон становится беспокойным, в сновидческую ткань вплетаются нити абсурда. Что заставило меня, например, сегодня утром вызвать на мои внутренние подмостки какую-то субретку, метиску с прокуренным голосом, выставлявшую себя напоказ? Она пропела несколько куплетов, мало что мне говорящих, хотя, судя по всему, я сам придумал и тексты, и мелодии. Потому она и попросила у меня прощения. Она, дескать, решилась на это выступление только ради *culture physique*¹. Это тоже, естественно, было враньем; на самом деле ей хотелось потрясти на свету своими грудями и задницей. Что она и делала, с обезьяньей ловкостью размахивая цилиндром.

Такие сцены разыгрываются молниеносно. Я предполагаю, что они попадают к нам из вневременного пространства; потом мы более или менее

¹ Физическая культура (фр.).

удачно их истолковываем. Это напоминает те хлопушки, которые человек разворачивает в новогоднюю ночь, после того как вместе с подругой зажег их. В хлопушке он потом находит какое-нибудь изречение, из которого мало что может понять. Древние примитивные толкователи сновидений были надежнее своих нынешних коллег.

Жизнь на касбе приводит к тому, что в сновидения прокрадываются эротические мотивы. Это объяснимо, но не более того. Живописец сказал бы: мотив – это еще не художественное произведение.

*

Моя служба нерегулярна: может пройти неделя, а бар так ни разу и не откроется. Он работает лишь тогда, когда присутствует Кондор. Наверное, Домо хочет воспрепятствовать тому, чтобы здесь образовался маленький кружок завсегдатаев.

Мокко подают и в кают-компании; сюда же часто заходят, только чтобы выпить стаканчик дигестива. Но бывает, что посиделки в баре затягиваются до рассвета. Мне это нравится: я не остаюсь без добычи. Закрыв и запечатав бар, я у себя наверху, за бокалом вина, расшифровываю собственные каракули, сделанные световым карандашом, и думаю об услышанных разговорах.

На службе я не беру в рот ни капли спиртного, даже когда Кондор, пребывая в хорошем расположении духа, настоятельно просит меня. Не пью я и воду, даже если испытываю жажду. Я вообще «не прикасаюсь к рюмке», кроме тех случаев, когда обслуживаю гостей; так происходит по целому ряду причин, но прежде всего потому, что я очень тща-

тельно слежу за точностью своей речи. А вот другие в этом смысле небрежны: к примеру, они говорят «я сплю с ней», имея в виду все что угодно, но не сон.

В этом отношении я похож на Домо, который тоже, как уже отмечалось, придает большое значение умению точно выражать свои мысли. Я вижу, как он одобрительно кивает, заметив, что я дал достойный ответ самому Кондору, — — — да, на меня можно положиться. Говорю это без всякой иронии.

*

Поздно ложась спать, я и встаю поздно: день принадлежит мне. Солнце уже вовсю пропекает касбу; воздух дрожит над молочайными зарослями. Если охлаждающие приборы не включены, становится жарко. Обычно я включаю их, только когда хочу поработать. Впрочем, техника эта ненадежна, хотя в нашем распоряжении целый штат электриков и других рабочих. Мне порой кажется, что техника, как во сне, то будто сама собой налаживается, то портится, и никто не торопится ее починить. Во всяком случае, ее уже не воспринимают так серьезно, как раньше; и даже Домо, похоже, предпочитает заботиться о *juste milieu*¹, а не о техническом совершенстве.

И если он раздражается, то вызвано это не столько тем, что опять отказали аппараты, сколько его недовольством наладчиками. Это напоминает мне князей той эпохи, когда мужчины носили косицы: они воспринимали винтовку прежде всего как инструмент для воинской муштры.

¹ Здесь: надлежащее окружение (фр.).

Если я до утра простоял за стойкой бара, то могу проснуться среди белого дня, чуть ли не в полдень. Я же, просыпаясь, лежу в темноте, поскольку сплю в алькове за плотным занавесом. Проснувшись, я остаюсь там еще четверть часа, прежде чем встать.

Скажи я сейчас: «чтобы помолиться», это прозвучало бы странно. Ведь слово это затаскано и скомпрометировано духовенством. Слово *religio* – «религия» – как известно, изначально означало «связывание»¹; но анарх-то как раз и отвергает всякого рода узы. Ему нет никакого дела ни до Моисея с его Десятью заповедями, ни вообще до пророков. Он также ничего не желает слышать о богах и их пересудах, разве что как историк – – или же если боги сами явятся перед ним. Но тогда начнутся конфликты.

Итак, говоря «чтобы помолиться», я следую некоему врожденному инстинкту, который не слабее полового инстинкта, даже сильнее. Оба инстинкта сходны и в том, что, если их подавлять, они могут выродиться в нечто отвратительное.

Анарх и в этой потребности не отличается от всех прочих людей. Он лишь не любит, чтобы его *привязывали* к чему-то. Свое лучшее он не растрчивает. За свое золото он не возьмет суррогат. Он знает свою свободу, но и ее противовес – тоже. Уравнение сойдется, если ему предложат нечто, заслуживающее веры. И тогда результатом будет: ОДНО.

То, что боги являлись людям – и не только в первобытные времена, но и вплоть до поздних исторических эпох, – не подлежит сомнению; они и пиро-

¹ *Religio* – привязывать (лат.).

вали, и боролись с нами. Но какой прок голодному от роскоши былых застолий? Какой прок бедняку от звона золота, который доносится до него из-за *стены времени*? Нам требуется божественное *присутствие*.

*

Анарх предоставляет и этому идти своим чередом; он может подождать. У него имеется собственный этос, но не мораль. Анарх признает право, но не закон: он презирует любые предписания. Всюду, где этос подчиняется предписаниям и заповедям, он уже коррумпирован. Но этос вполне может гармонизировать с ними, в зависимости от места и обстоятельств, долгое или короткое время – как я здесь гармонирую с тираном, пока мне это нравится.

Логическая ошибка анархистов заключается в том, что они считают человека добрым по натуре. Тем самым они кастрируют общество, так же как теологи («Бог есть добро») кастрируют Господа. Это – сатурническая черта.

Естественное право истрепали по всем направлениям – им обосновывается все, от легитимации грубого насилия и вплоть до райской идиллии. А происходит так потому, что из естественной истории – из природы – каждый может выбрать, что ему нравится. «Она есть всё сразу». Ну ладно: из самобытности мира каждый пусть выводит, что подходит для бытия его самости.

Случайности и произвол начинаются уже в царстве молекул. Значит, в Универсуме с самого начала что-то было неладно. Недаром слово *Ursprung*, «происхождение (мира)», можно прочесть как *ur-Sprung*, «изначальная трещина». Книга Бытия содержит

недвусмысленные намеки на это – – – правда, они похожи на слухи: как будто овечий пастух подслушал что-то у притворенной двери.

Право нужно искать в атомах и еще глубже, также – в собственных атомах. Именно оттуда этическое и эстетическое суждение реагирует на тончайшие колебания. Поэтому нарушение права в большинстве случаев и представляется безобразным. По мере подъема опасность нарастает – как это происходит с танцором на канате, который с определенного момента уже не может рассчитывать на страховочную сетку, или как случается при прохождении по узкому, словно лезвие ножа, мосту Сират. Никогда искушение воззвать к богам о помощи не бывает сильнее, но тем большая заслуга – не поддаться такому искушению.

Как историк – но только как историк, – я позитивист. Право сохраняет свою действенность, пока его воспринимают и могут воспринимать в качестве такового. Одна из предпосылок его сохранения – наличие чистой совести, правда, не в смысле нравственной самонадеянности. Важно, чтобы не переводились не только дельные, но и добросовестные люди. То, что существование тех и других не совпадает во времени, опять же объясняется изначальной трещиной – отделением древа жизни от древа познания.

*

Понятно, что анарх, когда молится, не просит и не благодарит. Не ищет он в молитве и магической силы. Сколько пылких молитв не было услышано! Как историк я провожу некоторое время в камерах осужденных на смерть, как анарх я хотел бы пода-

рить им посмертное утешение; и я знаю, что виновному оно нужно еще больше, чем невинному.

Я был в темнице вместе с Боэцием и был подле Марии-Антуанетты в Тампле, когда волосы у нее поседели. Я был свидетелем тому, как на улицах ревели толпы, а в доме отец надевал молитвенные ремешки. Ребенок схватил его за руку. Но ни отец, ни ребенок услышаны не были.

*

И все же молитва произносится, в силу прирожденного инстинкта. Она важнее еды и питья, ибо свидетельствует о чем-то большем, нежели бременная жизнь. Она ведет за пустынные кулисы, которыми знание загораживает Вселенную. Вода в реторте познается иначе, чем вода в акведуках, ведущих к большим городам, и опять же иначе – в морях, – – а в молитве она познается как влага жизни.

Священники придают значение тому, чтобы молитва обращалась к персональным богам: «Подлинная молитва возможна лишь в тех религиях, которые признают единого, наделенного волей Бога – как личность и целостный облик».

Так сказал один знаменитый протестант. Анарх не хочет иметь с этим ничего общего. Единый Бог, пожалуй, и может придавать целостный облик личностям, но сам Он личностью не является, и уже то, что Его обозначают словом мужского рода, – патерналистский предрассудок.

Единого Бога нельзя постичь, тогда как со многими богами человек беседует на равных: может, как их изобретатель, а может – как первооткрыватель. В любом случае, он им дал имена. Это не то

же самое, что диалог с самим собой на каком-то высшем уровне. Божественное, несомненно, должно пребывать в нас и распознаваться как таковое, иначе мы не имели бы никакого понятия о богах.

«Ибо в нас правит Бог» (Гёльдерлин). «ЕДИНИЦА есть начало всех вещей» (Филолай). «Один бог среди богов и среди людей самый великий, ни обликом не сравнимый со смертным, ни мыслями» (Ксенофан). «Вихрь разнообразных форм отделяется от вселенной» (Демокрит).

И снова, и снова Гераклит. Нуминозное невозможно упразднить: оно встречается каждому – у каждого есть свой Синай, а также своя Голгофа.

29

Пол перед альковым выложен кафелем: шестиугольные плитки пригнаны одна к другой, как пчелиные соты. Они еще прохладны, приятны ступням. Для отдохнувших глаз узор их особенно внятен. Он, вероятно, воздействовал бы еще сильнее, если бы я никогда не слышал о математике.

Помещение для купания находится рядом. Оно лишено окон и освещается с потолка не видимым глазу приспособлением. Я встаю перед зеркалом и по поясному портрету-отражению определяю степень своего присутствия. Как и все на касбе, я хорошо загорел. Голубизна стен подчеркивает пластику тела.

Итак, чаще всего я вижу свой четкий контур; нет никакого сомнения: это отражение в зеркале. День манит делами; я с легкостью осилю все. Я найду верную дистанцию по отношению к людям и вещам.

Я тут же – приступая к упражнениям – замечаю это. Начни я играть в бильярд, мне удались бы большие серии. Таково общее настроение на касбе – особенно ярко выраженное у Кондора, когда после утренней прогулки верхом он спешивается с лошади.

Однако бывают дни, когда изображение в зеркале хотя и теряет четкость, будто стекло запотело, но все же кажется тем более реальным, чем дольше я в него вглядываюсь. В равной мере мое тело, наоборот, утрачивает реальность. В такой день нужно быть начеку: того и гляди случится какая-нибудь авария. С другой стороны, двигаться в духовном пространстве в такие дни легче. Исследования в библиотеках и возле луминара проходят успешнее.

Я замечаю также, что со мной чаще заговаривают, и сам я легче общаюсь с людьми. Врата дружбы распахивают свои створки, Эрос подстилает мне под ноги ковер. Даже Домо улыбается, если у меня – что в таком состоянии вполне объяснимо – случается оплошность. «Эмануэло» Кондора звучит тогда особенно приятно. Мне, однако, не следует слишком углубляться в подобные вещи.

*

Вопрошание зеркала очень ценно, но вместе с тем и опасно. Оно дает тебе некий заряд, транспортирует из обычного существования в бытие. Помимо прочего, оно может усилить женскую стихию, влияние луны и моря, сновидения и ночи, вообще – другую сторону. Здесь уместно упомянуть слова древнего мудреца: «Днем все видят одно и то же, во сне же – каждый свое».

Это могло бы отдалить нас от исчисляемого мира, от языка, на который мы только и можем рассчитывать. Мы утратили бы способность проводить разграничения. Для меня, к примеру, это стало бы прощанием с историей как наукой, которой из поколения в поколение занимались в нашей семье.

Санатории и психиатрические клиники Эвмевия переполнены больными, которые слишком углубились в себя. Им для этого даже эксперименты не понадобились. Время от времени нечто подобное происходит с одним из моих студентов; народ в таких случаях говорит: «он переучился». В этом есть правда: излишек света ослепляет; он провоцирует появление темноты. Я охотно навещаю таких больных: от них порой слышишь слова, какие встречаются в древних оракулах или у Скарданелли, – невнятное бормотание какой-то силы наподобие духа земли.

Невзирая на все опасности, ценно – я бы даже сказал, бесценно – не только верить, но и понимать, что одновременно можно находиться здесь и где-то в другом месте. Я тем упорнее противился этому пониманию, чем больше склонялся к материализму. В первую очередь Бруно помог мне преодолеть эту стадию – в особенности своим курсом лекций об оптических и электромагнитных явлениях. Не стану подробно останавливаться на этом, что завело бы нас слишком далеко. Приведу лишь одну его максиму: «Первообраз – это образ и его отражение». Он применил искусный прием: вернул платоническую идею в явление и тем снова вдохнул жизнь в кастрированную абстрактным мышлением материю. Он говорил, что не следует надеяться на чудо, которое придет сверху или из будущего – скажем, от мирового духа, пребывающего где-то над нами, – – – под

меняющимися покровами всегда остается одно и то же – в каждой травинке, в каждом камешке.

*

Мать слышит, как кричит ее сын, который в этот момент тонет где-то в противоположной точке земного шара, в Тихом океане. И дело не в одном этом зове. Многие люди пережили нечто подобное. Сколько бы возмутительных вещей ни породили религии, следует признать, что они не только оберегали, но и применяли на практике знание вот о чем: существуют незримые переходы, ими можно научиться пользоваться. Правда, монополии на такое знание нет, ибо оно дано каждому от рождения – – – существуют лишь различия в *savoir-faire*¹. В этом легко убедиться, наблюдая за умирающими.

*

Купание. По трубам поступает холодная и горячая вода, пресная и морская. Пресная вода происходит отчасти из Суса, а отчасти – в виде дождевой воды – накапливается в большой цистерне, выдолбленной в скале. Цистерна расположена выше сокровищницы и может затопить ее в считанные секунды.

На крайний случай существует устройство для опреснения морской воды. Поэтому мы – если учитывать только этот аспект – могли бы удерживать касбу не менее долго, чем когда-то Эвмен удерживал свою крепость Норы, «которую только голод мог бы принудить к сдаче», как повествует один историк.

¹ Умение применять (знание); сноровка, ловкость (фр.).

Пока я бреюсь, наполняется ванна. Я предпочитаю морскую воду. Она извлекается с изрядной глубины и значительно прохладнее, чем на побережье. Домо велит проверять ее химические и биологические качества – они безупречны. Поскольку все реки впадают в море, оно должно обладать большей целительной силой, чем любой источник. Кроме того, в морской воде содержатся мельчайшие живые организмы, которыми питаются другие – вплоть до китов – и которые фосфоресцируют в приливной волне. Ни один врач не знает, что же они значат для нас, – во всяком случае, я прерываю предшествующий завтраку пост изрядным глотком морской воды и прополаскиваю ею рот. И для зубов тоже нет ничего полезнее: я слышал это от рыбаков и простого люда, обитающего на побережье. Они живут там бережливо, как в старину, что не может не нравиться анарху. Соль для себя они тоже добывают в море, выскребая ее из щелей и углублений в скалах, где та кристаллизуется. При трибунах это было запрещено: они регламентировали всё до последнего. Соль, стократно подорожавшую, люди должны были покупать в их киосках. По распоряжению трибунов в соль добавлялись вещества, которые их химики расхваливали как полезные, тогда как на самом деле вещества эти причиняли вред. То, что такие горе-ученые считают себя мыслителями, простительно; хуже, что они хотят быть еще и благодетелями.

Морской берег в ту пору патрулировали таможенники, которые подкарауливали бедных добытчиков соли. И это было особенно подло, ибо золото и соль должны доставаться каждому добытчику без пошлины, как чистый эквивалент затраченного

труда: столько золота, сколько он намыл из речного песка, или столько соли, сколько соскоблил с утесов. Кондор узаконил и то и другое – что было одним из первых мероприятий, заложивших основы его популярности.

Толика щедрости перевешивает значительные административные усилия. Трибуны были *перераспределителями*: они повышали для бедняка цену на хлеб, чтобы осчастливить его своими идеями – для чего, например, строили дорогостоящие университеты, безработные выпускники которых становились дополнительным бременем для общего благосостояния, то есть, опять же, для бедняков, но молоток в руки эти выпускники уже не брали.

Бедняк, если он мыслит не паразитически, не желает иметь дело с государством, под какими бы предложениями оно ему ни навязывалось. Он не хочет посылать детей в школу, получать прививки и подвергаться медицинскому осмотру; все это лишь бессмысленно умножает количество бедняков, а вместе с ними – и саму бедность.

*

Я принимаю горячий, потом ледяной душ – пользуясь в обоих случаях пресной водой, – после чего перехожу к упражнениям. Если мне предстоит служба, я обычно еще раз бреюсь вечером и вообще тщательно забочусь о своем внешнем виде. Прежде чем спуститься вниз, встаю перед зеркалом и рассматриваю Эмануэло: костюм, физическое состояние, улыбка, телодвижения должны создавать впечатление непринужденности и быть привлекательными. Важно – и этому можно поучиться у жен-

щин, – чтобы мы выглядели такими, какими нас представляют себе и хотели бы видеть окружающие.

Упражнения... Кондор совершает перед завтраком верховую прогулку; кое-кто из господ и *миньонов* сопровождает его. Это поддерживает их в форме. Что же касается меня, то – не говоря уж о том, что до полудня я предпочитаю оставаться один, – моя подчиненная должность не предполагает участия в таких выездах.

Мне и самому лучше, когда я рассматриваю картину или слушаю музыку. Из персонала, занятого во внутренней службе, упражнения делают многие, правда, по разным причинам: одни хотят скинуть избыточный вес, другие – укрепить мускулатуру. А третьи, как китаец Чанг, презируют и то и другое: «Зачем мне спорт? Я хотел бы дожить до глубокой старости. Кроме того, мои постельные достижения тем лучше, чем меньше я двигаюсь и чем больше ем». У него для этого особые рецепты, о другом он вряд ли вообще задумывается.

Я же должен держать себя в хорошей форме, чтобы в любое время суметь уйти в лес. Поэтому я больше думаю о суставах, чем о мускулатуре. Совершаю вращательные движения шеей, руками, ногами – вплоть до пальцев на руках и ногах, – жонглирую скакалкой и мячиками, пытаюсь «осознанно» делать вдох и выдох. Такая осознанность должна сидеть в диафрагме, вытеснив все мысли, набегающие ненасытной чередой. Это непросто – но если удастся, поднимет нормальное дыхание на более высокую ступень: одухотворит его. Правильнее, наверное, сказать: раскроет присущую дыханию духовную силу. А то, что такая сила существует и лежит в основе бытия, в хорошие времена разумелось само собой и засвиде-

тельствовано в языке особыми словами, такими, как *Odem*, означающими сразу и *дыхание*, и *дуновение*. Русские паломники со своей «непрестанной молитвой» как бы шли по следу этой идеи. Молитва становится дыханием, дыхание – молитвой.

Дыхание удастся мне лучше, когда зеркало кажется глубоким; от этого выигрывает вообще всякая вегетативная, воспринимающая готовность. Конечно, в повседневном быту мы не можем позволить такому состоянию превалировать. Животная искра все равно должна тлеть где-то в глубине – быть тем фитилем, что способен взорвать бочку с порохом. Учитесь этому у самураев: как выпрыгнуть из состояния покоя, совершить смертоносный выпад – навстречу вылетающему из ножен чужому клинку.

*

Прежде чем позвать каютного стюарда, я, как говорится, «привожу себя в надлежащий вид», то есть надеваю домашний халат и тапочки. Шлепанцы изготовлены из кожи, под халатом на мне полотняный костюм, какой носят в тропиках. В таком облачении не стыдно даже выглянуть в коридор.

Дневное меню разнообразно, как на хороших пассажирских судах. Я уже упоминал, что у нас культивируются две кухни: европейская со средиземноморским уклоном и китайская, которая в обычные дни почти не дает о себе знать. Она служит представительским целям – во время праздников и важных визитов: в этом отношении Кондор вполне может потягаться с ханами.

Завтрак – моя главная трапеза. Она остается единственной в те дни, когда я несую свою службу.

А обычно я ем еще раз вечером, иногда – с каким-нибудь коллегой из обслуживающего персонала. Время от времени я обслуживаю посетителей и в большой кают-компании; я не корчу из себя белоручку-доцента, что идет мне только на пользу. Когда дел внизу невпроворот, я сам предлагаю помощь старшему стюарду или эконому, но, как правило, они отвечают мне: «Ладно уж, Мануэло, занимайтесь своими штудиями». Меня считают человеком трудолюбивым. Утаить это качество сложно, хотя о характере и направлении моей деятельности они, к счастью, имеют лишь смутные представления.

*

Мой выбор из меню скромнен; быть расточительным я себе позволяю только в отношении фруктов. Стол Кондора всегда уставлен плодами с трех континентов. Я же предпочитаю те фрукты, которые выросли сейчас и здесь, то есть плоды моего края, созревшие в должное для них время.

Настоящий праздник – пройтись по базару, расположенному сразу за городской чертой. На фоне горячей красно-бурой почвы, напоминающей Аттику, горы нагроможденных плодов поражают неслыханной свежестью. Торговцы привозят их рано утром из оазисов и из долины Суса. Картину дополняют требовательные голоса разносчиков, колокольчики водноносов, флейты заклинателей змей и даже рои мух над прилавками мясников базар повышает жизненный тонус, порождает вихрь свободы и наслаждений. Он – настоящее средоточие общества, – – – государство же стремится лишить его и свободы, и изобилия. Достаточно посетить в каком-нибудь городе рынок и клад-

бище, чтобы понять, в порядке ли этот город с физической и метафизической точек зрения.

*

В моем кабинете корзины с фруктами стоят рядом с луминаром. Я прошу стюардов пополнять их по мере надобности. Возможно, когда-нибудь я буду питаться одними фруктами – не потому, что стану вегетарианцем, а ради упрощения жизни. Аттила едва ли жил иначе, когда его занесло в большие леса. У него там, конечно, тоже был свой золотой ягненок, и не только для утоления голода.

Свежие плоды дарят солярную веселость: к ним не прикасался никакой огонь, кроме солнечного. Они и жажду утоляют своими соками – отфильтрованной и обогащенной водой. Которая ничего не потеряла от духа земли, от своей изначальной сущности. Подтверждение тому – многообразие сортов винограда и виноградных вин.

А вот сухие плоды – инжир, миндаль, орехи – придают необычайную силу мышцам. Я это заметил во время охоты на газелей, когда мы имели в качестве провианта только цареградские стручки да сушеные финики. Охотники, несмотря на палящий зной, сохраняли неутомимость и, кажется, почти не потели; казалось, будто их мышечные волокна превратились в проволоку.

Конечно, в такой ситуации, как моя, когда я в любой момент могу оказаться в лесу, растительной пищи недостаточно. Ограничившись ею, я утратил бы наступательный задор. Все звери, которые убивают, нуждаются в мясе, и даже в Индии люди из касты воинов питаются им.

Это не столько вопросы диеты, сколько проблема общего соответствия. Существо плотоядное имеет клыки и резцы, разделявает добычу ножом – – – в этом, между прочим, заключается одна из причин, почему хлеб следует разламывать на куски, а не резать.

Существо плотоядное признает мир боен, войны и кровопролития. Если же он все это отвергает – значит, он оседлал не того коня. Он должен отказаться либо от любимого бифштекса, либо от своего образа мыслей. С другой стороны, весь мир живет логическими ошибками. Здесь, в Эвмесвиле, нередко можно увидеть шейха с чудовищным животом, который и мухи не обидит. Но где-то, значит, кто-то ради него забивает животных и мыслит логически.

У древних с этим обстояло проще. Боги разделили между собой этический космос. Аресу приносились кровавые жертвы. Это находило выражение повсюду, где за стол усаживались воины. Другие кушанья посвящались Деметре; и, опять же, другие – Афродите: ей главным образом посвящалось то, что вылавливалось из моря. В Эвмесвиле еще и сегодня сохраняются эти традиции, хотя боги в трапезах уже не участвуют.

30

Близкое общение на касбе я поддерживаю только с камер-стюардами, которые приносят завтрак и обычно также выполняют мелкие поручения. Некоторые находятся на службе временно, большинство же – на постоянной основе; официально они называются «каютными стюардами».

Помимо общего типологического интереса, я имею обыкновение прощупывать их уже потому, что в случае тревоги окажусь с ними в одной команде. Китайца Чанга не волнует ничего, кроме собственного благополучия, Небек же из Ливана – крепкий воин, однако совершенно непредсказуемый. Может так случиться, что когда-нибудь одного из них или даже обоих мне придется взять на мушку и рассматривать через прицел. Потому поспешность мне ни к чему.

Около года меня обслуживал также норвежец Кнут Далин. Служба и отпуск выпадали у нас на одно время, поскольку оба мы зависели от университетских семестров, он – как студент-химик. Долгое время тщательно присматриваясь к нему, я был поражен тем, как ловко он проскользнул сквозь сеть, расставленную психологами, хотя воплощал собой идеальный тип ненадежного кантониста.

Возможно, впрочем, что характеры достигают некоей критической точки, в которой возникает эффект опрокидывания. Какой-нибудь кассир после тридцати лет безупречной службы в один прекрасный день вдруг сбегает со всей кассой; или порядочный бюргер убивает всех членов своей семьи. Такое может произойти внезапно, словно извержение вулкана, или после того, как одинокие размышления, падая капля за каплей, подмыли нравственный фундамент. Они, получается, втайне готовили злодеяние.

Хорошо это или нет, но мы – если вообще принимаем психологов всерьез, – должны верить, что они вовремя распознают такие наклонности, предупреждают нас о них. В случае же с норвежцем ошибочному

суждению поспособствовала его – Далина – φύσις¹. На касбе большое значение придается хорошей наружности. С другой стороны, я по собственному опыту знаю, что те, кто проводит тестирование, умеют поставить человека в положение, когда собственное лицо спадет с него, как маска.

Далин выглядел превосходно; его портрет украсил бы обложку таких журналов, как «Ladies Life» или «Холостяк», – в качестве образца того, что может расцвести под полуночным солнцем. Прибавьте к этому легкий налет богемы. Он смотрелся бы лучше среди блестящих гостей ночного бара, чем среди персонала. Но ему больше нравилось здесь. Этим он напоминал излюбленного персонажа романистов: развращенного молодого человека из благородной семьи. Если такой молодой человек не может играть роль господина среди себе подобных, то думает, что это лучше ему удастся, если он опустится на несколько социальных ступеней ниже. Он охотно пускается в сомнительные авантюры или уезжает в тропическую страну. Становится лордом среди цветных. Но в сыновьях потом проявляется его сущность метиса.

Пробиться через все его оболочки к ядру оказалось непросто: они противоречили одна другой. Судя по глазам, я счел его способным на всякое. В них была не голубизна Адриатики и не голубизна Эгейского моря, порой приобретающая фиалковый оттенок, а бледная, со стальным отливом голубизна фьордов, какую видишь в безветренные дни.

Левый глаз казался меньше, поскольку веко на нем слегка отвисало. Эту незначительную несораз-

¹ Природа (греч.).

мерность едва ли можно назвать изъясном; однако она усиливалась, когда Далин совершал какие-то поступки, с его точки зрения рискованные.

Иногда возникало ощущение, будто он хочет проверить, на что меня можно спровоцировать. Впервые это пришло мне в голову, когда он рассказал о своем ночном приключении. Он, дескать, переспал в гостинице с одной девицей, а утром спустился вниз и оплатил у швейцара счет: «Если вы тоже пожелаете подняться наверх – а она еще лежит в номере, – – – я сэкономлю на чаевых».

При этом он подмигнул. Эпизод показался мне тем поразительнее, что речь шла не о случайном знакомстве. Вскоре я понял, что происшедшее соответствовало его главной тенденции. Он стремился любой ценой нанести кому-нибудь ущерб, как будто такое намерение подсказывал ему демон.

То, что я и бровью не повел (что было бы с моей стороны ошибкой), усыпило его бдительность. Мало-помалу он разоткровенничался. Я тогда уже знал от Бруно, что он увлекается наркотиками и взрывчаткой. Однако Бруно уже после первого разговора от него отвернулся. «Он наверняка когда-нибудь взлетит на воздух». Это был точный прогноз; он исполнился необычным, непредвиденным образом. Как бывает со всеми подлинными пророчествами.

*

Когда Далин приносил завтрак, я вступал с ним, как и с другими камер-стюардами, в короткий или продолжительный разговор. У него были хорошие воззрения. Я имею в виду – хорошие не в нравственном смысле, а в смысле четкости их формулировок.

Как многие молодые люди, которые не обременены делами, он интересовался проблемой «идеального преступления» – и даже разработал на сей счет свою теорию.

– Чуть ли не в каждом преступлении можно обнаружить слабое место, этакий изъян в тщательно сплетенной сети. Я имею в виду тот интерес, который криминалисты пытаются выявить посредством классического вопроса «*cuī bono?*»¹. Когда умирает богатая тетка, начинают присматриваться к ее племяннику, даже если нет никаких подозрительных обстоятельств. Если в лесу убит и обобран какой-то гуляющий, ищут грабителя – смотрят, не числится ли уже подходящий тип в полицейской картотеке.

– Хорошо, – – – и какой же вывод ты из этого делаешь?

На «ты» мы обращаемся друг к другу *на касбе*, как принято у персонала, – но не при встрече в университете.

– Я заключаю из этого, что интерес и совершенство исключают друг друга. Чем больше подозрений я вызываю *apriori*, тем тщательнее мне нужно прорабатывать план, особенно алиби. А это с самого начала создает множество указаний на мою причастность к делу. Прочесывая ряд подозреваемых, тебе следует обратить внимание на того, кто точно помнит, где находился в момент совершения преступления. И у тебя тем больше оснований так поступить, чем больше времени с тех пор истекло.

Далин, должно быть, обстоятельно занимался этой темой – слишком обстоятельно, как мне показалось. В другой раз он заговорил о поджогах. Здесь

¹ «Кому выгодно?» (лат.)

особенно важно, чтобы поджигателя не застигли на месте преступления. Поэтому преступники принимают хитроумные меры предосторожности. В мусоре потом находят линзы, часы, регулирующие момент взрыва, и тому подобные приспособления.

Человека, который просто из-за плохого настроения мимоходом поджигает амбар, вряд ли когда-нибудь поймают. Как и того, кто отправляется в лес и убивает там первого встречного, но ничего из его вещей не берет.

Я сказал: «На такое способен только безумец».

Но он с этим не согласился: «Безумец числился бы в соответствующих документах или вскоре попал бы в них. Душевнобольные исключаются. В идеальном преступнике не должно быть ничего, бросающегося в глаза, ничего специфического».

*

Стало быть, *l'art pour l'art* – удовольствие, с каким можно не только сочинять криминальный сюжет, но и осуществлять его в реальности? Все спрашивают, но лишь Румпельштильцхен знает, кто это был. Его возбуждает опасность.

Случилось так, что я к моменту нашей с Далином встречи уже некоторое время занимался предреволюционными литераторами – энциклопедистами, драматургами и романистами. Я привлекал для рассмотрения эпизоды из XVIII, XIX и XX столетий христианского летоисчисления – те пересечения литературы и политики, которые сегодня интересуют разве что историков.

Когда общество крустифицировано, а новое сознание пытается высвободиться из-под образовав-

шейся корки, оно узнает себя в художественных произведениях – – – что и объясняет силу их воздействия, которая пугает не только правящую элиту, но часто и самих художников. В художественных произведениях выводится «новый человек» (по сути же, конечно, человек, каким он был изначально) выводится в его деятельной и страждущей ипостасях. В итоге охваченной оказывается вся жизнь: и индивид узнает себя, в диапазоне от «Страданий юного Вертера» до «Разбойников», от «Женитьбы Фигаро» до «Ста дней Содома».

Эта тема возникла из моих исследований анархии – тривиально говоря, из вопроса: почему одиночка снова и снова «попадает на этот крючок»? Она, между прочим, породила сколько-то диссертаций, над которыми работали аспиранты в институте Виго. Диссертации эти редко приходились по вкусу Мастеру, которому куда больше по душе сибаритство VI века до Рождества Христова или, скажем, история Венеции около 1725 года.

*

Однако я не хочу отклоняться в сторону; продолжу о Далине. Когда он сказал, что в идеальном преступнике «не должно быть ничего специфического», мне вспомнилась одна из упомянутых диссертаций, название которой звучало так: «Раскольников – Вертер XX христианского столетия?» Она еще находилась в стадии написания – ею занимался один необычайно одаренный эвменист.

Раскольников (персонаж романа, написанного русским писателем Достоевским, который жил еще в царские времена) замышляет убийство на

чисто экспериментальной основе. Его проблема – это проблема власти: тот, кто докажет, что способен пролить кровь, тем самым поднимется на первую ступень посвящения. Жертвой Раскольникова становится старуха процентщица – становится случайно, как любой пешеход, который мог бы на улице попасть под колеса. Убийца крадет у нее одно-единственное украшение – но даже оно имеет лишь символический смысл: преступник зарывает добычу под камнем и больше не вспоминает о ней.

Итак, я вспомнил Раскольникова и упомянул его имя во время нашего с Далином разговора за завтраком. К моему удивлению – и, признаюсь, досаде, – Далин этот роман знал. Он мог получить его только от эвмениста, прилежно занимавшегося данной темой; мне это не показалось случайностью.

Далин отверг русского как неудавшегося сверхчеловека: «Почему он убивает именно процентщицу? Потому что считает ее бесполезной, лишней – как вошь. Но такая позиция в высшей степени специфична, это – моральный корсет. Уже поэтому дело с самого начала было обречено на провал. Мануэль, ты не понял того, что я пытался тебе объяснить».

*

Поначалу я принимал его за вандала, какой скрывается в каждом из нас. У молодых людей этот вандализм прорывается наружу, когда они находятся в определенном настроении, особенно если напьются; шкала его проявлений разнообразна – от безобидного дурачества в пивной до разрушительного буйства и действительных нападений.

Но для таких вещей Далин был слишком систематичен. Мог ли я в таком случае причислить его к социальным революционерам, которые выныривают вновь и вновь и которых в тот последний период существования царизма называли «нигилистами»? Называли, впрочем, несправедливо – хотя они и уничтожали людей, преимущественно с помощью распространившегося тогда динамита. Они действовали как охотники на крупную дичь: одни выслеживали роскошного зверя, другие – венценосных правителей. Нигилистов обычно ликвидировала либо та система, с которой они боролись, либо та, которая приходила ей на смену. Настоящий нигилист и пальцем не шевельнет, чтобы изменить мир или улучшить его; он родственен скорее философу, чем политику.

Далин презирал, даже, без сомнения, ненавидел общество – но не какое-то конкретно, а любое, из принципа. Он казался небрежным, но не производил неприятного впечатления, поскольку придавал большое значение своему внешнему виду. Он много читал; мне случалось встречать его и в исторической библиотеке Вигу. Хочу отметить мелкую, но характерную черту: он нарочно так грубо хватал книгу обеими руками, что повреждал переплет. Ему – во всех смыслах – не доставало способности испытывать уважение.

Что он занимается подозрительными экспериментами, я слышал уже от Бруно. Однажды я спросил Далина, соблюдает ли он необходимые меры предосторожности; он ответил: «Я работаю в одном из заброшенных бункеров на берегу Суса»; мне, конечно, было неприятно это услышать.

Направление этих опытов соответствовало его склонностям. Главная идея, похоже, состояла в том, чтобы создать *perpetuum mobile*¹ разрушения. Ход мыслей Далина, если я правильно понял, был приблизительно таким: разрушение должно осуществляться за счет себя самого, и притом прогрессируя. Это должно достигаться минимальными средствами. Если бы кто-то захотел, например, уничтожить лес, срубая деревья, ему пришлось бы нанять целую армию дровосеков. А между тем того же результата можно добиться с помощью одного стержня от птичьего пера.

– Каким образом?

– Я заполняю его яйцами разрушающей древесины австралийской моли и оставляю в лесу. Об остальном позаботится закон размножения.

Такое действительно возможно: ребенку достаточно чиркнуть спичкой, чтобы пожар охватил весь город. Диссертация Далина была посвящена проблемам антивещества. Ему нельзя отказать в тонкости наблюдений, касающихся мира молекул, полагал Бруно. Необходимая предпосылка для этого – особый дар видеть *пластично*. Но практических достижений у Далина было немного. Он экспериментировал с едкими, разъедающими, коррозионными веществами в надежде повысить их опасный потенциал до такого уровня, чтобы вызванное ими разрушение, раз начавшись, далее продолжалось автоматически.

*

¹ Вечный двигатель (*лат.*).

Однажды утром, после того как он увлеченно рассказал мне об этом, я заметил: «Ты мог бы принести пользу, разбрызгивая свои эссенции над большими мусорными свалками и загрязненными побережьями. Возможно, ты нашел бы биологическое решение – – выращивал бы бактерии, которые разрушают нефть и резину».

Я сказал это, чтобы позлить его: предложил в точности противоположное тому, что замышлял он. Что-то, вероятно, двигалось в его внутреннем мире и в мире его мыслей, а внешним соответствием этому могли быть лишь коррозия и ползучее разложение. Мне казалось, до люциферовых масштабов он не дотягивал – ибо, как ни странно, исключал из своих планов огонь.

Некоторое время он экспериментировал с веществами, вызывающими ракообразные изменения в целлюлозе. С их помощью можно было инфицировать книги, запуская процессы быстрого разрастания пораженных очагов, пожирающие целые библиотеки. Далин, похоже, не очень в этом преуспел; тем не менее почтальоны Эвмесвиля два или три раза обнаруживали, что содержимое почтовых ящиков превратилось в подобие студня – кто же еще мог бы такое натворить?

Далин с нетерпением ждал крупных беспорядков. Но он не собирался сражаться на стороне какой-нибудь партии – к примеру, как партизан, – а просто надеялся обрести бóльшую свободу для собственных интриг:

– Если я вздумаю кого-то прикончить, то убивать буду только со спины; я уже наметил себе в качестве жертв несколько свиней.

– Но ведь ты, если я тебя правильно понимаю, хочешь навредить *сразу всем*?

– Конечно – я и не отказываюсь от этого.

– Тогда ты с тем же успехом мог бы прикончить человека другого сорта – – – результат бы не изменился.

– Нет, Мануэль, тут есть принципиальная разница.

*

Вспоминая вечером этот разговор, я был вынужден признать правоту своего собеседника. Далин воплощал тип анархо-нигилиста, встречающийся не так уж редко. Отличительной же его чертой было то, что он не только реагировал на все с одинаковым недовольством, но и старался это свое недовольство осмыслить. Конечно, есть разница, застрелил ли бы он человека спереди или со спины, – разница, однако, не в результате, а скорее в самоощущении убийцы.

Мне приходилось наблюдать, как кошка, пренебрегавшая протянутым мною куском мяса, с удовольствием съедала тот же кусок, если я позволял ей его «стащить». Мясо остается все тем же, разница лишь в дополнительном удовольствии, с каким это животное узнает в себе хищника.

Анархо-нигилиста не следует путать с социал-революционером. Первый испытывает отвращение не к тому или иному порядку, а к порядку вообще. Будучи человеком асоциальным и аполитичным, он воплощает в себе разрушительное воздействие природы. Он хотел бы ускорить это воздействие. Даже в условиях нашей тирании с ее довольно скромными средствами Далин напоминает Дон

Кихота, сражающегося с ветряными мельницами. Какой ему был бы прок, если бы с рельс сошел поезд, взлетел бы на воздух какой-нибудь мост, сгорел бы универмаг? Конечно, на все это можно посмотреть и иначе – – – например, как на скудную жертву, принесенную на радость могущественному Шиве. Химики, как правило, редко полностью отдают себе отчет в том, чем они занимаются.

*

Пусть я и обязан Далину некоторыми прозрениями, я старался не подпускать его к себе слишком близко, хотя бы из соображений собственной безопасности. Поэтому я всякий раз уклонялся от обсуждения теоретических проблем, если по ходу разговора Далин давал мне понять, что он занимается и практической деятельностью.

Как он вообще дошел до такой откровенности? Без сомнения, он учуял во мне анарха, независимого от государства и общества. Впрочем, он и представить себе не мог независимого человека, который не признает эти силы, но принимает их как объективную данность. Для этого ему не хватало знания исторических основ.

Оппозиция – это сотрудничество с властью; и Далин тоже не мог освободиться от невольной причастности к такому сотрудничеству. В сущности, он не столько вредил общественному порядку, сколько его укреплял. Поведение анархо-нигилиста действует как стрекало: оно заставляет общество объединиться.

Анарх же, хотя с самого начала видит несовершенство общества, признает это общество даже с

присущими ему недостатками. Государство и общество всегда ему – в большей или меньшей степени – противны; однако он знает: в некоторых местах, в некоторые времена сквозь зримое просвечивает незримая гармония. Она открывается прежде всего в произведениях искусства. И если такое случается, служба может даже доставлять радость.

Анархо-нигилист думает в точности наоборот. Приведу лишь один пример: храм Артемиды ему бы захотелось поджечь. А вот анарху ничто бы не мешало войти в этот храм, чтобы предаться там медитации и принести жертву богу. Это возможно в любом храме, который заслуживает такого названия.

*

Я, кажется, упоминал, что изначально предполагалось: Далин вместе со мной займет позицию возле Утиной хижины. Это доставило мне лишнюю головную боль: что с ним возникнут неприятности, я не сомневался. Но знал я и то, что долго безобразничать ему не позволю – из соображений собственной безопасности.

Согласно инструкции, третьим должен был стать либо китаец, либо ливанец – в зависимости от того, кто из них окажется на службе в момент тревоги. Ливанец отличался агрессивностью: по малейшему моему знаку он прикончил бы Далина. На флегматичного же китайца рассчитывать не стоило; окажись я в связке с ним, мне пришлось бы взять дело в свои руки. Так, впрочем, было бы надежнее, больше соответствовало бы моему чувству личной ответственности. А оно для анарха – последняя инстанция.

Мне сейчас вспомнился один анекдот, который, правда, имеет лишь отдаленное отношение к выше-сказанному, но зато дал мне богатую пищу для размышлений – после того, как я услышал его от Аттилы или, вернее, *подслушал*. Ведь я, чтобы добиться умственных озарений, незаметно отвожу часть общего речевого потока в собственный речепровод.

Случилось это уже под утро, когда в ночном баре у всех развязываются языки. Господа – не помню, по какому поводу, – заспорили об аборте. В Эвмесвиле он относится к тем действиям, которые хотя теоретически и наказуемы, но на практике не преследуются. Как, впрочем, и азартные игры, курение опиума, а также – что особенно странно с точки зрения обитателей касбы – педерастия. Почти каждый занимается такими вещами, а уж знают о них все, этим даже хвастаются. И никто в такие дела не вмешивается. Я бы тоже пал жертвой своего папаша и исчез бы в сточной канаве, не захоти мама любой ценой меня сохранить.

*

«А уж знают о них все»: в первую очередь Домо и полиция. В заведенных на каждого гражданина карточках проколоты причудливые иероглифы. Отсылающие к сберегаемой в толстенных досье *chronique scandaleuse*¹. Домо следует принципу: не каждое нарушение нужно преследовать по закону. А если уж возбуждаешь дело, то следует не только установить состав преступления, но и бросить кость жур-

¹ Скандальная хроника (фр.).

налистам. Только благодаря им дело приобретет и политический вес. Поэтому Домо придает значение пикантным подробностям. Такое можно наблюдать повсюду, где правление осуществляется абсолютистскими методами: одним из первых с ежедневным докладом является шеф полиции, имеющий непосредственный доступ к главе государства. Вспомним хотя бы о «короле-солнце» и д'Аржансоне.

Итак, какое-то действие, само по себе наказуемое, обычно благосклонно не замечается. Однако ситуация изменится для того, кто утратит расположение властей. Ему придется «испытать на себе всю тяжесть закона».

Подмазать кого-то – дело обыкновенное; оно даже облегчает житье-бытье, как явствует из буквального смысла фразы. С другой стороны, это запрещено; когда факт подкупа передается огласке, вступает в действие и такой фактор, как зависть. Если Домо, к примеру, захочет прихлопнуть «Крапивник», он не станет привлекать Цервика к суду за сравнение Кондора со стервятником. А скорее повесит на него дело о подкупе или вымогательстве. Все эти репортеры и стукачи проникают в частную сферу богатей и власть имущих; неприятная история либо превращается в публичную сенсацию, либо полюбовно улаживается с глазу на глаз. Ты либо платишь за свои грешки наличными, либо попадаешь под шквал негодования, который обрушивают на тебя поборники нравственности.

*

То же самое и с абортами; их терпят у нас хотя бы уже потому, что они способствуют экономической

стабильности. Пирог всегда делится на равное количество кусков, хотя одни куски могут быть больше, а другие – меньше. Бедность не падает с неба; ее придумывают. «Были времена, когда за это еще получали премии», – сказал Домо во время того самого спора, мною законспектированного.

Пролетарии прежде были категорией граждан, которые служили государству не деньгами, а своими детьми. Но с тех пор как идеи прогресса и национальный этос утратили силу – по крайней мере, в Эвмесвиле, – и богатые, и бедные семьи довольствуются двумя детьми. Мой папаша, будь его воля, ограничился бы даже одним.

*

Как вижу, я встроил в обещанное отступление еще одно отступление. Иногда перо как бы само уклоняется в сторону. Что не повредит, поскольку я с самого начала поставил перед собой дополнительную задачу: описание царящего в Эвмесвиле порядка, или – как я предпочел бы выразиться – *не*порядка. Тем не менее это не должно превращаться в игру наподобие вставляющихся одна в другую китайских коробочек.

Итак, в описании своего дня я остановился на завтраке и на камер-стюардах, которые его подают: для начала на Далине, который мог со временем стать настолько опасным, что его – выражаясь простым, но им же любимым стилем касбы – пришлось бы *прикончить*. Я записал далее – чтобы употребить еще одну из этих ходячих фраз, – что в таком случае лучше всего «взять дело в свои руки». Эту мысль и должен был проиллюстрировать анекдот, услышан-

ный мной в ночном баре от Аттилы, в связи с дискуссией об абортах.

Я стараюсь составить биографию этого врача из разных эпизодов его жизни, но вынужден обходиться теми сведениями, которые проскальзывают в разговорах. Его путь, кажется, часто граничил с областью фантастического или даже пересекал эту границу.

*

Для историка в связи с этим возникает своеобразная проблема. Назову ее проблемой *инклюзов* и попытаюсь вкратце обрисовать.

История – не просто *сумма всего происшедшего*, но и определенная *компоновка фактов*. Сначала такой компоновкой занимается хронист, позже – историк. Понятно, что историк не просто совершает сознательный отбор, но и в какой-то мере подчиняется стилю своей эпохи. Некоторые факты он очень ярко высвечивает, другие же вообще остаются вне поля его зрения. Они исчезают навсегда, или в один прекрасный день их извлекает на свет какой-нибудь остроумец – вроде того, что додумался изучать содержание свинца в римских водопроводах и его влияние на уровень смертности.

Недавно мне в руки попала история Норвегии, написанная в конце второго христианского тысячелетия. Тогда в страну вторгся один крупный демагог и угнетал население. Описание этого эпизода заняло три четверти книги; предшествующие же два тысячелетия, включая эпоху викингов, были втиснуты в первую четверть.

Впрочем, ладно: это пример *искажения перспективы*, которое обычно корректируется довольно

скоро – через несколько поколений. Под инклюзами же я понимаю нечто другое – Совершенно Другое. Дело в том, что в *Происходящем* имеются такие отрезки пути, с которыми историк справляется плохо или не справляется вообще. Он тогда довольствуется тем, что называет их «темными» – так принято называть, например, эпизод «охоты на ведьм» в XVI столетии христианского летоисчисления; да, но что же скрывается в такой темноте?

*

Конечно, объяснения этому эпизоду имеются. Но они касаются почти исключительно поводов и механизмов. В данном случае поводом, без сомнения, были «Молот ведьм» и зловещая булла папы Иннокентия VIII, воплощавшего тип преследователя. То, что безумные идеи инквизиторов отчасти усваивались подсудимыми, бесспорно. Это подтверждают протоколы судебных заседаний.

Тем не менее этот комплекс в целом, точно пузырь, всплывает из мутных глубин на поверхность, к зеркальной глади исторического осмысления. Вера в ведьм существовала всегда и всегда будет существовать, ибо соответствует конкретно-женскому типу, со временем изменяющемуся. Еще недавно здесь у нас задержали старуху: она подбросила в конюшню соседа солому, зараженную каким-то вирусом.

Всегда существовала и демонологическая литература вроде «Молота ведьм», но где-то на заднем плане, подспудно. Когда же она вдруг становится актуальной, вирулентной, мы вправе думать, что в действие вступил какой-то новый фактор – скорее

всего, страх перед всем и вся, который ищет для себя объекты.

Инклюз может расширяться. Отсюда – страх первобытного человека во время солнечного затмения. Дикарь боится, что великое небесное тело было кем-то проглочено. Большинство людей воспринимают ночь как инклюз внутри дня; меньшинство – например, Фехнер и Новалис – придерживается противоположного мнения.

Неужто утро неотвратимо?

Неужели вечен гнет земного?

.....

Свету положены пределы;

в бессрочном, в беспредельном ночь царит.

*

Иной инклюз бывает коротким, даже молниеносным, но тем не менее изменяет человеческую личность и через нее – мир. Примером тому может служить случившееся с апостолом Павлом на пути в Дамаск. Его переживание не следует путать с возвращением в историю мифических фигур; скорее, оно открыло для нас какой-то новый вид явлений.

Впрочем, в Воскресении Христа едва ли можно сомневаться; а то, что Его могила оказалась пустой, не укрепляет нашу уверенность, а скорее мешает поверить. Согласно Цельсу, садовники, которые не хотели, чтобы скорбящие вытоптали их капусту, под покровом ночи вынесли труп. Отговорка для недалеких умов. Эпифания в таком смысле – в смысле Воскресения – даже предполагает наличие трупа. Первообраз – это образ и отражение.

Согласно Златоусту, Воскресение отрицается только людьми порочными; согласно Григорию Нисскому, оно представляет собой возвращение к божественной природе. Григорий представлял это себе приблизительно так, как если бы какой-нибудь дикарь сбросил одежду из шкур и из-под нее высвободилось бы тело во всем своем совершенстве. А поскольку Воскресший сохраняет свою телесную форму, его органы должны обрести новый смысл помимо прежнего, необходимого в земных условиях. Живописец видит это лучше анатома.

Если Златоуст прав, значит, в Эвмесвиле порочен *весь народ*. Тем не менее «эта тема» занимает или угнетает каждого *отдельного человека*. У меня тоже во время моих экзерсисов возникают проблемы, в решении которых я не могу продвинуться ни на шаг, но которые воздействуют на меня уже тем, что вообще появляются.

То, что образ и его подобие – тело и мнимое тело – могут существовать одновременно, я считаю доказанным. Подобие и труп тоже могут существовать одновременно, но, вероятно, лишь короткое время. Умиравший или даже мертвец видит себя на смертном одре, в то время как родные уже оплакивают его, а врачи еще пытаются спасти. Возможно, его еще удастся вернуть в прежде принадлежавшее ему тело; это было бы нечто противоположное Воскресению – и от всех, кому довелось такое пережить, слышишь, что они об этом сожалеют.

В миг умирания многие *превосходят самих себя* и еще успевают принести весть оттуда, где они побывали; это тысячекратно засвидетельствовано.

На закате уже ставшее невидимым дневное светило будто еще протягивает руки в видимый мир.

*

Похоже, что к началу третьего христианского тысячелетия *инклюзы* высвободились. Пресыщение оцифрованным миром, должно быть, быстро нарастало. С другой стороны, уже чувствовалась *воля к одухотворению*, но она не могла утвердить себя в ситуации господства уравнивательных идей. Этим и объясняется образование в тот период различных сект, возникновение произведений искусства, создатели которых умирали с голоду или лишали себя жизни, а также множество ложных достижений, технических и политических, в стиле Бробдиньяка.

Для историка трудно обрисовать контуры этой вавилонской башни со всеми ее трещинами, проломами и подземными казематами: ведь даже ее современники не знали, что, собственно, происходит. Множились все эти *инклюзы*, столкнувшись с которыми историк задается вопросом: слухи ли это, сновидения или факты, засыпанные обломками каких-то катастроф?

Это – настроения гибнущей Атлантиды. Здесь, в Эвмесвиле, оптика упростилась, поскольку сновидческие элементы умножились, а реальность, наоборот, как бы обессилела. Как историк, я не могу принимать грезы всерьез – они интересуют меня лишь с точки зрения толкования сновидений. Сквозь них я смотрю вниз на историю с ее соборами и дворцами – как на затонувшую Винету. Я слышу из глубины звон колоколов: это мучительное наслаждение. Меня потрясает уже не шум битв, а разве что корот-

кое, страшное молчание, когда армии уже выстроились друг против друга. И на доспехах воинов бликует солнце.

*

Эгализация и культ коллективных идей не исключают возможность власти отдельного человека. Напротив: в таком человеке как в фокусе вогнутого зеркала концентрируются мечты миллионов. Он становится их мимом, их трагиком; его театр – весь мир. Он может разрабатывать титанические планы, будь то для общего блага или для собственного удовольствия. Люди стекаются отовсюду, чтобы работать на него, сражаться и погибать. Нерон, чтобы построить свой Золотой дом, велел снести часть Рима, по его приказу начали рыть Коринфский канал – и тот и другой проект остались незавершенными.

*

В тот период времени, о котором я начал говорить, такие планы – включая и планы злодеяний – обрели еще больший размах в результате автоматизации. К ней прибавилась плутоническая власть. В этой области умножаются данные, при проверке которых мне трудно провести грань между тем, что в самом деле происходило, и тем, что было лишь сном или сказкой. Похоже, что в то время высвободились и мощные гипнотические силы. Это благоприятствует появлению инклюзивных образований.

В ту пору, как и во времена процессов над ведьмами, наверняка было много страхов – и соответствующих этим страхам гонений. Этим же объясняется склонность к подземному существованию:

бурениям, раскопкам, катакомбам, плутонической деятельности всякого рода. Тогда же начались подготовительные работы по созданию луминара: коллекционирование – в александрийском духе – и хранение данных, разработка необходимых для этого технических средств.

Нерон однажды сказал: «Мои предшественники просто не знали, насколько многое можно отважиться». Такое настроение в истории периодически повторяется – когда окружение того или иного правителя застывает, парализованное излучением его власти. За желаниями должно немедленно следовать их исполнение; мир превращается в театр марионеток. Господа при малейшей задержке дают почувствовать свое недовольство. Один из таких новаторов пожелал иметь особое помещение для медитации, чтобы в одиночестве вынашивать свои планы; он приказал выдолбить изнутри вершину одной из альпийских гор, а внутри самой горы устроить подъемник. Это напомнило мне о неприступной горной крепости жившего в древности Эвмена. Впрочем, и у частного человека возникают похожие прихоти, только он не может их осуществить. Поэтому он и проецирует свои мечты – отчасти с удовольствием, отчасти же с ужасом – на какого-нибудь правителя.

Другой новатор – или это был он же? – велел превратить гору в крепость, сосредоточив в ее недрах чудовищное количество провианта и оружия. На случай нападения особо могущественного врага или длительной осады. Он приказал также собрать в этой крепости сокровища и произведения искусства, построить лупанары, бани и театры. Все это продлилось около пятнадцати лет – этот прощальный акт наслаждения закатом собственной власти.

Костер в Ниневии, на котором сжег себя Сарда-
напал, вместе со своими сокровищами и женами,
пылал лишь пятнадцать дней.

*

После того как люди облетели вокруг Луны, техни-
чески неразрешимых проблем – если не останавли-
ваться перед затратами – уже почти не осталось. Эти
космические полеты привели к известному отрез-
влению, которое, с другой стороны, освободило про-
странство для романтических склонностей. К тому
же и динамический потенциал человечества возрос.

Донесения о каком-то странном острове в Нор-
вежском море многие люди соотносили с перио-
дически появляющимися сообщениями о морских
змеях. Мореплаватели, которые полярной ночью с
трудом пробивались на своих судах через дрейфу-
ющий лед, утверждали, будто их напугал похожий
на наваждение вид ярко освещенного дворца. Одни
потом рассказывали, что видели высотное здание,
воздвигнутое на неприступном со всех сторон утесе;
другие же уверяли, что расположенные рядами окна
были пробиты в самой скале, светившейся изнутри.
Эта скала, мол, наверняка представляет собой подо-
бие пчелиного улья.

Я занялся этими донесениями. В институте Виго
собрано несчетное количество относящихся к дан-
ной теме материалов – главным образом газетных
вырезок и статей из оккультных журналов. Кроме
того, я наводил справки с помощью луминара. В ту
пору ходили разговоры и о том, что у нас неодно-
кратно приземлялись астронавты-инопланетяне.
Многие будто бы даже сами их видели.

Рациональное зерно, лучше или хуже распознаваемое, имеется в любом слухе. Меня заставило задуматься то обстоятельство, что над подозрительной местностью не совершались авиарейсы: пилоты избегали ее, потому что самолеты, все-таки туда попадавшие, снова и снова исчезали и никто больше о них не слышал.

Признаюсь, что меня, как анарха, привлекал образ этого дворца, который светится в полярной ночи, словно резиденция «Летучего голландца». Если какой-нибудь Крез (или, еще лучше, Красс) той эпохи, обладавший огромной политической властью, сумел создать для себя такое Буэн-Ретиро, значит, он знал толк в последних контрастах.

Снаружи завывали бури, еще недавно представлявшие смертельную опасность для каждого, кто отваживался на исследование этой нулевой точки. Море пригоняло большие льдины, которые во время прибоя раскалывались о базальтовые утесы. Трудно представить себе более негостеприимную пустыню. Зато внутри дворца – свет, тепло купален и зимних садов, музыка, исполняемая в праздничных залах. К тому же почти божественная дерзость: здесь ведь дозволено все.

Нетрудно представить себе и лунные ночи с полярным сиянием вместо штор. Снаружи бесшумно проплывают синие айсберги. Буря улеглась; ощущение равновесия – как будто исполинские силы застыли на разных чашах весов – создает настроение ожидания, лишённого страха.

Как я пришел к мысли, что Атилла мог когда-то нести службу там – в той же примерно должности, что и здесь, у Кондора? – – – Это всего лишь догадка. В своих поездках он, несомненно, добирался и до Крайнего Севера. Он любит острова, пустыни, девственные леса. Он, как Агасфер, жил в городах, которые давно сгорели в огне, а их названия стерлись из памяти. Он знает границы, на которых иллюзия и реальность упраздняют друг друга.

Когда под утро у него развязывается язык, я стою за стойкой бара как охотник: вместе с внимательностью во мне нарастает ожидание, что вот-вот появятся звери, названия которых не значатся в книгах.

Он знает этот остров, в чем я почти уверен: однажды он упомянул вход, похожий на Фингалову пещеру. Но он ни слова не проронил о крепостях на краю Ничто, о том, как огни святого Эльма венчают базальтовые скалы. Хотя Атилла, должно быть, много чего пережил, и мрачного тоже, он, оглядываясь назад, предпочитает вспоминать мерцающую белизну тишины, залитые лунным светом прогалины.

*

Тот остров – был ли он тем же или только похожим – лежал далеко за полярным кругом; солнце много недель кружило над горизонтом, не касаясь его. Лето превращало остров из обители страхов в некий мифический мир. Он был замкнут и защищен поясом пакового льда. Легионы птиц и морских животных перелетали через этот барьер или проплывали

под ним и начинали брачные игры над или под поверхностью прозрачного, как лед, моря.

Я с удовольствием слушал, как Аттила рассказывает о своих непредсказуемых, как у рыб, маршрутах. Он знал о животных и меньше, и больше Роснера – меньше фактических, поддающихся измерению данных, зато больше – о присущих животным добродетелях, об их божественной силе. Эти рассказы и Кондору внушали уверенность.

Проникает ли (и насколько глубоко) дух в материю, ухватывает ли он тот корешок, от которого потом ответвятся детали, – все это распознается даже в повседневной практике. «Он не генерал, он бакалейщик», – услышал я однажды, как Домо отверг чью-то просьбу о повышении. Человек, рожденный для такого дела, не нуждается ни в должности, ни в подтверждающем документе: его узнают по взгляду и голосу. А того, кто призван для творчества, – по сновидческой атмосфере, которую он распространяет вокруг себя. Таково воздействие произведений искусства – их неизмеримое, непостижимое волшебство, их способность дарить утешение.

Слушая Аттилу, я невольно задумывался и о своей профессии: историк должен стоять обеими ногами на земле, то есть во временном смысле – в истории, в пространственном – в географии. Но земля прекрасна. Иногда мне казалось, будто Аттила, вливая в свою речь краски, приближает ее к каким-то эпизодам из истории живописи: переходя от раннего романтизма к позднему, от импрессионизма к магическому реализму. И так далее и так далее.

*

Я видел его выплывающим из-за базальтовых скал. Он сидел в кожаной лодке, а позади него – желтый, рыжеволосый эскимос, двумя руками держащий двухлопастное весло. По морю белыми хлопьями и голубыми глыбами двигался лед, на льдинах, отдыхая, лежали тюлени. Они позволяли лодке приблизиться почти вплотную, и лишь тогда соскальзывали в воду.

Все пространство было залито светом; ледяные кристаллы дробили его. Пестрые поверхности между льдинами переливались нежными красками; там кипела жизнь крошечных парящих существ – похлебка для Левиафана. Он ворочался в собственной пище, двигался в ней, точно первобытные охотники – «в облаках дичи».

Сам Аттила, похоже, чувствовал себя там скорее наблюдателем, чем охотником: великанам он предпочитал крошечных существ, которые служили им пищей. Ведь богатство, изобилие форм возрастают по мере уменьшения размеров. Внешний вид существ обретает все большую концентрированность по мере их приближения к рубежу отсутствия протяженности. В этой связи мне вспомнилась одна из бесполезных дискуссий о *первотрещине* и происхождении мира, которую я вел со своим братцем. Возможно, позже я к ней еще вернусь.

*

Аттила, вернувшись с Крайнего Севера, привез с собой первобытное умение бескорыстно радоваться изобилию. Такое умение представляет собой капитал, процентами с которого, урожай за урожаем, до сих пор живет мир. Так жил охотник среди своих

тучных стад, размножавшихся без его содействия, – еще задолго до того, как земля впервые была вспорота плугом.

«У охотника есть товарищи, но с появлением землепашества возникает рабовладение, нанесение смертельного удара превращается в убийство. Свободе приходит конец; дичь вытесняют с ее исконных территорий. В Каине еще угадывается потомок первобытного охотника – возможно, мститель за него. От всего этого в книге Бытия остались только смутные отголоски. В ней содержится намек на то, что совесть Яхве была не совсем чиста по отношению к первому человеку, нанесшему смертельный удар».

Я охотно слушал такие рассуждения, когда, уже далеко за полночь, снова наполнял бокалы. То были следы, которые вновь и вновь пытается отыскать анарх – а также поэт; среди людей нет ни одного, в ком отсутствовала бы примесь анархии. Откуда же еще, если не из первобытной древности, взялась эта примесь?

*

Аттила полагал, что изобилию должно соответствовать умение этим изобилием овладеть. Поэт, когда на него накатывает словесный прибой, еще не оформил его в стихотворные строки. В мраморе дремлют бесчисленные образы – но кто ж извлечет хоть один? Рядом с богатыми пастбищными долинами Аттила встречал кочевников, которые с трудом выкапывали из земли – для своего пропитания – червей и корни.

Оолибук, так звали эскимоса, был хотя бы хорошим охотником: он умел обращаться с луком. Однажды Аттила указал ему на чернозобую гагару, проплывавшую в восьмидесяти футах от лодки. От

первой стрелы птица уклонилась, нырнув под воду, вторая прошла сквозь оба ее глаза, как только она вынырнула.

Эскимосы, как правило, были сильно развращены, с тех пор как связались с китобоями, которые (наряду с капитанами, перевозившими сандаловую древесину) пользовались славой самых гадких молодчиков, когда-либо бороздивших морские просторы. От них эскимосы научились курить, пить и играть в азартные игры. Они проигрывали своих собак, оружие и лодки, даже женщин; случалось, что какая-нибудь эскимоска за ночь пять раз меняла хозяина.

*

Но Оолибук знал и о тех временах, когда еще ни один корабль не проникал в их широты. Бабушки, которые слышали это от своих бабушек, рассказывали об этом внукам.

Великий день в жизни эскимоса – тот день, когда он, еще мальчиком, убивает первого тюленя. Мужчины собираются вокруг него и его добычи; они прославляют сноровку мальчика и хвалят тюленя – никогда еще, дескать, не видывали такого сильного зверя и такого хорошего мяса.

Тюленя завалить трудно; и тот, кому это не удастся, мужчиной-добытчиком не считается. А потому ему приходится довольствоваться пищей женщин: рыбой, морской травой и панцирными моллюсками. О таких рассказывают диковинные вещи: дескать, один, не найдя себе женщины, вынужден был обходиться раковиной и в результате лишился члена, потому что створки раковины внезапно захлопнулись.

Зато мужчина-добытчик – сам себе господин, вокруг которого вертится весь мир. Только такой мужчина заводит семью, обильно снабжает ее рыбой и шкурами, а также ворванью, которая в бесконечную зимнюю ночь дает свет и греет. Мужчина-добытчик смел и хитер; он, как и все первобытные охотники, связан родственными узами с дичью, на которую охотится. Его тело округло и коренасто, как у морских млекопитающих, богато кровью и жиром, и имеет такой же, как у этих животных, запах. Мужчина-добытчик вступает в схватку даже с китом и белым медведем.

*

Но зима длинная. Она может наступить рано и продолжаться необычайно долго. Да и охотничье счастье не всегда одинаково. Даже если к началу зимы кладовая и склад припасов в ледяной хижине наполнены под завязку, пересечение полярной ночи остается риском особого свойства.

Между прочим, прежде чем начать обустривать свой бункер на реке Сус, я изучал планы строений, которые капитан Росс обнаружил у эскимосов Нового Северного Уэллса. Для анарха это фундаментальная тема: как человек, опирающийся только на самого себя, может противостоять сверхмогущественным силам – будь то государство, общество или природные стихии, – причем противостоять не подчиняясь им, но пользуясь их правилами игры.

«Странно, – говорит сэр Уильям Парри, описывая жилища эскимосов на Зимнем острове, – странно подумать, что все эти меры предосторожности направлены против холода, – – – однако сами дома построены изо льда».

*

Если улова не хватит, семья не переживет зиму. Она погибнет в своем стеклянном дворце от голода и цинги. Белые медведи взломают иглу и утащат съестные припасы. За медведями последуют лисы и чайки.

Мороз – суровый владыка. Гренландец еще борется со смертью, а ему уже сгибают ноги, чтобы могилу можно было сделать короче. Если рождаются близнецы, мужчина-добытчик одного из них убивает, чтобы выжил другой. На двоих пищи не хватит. Если мать умирает при родах, младенца погребают с нею или немного позднее, когда отец видит безвыходность положения и больше не может переносить громкий плач ребенка. «Боль отца при этом конечно невыносима, особенно если речь идет о сыне», – – – говорится в отчете Парри. В обычае также с наступлением зимы высаживать немощных родичей на пустынные острова.

*

Почему в своих воспоминаниях о полярной ночи Аттила подчеркивал подробности такого рода? Какой была его «руководящая мысль»? (Вопрос, который Домо обычно задает себе, проверяя распоряжения чиновников.)

Хотел ли Аттила привести примеры «власти неизбежного»? Когда человек оказывается в бедственной ситуации, от него требуются решения жестокие, даже смертоносные.

Разумеется, полярные народы – или то, что от них осталось, – давно приходят в упадок, пусть и при

комфортных условиях. Это медленное умирание, растянувшееся на несколько поколений. Однако вопрос об их судьбе сохраняет свою жестокость, даже если время маскирует его по-другому.

С тех пор как на Северной Аляске обнаружили нефть, там, как и повсюду в ту пору, начали вырастать небоскребы. Путешественник, оказавшийся на двадцатом этаже охваченного огнем отеля, стоит перед выбором: сгореть ли ему или броситься вниз. Он прыгнет; это доказывают фотографии.

*

Но Аттилу, похоже, занимало другое. Его *руководящая мысль* при том достопамятном разговоре (речь, как вы помните, шла об аборте) была приблизительно такова: недостойно уполномочивать кого-то совершить за тебя несправедное деяние. Мужчина-добытчик отправляется с сыном на могилу матери и там убивает его. Он не рекомендует это никому другому – ни брату, ни шаману, – а сам исполняет задуманное.

Если здесь, в Эвмесвиле, кто-то «сделал ребенка», он обычно вручает жене или подруге чек и считает, что расквитался с ней, что о дальнейшем та позаботится сама. Очевидно, Аттила имеет в виду: если бы тот мужчина, как эскимос, сам должен был убить сына, он бы хоть понимал, на что решился.

Как анарх, не признающий ни законов, ни обычаев, я обязал себя подходить ко всем вещам основательно. Я привык проверять их на предмет присущей им противоречивости: как образ и его отражение. То и другое несовершенно – но пытаюсь их соединить, в чем я упражняюсь каждое утро, я ухватываю краешек действительности.

Мама захотела меня. Она меня знала, потому что носила под сердцем. Она знала меня лучше, чем я сам когда-нибудь сумею себя узнать, проживи я хоть сто лет. Она хотела меня – независимо от того, как я буду развиваться физически, духовно и нравственно; она хотела меня таким, какой я есть. Родись я идиотом, калекой или убийцей, она любила бы меня еще проникновенней. Ее слезы стоят гораздо больше, чем гордость отца, который видит, как сын возвращается в отчий дом, увенчанный лаврами.

Отец преследовал меня в нежнейшую пору моей жизни. А это, может, и есть самое ценное для нас время. Мама же прятала меня от него в своем чреве, как когда-то Рея в гроте горы Ида прятала Зевса от прожорливого Сатурна. Это чудовищные картины, повергающие меня в трепет: разговоры материи с временем. Они, как эрратические валуны, лежат, неистолкованные, под промеренной вдоль и поперек землей.

Это поле, пусть и неистолкованное, активно. Я представляю себе, как являюсь к отцу, когда с ним можно заговорить – то есть во сне, – и требую от него отчета. Тут я услышал бы то же, что говорят они все: о бедственном положении доцента со скудным жалованьем, который к тому же был тогда женат на другой.

Это соответствует стандарту Эвмесвиля, стандарту феллахского общества, которое демагоги периодически доводят своим морализаторством до переутомления, – а потом появляются генералы и имплантируют обществу искусственный позвоночник. Первые нормируют все до мелочей, вторые

беспечно расточают золото, соль и кровь. *Et ça veut raisonner et n'a pas cinq sous dans sa poche*¹. Лучше всего расплачиваться мелкой монетой. Например: «Старик, – – – а чего ж ты тогда не вел себя осторожнее в том картографическом кабинете?»

*

Он, вероятно, со своей стороны мог бы урезонить меня – конечно, в рамках дискуссии, какие ведутся только в сновидениях – – – то есть в тех царствах, где индивидуальность, еще не упраздненная, сильно диффундирована. (*Diffundere*: «разливаться, сцеживать вино из бочки»². Плиний. А также: «развеселиться, развлечься». У Овидия: «*Juppiter nectare diffusus*»³.)

В этом случае рекомендуется особая осторожность: затрагивается фундаментальная проблема – отношение анарха к отцу. Такая дискуссия, как уже говорилось, может вестись только во сне – ведь если бы папаша тогда, в картографическом кабинете, последовал моему совету, я бы вообще не появился на свет. Следовательно, наш разговор был бы возможен не в географическом Эвмесвиле, а разве что в приснившемся городе с тем же названием, поскольку во сне к нам приходят не только мертвые, но и еще не рожденные.

¹ Хочешь увещевать, а и пятака нет в кармане (фр.).

² *Lat.* dif-fundo, fudi, fusum, ere. 1) Разливать: *aqua se diffundit* – вода растекается; 2) распространять; 3) разглашать; 4) рассыпать, рассеивать (*dolorem flendo* – рассеять [облегчить] горе слезами); 5) развлекать, веселить.

³ «Нектаром <...> Юпитер упившись...» (*лат.*). Цитата из «Метаморфоз» Овидия, III, 318. Перевод С. Шервинского.

Я, несомненно, должен быть благодарен отцу за то, что существую, – если, конечно, возможность существования вообще заслуживает благодарности. Имея в виду чудовищную расточительность, характерную для Универсума, невольно об этом задумаешься. Ведь, кроме меня, тогда в картографическом кабинете перед дверью в жизнь теснились еще десять тысяч кандидатов.

Отец смог дать мне существование, но не *бытие*. В последнем я пребывал еще до рождения, даже до зачатия, и «буду» там после смерти. Бытие возникает в результате *акта творения*, а существование – в результате акта зачатия. Отец, зачиная сына, «одалживает» ему бытие. Зачиная сына, он символическим образом подтверждает акт творения. Ему на время одалживается жреческое достоинство; великий зов передается, от одного отголоска к другому, сквозь все века.

То, что сын несет по отношению к отцу обязательства, отрицать нельзя. Это в порядке вещей, если отец приносит сына в жертву; такая жертва – в мифологическом, культовом и историческом смысле – закладывает некий фундамент. В *порядке вещей* – а правильно ли это, не мне решать; такие вопросы уводят в сторону с главной дороги. Как историк, я должен заниматься порядком фактов. Факты остаются – а вот право и законы меняются. Мне идет на пользу, что я освободился от нравственных и религиозных обязательств. Даже Моисей, когда я вызываю его в луминаре, – даже он должен держать передо мною ответ.

Это касается фундаментальных устоев, когда отец приносит в жертву сына. Эскимос, образ которого воскресил Аттила, отдавал себе в этом отчет. Саваоф на горе «*Dominus videt*»¹ даже остановил отца, который уже было замахнулся ножом для убоя. Символически потребовав жертвы, он не допустил ее прагматически.

Я вызывал в луминаре царя одного из древних городов-государств, пришедшего в отчаяние после долгой осады. Не видя больше выхода, он вывел своего сына на крепостную стену и принес его в жертву Ваалу. Врагов, которые видели это, охватил ужас; они сняли осаду и покинули ту страну.

Такое в истории повторяется: во всех странах и во все времена отец призывает сына, когда уже больше не знает, как ему быть. Древние и новые правители, партийные лидеры и главари кланов, первосвященники, парламенты и сенаты... Ведут ли они справедливые или несправедливые войны, планируют ли кровную месть или грабежи, они заставляют сына сражаться за провинции либо идеи: сын должен расплачиваться за них.

Бывает и так, что сын сводит счеты с отцом: он сталкивает отца с кафедры, свергает с трона, прогоняет от алтаря.

Если я все же решусь участвовать в работе над историческим трудом Виго «*Historia in nuce*», к чему сам он время от времени пытается меня подтолкнуть, я обязательно вмонтирую в фундамент этого сочинения главу «Отец и сын».

¹ «Господь усмотрит» (лат.).

Нет, конечно, дело не обстоит так, что я, будучи анархом, отвергаю авторитет *à tout prix*¹. Напротив, я ищу его, и именно потому оставляю за собой право на проверку.

Я происхожу из семьи историков. Человек без истории есть, собственно, тот, кто потерял свою тень. Из-за этого он становится неприятно юрким. Здесь, в Эвмесвиле, я могу сколько угодно наблюдать этот феномен в среде университетских преподавателей. Половина профессоров – мошенники, другая половина – кастраты, не считая редких исключений. А к исключениям относятся либо люди несовременные, как Бруно и Виго, либо добротные ремесленники, как Роснер.

Своего папашу я могу причислить к кастратам, к добродушным бородачам. С ним невозможно завести разговор о фактах, чтобы он не свел этот разговор к социально-экономическим пошлостям и не приправил бы соответствующим морализаторством. Говорить то, что говорят все, для него блаженство. От него только и слышишь: «Говоря так, я выражаю общественное мнение». Он еще умудряется ставить это себе в заслугу. Он по натуре журналист, хоть ему и не нравятся публикуемые ныне передовицы. «Спорное мнение» – он, как и все кастраты, полагает, что это плохо. Анарх же придерживается совершенно противоположной точки зрения; мой папаша... *God bless him*² – однако как его угораздило вообразить себя историком?

¹ Любой ценой, во что бы то ни стало (фр.).

² «Бог да благословит его», «Дай Бог ему здоровья», «Бог с ним» (англ.).

Бывали и очень значимые разговоры между отцом и сыном – даже у нас в стране, еще в эпоху диадыхов, – – – разговоры между находящимися у власти или между побежденными. Анарха завораживает и то и другое: в обоих случаях ощущается близость смерти. Так, если я правильно помню, был некий Антигон; во время своей последней битвы он командовал – в центре – слонами, а сын на правом фланге возглавлял конницу. Оба погибли; отца нашли лишь через несколько дней, когда за него уже принялись коршуны, однако его пес продолжал караулить труп.

Позднее погиб также один адмирал, с обоими сыновьями; они пошли ко дну вместе с флотом – – – мой братец, не упускающий случая ляпнуть глупость, прокомментировал это так: «Какая нелепость, что они вышли в море все вместе».

Потом – разговор отца с сыном перед казнью последнего под крепостной стеной; разговор, который на сорок лет продлил чью-то власть. И, наконец, разговор перед убийством тирана, который обычно, как то заложено в природе вещей, происходит все-таки между братьями.

Я, конечно, понимаю, что ни обычные войны, ни войны гражданские здесь у нас исторического смысла не имеют. Война ведется отцами, гражданская война – между сыновьями. В Эвмесвиле все сводится к тому, чтобы держать наемников одновременно и в строгости, и в довольствии, да еще зорко приглядывать за офицерами. Уже поэтому мы неохотно принимаем участие во внешних распрях. И революции тоже теряют свою привлекательность, когда становятся перманентными. Тираноубийство, умерщ-

вление *tyrannus absque titulo*¹, предполагает в качестве предпосылки наличие угнетаемых, но сильных личностей. Здесь же убить тирана – все равно что отрубить голову Гидре: убей тирана, и – как когда-то во времена Лисимаха – вместо него появятся тридцать новых.

*

Вступать в разговор с моим отцом так же бесполезно, как рыться в лагунной тине. Поскольку старик вдохновляется давно обветшалыми лозунгами, он связан с традицией даже тесней, чем я. Однако в его случае это *некрофилия*.

Я же в пространственном смысле – анарх, во временном смысле – метаисторик. Поэтому я не считаю себя ничем обязанным ни современной политике, ни преданию; я – неисписанный лист, человек, открытый для всех веяний и способный работать в любом направлении. Старик же, напротив, продолжает наполнять своим вином прохудившиеся бурдюки: он верит в конституцию, хотя уже ничто и никто не существует в соответствии с ней.

*

Разговор с ОТЦОМ мог бы направить меня на путь истинный. Но почему всегда царит ночь, когда я это себе представляю?

Мы стоим на палубе; море волнуется – – – он шкипер, который держит курс, даже когда из-за облачности не видно созвездий. «Отец, как далеко мы от Акциума?»

¹ Тирана без титула (лат.).

Или: я стою рядом с ним на площадке очень древней обсерватории и советуюсь о погоде. Мы оставили за спиной последний звериный знак; теперь влияние моря и волн станет очень сильным. А влияние матери – тоже? Звери утратили свой былой ранг, который не только не уступал рангу человека, но и превосходил его. Уже рыбы были сомнительны. Они появлялись либо косяками, либо в образе Левиафана.

Животных мы можем истребить, но не уничтожить: из зримого мира они отступают в первообразы, вероятно возвращаясь на звезды. То, что Луна населена, космонавты обнаружить не могли, поскольку приносили с собой пустыню.

Земля периодически очищается, новые формы спешат заполнить ее. О них возвещают мощные родовые схватки. Родовспоможение оказывают новые Прометиды. Или после череды одухотворений, как после белой ночи, мы вновь вернемся к зверю? Так, Агнец мог бы вернуться на более высоком уровне, в Козероге, – как символ, объединяющий в себе счастье и власть.

Но вот как быть с эмпирическим отцом, который утратил достоинство?

33

Что навело меня на такие мысли? Я все еще сижу за завтраком, а Далин прислуживает. Верно: мои размышления начались с того, что он, как личность, мог бы стать мне поперек дороги – например, на посту возле Утиной хижины, где, согласно инструкции, должен поступить под мое начало. Там он увидел бы, что ветер подул в его паруса. И пришлось

бы его пристрелить. Я решил, что все-таки не стану поручать это дело ливанцу, который только порадуетсЯ нежданному развлечению, а возьму его в свои руки – – – как эскимос Аттилы.

Пока Далин подает на стол, я слушаю его нигилистические тирады. Они, с одной стороны, поучительны, с другой – доверие, которое он мне оказывает, внушает опасения. Я завтракаю, делая вид, что не прислушиваюсь к его словам.

«Чай совсем остыл. Ты болтался без дела по коридору или опять сварганил одно из своих тухлых яиц».

Последнее, конечно, маловероятно: здесь, на касбе, он ведет себя осмотрительно. Хотя как тип он и представляет интерес, сам он значит не больше, чем комар. Некоторые его проделки не лишены остроумия. Выходка с почтовыми ящиками мне не нравится, ибо из-за нее, как я думаю, недавно пропало мое письмо к Ингрид. А что он еще – кроме этого – учинил в Эвмесвиле, мне безразлично.

Я упоминаю данное обстоятельство, поскольку оно высвечивает разницу между двумя позициями: анархист, как прирожденный враг авторитета, в борьбе с ним потерпит крушение, предвременно более или менее ему навредив. Анарх же, напротив, *присваивает* авторитет: он суверенен. То есть он ведет себя по отношению к государству и обществу как нейтральная сила. То, что там происходит, может ему нравиться, не нравиться, быть безразличным. И это определяет его поведение; он не инвестирует эмоциональные ценности.

*

Далин многого не достигнет. Такие типы пытаются взвалить себе на плечи глыбы, слишком для них тяжелые. А потому рано или поздно упадут, раздавленные неподъемным грузом. А кроме того, они выставляют себя напоказ; и потому часто гибнут уже при первых прореживаниях. Они не знают правил игры, даже презирают их. Они похожи на автомобилистов, которые намеренно едут по встречной полосе и хотят, чтобы им за это еще и аплодировали.

Анарх же, напротив, правила игры знает. Он изучал их как историк и – как современный человек – легко в них включается. Там, где открывается такая возможность, он в рамках этих правил ведет собственную игру; тогда хлопоты получаются минимальными. Так, ликвидация Далина, вероятно, не вступит в противоречие с тем порядком, которому норвежец бросал вызов. Но я оправдываю свое решение не этим.

У читателя может возникнуть ошибочное впечатление, что я слишком легко смиряюсь с кровопролитием. Это совсем не так! Я лишь воздерживаюсь от моральных оценок. У крови собственные законы; она неукротима, как море.

Сколь мало значит в таких случаях моральная оценка, знает историк – благодаря множеству примеров. Снова и снова на протяжении человеческой истории – и особенно после тяжелых катастроф – принимались конституции, в рамках которых даже отъявленных каннибалов нельзя было и пальцем тронуть. И тогда неизбежно появлялся противник: «У правительства не хватает духу меня расстрелять, однако в этом вопросе между нами нет взаимности». Сначала всадник ослабляет узду, потом лошадь перестает его слушаться.

Крайности сходятся. Одни устраивают чудовищные кровопролития, другие в ужасе от такого отшатываются. Вероятно, в основе всего лежит некая теллурическая экономика: римляне знали, зачем они придают цирковой арене овальную форму и перед началом игры завешивают изображения богов.

*

Есть юристы, а также теологи, которые выступают за смертную казнь, считая ее последним доводом юстиции. Другие отвергают ее как аморальную акцию. У тех и у других имеются веские основания. И те и другие ссылаются, среди прочего, на статистику, которую всегда можно истолковывать как угодно. От цифр следовало бы держаться подальше.

Анарха этот спор не интересует. Связь между смертью и наказанием ему представляется абсурдной. В этом отношении он ближе к преступнику, чем к судье, ибо матерый преступник, которого приговорили к высшей мере, не готов признать смерть искуплением вины, а видит свою вину в собственной нерасторопности. То есть он проявляет себя в данном случае не как моральная, а как трагическая личность.

Сдругой стороны, носитель авторитета приложит все силы, чтобы преступник раскаялся. Но шляпу долой перед тем, кто до самого конца останется верен себе и своему делу. Здесь, правда, нужно учитывать различие между тактикой и стратегией. Тот, кого теснят, может все отрицать и прибегать к уловкам, может жертвовать своими фигурами – пока на игровом поле не останется один лишь король. Так вел себя гроссмейстер Жак де Моле, который отрекся

от вырванного у него под пытками признания, прежде чем его сожгли на медленном огне.

Впрочем, похоже, из того, в чем Филипп Красивый обвинял тамплиеров, не все было выдумкой. Изучение истории этого ордена, в сочетании с историей Старца горы, могло бы вскрыть золотоносную жилу новых данных. Аламут и Фамагуста, Бафомет и Левиафан.

Для анарха смертная казнь хотя и не имеет смысла, но, пожалуй, имеет значение, ибо он принимает ее в расчет. Она относится к тем реальностям, которые повышают его собранность и бдительность. Одна из максим, услышанных мною в ночном баре, метит в этом направлении: «Не нужно портить партию тому, кто рискует головой; его следует принимать всерьез». Так сказал Домо; речь шла о случае помилования, к которому я еще вернусь.

*

Неприглядная картина – когда кого-то классическим либо иным способом обрекают на смерть. Неубранное поле битвы тоже являет собой отвратительное зрелище. Картины становились еще более устрашающими, когда сталкивались целые сомкнутые фронты и эскадры. Но, очевидно, такое и забывалось легче. Казни были публичными; зрители на них валом валили.

По мере распространения атеизма страх перед смертью усиливается, поскольку уничтожение индивида кажется полным и безвозвратным. Смерть переоценивается – как тем, кто ее претерпевает, так и тем, кто ею распоряжается. Раскаяние теперь тоже секуляризировано. Оно уже не имеет целью спасе-

ние души преступника перед его возвращением в космический порядок, а означает лишь готовность склониться перед обществом и его законодательством.

Мой братец показывает фотоснимки, демонстрируя отвратительность казней. Поскольку, как я уже говорил, сама идея связи между смертью и наказанием для анарха абсурдна, брат в случае со мной ломится в открытую дверь. Он выставляет себя болваном еще и потому, что как историк должен был бы знать: с помощью фотографий можно доказать всё, диаметрально противоположные вещи, особенно это касается отвратительных сцен.

Только искусство способно одновременно запечатлеть смертный страх человека и сияние его мученичества.

*

Анарх знает основной закон. Как и фальсификации этого закона. Он знает, что за причиненные ему злодеяния вправе наказать того, кто их совершил. Государство хитростью выманило у него право вынесения приговора; он, значит, обязан от имени государства привести приговор в исполнение.

Вместо этого мы видим, как собираются евнухи, чтобы лишить народ полномочий, присвоив себе право говорить от его имени. Это логично, поскольку самое сокровенное желание евнуха – кастрировать свободного человека. Так принимаются законы, согласно которым «когда насилуют твою мать, ты должен бежать к прокурору».

Они обманом лишают мужчину права пролить кровь во искупление убийства – так же как отнимают у него золото, подтверждающее его причаст-

ность к солнцу, и портят соль, которая, будучи духом земли, объединяет свободных.

В такой ситуации нигилизм какого-то Далина становится понятным, даже если человек этот пользуется бессмысленными средствами. Ему не терпится что-нибудь взорвать; это – сигнал его бессилия.

*

Народ состоит из отдельных индивидов и свободных людей, тогда как государство слагается из цифр. Там, где доминирует государство, умерщвление также становится абстрактным. Рабство началось уже у пастухов; совершенства оно достигло в речных долинах с каналами и дамбами; первообразом же стало использование рабов в рудниках и на мельницах. С тех пор было придумано множество утонченных хитростей, позволяющих замаскировать скрывающие рабов цепи.

Анархисты хотели бы изменить это положение; но их идеи уже изначально ошибочны. Человек должен быть не другом солнца – он должен быть самим солнцем. Он таковым и является; заблуждение же заключается в том, что он позабыл подобающее ему место, свою родину и, соответственно, свое право.

Государство на поздней стадии своего развития – то есть тогда, когда оно уже полностью переманило народ и лишь притворяется, что действует по его поручению, – либо не убивает вообще, либо убивает избыточно. Ему приходится прибегать к сооружению плотин; но время от времени случаются наводнения.

Право на убийство делегируется. Какой-нибудь евнух, который даже мухе не оторвал бы лапку,

может, не поднимаясь из-за письменного стола, убить сколько угодно людей. Жертвы не виноваты (евнух – тоже). Приговор здесь уже ни при чем; здесь правит бал цифра. Боги же удаляются восвояси.

*

Я с помощью луминара изучал Белое восстание в Вандее. Эта война примечательна как реликт готической эпохи. Ее ведут три старейших сословия: рыцари, крестьяне и священники. Отношение мятежников к королю – еще личное и ненарушенное. Республиканцы вооружены гораздо лучше и обладают подавляющим численным превосходством.

Это классическая ситуация для ухода в лес – а *лесной путь* удавалось использовать как средство против Левиафана еще и два столетия спустя, правда, лишь в болотах и тропических джунглях. В Бретани же лес существовал в сильно редуцированном виде – как лабиринт живых изгородей. Под прикрытием этих изгородей шуаны сопровождали марширующие по дорогам полки и запугивали их криками. Из этих крестьян, которые, как говорит один историк, «едва могли отличить правую руку от левой», лишь немногие имели ружья – преимущественно охотничьи дробовики. Но отлично умели целиться и перед каждым выстрелом осеняли себя крестом.

В тех местах, должно быть, как в людях, так и в почве еще сохранялся очень древний состав. Вскоре Наполеон положил этому конец, протянув через всю Вандею военные тракты. Вигу упоминал это восстание как пример констелляции, которую он называет «ослабленной реминисценцией». Когда-то: бронзовый век против неолита.

Я вспоминаю об этом из-за пяти тысяч пленных республиканцев, оказавшихся в Сен-Флоране. Они попали в руки крестьян после различных стычек; от них нужно было избавиться. Шуанам было за что их ненавидеть: за ними тянулся след сожженных деревень, замков и церквей, а из Парижа пришло известие, что обезглавили королеву. Пленников доставил в Сен-Флоран комендант Шоле. *C'était un homme fort dur*¹: он уже на марше по закону военного времени приказал расстрелять девятых, предпринявших попытку побега.

На совещании об участии пленных повторилось все то, что обычно происходит при таких обстоятельствах. Последнее слово в итоге осталось за месье де Мариньи, который сказал, что на такую резню у него рука не поднимется, – он-де не чувствует себя способным на это. Месье де Лескюр, который был тяжело ранен и в прениях не участвовал, пробормотал: «Ah, je respire»².

Впрочем, вскоре после этого пленники захватили несколько пушек и, как и следовало ожидать, открыли огонь по своим освободителям. Тем большего уважения заслуживает принятая шуанами резолюция. Вероятно, пленники хотели предупредить подозрение в роялистских симпатиях и выставить себя в выгодном свете перед Конвентом. Ведь армию сопровождали республиканские комиссары. О таких страхах историки быстро забывают; для их

¹ То был человек весьма твердый (фр.).

² «Ах, теперь я могу перевести дух» (фр.).

изучения стоило бы обратиться к биографиям революционных генералов.

В подобных конфликтах рыцарь по сравнению с демагогом оказывается в невыгодном положении, поскольку он реагирует по-рыцарски, то есть *анахронично*. Такова его натура; с ней он и погибает.

Месье де Мариньи тоже мог бы решиться на казнь; это соответствовало бы стилю времени и значило бы, что он опустился до уровня Фукье-Тенвиля. Во всяком случае, он не подумал о том, чтобы делегировать кому-то свою ответственность и уклониться от нее, просто подписав бумаги.

Ответственность – итог, который получается из разговора с самим собой. Трагедия показывает это наглядно, распределяя реплики такого разговора между разными персонажами.

34

Я напрасно думал о неприятностях, которые возникли бы у меня с Далином. Каждый погибает из-за себя самого, но, разумеется, каждый – на свой лад. Это в данном случае верно предсказал Бруно. Когда пророчества исполняются непредвиденным образом, они производят еще более сильное впечатление.

Себастьян Карнекс, известный в городе адвокат, был человеком чрезмерно тучным. Его природная агрессивность шла на пользу его профессии, но, пытаясь поститься, он становился желчным, а это приводило к промахам.

Аттила взялся его лечить и предписал режим, одновременно укрепляющий и способствующий похудению. А именно – ограничил рацион своего

пациента грецкими орехами. Субстанция ореха такова, что требует тщательного пережевывания; и это только одно из его достоинств. Карнекс должен был кушать столько орехов, сколько пожелает, и при этом гулять – босиком по прибрежному песку.

В таких случаях диета и движение – классические лечебные средства; зная это, Аттила отлучил адвоката от мяса и от сидячего образа жизни. Заодно позаботившись о том, чтобы челюсти его пациента постоянно оставались «при деле» и чтобы он не скушал. Тот усердно жевал свои орехи и даже пристрастился к ним. Карнекс неторопливо следовал вдоль линии берега – то по влажному песку, то по кромке волн; свет, воздух и вода, но в первую очередь земля способствовали его хорошему самочувствию. Во время судебных каникул он стал гулять ежедневно – и медленно, но стабильно сбрасывал вес.

*

На морском берегу близ города царит оживление. Видны шатры, возле которых сдаются напрокат лошади и верблюды; юркие торговцы предлагают свои товары. Через час пути встретишь разве что рыбаков, сталкивающих в море лодку, или человека, который, стоя по пояс в воде, забрасывает сеть. В устье Суса становится совсем пустынно; там – птичьи стаи Роснера, местность эта считается небезопасной. Именно там Карнекс обычно освежался купанием, когда солнце стояло в зените. Затем он позволял себе продолжительную сиесту: у него теперь и сон улучшился.

Кроме мешочка с орехами, адвокат брал с собой на эти прогулки портфель. Проснувшись, он

маленьким ключиком открывал его и изучал процессуальные акты. Перед заходом солнца он успевал вернуться в город.

Карнекс уже изрядно похудел, когда у него в первый раз пропал портфель и, несмотря на все поиски, найти его не удалось. Пропажа была тем досаднее, что в портфеле лежали документы. Карнекс напрасно назначил вознаграждение. Его, без сомнения, ограбили. Такое повторилось еще дважды.

Сперва Карнекс предположил, что целью кражи были его бумаги, но потом стал склоняться к мысли о проделках какого-то злобного врага. Если кто-то пожелал избавиться себя от скуки, он выбрал подходящую жертву, ибо Карнекс был чрезвычайно чувствительным и, чтобы удовлетворить жажду мести, мог пойти на крайние меры. Так вышло и теперь: обнаружив пропажу портфеля в третий раз, адвокат решил начинить новый портфель взрывчаткой. Он обзавелся одной из тех плоских бомб, какие партизаны используют при покушениях – этакой, скажем, салонной моделью, специально для города. Любой адвокат в Эвмесвиле держит в руках нити, ведущие к подполью.

Эти бомбы – не больше десертной тарелки. Их упаковывают в вату, чтобы, упав на землю в переполненном помещении или на улице, в толпе народа, они не произвели шума. Их также можно подложить заранее и привести в действие дистанционным взрывателем. Карнекс предпочел воспользоваться взрывателем, настроенным на определенную длину волны.

Все прошло, как было задумано: Карнекс еще не закончил ежедневный оздоровительный ком-

плекс, когда портфель снова исчез. На сей раз грабитель стащил его, пока Карнекс купался. Выйдя на сушу и обнаружив пропажу, адвокат повернул рычажок крошечного передатчика, висевшего, словно амулет, на его шее. В дюнах раздался хлопок – не намного громче того, что обычно издает в тех местах ружье Роснера, но другой по звуку. Карнекс кивнул; он был удовлетворен – позже он этим поступком еще и похвастался, что было с его стороны неумно. Однако он не привык скрывать свои таланты под спудом.

Эти бомбы, несмотря на их легкий вес, эффективны. Судебным медикам пришлось изрядно потрудиться, пока они собрали Далина, как головоломку, из составных частей, поступивших к ним в лабораторию. В итоге получилось то, что когда-то называли «работой для прусского короля», ибо заново сшитое тело Далина, как и большинство других их произведений, исчезло в проливе между Штрафными островами.

*

А ведь я почти каждый раз за завтраком предупреждал Далина: «То, чем ты занимаешься, долго сходиться с рук не может». Впрочем, обычно он не совершал что-то дважды на одном и том же месте. Но на сей раз профессиональная осторожность, должно быть, ему изменила. Он, наверное, никогда и не слышал про бешеный нрав Карнекса – просто проходил там случайно и увидел портфель.

Видимо, он направлялся к бункеру, в котором проводил эксперименты. Он бы выбросил свою добычу в реку или иначе избавился бы от нее, ибо его побудительным мотивом всегда было только

желание навредить. Извлечение личной прибыли стало бы изъясном стиля. Но адвокат в тот день слишком рано закончил купание.

Не похвастайся Карнекс своим поступком, на него едва ли бы кто подумал. Естественнее было предположить, что Далин пострадал из-за того, что случайно вышел на след одного из анархистов, по-дилетантски балующихся со взрывчаткой. А так – обвинение в совершении особо тяжкого преступления было предъявлено Карнексу. Что речь идет об убийстве, не подлежало сомнению: в пользу такой интерпретации говорили изощренная подготовка и гарантированная смертоносность использованного средства. Уже одного факта похищения взрывчатого вещества для обвинения было бы достаточно. В этом отношении обитатели касбы весьма щепетильны, и не без основания. За такое полагается смертная казнь.

Смущало следователей лишь то, что Карнекс, опытный юрист, повел себя так неразумно. Правда, о нем поговаривали, что, когда речь заходит о выгоде, рассудок ему изменяет; в этом он мало чем отличался от большинства граждан Эвмесвиля.

*

Случай этот разбирался особенно тщательно – не только в докладах судебных чиновников, отчитывавшихся перед Домо, и в докладе самого Домо Кондору, но и в ночных разговорах, которые непосредственно примыкали к таким деловым обсуждениям. В результате я смог составить себе достаточно полное представление о проблеме смертной казни – в практическом и теоретическом плане, – какой она

видится обитателям касбы. И существенно дополнил свои заметки.

Я повторяю: анарха дискуссия о высшей мере наказания не касается. Для человека, который сам устанавливает для себя законы, слово «наказание» относится к тем предрассудкам, которыми живет общество. В обществе же практически каждый может быть приговорен к наказанию.

Зато умерщвление для анарха – одна из основополагающих жизненных реалий. Она укоренена и в органическом, и даже в неорганическом мире. Здесь, на Земле, любое мгновение оказывается для предыдущего смертельным, становится его наследником – – – Кронос продлевает собственную жизнь, поедая своих детей.

Государство узурпировало право на умерщвление – так же как оно присвоило золото и соль. Временами оно обходится с этим правом как расточитель, потом снова – как скряга. Гекатомбы жертв истекают кровью в борьбе за одну траншею или участок леса; а с каким-нибудь детоубийцей государственные чиновники цацкаются, как с больным.

Анарх не участвует в таких вещах. Он знает, что может убить; а совершит ли он когда-нибудь убийство, не так уж важно. Очень может быть, что свое знание он никогда не воплотит в реальный поступок. Следует подчеркнуть также, что право на убийство анарх признает и за любым другим человеком. Каждый человек – средоточие мира; добившись безусловной свободы, он обретает ту степень дистанцированности, при которой уважение к нему других и его самоуважение уравниваются.

*

Внимательно и вместе с тем незаметно прислушивался я к тому, как они обсуждают дело Карнекса. Вопрос стоял о жизни и смерти. Год близился к концу, а смертный приговор так и не был приведен в исполнение. В большинстве случаев Кондор заменяет смертную казнь депортацией на острова. Домо же придает большое значение тому, чтобы хотя бы раз в год действительно совершалась экзекуция; он, очевидно, рассматривает смертную казнь не столько с юридической точки зрения, сколько как необходимую демонстрацию силы. Однажды я услышал, как он развивал перед Аттилой в некотором роде теорию гигиенических мер: «Нам достаточно время от времени показывать, что мы не боимся переступить через человека. Кровь – сильный арканум; кровопускание можно применять как гомеопатическое средство. Когда больного начинает лихорадить, целесообразно выпустить ему кровь; при нагноении же необходим глубокий надрез».

Эти высказывания поразили меня, между прочим, и потому, что нечто подобное я слышал от своего папаша. Оба рассматривают преступление как болезнь в теле социума: папаша – скорее глазами терапевта; Домо – как хирург. У первого пациент умрет вследствие внутреннего развития недуга, у второго – в результате операции.

35

То, что, казалось бы, говорило в пользу Карнекса, в конечном счете обратилось против него. Симпатии горожан были на его стороне. В конце концов, он ведь просто отреагировал на нападение анархиста.

Карнекс принадлежал к уважаемым лицам, пользовался авторитетом и был связан кровными узами с солидными семьями. Он состоял в дальнем родстве даже с Кондором. Однако все это способствовало тому, что и сам приговор, и вопрос о его приведении в исполнение приобрели парадигматический, демонстративный характер.

В то время, когда обсуждалось это дело, общественное внимание привлек еще один судебный процесс. Несколько месяцев жителей Эвмесвиля пугали нападения на одиноко гуляющих женщин и девушек. Все только и говорили об этом – и возле домашних каминов, и в тавернах.

Нападения совершались в сумерках и... в некотором отдалении от Эвмесвиля, например на берегу Суса, – даже среди бела дня. Жертвами становились горничные, проститутки, дочери сановников, даже жена одного профессора – короче, все существа, которые носят юбки, особенно длинные.

Преступники, которых прозвали *крутильщиками тюльпанов*, настолько запугали горожан, что те жалались друг к другу и осмеливались разговаривать только шепотом. Находились и такие, кто сочувствовал разбойникам, – – – так, Далин, подавая мне утром чай, случалось, потирал руки: «Вчера они опять скрутили тюльпан».

Они орудовали вдвоем по окольным дорогам и на опушках леса. Один заговаривал с идущей своим путем женщиной, как будто встретил ее случайно, а в это время второй за ее спиной проделывал свой фокус. Он задирает ей юбку выше головы и наверху связывал подол веревкой. Потом оба удовлетворяли свою похоть с безголовым туловищем. Как правило, этим все и ограничивалось, хотя без несчастий,

конечно, не обошлось. Одну крестьянку, которую они застигли за дойкой, нашли потом – заколотую – на выгоне. Полицейские предположили, что она узнала одного из нападавших, – и повели расследование в этом направлении. В двух других случаях жертвы, тоже крестьянки, задохнулись в своих юбках. У нас крестьянки обычно носят юбки из плотной домотканой материи.

Крутильщики тюльпанов творили свои бесчинства на протяжении почти целого года; потом уже редко какая женщина отваживалась в одиночку отправиться куда-то по безлюдной дороге или в темноте. Да и мода переменялась: женщины стали носить брюки или юбки, едва достающие до колен.

Наблюдения и облавы не давали никаких результатов. Наконец одна служащая полиции осуществила то, что не удалось полицейскому аппарату в целом: то была Кун-Сан, хрупкая кореянка. Она с детства упражнялась в приемах самообороны. В длинной юбке, с подчеркнуто обозначенной грудью, в детской шапочке и с маленьким зонтиком от солнца – в таком виде она мелкими шажками шла по берегу Суса, не очень бросаясь в глаза, а скорее – будто опаздывая или спеша на условленное свидание.

Она, впрочем, принарядилась и выглядела соблазнительно. И походка была особенная, дальневосточная. Однако у этой приманки хватало рыболовных крючков. Фигурка была затянута в корсет, не пробиваемый для холодного оружия – будь то колющего или режущего. Шапочка – с такой же прокладкой. Ручка зонтика наверху имела свинцовый набалдашник, а снизу заканчивалась трехгранным стальным острием. На подробностях, которые народ присочинил сверх того, я останавливаться не буду:

это обычные компоненты культа героев. Зато достоверно известно, что под юбкой скрывался пружинный механизм, благодаря которому юбка при необходимости мгновенно свертывалась и укладывалась наподобие пояса вокруг бедер.

Ловушка сработала с первого же раза. Кун-Сан отказалась от всякой охраны. За дюнами расстилается поросшая гигантским дроком равнина, которую Роснер считает одним из лучших участков для ловли птиц. Из этой-то густой травы оба преступника – один спереди, другой сзади – и подскочили к женщине-полицейскому, которая, к их ваящему изумлению, в мгновение ока обернулась мстительной Артемидой.

Для переднего нападение закончилось смертью: трехгранный клинок насквозь пронзил ему горло. То же случилось бы и со вторым, если бы свинцовый набалдашник, которым Кун-Сан, быстро обернувшись, целила ему в голову, пришелся точно по темени; но удар только слегка задел его. Тогда женщина обхватила еще пошатывающегося противника – и, перебросив через свое плечо, уложила на обе лопатки. Потом приставила к его глазам растопыренные пальцы: «Ну что, парень, такого ты, верно, не ожидал?» И он был рад-радешенек, когда она невредимым доставила его в город.

*

Оказалось, что такими забавами развлекались два фореитора. Собственно, они были конюхами, а назывались фореиторами лишь потому, что Кондор любит подобные обозначения. Он хранит как морские, так и кавалерийские традиции. Хотя лошади

нынче не имеют никакого военного значения и, за исключением конных патрулей, почти не используются в полиции, у нас существует иерархия рангов – начиная от *grand écuyer*¹ и кончая уборщиком конского навоза. Форейторы носят синюю униформу с желтыми аксельбантами и сапоги с плетеной тесьмой; кое-кто из них уже выдвинулся в *миньоны*. Они часто несут недельную службу на касбе и, само собой, дают волю своим сексуальным фантазиям.

Арестованный – его звали Сальваторе – был стройным и расторопным малым с черными усиками; Кун-Сан сумела уложить его на лопатки лишь потому, что превосходно владела приемами боевых искусств.

*

Эвмесвиль получил теперь сразу два *causes célèbres*², которые, как обычно, обставлялись очень помпезно: с энергичными словесными дуэлями перед переполненной аудиторией, где можно было увидеть дам из фешенебельного Вест-Энда рядом с сутенерами из портового квартала. Во время допроса свидетелей пострадавшая жена профессора упала в обморок. Кун-Сан, продемонстрировавшая несколько своих приемов, была героиней дня, однако зрители симпатизировали и Карнексу вкупе с Сальваторе. С другой стороны, хватало и тех, кто был готов линчевать форейтора перед Дворцом правосудия. Дай народу волю, и все пойдет кувырком. Хорошо, что о Далине говорилось мало: я ведь в некотором роде был его соучастником.

¹ Великий шталмейстер (фр.).

² Знаменитые судебные процессы (фр.).

В обоих случаях виновных приговорили к высшей мере. Я посещал судебные заседания, чтобы слушать, что говорят в защиту и против Карнекса, и был поражен виртуозностью риторики выступавших. Очевидно, стремление Домо обучить юристов грамматике уже начало приносить плоды. Адвокат Карнекса, естественно, квалифицировал действия своего подзащитного как самооборону, поскольку в «противоправности» нападения Далина не было никаких сомнений. Сомнения возникали лишь относительно того, наличествовало ли другое условие – «сиюминутной» необходимости самообороны. Понятно, что, когда под вопрос ставится «сиюминутная необходимость сопротивления повторяющемуся действию», успех в прениях обеспечен тому из юристов, кто лучше владеет грамматической системой времен. Но я не буду углубляться в эти тонкости. Замечу лишь, что те требования, которые право предъявляет логике, были с блеском выполнены.

Здесь я не могу устоять перед искушением сказать несколько слов о пользе и опасности образованности в периоды упадка. Там, где образованность находит выражение в самом языке, в стилистике речи, она вносит в наше настоящее незримое наследие прошлого. В эпохи декаданса этим ее свойством наслаждаются; во времена, лишенные истории, его все еще воспринимают, ощущают. Люди видят, как красиво плавает рыба, даже если не понимают, почему это ей удается. Так на новом уровне повторяется старое отношение: отношение неграмотного человека к тому, кто умеет читать и писать.

Как историк, я вышел из зала суда удовлетворенным, поскольку полагал, что изображение личности преступника и самого преступления вполне удалось. Если смотреть на вещи с этой точки зрения, уместно сказать, что великий судебный процесс порой достигает уровня художественного произведения. Вина преступника от этого не стирается, но занимает более выигрышное место внутри общей композиции. Защитник и обвинитель выступают уже не как противники, а как два художника, работающие над картиной, которая возникает из света и тени.

Тайная вечеря немыслима без Иуды. Здесь, в суде, уже намечается точка зрения анарха, не признающего само понятие вины: будто человечество стоит на пороге эпохи, когда смерть и страх не исчезнут, но будут восприниматься по-новому. Чтобы такое произошло, мир должен снова стать божественным, похожим на сновидение.

36

Как Карнекс, так и Сальваторе были приговорены к смерти, почти в одно время. На касбе считается правилом, что казнь должна вершиться вручную и обязательно должна пролиться кровь. Уголовных преступников обезглавливают, политических – расстреливают. Публичность казни гарантирована, но допуск публики ограничен.

Я, помнится, уже говорил, что дело лишь изредка доходит до приведения приговора в исполнение

и что такая экзекуция носит не столько морально-правовой, сколько логически-административный характер. Год близился к концу, и с экзекуцией следовало поторопиться – хотя бы уже потому, чтобы, как выразился Домо, «Педро не утратил квалификацию». Педро – это палач по уголовным делам.

Для всех стало большой неожиданностью известие о том, что в помиловании было отказано Карнексу. А Сальваторе предстояла ссылка на острова. В ночном баре я в большой мере был свидетелем тому, как формировалось такое решение, – и имел возможность вкратце записать услышанное.

Мнение Домо возобладало, хотя он, очевидно, слишком сильно напирал на принципы. Это граничило с *l'art pour l'art*. Вероятно, он хотел также избежать упреков в том, что раньше называлось «классовой юстицией». Сальваторе был конюхом, а Карнекс принадлежал к уважаемым членам общества, к элите. Кроме того, Карнекс затронул больное место обитателей касбы: страх перед находящимися в частном пользовании взрывчатыми веществами.

Но прежде всего, как я полагаю, Сальваторе обьязан жизнью той тайной симпатии, которую Домо питает к уголовным преступникам. Я нередко наблюдал, как он чуть ли не благосклонно покачивает головой, когда речь заходит о *тяжком преступлении*. Это выражение подразумевает не столько обман и мошенническое покушение на чужую собственность, сколько вооруженный грабеж и прочие акты насилия, которые издавна волновали фантазию. При совершении таких преступлений заявляют о себе силы, которые, распространяя среди населения страх, тем самым укрепляют положение властителя и его юстиции. Подобные наблюдения могли

бы стать лишним доводом в пользу тех теорий, согласно которым власть уже сама по себе есть зло.

*

Парни вроде Сальваторе всегда находят себе покровительниц, имеющих пристрастие к гнилоственному запаху. Одна из таких, леди Пелворм, даже сумела пробраться к заключенному: она была состоятельной и имела связи. Я слышал, как Кондор сказал Домо:

– Вы позволили ей оставаться в камере без надзора целых два часа – – – это уж чересчур.

– Я распорядился, чтобы ее тщательно обыскали – при ней не было даже пилочки для ногтей.

– Зато Сальваторе вырядился в униформу со всеми цацками.

Домо рассмеялся:

– Он тогда еще находился под следствием. Как выглядел бы фореитор без сапог, кнута и рожка? Между прочим, эта дама хотела бы сопровождать его на острова – она уже подала заявление.

Мой папаша считает Домо «человеком, лишенным чувства юмора». Об этом можно было бы поспорить; во всяком случае, в остроумии ему не откажешь – – – в остроумии, основывающемся на сокращениях. Ему нравится, когда кто-то перескакивает через ступени. Домо и сам охотно перескакивает через два-три возможных довода. Но для этого, конечно, требуется интеллигентный собеседник.

*

Итак, Сальваторе был сослан на острова. И хотя расположены они совсем близко, вестей оттуда прихо-

дит не больше, чем когда-то из богаделен, в которых прокаженные, после отлучения от церковной общины, коротали остаток жизни. Здесь, вероятно, уместно сказать несколько слов об «отбытии наказания», как оно понимается в Эвмесвиле. То, что для анарха не существует никаких наказаний, а есть только меры, предпринимаемые по отношению к равному тебе, я уже неоднократно подчеркивал. Для начала я процитирую Домо, опираясь на свои беглые заметки, сделанные в ночном баре, – то есть его мысли будут изложены лишь в самых общих чертах.

*

Содержание в заключении, если оно длится более года, есть напрасная трата времени и выбрасывание на ветер значительных денежных средств. Пожизненный срок заключения – это абсурд. Тогда уж лучше смерть. Так в большинстве случаев лучше и для заинтересованного лица.

*

Поставленный перед выбором, любой приговоренный, безусловно, предпочел бы короткий срок лишения свободы – пусть даже в условиях, опасных для его здоровья, – двенадцатилетнему заключению. Это заложено в природе вещей: всякий человек предпочитает опасный кризис вялотекущей хронической болезни.

*

Тот миг, когда человек теряет надежду, знаменует собой перелом; это относится не только к неволе. Но

надзирающие за заключенными могут стремиться к такой цели сознательно. Для ее достижения хватило бы и четверти года; полгода – это уже слишком много. Отшельники знали рецепт: пост, ночные бдения и работа на пределе сил.

*

Прежде всего нужен обученный и хорошо оплачиваемый персонал. Дистанция. Не подходить к другому ближе чем на три шага – это правило действует и для охранника, не только для заключенного. Физическое прикосновение допустимо лишь при самозащите, в случае нападения с применением силы.

*

При любой очной ставке, во время любого допроса должны присутствовать свидетели. Вынужденное признание бесполезно и даже вредно; признания следует добиваться как мата в шахматной игре.

*

Если кто-то готов рискнуть головой, не следует портить ему игру, такого нужно принимать всерьез. Это относится и к голодовке. Каждый, кто вступает в борьбу, имеет право на то, чтобы с ним обходились по закону военного времени.

*

Тот, кто распоряжается временем какого-нибудь человека, держит в руках не только его страдание,

но и его радость. Он может по своему усмотрению ослаблять или усиливать эти чувства. Были каторжные тюрьмы, где узников заставляли прозябать в ужасной безысходности до самой кончины. Они умирали от чахотки и кончали на кладбищах, где на крестах значился только номер.

Совсем другое дело, если я даю заключенному возможность провести одну ночь с его женой, возлюбленной, с уличной девкой, – – – тут и самый закоренелый преступник смягчится. Да, Кондор: он даже может стать твоим другом. (Это – в связи с разговором о Сальваторе, который я записал. Впрочем, и Латифа говорила мне, что иногда она таким способом улаживает какого-нибудь узника, пусть и не бескорыстно: она получает *honoriarium*¹, то есть *гонорар* – почетное вознаграждение.)

*

«Колумбово яйцо для юстиции. Откладывается раз в год».

Так недавно выразился Домо, когда они пришли в бар после обеда. Он имел в виду одно из тех предложений, которые приходят по почте. Для них заведен специальный почтовый ящик. Особое значение Домо придает анонимным посланиям.

«Большинство правонарушений можно быстро и болезненно пресекать посредством нанесения виновному палочных ударов. Кто не предпочел бы порку длительному заключению? С этим согласи-

¹ *Honorarius*, -a, -um – почетный; *honor*, -oris – честь; почет (лат.); отсюда: гонорар.

лись бы все – – – виновный, судья, *opinio publica*¹. Некоторые правонарушители прямо-таки напрашиваются на порку. Такой обычай очистил бы воздух. Если устрашающее воздействие смертной казни и может быть оспорено, то здесь оно несомненно. Кроме того, возможна компенсация ущерба – деньги, полученные за перенесенную боль, имеют больше смысла, чем денежное возмещение за ошибочно произведенный арест невиновного лица».

«Все замечательно, – сказал Домо – – – но почему *априори* ясно, что это не сработает? Почему в государстве, где существует смертная казнь, живет все же лучше, чем там, где граждан подвергают порке? Пусть даже все они на это согласны? Впрочем, вот вам пример того, что единогласие и право – сапоги из разных пар».

«А уж тем более – единогласие и мораль. Там, где все придерживаются одного мнения, лучше сразу добровольно отправиться в сумасшедший дом. Отвращение к болезненным наказаниям существовало не всегда и не везде. Возможно, оно вообще является приметой декаданса. Говорят, что в Китае даже высокие чиновники получали удары бамбуковыми палками, а во владениях Желтого хана такое практикуется еще и сегодня. В великие времена британского флота плетка-девятихвостка грозила даже кадету из благородной семьи; ремни были такими же жесткими, как и для матросов, только рукоятку в этом случае обертывали бархатом».

Так говорил Аттила, припоминая свой опыт. Еще я записал:

¹ Общественное мнение (*лат.*).

«У морали свой путь развития, не всегда ведущий по восходящей линии. Но есть вещи, которые в один прекрасный день становятся попросту невозможными. Так мы теряем и вкус к какому-то определенному кушанью – вероятно, потому, что когда-то оно казалось нам слишком вкусным».

*

Далее следуют записи, передающие вперемешку слова Домо и Аттилы – – – разговор в тот момент сделлся весьма оживленным; я не успевал отмечать, кому принадлежат реплики.

Суждения о жестокости смертной казни относительны. Герцог де Шатле, когда его вели к гильотине, сказал: «Это приятный вид смерти».

И это не было цинизмом, если вспомнить, что совсем незадолго до того людей колесовали, четвертовали, сжигали на кострах. Гильотен в самом деле работал над своим изобретением, побуждаемый филантропическими мотивами. Не исключено также, что упомянутый аристократ страдал неизлечимым недугом. Ему было уже за семьдесят, когда его обезглавили из-за какого-то пустяка. Феномен самоубийства показывает, что бывают вещи куда хуже, чем смерть. В ту эпоху человек, очевидно, еще был способен сохранять по отношению к смерти дистанцию, что могло быть последним отблеском высокого барокко. Силлери, когда его тащили на эшафот: «Там наверху я вылечусь от подагры».

Что дистанцированность по отношению к смерти для христиан была еще более характерна, чем для философов, само собой разумеется – – –

вспомним хотя бы кармелиток Компьена или Луизу де Монморанси-Лаваль, аббатису Монмартра, – уже со связанными руками, увидев машину для обезглавливания, она сказала: «Я давно тосковала по тебе; такая смерть драгоценна». Аттила цитировал эти и другие высказывания людей, осужденных революционным трибуналом, предоставляя слово и циникам. *Ad notam*:

«Фотография фальсифицирует проблему смертной казни, сводя ее к эфемерному. Очевидную жестокость экзекуции нетрудно смягчить и даже обратить в ее противоположность – например, посредством наркотиков, вызывающих эйфорию. В этом ли задача Юстиции? Юстиция держит в одной руке меч, а в другой – весы: потому что соотношение между виной и карой должно быть тщательно взвешено. Речь не идет о том, чтобы просто избавиться от преступника: будь это так, его лучше было бы выслать из страны. В старину говорили: “Воздали должное праву”».

И далее: «На эту тему вправе рассуждать только тот, кто сам побывал в преддверии смерти, кто видел змея, дарующего смерть и жизнь. Но соприкоснувшийся с таким опытом может передать его другим, этот опыт может быть открыт заново. Перикл приказал заново отстроить Элевсинское святилище, долгое время пребывавшее в небрежении. Такое может случиться в любое время и в любом месте».

Прежде чем Кондор успел что-либо ответить, Домо сказал:

«А зачем? Для нас лучше, чтобы люди испытывали страх перед смертью».

¹ Для памяти, к сведению, на заметку (*лат.*).

Получив в третий раз годичный срок заключения, человек изгоняется на острова, то есть навсегда исчезает из города. Случаются, правда, и исключения по примеру того мифического капитана Дрейфуса, чей судебный процесс я изучал в луминаре. Дрейфус, наряду с Джордано Бруно и некоторыми другими личностями, относится к домашним святым моего папаши.

«Острова» – не изобретение тирании или генералов; республики и демократии тоже охотно ими пользуются. Властители меняются, тюрьмы же остаются; после каждой смены власти они даже становятся еще более переполненными. Я вспоминаю, как мой отец и брат радостно потирали руки, когда предшественник Кондора был сослан трибунами на острова; они даже усматривали в такой ссылке акт милосердия. Сегодня они думают об этом иначе; они вообще слишком много думают.

Как историка меня больше всего занимает необходимость такого института. Ссылка – одно из древнейших средств, с помощью которого сообщество пытается очистить себя. Чистка осуществляется посредством выталкивания – например, выталкивания прокаженного, которого священник уже подверг чрезвычайному испытанию, как предписал Моисей. Если человека сочтут нечистым, «он должен жить отдельно, вне стана жилище его...».

Ссылка сопряжена с обществом как один из симптомов его несовершенства, с которым анарх мирится, тогда как анархист пытается все изъяны устранить. Это – пережитки теологического мышления. Лишь в совершенном мире «ничего уже не

будет проклятого... но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы Его будут служить Ему». Мрачная перспектива. Анархизм тоже в конечном счете всегда приводит к какому-нибудь субъекту, которому нужно целовать ноги.

*

*Insula, isla, Insel*¹: «островом» называют то, что со всех сторон окружено морем; *sal* – это соленая вода, это море. *Campi salis*, «соленые поля», – так именуется морская поверхность у Вергилия. *Insularis*: так называли ссыльного; а еще – жильца одного из многоэтажных сдаваемых в аренду домов, именовавшихся *insulae*, «острова». Острова: места, которые с первого взгляда видятся предназначенными для изоляции, для отбывания срока заключения, – – – они могут стать резиденциями свергнутых правителей или исправительными колониями для лиц, неугодных государству и обществу.

Без охраны, конечно, не обойтись – даже если место ссылки находится в другом полушарии. Остров Святой Елены в этом смысле удобнее Эльбы, расположенной слишком близко от материка. «Наполеон был солярной фигурой, он родился под знаком Льва; Елена же – богиня Луны. По ту сторону от сада Гесперид его триумф завершился». Так говорил Виго – это уже выходит за пределы науки.

Здесь, в Эвмесвиле, острова тоже лежат довольно близко от побережья; если не дует сирокко, с горы можно разглядеть их контуры: архипелаг из более чем двадцати островов, самый крупный из которых по размеру не сильно уступает Эльбе. Самые

¹ Остров (лат., ит., нем.).

маленькие едва ли обозначены на картах: это скорее утесы, на которых, однако, порой видишь хижину какого-нибудь отшельника и дым от его костра.

В качестве места ссылки, как я упоминал, эта группа островов использовалась уже трибунами и еще прежде них. Сперва острова заселяли *реакционерами, милитаристами, кровососами, заплочных дел мастерами* или как там их еще называли – – одним словом, людьми, отстраненными от власти, и их приверженцами, которые попали в черные списки и были рады, что так легко отделались. Состав сосланных потом по мере надобности пополнялся.

Сперва исполнители приговора ориентировались на классические образцы организации исправительной колонии: то есть предполагалось наличие постоянного надзора, казарменное содержание заключенных, контролируемый труд, частые построения. Многие именитые юристы считали такой метод оптимальным или, по крайней мере, – наименьшим злом в нашем несовершенном мире. Они, несомненно, полагались на максимум «Только мертвые не возвращаются» – одно из ошибочных умозаключений деспотии. Мертвые именно что возвращаются, и не только как привидения: они, среди прочего, предъявляют свой счет и в политической реальности.

*

Домо позаимствовал саму идею ссылки, но не способ ее осуществления. Так проявилась разница между предоставлением гражданам свободы в теории и на практике – разница между либерализмом и подлинной либеральностью. Домо переместил охранников из внутренней части островов на море. Отныне охранные посты располагались на окружающих

острова утесах, а море патрулировалось быстроходными катерами. В каналы же из-за крупных рыб не рискнул бы сунуться ни один пловец. От возможной высадки воздушного десанта защищают постоянно кружащие в небе самоуправляемые летательные аппараты. Они достались нам по наследству – вместе с другими остатками оборудования из эпохи периодов высоких технологий. Катакомбы поставляют их по мере необходимости, но не сверх того.

Таким образом, бегство с островов почти невозможно. Хотя в редких случаях кому-то все же удается бежать, и тогда обстоятельства чрезвычайного происшествия обсуждаются в ночном баре. Домо обычно подводит итог: «Мое почтение этому парню – мы наконец от него избавились».

Почва на самых крупных островах плодородная; ссыльные могут себя прокормить. Кроме продуктов полеводства они выращивают виноград, мак и коноплю – для приятных застолий и сновидческих грез. Они также держат скот и удят рыбу возле утесов; строительство лодок им запрещено. Это единственное ограничение; во всем остальном они вольны поступать, как считают нужным.

Проблема выбора – кого сослать на какие острова – соблазняла на социологические эксперименты. Но как бы депортированных ни смешивали, повсюду вскоре после исходной ситуации – «Все разрешено» – устанавливался авторитарный порядок.

*

Остров все упрощает: он дает сцену, на которой пьеса под названием «Общество» может разыгрываться немногими актерами. Такой спектакль снова

и снова вдохновлял поэтов, а философам давал пищу для размышлений. Робинзон: единственный человек, сначала предающийся отчаянию, потом – действующий. Господин и слуга: позже появляется Пятница. Мятежники Питкэрна: после смертоубийства – особый договор на основе Библии; за титаническим порядком следует порядок божественный, Авель – за Каином.

Одиссей – прирожденный островитянин, Синдбад-мореход – его ближневосточный пандан. Оба воплощают собой тип одиночки, который хитростью и отвагой одолевает стихии, умеет устоять в борьбе с людьми, демонами и богами. Оба меняют команды моряков, которые одна за другой гибнут, и в конце концов в одиночку возвращаются на родину – в Багдад и на Итаку. Это жизненный путь человека.

Одноглазые циклопы, смертоносная песнь сирен, пленительные волшебницы, способные превратить мужчину в животное, усыпляющий напиток лотофагов, пучина между Сциллой и Харибдой – – – модели встреч, которые случаются с нами не только на отдаленных островах, но на любом перекрестке любого города. Принуждающая сила обычаев, ужасы деспотии сведены здесь к самым сжатым формулам. Синдбад сходит на берег в одном городе, граждане которого так свято чтят брак, что после смерти одного из супругов погребают того из них, кто еще жив, вместе с умершим. В другой раз Синдбад чуть не пал жертвой морского шейха, который обычно вскакивает верхом на спасшегося после кораблекрушения человека и, как коня или послушного раба, загоняет его до смерти, при этом еще пачкая ему спину своими экскрементами.

*

У нас на каждом острове сформировалась какая-то власть, пусть даже и особого свойства. Один остров был назван Фельзенбург в память о забытом романе одного барочного автора. Это произведение, утопическая робинзонада, вышло из печати еще до «Contrat Social» Руссо. Как известно, согласно взглядам Руссо, естественный человек, развившись до состояния полноправного гражданина, делегирует часть своей свободы коллективной воле. Уравнивание индивидуальных интересов ведет к демократической конституции государства, а внутреннее согласие граждан делает это государство идеальным.

С помощью луминара я проиграл для себя упомянутый роман из неисчерпаемого репертуара катакомб и пришел к выводу, что феномен Фельзенбурга основывается не столько на общественном договоре, сколько на *договоре о подчинении* некоему авторитету, и что при заключении такого договора проявила себя не только свободная воля отдельных индивидов, но и свободная воля их *большинства*. О помощнике, вожде, отце мечтают, его распознают и выбирают в качестве руководителя главным образом в ситуации бедственного положения. Вскоре тот, кого выбрали, превращается в *избранника*. Влачащие тяжкую жизнь и обремененные заботами люди охотно перекладывают на него свою ношу; они с ликованием уступают ему свою свободу.

*

Там, где на смену общественной воле приходит воля масс, блеск выделившегося индивида становится ослепительным; этому чрезвычайно способ-

ствуется развитие техники: как техники пропаганды, так и техники умерщвления. Здесь, на эвмесвилльском Фельзенбурге, властитель принял классический образ «доброго отца». Это прошло успешно, однако потом возникли неожиданные осложнения. Фельзенбург – самый богатый из островов, настоящая Страна лентяев, где царила блаженная эйфория, отчасти в духе феаков, отчасти – лотофагов. Молодые люди, мужского и женского пола, взбунтовались просто от скуки. *Добрый отец* вынужден был проявить строгость. И начал, со своей стороны, выявлять зачинщиков; самые несносные из них были сосланы на утесы.

«Им слишком хорошо живется», – сказал Домо, узнав об этом. Что-то, а руссоистские наклонности ему не припишешь.

*

Все-таки Фельзенбург пережил что-то наподобие эпохи Перикла. Там даже создавались художественные произведения. На других островах дело доходило до межпартийных схваток. Соперничающие группировки спланировали вокруг своего босса или *сарітапо*¹, и один из главарей побеждал. Затем он распределял работу и доходы. «Такое они могли бы иметь и у нас, и даже лучше», – комментировал происшедшее Домо; эту формулировку я часто от него слышал.

Властители охотно приводят такие сравнения. Анарха же это не заботит: он сохраняет свою свободу, какой бы хорошей или плохой ни была власть. Он-то свою свободу не уступит – ни ради легитим-

¹ Капитан, главарь (ит.).

ности *доброго отца*, ни ради притязаний на легальность, выдвигаемых другими силами, меняющимися в зависимости от страны и эпохи. Может быть, все они и хотят наилучшего, но как раз наилучшее – свою свободу – анарх предпочитает сохранить для себя. Она остается его *неделимой собственностью*.

Разумеется, перед историком тут открывается неистощимое поле для наблюдений. Он понимает свои обязанности тем лучше, чем меньше принимает чью-либо сторону; красный мак привлекает его не меньше, чем белые лилии; боль потрясает не слабее, чем любовная страсть. Преходяще и то и другое – как цветы зла, так и цветы добра; однако ему позволено бросить на них взгляд через ограду сада.

*

Если история и имеет какую-то тему, то это не тема воли, а тема свободы. В этом заключается риск истории – – – с некоторыми оговорками можно даже сказать: ее задача. Свобода у всех общая, и все же она неделима; разнообразие в эту ситуацию привносит воля.

Некоторое время назад мне довелось проводить в институте Виго семинар: «Луций Юний Брут и Марк Юний Брут – сопоставление с любой точки зрения». Эта тема обеспечила мне весьма неоднородную аудиторию.

Первый, полумифический Брут сразил последнего римского царя, его исторический потомок убил первого цезаря – оба совершили это собственноручно. С первого началась, а со вторым закончилась пятисотлетняя история Римской республики. Поэтому на примере этих двоих можно проследить

существенные различия – к примеру, между общественной волей и волей массовой или же между обоснованным согласием или несогласием, с одной стороны, и аккламацией – с другой. Переходные состояния описаны поэтами – например, в знаменитой речи Антония над трупом Брута.

Я не хочу останавливаться на подробностях. Поучительным для меня было то, что слушатели в обоих случаях выказывали сочувствие тираноубийце. (Брут – одна из образцовых фигур и для моего папаша.) Но выявление различий давалось им тяжело. Я готов допустить, что это не просто, поскольку отчасти связано с проблемой свободы.

Уже здесь мы сворачиваем на неверный путь, поскольку свобода не представляет собой проблемы. Она неделима и потому *не находится нигде*, где можно что-то просчитать, измерить и проанализировать, – то есть не находится во времени и в пространстве. Во времени она лишь *постигается* – например, в последовательности политических систем; в пространстве же ее ощущают все – начиная от птицы, которая бьется о прутья клетки, и кончая народом, сражающимся за свои границы. Снова и снова индивид выступает как *исполнитель* свободы: как триумфатор или как мученик, который неизбежно терпит из-за нее крушение и гибнет.

Здесь начинается трагедия историка. Он должен проводить различия, но не вправе принять чью-либо сторону. Его должность – должность судьи в царстве мертвых: он должен измерить свободу Брута по отношению к свободе Цезаря.

*

Все-таки этот семинар не остался совсем безрезультатным. Хотя порой я и спрашивал себя, что я тут делаю, – когда стоишь на кафедре, приступы самоотчуждения неизбежны, – он в какой-то мере повлиял на мою оценку нынешней ситуации, а возможно, также слегка подпортил мою политическую репутацию. То, какие периоды истории выбирают для себя интеллигентные представители среднего класса и как именно эти периоды истолковывают, – своего рода прогноз на будущее. Кратер, давно охладевший, начинает работать. Брут снова пробуждается. Спартак возвращается. Барбаросса в Кифхойзере уже шевельнулся. Потом начинается кипение в сольфатарах, в городских предместьях.

Как бы то ни было, в то время мои экскурсии к верховьям Суса участились. Я перенес туда и часть своей рукописи. Этим, между прочим, объясняются некоторые повторы в тексте. Время влияет на такие работы не только тематически, но и чисто технически. Когда кредиторы растаскивали наследство Бальзака, улица была усыпана разрозненными листами. Но что с того? Достаточно, что рукопись была однажды написана; авторство принадлежит Универсуму. В конечном счете нет разницы между сожженной и исписанной бумагой, между мертвой и еще живой субстанцией.

*Великий цезарь, ставший комом глины,
Заткнул дыру на севере близ льдины.*

*

С другой стороны, у меня оказалось два-три слушателя, которые не полностью погрузились в злобо-

дневность и которых волновал не только *номос*, но и *этос* истории. Я привел их в сад Виго, и их участие в наших сборищах вознаградило меня вполне. А сверх того вознаградило то молчаливое согласие, которое объединяет нас, когда над касбой стоит луна. Каждый преподаватель знает, как осуществляется такой отбор.

На что способен Виго, стало понятно уже по первому комплекту учеников, насколько об этом вообще может идти речь применительно к Эвмесвилю. Сделанная мною оговорка говорит в их пользу, я имею в виду тех, кто вошел в этот комплект, — — — людей послезавтрашнего и позавчерашнего дня, то есть сегодня не имеющих никакого веса. Для них имя Виго стало *mot de passe*¹. Разумеется, огромный потенциал Виго отмечается и общественным сознанием, но... примерно так, как воспринимается застрявшая в теле заноза. Как заноза Виго воздействует прежде всего на преподавательскую коллегию.

Без сомнения, приятно, когда тебя несет большая волна современности и со всех сторон раздаются возгласы, подтверждающие твою правоту. Все это приводит к коллективному самодовольству. Но когда ты слышишь, как в качестве элитарной мудрости преподносится то, что наскучило тебе уже за завтраком, при просмотре газетных передовиц, это не может не раздражать.

*

Земля всегда во всем участвует. Брут, первопредок, был Тупицей. Его так прозвали за то, что он, ощутив

¹ Пароль (фр.).

грозящую опасность, повел себя по-идиотски. Он сопровождал сыновей Тарквиния к Дельфийскому оракулу, где они спросили, кто получит наследство отца; и в ответ слышали: «Тот, кто первым поцелует мать». На обратном пути Брут, будто случайно упав, коснулся губами земли; так пророчество исполнилось.

Вероятно, я слишком много внимания уделил островам, но для анарха это важнейшая тема, поскольку он ведет одинокое – как бы *островное* – существование. Когда Синдбад, спустившись по реке Тигр, через Персидский залив и Аравийское море попадает в Индийский океан, он покидает исторический и даже мифический мир. Здесь начинается царство грез, интимнейшего внутреннего преобразования; здесь все запрещено и все разрешено. Мореплаватель страшится своих грез – но и торжествует над ними как их изобретатель, создатель.

Островной песок слепит глаза: это кораллы, измельченные прибоем до атомов. Однако энергия коралловых садов сохранилась; она невредимой прошла через великие мельничные жернова мира. Этот остров, он мог бы быть и рыбой, которая дремлет на солнце, пока на спине ее вырастают пальмы.

*

Вернемся, однако же, к Эвмесвилю: наши острова заселены недовольными, из общины которых вскоре вылупливается старое общество со всеми его достоинствами и недостатками. Эти недовольные воспринимают остров как междущарствие, как пересадочную станцию в путешествии к лучшему миру. Так бредут они от одной институции к дру-

гой – вечно недовольные, всегда разочарованные. Из той же оперы – их приверженность к подвалам и мансардам, к изгнанию и тюрьмам, а также к ссылке, которой они еще и гордятся. Когда же государственное здание, наконец, обрушивается, они оказываются первыми, кого оно убивает. Почему же они не знают, что, при всех изменениях, мир остается неизменным? Да потому, что они не находят пути в собственные глубины, к себе самим. А ведь только там сохраняется сущность, там – надежность. Им же приходится гибнуть из-за самих себя.

Анарх, может, тоже не минует тюрьмы – как одной из случайностей существования. Но, если такое случится, он будет искать вину у себя. Проплыл ли он слишком близко к Сцилле, слишком близко к Харибде? Поверил ли пению сирен? Одиссей не заткнул себе уши – это он предоставил делать матросам; но, чтобы насладиться волшебным пением, он велел привязать себя к мачте. Он сам себя запер. Так и тюрьма порой превращается в остров – в оплот свободной воли, в твою собственность.

*

Здесь следовало бы коснуться вопроса о *происхождении*, то есть поговорить о *наследии* и *среде*, двух факторах, влияние которых обычно переоценивается. Они – первая случайность, с которой мы сталкиваемся, появляясь на свет (неважно, рождаясь ли внебрачным ребенком в притоне или законным отпрыском во дворце). Нищенский посох или королевский скипетр – задаток, данный судьбой; часто потом одно сменяется на другое. Король Лир блуждает по пустоши, крепостная девка становится импера-

трицей. И снова и снова – Одиссей, божественный страстотерпец, который торжествует победу то как нищий, то как царь.

Слово «происхождение» имеет тысячу значений и один смысл. *Erbe*, «наследие», восходит к понятию *arebeit*¹ («работа»); анарх берет такую работу на себя, тогда как «крепостной, подневольный труд» – *robot*² – противоречит его природе. Ему знаком лишь один вид крепостничества, то есть власти над человеческим телом: муштра, посредством которой сам он подчиняет собственное тело себе.

Слово же *milieu* («среда») – однокоренное с *medius*³, а «*Medius est celui, qui est au milieu*» («Срединный – это тот, кто находится в середине»). Анарх осознает себя серединой; это его естественное право, каковое он признает и за любым другим человеком. Он не признает закона – но это не значит, что он пренебрегает законом или не изучает его со всей тщательностью. Если средой обитания анарха станет вода, он будет шевелить плавниками; если такой средой станет воздух – расправит крылья и полетит; он даже прибойную волну одолеет, превратившись в летучую рыбу. Анарх знает, когда ему лучше нырнуть под воду, однако его и огонь не устроит.

Мы здесь коснулись еще одного различия между анархом и анархистом: различия в отношении к

¹ Слово *arebeit* или *arabeit(i)* (ср.-в.-нем. «работа») – производное от германского *arbejdiz* («невзгода, нужда»). В полной цепочке современное немецкое слово *Erbe* («наследство»), как и *Arbeit* («работа»), восходит к индогерманскому *orbho* «осиротевший, потерявший родителей». Ключевыми здесь являются звуки *rb*; следует отметить, что эти же *rb* сохранились в родственных по смыслу и происхождению русских словах «раб», «работа» и «робот».

² Поздне-средневерхненемецкое слово *robot* – «отбывание барщины, подневольный труд» – тоже восходит к индогерманскому *orbho*.

³ Средин (лат.).

господству, к законодательной власти. Анархист – их смертельный враг, тогда как анарх их просто не признает. Он не стремится ни захватить власть, ни свергнуть существующее правительство, ни изменить его – главный удар этих сил его не затрагивает. Он должен лишь подстроиться под завихрения, вызванные таким ударом.

*

Анарх также не индивидуалист. Он не хочет выставить себя ни «великим человеком», ни вольнодумцем. Своего масштаба ему достаточно; свобода для него – не цель; она – его собственность. Он не будет становиться чьим-то врагом или реформатором: с ним легко найти общий язык и в хижине, и во дворце. Жизнь слишком коротка и слишком прекрасна, чтобы жертвовать ею ради какой бы то ни было идеи, хотя заражения идеализмом не всегда можно избежать. Но – шляпу долой перед мучениками.

Труднее отграничить анарха от солипсиста, который считает весь мир продуктом своего сознания. Этот продукт, хотя философы обращаются с ним как с пасынком, вообще-то весьма устойчив, о чем свидетельствуют хотя бы сновидения. Мир как дом, включая каркас дома, является нашим представлением, мир как пышно цветущий сад – нашей сновидческой мечтой.

Разумеется, солипсист – как все анархисты и как самый радикальный из них – попадает в собственную ловушку, поскольку приписывает себе самовластие, ответственность за которое ему не по плечу. Коль скоро он, Единственный, изобрел общество,

вина за несовершенство общества лежит исключительно на нем, и если в результате он терпит крушение, то в мифологическом плане это объясняется его бессилием как поэта, а в логическом – ошибками его мышления.

*

Анарх по праву рождения и наследования может быть предназначен для господства; это – всего лишь одна роль среди прочих, какими он должен мастерски владеть. Власть – подневольный труд, прежде всего для ее носителя: какой-нибудь Людовик XIV живет в золотой клетке и располагает меньшей свободой, чем последний из его конюхов. В своей истории русской кампании Толстой справедливо говорит, что среди всех тогдашних актеров Наполеон менее всего обладал свободой.

О цезарях можно судить по тому, в какой мере – вопреки давлению судьбы – им удалось добиться самореализации. В жизни Тиберия определенно был переломный момент: когда блеск и нищета власти начали его тяготить и он предпочел Капитулию остров – – свой Капри, который он, по словам Светония, выбрал потому, что тот со всех сторон «был огражден крутизной высочайших скал и глубиной моря».

Этот переломный момент датируется, видимо, временем, непосредственно предшествующим путешествию в Кампанию, из которого император уже не вернулся в Рим. Провозвестие перемены можно усмотреть в противоречивых поступках Тиберия. Так, он напросился на обед к Цестию Галлу, которого сам за несколько дней до того в сенате порицал как развратника и мота, – и приказал хозяину,

чтобы ничего из обычной роскоши не было отменено и чтобы за столом прислуживали обнаженные девушки.

Историки заметили эту двойственность: они разбирают Тиберию по косточкам – во всяком случае, вторую половину его жизни. Дескать, Капри он выбрал как место, где все дозволено, чтобы там, подальше от глаз публики, фантастическим образом удовлетворять свое сладострастие.

Это, возможно, и соответствует истине; но для анарха это вторично. Остров – идеальная модель для реализации каких угодно жизненных планов; кто-то другой мог бы выбрать остров, чтобы жить там в святости, поскольку ему опротивела мерзость мира. Такие примеры тоже имеются.

37

Я все еще за завтраком; Далин больше не доставляет мне хлопот. Подобающая химику смерть: он расплылся на атомы. В каналах маленькие рыбы еще агрессивнее крупных: они собираются в кровожадные косяки, от которых стараются уклониться даже барракуды.

Разговоры с Далином были поучительными, хотя и небезопасными; поэтому я по возможности держал его в узде, а порой и возражал ему – на случай подслушивания. То же, что выбалтывал его преемник, мог слушать любой. То были дела интимного свойства; при тирании смотрят сквозь пальцы на то, что индивид культивирует свои приватные пристрастия. Этим она отличается от деспотии, а также от цензорских инстинктов, которые превалируют в совершенной демократии. В Эвмесвиле сложилась

атмосфера, достаточно благоприятная для сибарита, художника, преступника и даже философа. Только *in politicis*¹ следует проявлять осторожность, иначе можно переступить известные границы. Я это продемонстрировал на примере судьбы Сальваторе, с одной стороны, и Карнекса – с другой.

Однажды за стойкой своего бара я записал разговор Кондора и Домо о двух претендентах, один из которых внушал опасения с моральной точки зрения, а другой – с политической. По поводу второго Домо заметил: «Он хотел бы с комфортом перепиливать сук, на котором мы сидим; и чтобы мы ему еще за это платили жалованье и пенсию – – – у него, видимо, с головою не все в порядке».

Я знал этого человека, одного из приятелей моего братца; он стал потом редактором «Крапивника». Журналисты, которые «приходят к власти», стартуют все-таки лучше, чем профессора: они привычны к работе в *derrières*².

*

Преемником Далина стал Чанг, один из поваров, откомандированных для обслуживания *кают*. Как я уже упоминал, Кондор предпочитает простое меню; китайская кухня – его гастрономический резерв на случай государственных визитов, прежде всего Желтого хана. Тогда китайская кухня предстает во всех своих изысках, не имеющих себе равных. У нас ближе всего к ней кухня провансальская – по крайней мере, в том, что касается пряностей.

¹ В отношении политических вопросов (*лат.*).

² В тылу, на задах (*фр.*).

Чанг – повар душой и телом; он скучает без своей кухни с жаровней и периодически заглядывает туда, чтобы отведать чего-нибудь. А ходить ему трудно. Когда в длинном кителе, достаемом ему до колен, Чанг, переваливаясь с боку на бок, утром входит ко мне, он уже оттирает рукавом лоб. В это время, когда органы чувств отдохнули, я особенно восприимчив к запахам – я не хочу сказать, что от него скверно пахнет, но пахнет, скажем так, непривычно. Далин по утрам приносил с собой что-то от бессонных ночей, заполненных возней с кислотами. А Чанг скорее пахнет рыбой, пусть даже и ненавязчиво. Его любимая приправа – дайонг, смешанный по собственным рецептам. Если я случайно сталкиваюсь с Чангом во второй половине дня, этот запах мне приятен.

Впрочем, он хороший официант; оставив поднос и налив мне чай, он остается, чтобы поговорить – скрестив руки и сунув ладони в рукава. Тематика разговоров вращается вокруг двух полюсов: во-первых, естественно, вокруг кулинарного искусства и, во-вторых, – вокруг его бабенки Пинь-Син, которая внизу, в городе, хлопочет по дому и с нарастающим нетерпением тоскует по Чангу – – – ему, видимо, очень хочется меня в этом убедить.

*

Его старания усиливаются по мере того, как приближается конец смены. Это вообще характерно для касбы. Если эмблемой Сальваторе считать коня, а эмблемой Небека, о котором я еще буду говорить, – плетъ, то эмблема Чанга – жаровня. Она – необходимый атрибут мастерства у плиты и в постели. Чтобы

я мог признать Чанга представителем старинной культуры мандаринов, ему не хватает лишь третьего: литературной образованности. Но он не страдает от отсутствия таковой, да и наложниц не старается завести – ему вполне хватает Пинь-Син. Я часто встречал ее в городе, когда она, стуча каблучками, покидала один из пестрых магазинчиков. Лицо ее было ярко нарумянено, а голову покрывала черная атласная шапочка из Цзяннани, города, прославившегося красивыми девушками. Там, наряду с другими искусствами, девушек обучают музыке и рукоделию; родители продают их почти в детском возрасте.

Пища, в понимании Чанга, должна способствовать двум вещам: упитанности и любовному пылу. Она должна быть вкусной и возбуждающей. Отсюда его пристрастие к желеобразным супам и острым рагу, ко всяким морским продуктам – рыбе, моллюскам, трепангам и ракообразным. Паштеты из угря – его шедевр. Он также настоятельно рекомендует определенные виды окуривания, натираание тела ослиным молоком и жиром верблюжьего горба. Это, дескать, фантастически повышает мужскую потенцию.

Обычно я проверяю, что стоит на подносе, чтобы он тайком не подсунул мне одно из своих фирменных блюд. Однажды, утром перед концом смены, он принес мне смесь меда и толченого миндаля с какими-то еще ингредиентами, трудно определимыми:

– Мануэло, ты должен выпить это натошак; раз выпьешь и уже не сможешь остановиться.

– Этого еще не хватало, я и начинать-то не собираюсь.

– Мануэло, ты живешь неразумно: принимаешь холодные ванны и портишь глаза книгами. Поверь мне, это тебе не на пользу. Ты же не как другие средиземноморцы (этим выражением он подчеркивает свою непохожесть на нас), которые пьют пилюли, потому что хотят трахаться как можно чаще. Вот у них и получается *трах-трах-трах*, как на железной дороге.

Другое дело он, Чанг: человек, который берется за дело обдуманно и предпочитает пользоваться слабым огнем, пока не добьется нужной степени готовности, – – – одним словом, тут важен результат, а *сколько раз* – никакого значения не имеет.

– Сказано, я к этому не притронусь; они-то бараны, ты же – упертый зануда. А теперь исчезни, мне надо работать.

*

Чанг не обиделся – или не показал виду. Волей-неволей мне пришлось еще выслушать, что его ожидает вечером. Так у него проявляется предвкушение радости. По его словам, Пинь-Син невозможно представить себе неухоженной; кожа рук у нее обязательно будет нежной. Она делает маникюр и педикюр. Она, дескать, всегда готовит ужин заранее. Чанг приносит с собою приправы, которые раздобыл на касбе и у трактирщиков тех заведений, на вывеске которых красуется пунцовый рак. Там его все знают и уважают как лейб-повара. Кроме того, повар и трактирщики всегда поддерживают деловые контакты. Домо говаривал: «То, что повара под полою что-то отсюда уносят, вполне допустимо – но я не хочу видеть, как у кого-то из-за пазухи торчит рыбий хвост».

Пинь-Син заранее воскуривала благовония и зажигала лампы; неяркий свет выхватывал из темноты лишь перламутровые инкрустации на сундуках и комодах. Странно, что, несмотря на свою любовь к бамбуку и шелку, китайцы предпочитают темную и тяжелую мебель.

«Знаешь ли, Мануэло: женскую кожу я хочу видеть хорошо, но не отчетливо». Недурно сформулированное различие – не могу этого не признать. Добравшись до дома, Чанг убеждается в том, что все сделано соответственно его указаниям, затем принимает очень горячую ванну и облачается в домашний халат. Они садятся за стол, кушанья подает служанка. Сервировав в качестве последнего блюда суп и поблагодарив хозяев за честь, она исчезает на всю ночь. Они остаются за чаем.

«Ну кончай же свой рассказ, чтобы я от тебя избавился!»

Куда там! Следует описание длинной церемонии раздевания: Чанг лестью заставляя подругу сбрасывать лепесток за лепестком. Наконец, она, обнаженная, сидит в кресле напротив него; он ею любит. Интересно, сколько пройдет времени, прежде чем он, не дотрагиваясь до нее, протянет к ней ладонь... но тотчас снова отдернет, словно рыба, которая испугалась приманки. Гладить женские руки, плечи, колени – этим он займется лишь далеко за полночь.

О грудях Пинь-Син я уже ничего не услышу, чем обязан не столько скромности Чанга, сколько головокружению, которое его охватывает. Кажется, будто падает занавес – когда сформировавшееся в

голове представление становится таким ярким, что Чанг лишается дара речи. Никогда не сходящая с его лица улыбка в такие моменты становится гримасой – как у каменных чудовищ, охраняющих китайские храмы.

*

После гибели Далина Чанга прикомандировали ко мне, чтобы мы вместе охраняли пост возле Утиной хижины; там он мог доставить мне неприятности – правда, не такие, каких я ждал от Далина, но все-таки мог. Здесь никому нельзя доверять, когда приходит пора красного цвета – огня и крови. С этой точки зрения наши с Чангом разговоры за завтраком не лишены ценности.

Я не полагаюсь на расхожие представления о национальном характере – во-первых, потому что они представляют собой не более чем грубое обобщение, а во-вторых, потому что в эпоху борющихся народов и Всемирного государства сами границы между нациями утратили четкость. Китайцев можно встретить повсюду, среди людей со всевозможными оттенками кожи. И, следовательно, если сэр Джон Барроу, старый путешественник, который умел наблюдать и сравнивать, сказал о китайцах: «Их национальный характер – редкостная смесь гордости и низости, притворной серьезности и практической никчемности, утонченной обходительности и грубой невежественности», то толку мне от этого немного. Не без основания один из его современников, ныне забытый, но превосходный историк Клемм заметил: «Эта картина подходит к любой цивилизованной нации на земле. В любом народе, насчитывающем мил-

лионы индивидов, можно обнаружить добро и зло во всех их нюансах».

Во времена Барроу и позднее, когда по Китаю путешествовал Гюк, в стране этой – вплоть до глубин Внутренней Монголии – монахи в бесчисленных монастырях жили согласно катехизису учеников Будды. Он начинается с объяснения слова *шама*, означающего «сострадание». И первая из его десяти заповедей гласит: «Ты не должен убивать никакое живое существо, даже ничтожнейшее насекомое». А это – нечто совсем иное, чем заповеди Саваофа.

*

Что мне казалось в Чанге дальневосточной чертой, было особым соотношением между восприятием времени и чувственностью. Мандарины заботятся о своих руках, отращивают невероятно длинные ногти, ценят поверхности, прикосновение к которым приятно: шелк, фарфор, нефрит, слоновую кость и лак. Они тонкими кисточками щекочут ушные проходы. Их врачи открыли систему чувствительных точек тел, составили дерматологическую карту.

Китайцы – как будто – первыми изобрели фитиль и стали измерять время медленно тлеющими запальными шнурами. Их искусство пытки издавна пользуется дурной славой. С другой стороны, их сильная сторона – медитация, духовное спокойствие среди паводка образных миров. В их храмах на тронах восседают боги, при виде которых человек начинает грезить.

Чанга интересует только *материальное*. Уже опиум для него слишком духовен, к тому же этот нарко-

тик затормаживает либидо. Чанг – этакий Фабий Кунктатор своих вожделений, этакий *retardeur par excellence*¹. Он наверняка уже наметил момент, когда повернется спиной к Утиной хижине. Поскольку размышлял о возможной тревоге не менее основательно, чем я.

– Дружище, если ты попытаешься смыться прежде, чем я позволю, это скорее всего кончится для тебя скверно.

– Откуда такие мысли, Эмануэло, – да лучше я приму смерть, разрубленный на тысячу кусков, чем брошу тебя в беде.

38

О Небеке – в связи с проблемой Утиной хижины – судить проще. Он доставит меньше всего хлопот, если дело дойдет до переворота. Когда я оставлю позицию, он найдет себе пристанище где-нибудь в городе – вернее всего там, где сможет участвовать в грабежах.

Небек ливанец; он учился в Бейруте. Он, как и я, служит на касбе в период студенческих каникул; я достаточно хорошо его знаю, поскольку он работает как востоковед в институте Виго. Еще не имея научного звания и получая скудное жалованье, он подрабатывает на должности стюарда. Из Бейрута периодически приходят векселя на небольшую сумму; Небек женат – или, скорее, *был* женат.

Виго видит его только в институте, к себе в сад не приглашает: видимо, этот человек ему неприятен. С другой стороны, он ценит знания Небека. В архи-

¹ Медлящий (замедлитель) в полном смысле слова (фр.).

пелаге истории Небек выбрал для себя такой остров, где еще и сегодня возможны настоящие открытия. Авторитетные ориенталисты – редкость; великих же можно пересчитать по пальцам одной руки. Ориенталистика – колоссальная область; и, как и область гнозиса, требует от человека трудно определимых качеств. Необходима врожденная склонность к таким вещам, она помогает преодолеть филологические барьеры. И тогда открывается неисчерпаемая сокровищница рукописей и старинных печатных листов, где среди теологической рухляди можно найти подлинные жемчужины.

Небек обладает такими задатками. Но он и мне неприятен: хотя бы уже потому, что постоянно добивается доступа к моему луминару, который – наряду с возможностью вести непосредственные наблюдения в ночном баре – является главной приманкой, удерживающей меня на касбе. Я, когда вызываю образы прошлого, нуждаюсь в полной тишине: объект *там* и мой глаз *здесь* вступают в тайный брачный союз; присутствие третьего привнесло бы в нашу брачную ночь оттенок непристойности.

Кроме того, сами темы, которыми интересуется Небек, увели бы меня слишком далеко. Он занимается великими ханами – – – Чингисханом, Гаюком, Хубилаем, Бабуром, Тамерланом и прочими. Меня эта сфера увлекает, но, так сказать, лишь на ее периферии – лишь там, где предводительствуемые этими ханами орды вламывались в культурное пространство. То, как они, нахлынув из Великой Монголии, опустошали целые страны и народы и потом снова исчезали, словно дурной сон, носит какой-то стихийный, пульсирующий характер. Может, эти нашествия – как морские приливы и отливы – явля-

ются одним из регуляторов жизни на Земле – – – да, но где же управляющая ими Луна? В любом случае историк тут мало что для себя найдет.

*

Однажды ночью, в саду у Виго, мы заговорили о Небеке, и Виго мне доверительно сказал: «Я, собственно, не знаю, заслуживает ли он звания востоковеда. Он все-таки больше криминалист, изучающий отпечатки ног на песке. А эти следы запечатлелись только в культурном пространстве. Даже на Рейне находят монгольские подковы. То же, что Небек откапывает в монастырях тибетских лам, никакой ценности не имеет. Однако он изучает китайские, персидские, индийские и западно-европейские источники, радуясь некогда полученным нами рубцам от ожогов. Здесь, в Эвмесвиле, человеческая масса *неисторична*, элита же – *метаисторична*, то есть большинство людей ведут вегетативное существование и лишь немногие пытаются осмыслить происходящее, – – – а вот Небек *антиисторичен*: он почувствует себя хорошо лишь тогда, когда наш город будет охвачен пожаром».

*

Виго считается с каждым, поэтому эта критика меня удивила. Затем он перешел к обобщению: «Там, где происходит вторжение диких орд, историческое время гаснет. Такое невозможно просчитать заранее, как невозможно предвидеть падение метеоритов. На небосводе потом остаются темные дыры, в которых мы вряд ли обнаружим что-то,

кроме межзвездной материи. У нас в хранилище пылится московская летопись эпохи Ивана III, составленная вскоре после того, как он освободился от господства одной из таких орд. Сведения в ней собраны скудные, да иначе и быть не может; но я обратил внимание на заключение, в котором наивно выражена мысль об уничтоженном времени: "...и сие нестерпимое состояние продолжалось четыреста лет".

Да, бывают народы, обходящиеся без домов и календаря, но чувствительные к изменениям атмосферы, – *лунные народы*, в глазах историка не имеющие четких очертаний. На этом их свойстве, возможно, и основывается антипатия одного из наших народов, очень древних, по отношению к туркам».

*

Как любой преподаватель, Небек тоже имел доступ к Большому луминару – разумеется, только вниз, в институте, и на ограниченный срок. С луминаром дело обстоит как с вождленным универсальным ключом, в этом смысле он имеет сходство с золотым фонофором. *Слушатели* в том и другом случае работают на аппаратах с ограниченной клавиатурой.

Здесь напрашивается сравнение с мистическими ложами: человек сперва становится учеником, потом подмастерьем и наконец мастером; члены ложи узнают друг друга по паролю и особому приветственному жесту. Многие терпят неудачу уже на этапе освоения технических приемов: идеограммы заучиваются с трудом, далеко не сразу ты овладеешь этой наукой и начинаешь пользоваться ими играючи. Данных в луминаре больше, чем молекул

в мозгу взрослого человека. Периодически проводятся и проверки.

Здесь, наверху, Небек лишен доступа к этому великому инструменту. В чем я ему сочувствую. Ему приходится довольствоваться сведениями, которые можно почерпнуть из хранилищ Желтого хана; это соответствует его специализации, но для него притягателен стереоскопический метод как таковой.

Специализацией Небека объясняются и научные командировки, которые порой приводят его в ханские владения, из-за чего он приобрел у нас некоторый политический вес, пусть и достаточно скромный. Небек не упускает случая намекнуть, что однажды получил аудиенцию у самого хана. Как бы то ни было, ливанец принимает участие в утренних верховых прогулках Кондора – причем не в обозе, как Сальваторе, которого он хорошо знал, а непосредственно в составе малой свиты, вместе с *миньонами* и личной охраной.

То, что он хотел бы делить часы работы у луминара со мной, отвечает и его желанию теснее со мною сойтись. Это сближает его с другими стюардами, которые мне прислуживают. Они чувствуют, что я занимаю нейтральную позицию, и у них развязывается язык. А в результате я слышу такое, о чем они не сказали бы даже своей жене, узнаю самые интимные подробности их жизни. Да и чем был бы историк без знания характеров: художником, который имеет в своем распоряжении только карандаш, но не краски. С другой стороны, мне следует проявлять осторожность. Как при любом нейтралитете, я не должен ни во что вмешиваться.

*

Небек среднего роста, хорошо сложен, широкоплеч, с тонкой талией и мускулистым торсом – типичная фигура всадника. Сапоги, бриджи и кожаный ремень дополняют эту картину. Ко мне он входил уже готовым для верховой прогулки, распространяя вокруг себя легкий запах юфти. Ухоженное, но слегка припухшее лицо, словно после парной, – уж и не знаю, сколько раз на дню он меняет сорочку. Руку он подает неохотно.

Волосы у него не белокурые, как ему бы хотелось, а скорее блекло-восковые; он всегда педантично выбрит, хотя растительность у него на лице негустая. Не знаю, занимается ли он сейчас эпиляцией... Во всяком случае, занимался тогда, когда жил со своей Голубкой, как я вскоре от него узнал.

Таким исповедям предшествовало наше размежевание. Хотя это и пустячный эпизод, я хочу его упомянуть, поскольку он бросает дополнительный свет на распорядок внутренней службы. Сразу после утреннего подъема я, как уже говорилось, бываю особенно восприимчив к некоторым ощущениям – например, к запахам кожи, лошадей и собак, которые мне уже сами по себе неприятны. Раздражал меня и казачий наряд Небека. Без сомнения, ливанец так одевался намеренно. Наконец я сказал ему, хотя младшие служащие на касбе обычно обращаются друг к другу на «ты»:

– По утрам я бы хотел видеть вас в форме официанта.

У Небека бледное лицо – и не только потому, что он, подобно мне, в свободное от службы время проводит целые ночи перед луминаром. Он избегает солнца, глаза его имеют оттенок самой блеклой голубизны. Лицо у него беспокойное, с грозowymi

проблесками, в какие-то мгновения контуры скул приобретают сарматскую резкость. Когда Луна стоит в созвездии Стрельца, движения Небека обретают сомнамбулическую уверенность.

Он ответил:

– Вы мне не можете давать никаких указаний и знаете это не хуже, чем я.

– Однако так будет лучше.

Он вскинул подбородок, изображая оскорбленное достоинство. Потом собрал на поднос грязную посуду и вышел из комнаты. На следующее утро Небек появился в полосатом кителе, с пилоткой на голове. Шпоры он снял.

*

*Modus in rebus*¹ – – – следует знать правила игры, независимо от того, обретаешься ли ты в тирании, в демократии или в публичном доме. Это касается прежде всего анарха – – – это его вторая заповедь, не менее важная, чем первая: «Познай самого себя».

Небек, будучи не анархом, а сторонником грубой силы, нарушил правила. Он был слишком умен, чтобы не признать этого, и сразу исправил свой промах.

За всем, что касается церемониала приветствий и одежды, Домо следит очень пристально, и правильно делает, ибо с погрешностей в этой сфере начинается всякое непокорство. Стоит позволить кому-то не застегнуть верхнюю пуговицу, и вскоре он явится голый.

Кроме того, внизу, в институте, я, как правая рука Виго, был по своему положению выше Небека.

¹ Всеу есть предел; все имеет свою меру (лат.) – цитата из «Сатир» Горация.

И наконец, Небек все еще надеялся получить доступ к моему луминару. Так что вскоре мы вернулись к хорошим отношениям.

У читателя может сложиться впечатление, что причиной его промаха была невежливость; но это не так. Небек, напротив, отличался наилучшими манерами, какие только можно себе представить. Что, видимо, было как-то связано со свойственной ему обостренной чувствительностью кожи, вообще с его исключительной сенситивностью, из-за которой он всегда держался на некотором отдалении от других. Потому-то он и двигался, как танцмейстер.

С другой стороны – – – если бы танец выманил его в сад, возможно, маска с него спала бы.

*

Однажды ночью, когда я долго работал в баре, а потом, у себя, сидел за бокалом вина, он без предупреждения вошел ко мне в комнату. Было полнолуние; лицо Небека ежесекундно менялось. Очевидно, он уже успел выпить; я налил ему еще. На нем была шнурованная литевка¹, расстегнутая наполовину, – фантастический наряд. Под ним – молочно-белая кожа. Видимо, в эту ночь он тоже кого-то обслуживал.

Мы долго пили, потом я придвинулся к нему ближе и положил руку ему на плечо:

– Небек, – – – какая беда с тобой приключилась?

Лучше бы я не спрашивал. Сцена мгновенно преобразилась. Я сидел теперь рядом с опустившимся сыном русского попа – в кабаке, где по полу бегают тараканы, а на стене висят замызганные иконы.

¹ Короткий польский кафтан особенного покроя.

Кто-то играл на цитре *La paloma*¹. Под струны инструмента был подложен листок с нотами, и рука музыканта лишь следовала напечатанному клише...

Небек сказал, что потерял *белую голубку*, которую почитал как святыню, – и притом потерял в результате чужой подлости. В ней самой он не сомневался: она, дескать, выдержала испытание, которому он ее подверг. Он рассказал ей свой сон:

«Я изнемогаю в нижнем кругу ада, куда попал по своей вине, а ты покоишься на плече Господа. Ты взираешь сверху на мои муки. Всего одна капля воды облегчила бы их, пусть лишь на мгновение; я взываю к тебе о помощи. Ты не колеблешься – ты выклевываешь око Господне, и оно падает мне на язык... Для меня это было спасением – скажи, ты могла бы так поступить?»

Он откинул со лба прядь волос:

– Представляешь, Мануэль, она пообещала – твердо пообещала. Я облобызал ей ноги.

*

Эта история мне не понравилась; она создала в моей комнате неприятную атмосферу. Можно потерять самообладание, но нельзя забывать о приличиях. А Небек к такой забывчивости предрасположен, отсюда и его чрезмерная чистоплотность, превращавшаяся чуть ли не в навязчивую идею.

Было жарко; я распахнул окно и услышал шаги караульных по гранитной вымостке. Бывают шумы, которые остужают. Такая вот вариация на тему притчи о богаче и Лазаре. Эта притча – с ран-

¹ *La paloma* – голубка (исп.); латиноамериканский танец и песня.

них лет – относилась к тем текстам Писания, которые мне особенно не по нутру: отец Авраам в своем высокомерии, опирающемся на знание Закона, запрещает Лазарю даже «концом перста» освежить язык богачу, который уже превратился в бедняка и мучается в адском пламени. Легионы самоуверенных *литавришков* руководствовались этим безобразным примером.

Я снова уселся напротив Небека:

– А теперь давай ближе к делу. Что все-таки случилось?

*

Бейрут – знойный город, где вперемешку живут мусульмане, христиане и иудеи, к тому же еще расколотые на секты. Как бывают земли с залежами урана, которые, вероятно, повлияли на человеческую эволюцию больше, чем мы можем себе представить даже во сне, так есть и ландшафты, являющиеся очагами непрерывного религиозного брожения. Время там действительно по-иному, чем в профанной истории: там оно *производится*.

К упомянутым сектам относятся *друзы* и *марониты*; первые ведут свое происхождение от божественного Дарази, вторые – от святого Марона. Обе секты столетиями нападают друг на друга.

Небек, поступив в Бейрутский университет, снял комнату в одной маронитской семье, у вдовы с двумя детьми: дочерью – она и стала потом его Голубкой – и маленьким сыном. Семья эта жила в двухэтажном доме недалеко от морского берега, у выезда к отелю «Маамельтейн».

Голубка обворожила студента с первого же дня – – – своей застенчивостью, бледностью, почти-

тельным отношением к матери, тем, как она заботилась о братишке, украшала образа и молилась перед ними.

Потом произошло то, что и должно было произойти, – в такую же лунную ночь, как эта; я пропускаю классические подробности – – – «дитя, столь ангельски чиста...».

Вдова, само собой, тотчас все заприметила; и, казалось, взирала на влюбленных не без благосклонности. Понятно и то, что она, еще прежде, чем обнаружили последствия, стала торопить молодого человека с женитьбой. Небек же под покровом ночи покинул гостеприимный дом и отправился в Эвмесвиль. Он хотел продолжить учебу; я познакомился с ним, когда он представлялся Виго. Мы были очарованы его первым визитом. К тому, что он мог рассказать даже о самых малоизвестных фактах, добавлялись свойственная ему пассивная сила внушения, улыбчивое молчание, к которому невозможно было не отнестись с симпатией. Молодой человек, без сомнения, заслуживал стипендии. Нашлись и такие, что за него походатайствовали.

*

Вскоре, однако, Небек заметил, что ему трудно выносить разлуку с Голубкой; она преследовала его. И в воспоминаниях чувство стало сильнее, чем было, когда они находились рядом. Однажды он явился к Виго:

– Я хотел бы жениться. Мы ждем ребенка.

Виго сказал:

– Поздравляю. Ребенок – великое дело, мне остается лишь одобрить ваше решение.

Небек полетел в Бейрут и обвенчался там по обряду маронитской церкви, потом вернулся с Голубкой обратно. Хотя мы почти не общаемся между собой за пределами факультета, однажды я таки побывал у него в гостях. Трудно понять, что мужчина находит в женщине и что прибавляет к найденному его фантазия – особенно если он сидит перед тобой с таким видом, словно хочет сказать: «Ну, что вы теперь скажете?»

Я, во всяком случае, помню Голубку не лучше, чем какой-нибудь рисунок пастелью, который вежливо отложил в сторону, рассмотрев его среди дюжины прочих. Она разливала чай и внимательно прислушивалась к разговору, время от времени сопровождая его улыбкой. «Тоже лунное создание – возможно, ей следовало бы немного нарумяниться».

Вскоре после этого родился ребенок. Он умер, едва начав дышать, – мальчик с открытым сверху головным мозгом. Небек получил от Домо отпуск; на касбу он вернулся еще бледнее обычного. Из всех часов, которые он просчитывал загодя, час смерти ребенка был наихудшим: Марс восходил, Юпитер закатывался – – – и все-таки лучшего выхода для них бы не нашлось.

*

Конечно, так было лучше – – – вскоре я нашел этому простое объяснение. При всем, что угнетало жену Небека, выносить здоровый плод она не могла.

Два обстоятельства показались мне совершенно невероятными – – – во-первых, что Голубка так долго берегла свою тайну, и, во-вторых, что Небек, рожденный полицейский и чуткий следопыт, так поздно эту тайну раскрыл. Понятно, в ту лунную

ночь он находился в трансе, однако ни до, ни после их первого соития недостатка в косвенных уликах не было. Очевидно, у него в глазу образовалось дополнительное слепое пятно – феномен, знакомый каждому из нас по личному опыту.

В какой-то момент он все же почувствовал пальцами конец подозрительной ниточки; и, как паук, вскарабкался по ней вверх. Остальное было обыкновенной рутинной, дознанием с пристрастием. Уже по натуре Небек относился к тем, кого занимает прошлая жизнь близких ему людей; на листьях мирта не должно быть ни пылинки. «Проклятье, кто-то всегда опережает супруга: либо кузен в садовой беседке, либо дядя, сажавший девочку на колени».

В данном случае господином, опередившим супруга, оказался один студент, до появления Небека снимавший комнату у той самой вдовы. И он тоже, подобно Небеку, под покровом ночи покинул дом, когда дал о себе знать маленький Бенджамин – – ребенок Голубки, а вовсе не ее младший брат.

*

В той секте – речь идет о «*Haeretici ad Libanum montem*» – господствуют ветхозаветные представления. Аскетическая строгость пользуется высочайшим почетом. Равным образом – невредимая девственная плева и кровная месть. Так что Небек оказался там в своей стихии.

Вдова симулировала беременность и уехала с дочерью в горы, где Голубка и родила Бенджамина. С ним, представив его братиком девушки, они и вернулись в Бейрут. Будь отец жив, он бы убил дочь.

Даже самый дальний родственник мужского пола, если бы таковой имелся, обошелся бы с молодой матерью так же.

То, что тайна хранилась так долго, я могу объяснить себе лишь покорностью Голубки и строгостью вдовы, которая, несомненно, детально проинструктировала дочку. Однако внутреннее напряжение, должно быть, было невыносимым.

Всю историю я узнал от Небека в ту лунную ночь, сидя напротив него. У него, очевидно, сдали нервы. Я спросил:

– Почему ты...

– Не перерезал ей тотчас же горло?

– Нет, но почему ты не отправил ее домой? Такое почти с каждым случается, пусть и не при столь вопиющих обстоятельствах. Ты ведь тоже не святой.

– Слава богу, нет. Зато я стал ее дьяволом, после того как она была моим ангелом. Это она заслужила, более чем. Так дешево она от меня не отделается.

– Небек, поверь мне: она такая, какой ты знал ее с самого начала; ты увидел ее сущность, все остальное – акциденции. Она – прирожденный жертвенный агнец.

Именно это его и бесило. Потому что в каких-то душевных безднах он смаковал то, что с ним произошло.

*

Поначалу он оказывал давление на вдову. Он полетел в Бейрут и сделал ее своей рабыней, в физическом смысле тоже. Он овладел ею прямо на кухне, утолил первую ярость перед горячей плитой. «Тут было не до церемоний – – – она мигом сообразила, что к чему». Потом начал выкачивать из нее ренту –

отбирал ее виноградник, участок за участком, в конце концов настал бы черед дома. Голубка оставалась у него в руках.

Каждый раз, возвратившись с касбы, он устраивал суд: сам сидел в кресле, жена же стояла перед ним на коленях. На подробностях я не хочу останавливаться. Он все более дотошно ее допрашивал. Чувствовал неодолимую потребность вкапываться глубже и глубже – прежде всего интересуясь той ночью, которую Голубка провела с его предшественником. Небек рассмотрел эту ночь до последнего волокнца – пользуясь, так сказать, лупой времени. В нем, видимо, действовал первобытный страх, который ливанец пытался утихомирить, причиняя муки другому человеку.

– Небек, ты все равно ничего не исправишь; ты только угробишь свою жену. Потом, на ее могиле, будешь оплакивать ее как святую и вскоре повесишься на каком-нибудь чердаке. Лучше отошли ее домой.

Магма архейской эры, непомерная тяжесть. «Вдруг зажужжала проснувшаяся муха, пронеслась над кроватью и затихла у изголовья... Князь вслушивался, напрягая все силы, чтобы понять, и все спрашивая взглядом. “Это ты?” – выговорил он наконец, кивнув головой на портьеру. “Это... я...” – прошептал Рогожин и потупился».

*

– Небек, это еще не финал: ты должен измерить глубину самого себя. Скажи мне, были ли у тебя в детстве – как у всякого человека – грезы, мечтания, которым мы предаемся, прежде чем узнаем, какая

игра разыгрывается в действительной жизни, – короче, *сны наяву*?

Да, такое ему хорошо знакомо. Родители рано отдали его в медресе, своего рода детский сад для отпрысков богатых семей. Он пробыв там лишь короткое время: провел одно знойное, сухое лето в Бекаа – плодородной долине между хребтами Ливана и Антиливана. Я давно замечал, что он умеет сидеть по-турецки: к этому привыкаешь в детстве, либо уже никогда.

– Наш школьный наставник – его звали Мустафа – был человек невежественный, незаслуженно носивший чалму; он едва мог читать, да и то лишь в случае крайней нужды. Тем не менее никто и пикнуть не смел, когда он входил в класс; на нем были высокие сапоги, за поясом – писчие принадлежности, под мышкой – Коран. Его длинные усы свисали с обеих сторон до самой груди. Мустафа был строгим; родители это одобряли.

Он становился на кафедру, пристально оглядывал нас, точно шталмейстер – лошадей, и произносил молитву, которую мы повторяли вслед за ним. Затем он вызывал нас отвечать заданный урок – чему, как все тупые преподаватели, придавал самое большое значение. Мне-то это нетрудно давалось; я был его любимым учеником, ибо уже тогда мог без запинки повторить текст наизусть после того, как он медленно проговорит его вслух. Даже вторую суру – самую длинную, где речь идет о корове, – я, согнувшись в поклоне, декламировал так, словно читал ее со страницы. А ведь мне тогда едва исполнилось шесть лет. Я был его *парадным рысаком*. Еще и из-за своей учтивости, которую ты знаешь.

Среди моих школьных товарищей были такие, которые отвечали урок более-менее хорошо, и такие, кто отвечал плохо либо вовсе не мог связать двух слов. Когда их вызывали, я мысленно потирал руки, ибо знал, что сейчас последует. Мустафа поглаживал кончики усов и мрачнел лицом. Если он и был в чем-то мастером, так это в искусстве наказывать. Провинившийся должен был выйти вперед, приспустить штаны и лечь грудью на ограждение кафедры. Потом он получал удары камышовой тростью. Мы видели его лицо, искривившееся в гримасу, какие бывают у резных фигурок чудовищ, украшающих сточные желоба.

Я заметил, что для таких поучений учитель выбирает немногих, одних и тех же учеников – и даже не тех, что отвечают хуже всего. Нет, то были симпатичные мальчики – сынишки важных господ, носящих титул *эфенди*, – которые заранее знали, что им предстоит, и начинали заикаться, стоило учителю бросить на них взгляд. Именно эти мальчики нравились больше других и мне.

Уже с утра было жарко; я старался держаться в тени, когда с дощечкой для письма направлялся к мечети и по дороге, шевеля губами, декламировал заданную нам суру Корана, – – – однако попутно я предавался приятным мыслям. Вот бы такого-то или такого-то ученика опять подвергли порке...

Я почти никогда не разочаровывался в своей надежде. Без двух-трех наущений у Мустафы ни один урок не обходился, особенно если учитель был в хорошем настроении. Как ни странно, от Мустафы не ускользнуло, что я его действия одобряю. Когда он вызывал к кафедре одного из наших любимцев, мы с ним перемигивались – ах, как было хорошо.

Мустафа сделался для меня образцом: я идентифицировал себя с ним. У нас в саду стояла беседка, по вечерам я уходил туда, чтобы помечтать о Мустафе; место было уединенное. Эта беседка густо заросла, даже вход в нее скрывался за занавесом из вьющихся растений. Из *двух* растений, которые переплелись между собой: бутылочной тыквы и бешеного огурца. Первую посадил садовник, второй же вырос сам, как сорняк.

Я сидел там, словно птица в зеленой клетке, пока не всходила луна. С решетки беседки свисали тыквенные плоды, похожие на тяжелые булавы.

Лицо Небека снова обрело контур; он растопырил пальцы, будто взвешивал на ладони воображаемую тыкву.

– А тут еще эти бешеные огурцы. Забавные плоды, внешне похожие на мирабель, – желтые, когда созревают. Созрев, они напружиниваются, точно взведенные до упора пистолеты, – и стоит дотронуться до них пальцем, даже только подумать об этом, как они лопаются, выбрасывая сок и семена. Я развлекался с ними; на вкус они были горькими, если заряд попал мне на губы.

В беседке я превращался в Мустафу, заодно повышая себя до ранга паши. Я вызывал своих любимцев к кафедре, отвечать урок, и проявлял по отношению к ним еще большую строгость, чем мой учитель. Я, между прочим, ввел одно новшество: в моем классе учились и девочки. Я уже давно наблюдал за ними, заглядывая в соседние сады; девочек – с ранних лет – охраняли евнухи.

У меня им тоже приходилось приспускать штаны: я вызывал их попарно, чтобы выяснить, чем они занимались друг с дружкой, — — — и отпирательства им не помогали. Однако то, в чем они должны были сознаться — — — их тайна, — так и осталось от меня скрытым, хотя в виновности девочек я нисколько не сомневался.

Это была моя любимая игра в том саду; часто я занимался ею всю ночь, пока в кустах не начинали шебуршиться проснувшиеся птицы; тогда я крадучись возвращался в дом. Я — ночной человек; уже в те годы я отличался бледностью. Отец полагал, что я переусердствовал с занятиями; он обо мне беспокоился.

*

Вот что рассказал мне Небек. Удивительно, как рано начинает звучать музыкальная композиция жизни конкретного человека, потом повторяющаяся в его судьбе. Я уже раньше догадывался: Небек и Голубка самой судьбой предназначены друг для друга. Речь шла не о вине этой женщины — — — а о ее тайне, которую Небек не вырвал бы никакой пыткой; той тайне, которая делала Голубку виновной и из-за которой она в конечном счете погибла.

Ночь посветлела, в конюшнях переступали копытами лошади, залаяли собаки. Я сказал:

— Ты не можешь ее простить — — — я это вижу. Что ж, тогда произнеси трижды формулу развода... и отошли эту женщину домой.

Здесь не место описывать, как я настоял на своем, как добился, чтобы он меня послушался: скажу лишь, что у меня было необходимое для этого средство. Однако все мои хлопоты оказались напрас-

ными. *Oleum et operam perdidit*¹. Едва Голубка добралась до Бейрута, как от ее матери пришло известие, что она умерла.

Хотя вдова прокляла его, Небек полетел в Бейрут; он не позволил себя отговорить. Вернулся он еще более бледным, чем обычно, однако лицо его – как бы это выразить – было каким-то просветленным. Он рассказал мне, что произошло.

В тех краях зимой согреваются мангалом – глиняной либо медной жаровней с тлеющим углем, которую ставят под стол, застеленный ковром. И отравиться угольным дымом совсем нетрудно; там такое нередко случается. Таким способом Голубка и покончила с собой – предусмотрев все мелочи, что особо подчеркивал Небек. Она нарядилась, точно на праздник, и обмотала голову платком, чтобы не испортить прическу. Теперь она стала в его глазах святой.

*

«– Да, да! – с жаром подтвердил князь.

<...>

– <...> Слышишь ты дух или нет?

– Может, и слышу, не знаю. К утру наверно пойдет».

Вопроса об отношении анарха к этосу я уже вскользь касался. Между этосом и моралью следует проводить различие. Любой воин подчиняется этосу своего сословия, при этом с моральной точки зрения его поведение может казаться сомнитель-

¹ «И масло, и труд мною потеряны напрасно» (лат.); цитата из комедии Плавта «Молодой пуниец» (I, 2, 119), где слова эти произносит гетера, которой напрасно пришлось наряжаться и украшать себя.

ным. *Подлинное бытие и жизнь в соответствии с обычаями* порой вступают в конфликт.

Поведение командиров и подчиненных на касбе – в частности, стюардов, которые приносят мне завтрак и которым предстоит, вместе со мной, сражаться возле Утиной хижины, – мне понятно, пусть я его и не одобряю. На мою историческую точку зрения такое неодобрение повлиять не может. Как историк я должен, прежде всего, обходиться без понятий вины и наказания. Вина и искупление – это нечто другое. Каждый платит за свой мундир, каждый искупает свою вину.

С другой стороны, анарх должен оберегать свою ауру; для него это такая же потребность, как потребность в чистом воздухе. Даже оказавшись на улице, он старается не наступить на кучу говна. Чем дальше позади себя ты оставил закон и обычай, государство и общество, тем больше печешься о собственной чистоте. С этим дело обстоит так же, как с разницей между голым и одетым человеком. На униформе ты в худшем случае увидишь лишь дыры, на теле – соответствующие им раны.

Я заметил, что, когда у моего папаши собираются гости, мечтающие улучшить мир, в доме очень скоро воцаряется затхлая, удушливая атмосфера. Тут не поможет никакой ладан, никакой распылитель амброзии; единственное, что остается, – выйти под открытое небо. Но, как историк, я обязан время от времени посещать такие застолья; для повседневной жизни это так же необходимо, как и для науки. Хуже всего воняет у анархистов – – – а их можно встретить всегда и повсюду, и в Эвмесвиле тоже. Я имею доступ в такие компании благодаря своим студентам, но анархисты не особенно мне доверяют.

Скверный запах объясняется тем, что анархисты руководствуются принципом, согласно которому *каждый должен жить по своему вкусу*; в самом этом принципе нет ничего плохого – вот только вкус у них дрянной. Среди анархистов встречаются типы, которые намеренно наступают на кучу дерьма и потом даже хвалятся этим как неким духовным достижением. Виго, хотя и пострадал от их козней, не без удовольствия наблюдает за ними: «Вот увидишь – лет через десять все они будут нотариусами, причем подстриженными по последней моде».

*

Ну ладно – – – что же представляет собой их, анархистов, страдание? Недоразвитое представление о свободе. Оно будет откорректировано фактами. Если бы анархисты заложили фундамент своей постройки на один ярус глубже и осознали себя анархами, они бы избавились от многих неприятностей. Потому что искали бы свободу в себе, а не в коллективе.

На первый взгляд кажется, что анарх идентичен анархисту, поскольку оба исходят из того, что человек по натуре добр. Разница в том, что анархист в это свято верит, тогда как анарх только допускает такую возможность. Для анарха это гипотеза, для анархиста же – аксиома. Гипотеза должна подтверждаться в каждом отдельном случае; аксиома незыблема. Признание какого-то положения в качестве аксиомы приводит к личным разочарованиям. Поэтому история анархизма представляет собой череду расколов. В конечном счете индивид всегда остается в одиночестве – всеми отверженный и отчаявшийся.

В своих действиях анарх руководствуется идеей добра – но не как аксиомой в духе Руссо, а как принципом практического разума. У Руссо был переизбыток гормонов, Канту же явно их не хватало; первый сдвинул мир с места своими страстными проповедями, второй – своими прозрениями. Историк должен уметь воздать должное им обоим.

39

Завтрак окончен; Небек прибирает со стола. Я немного опередил события: он еще не произнес формулу развода – – – на случай, если нам придется вдвоем перебираться в Утиную хижину, следует взвесить, не лучше ли мне будет его там прикончить.

Уже жарко; в кустах терновника на Замковой горе трещат цикады, над бойней на восточной окраине города кружит черный коршун. Хотя он и очень далеко, я отчетливо вижу его в прозрачном воздухе.

Сегодня вечером я свободен от службы; если не будет непредусмотренного вызова, день принадлежит мне. Я запираю дверь на задвижку, затворяю ставни, снимаю домашний халат. Кресло стоит на нужном расстоянии от луминара, рядом – индикатор с клавиатурой, различные картотеки и другие нужные вещи. Устройство луминара всем более или менее известно, тайна – тот стержень, который я держу в руке. В Эвмесвиле это еще большая редкость, чем золотой фонофор. Правда, фонофором может пользоваться любой ребенок, тогда как в случае с луминаром только для овладения техническими приемами требуются годы обучения. Но и этого недостаточно, пока ты не научишься рабо-

тать, забыв об инструменте. Когда же это произойдет, луминар станет как бы продолжением твоей руки. Он тогда будет действовать как магнит: притягивать нужные тебе факты.

Материал неисчерпаем: он накапливался в последние столетия, которые мы вправе рассматривать как великие эпохи историографии. По мере того как затухал политический импульс с сопутствующими ему страстями, расширялось поле обзора. Нет числа ученым, обретавшим в работе с луминаром последнее убежище, иллюзорное пристанище. К лучшему, что оставило нам в наследие Всемирное государство, можно причислить и то, что усилия этих ученых теперь могли комбинироваться. Правда, в результате появлялись различные версии событий, но это только усиливало наслаждение от стереоскопической игры. Во дворце Тиберия, скажем, равноправными фигурами оказывались император и раб, начальник личной охраны, повар и рыбак. Каждый из них – центр особого мира. Я затерялся бы в лабиринтах опиумной ночи, если бы вздумал углубляться во все это.

*

Прежде всего – литература. То, что мы называем источниками, есть, собственно говоря, *зафиксированное*: осадок какого-то времени, предстающий в виде письменных знаков. Однако достаточно одного удара молотом, и из этой скалы брызнет влага.

Письменный знак тоже скрывает в себе непосредственную тайну – как и коралл в окаменевшем рифе. Молекулы остаются такими, какими их сформировала жизнь, и их можно к жизни вернуть.

В материи может быть открыто – и высвобождено из нее – некое надвременное ядро. В этом – суть воскресения. Такая перспектива выводит далеко за пределы науки, даже искусства – к зениту вечного настоящего. Рука, когда-то написавшая текст, становится твоей собственной рукой. При этом качество текста несущественно: драма истории целиком соткана из пряжи норн. Различия создает игра складок, а не сама ткань. Когда-то говорили: «Перед Богом все равны».

*

Ответы по запросам предыдущего дня обычно лежат в открытом почтовом ящике. Они касаются моих собственных работ либо тех, которые я курирую, – например, работ Небека и Ингрид. Сюда добавляется то, что швабы называют *Basledda*: просто времяпровождение.

Скажем, запрос может звучать так: «По поводу улицы Сент-Оноре. Кто, кроме Робеспьера, жил там в доме столяра Дюпле? Что стало с этим столяром и с Ленор? Резюме речи 1789 года, в которой Робеспьер потребовал от Национального собрания отмены рабства в колониях и смертной казни в королевстве. Какой высоты были башни Бастилии?» И тому подобное. Аппарат выдает ответы в заказанном формате. Высота Бастилии составляла семьдесят три фута и три дюйма. В тюремный двор почти не попадал свет. Лучшее всего было тем узникам, что прогуливались по верху стены, – это считалось привилегией.

Что касается Дюпле, то им там нет нужды листать поземельные и адресные книги – в центральном реестре имен его моментально отыщут среди десяти тысяч тезок. Если человек этот имел хоть малейшее

значение, будут даны отсылки на другие реестры – например, тот, что находится в Доме писем, – либо на опубликованную литературу. Окаменевшая память, колоссальная, – и, опять же, сфинкс, который тебе отвечает.

*

С этой механической частью я могу справиться, не вставая с кресла, через аналитический определитель – прямо из касбы. Я прокручиваю тексты на экране и, по мере надобности, распечатываю документацию. В Эвмесвиле хватает ученых – вроде Кессмюлера, – которые создают свои труды таким образом. Но на этом мы задерживаться не будем.

В тех нижних мирах, которые сохранились вопреки всем огненным бурям, еще, должно быть, имеются умы, обладающие способностью оригинального ассоциативного мышления, которые, вероятно, даже объединены там в своеобразную Республику ученых. И я надеюсь, что можно будет проникнуть к ним, когда исследования здесь, наверху, достигнут последней ступени. Тогда, вероятно, достаточно будет одного-единственного слова, одного знака – – – но все это лишь мои предположения.

Порой я безуспешно пытался начать игру, какую ведут друг с другом – или друг против друга – секретные службы. В ответ приходили разъяснения, которые едва ли можно получить через регистратуры, – но они всегда были анонимными и будто автоматическими. То есть личного разговора не получалось, но приходила информация, которую вряд ли кто-то мог дать тебе, не вникнув прежде в суть твоего запроса. Выглядело это приблизительно так.

Я ввожу запрос: «Общественный дух может возбудиться до такой степени, что это принудит его к единогласию. Проблема упростилась бы, если бы к согласию людей принуждали силой; однако в исключительных случаях, должно быть, добавляется некий фактор, который не оставляет человеку выбора, а, наподобие морской волны, приподнимает и несет индивидов, подчиняя себе их волю. Я ищу характерный пример этого феномена».

Ответная справка: «Париж, улица Сент-Оноре, с двух до трех часов ночи, 10 августа 1792 года по христианскому летоисчислению. В пересчете на всемирное время: ...»

Уже это, как мне показалось, выходило за рамки чистой оцифровки. Может, здесь содержался и намек на то, что я только что интересовался именно этой улицей? Первое прощупывание? – – – вряд ли такое совпадение могло быть случайностью. Пример тоже прилагался: выписка из воспоминаний маркизы де ла Рошжакляйн.

Эта женщина, близкая подруга принцессы Ламбаль (которой предстоял вскоре ужасный конец), сыграла героическую роль во время сражений в Вандее. Там вспыхнула крестьянская война; кроме названия она едва ли имеет что-то общее с той другой крестьянской войной, что почти на триста лет раньше бушевала в Германии. Вандейское восстание случилось по времени позже, однако с морфологической точки зрения оно было более ранним – – – было, собственно, еще *готическим*: потому что в нем сражались, объединившись, три древнейших сословия – рыцари, крестьяне и священники. В Германии же, напротив, одно сословие, еще не очень отчетливо, свернуло на новый путь. В Германии

крестьяне поднялись на исторические подмостки слишком рано, в Вандее же – слишком поздно. В первом случае на знамени были изображены хлеб и крестьянский башмак, во втором – королевские лилии.

Это *они* хорошо угадали: маркиза, без сомнения, являла собой образец как мужественной, так и реакционной личности. В ту ночь она вместе со своим супругом пересекала Елисейские Поля, где днем были зверски убиты более тысячи человек. Они видели пожары возле заградительных барьеров, слышали выстрелы и крики. На площади Людовика XV их остановил какой-то пьяный, похвалявшийся тем, что сегодня, дескать, он уже многих угробил, а сейчас спешит к Тюильри, «*pour aller tuer les Suisses*»¹.

Случаются ночи, когда сам воздух словно заряжен порохом. Есть также площади и улицы – главные артерии больших городов, – на которых вновь и вновь повторяется ужас. Что бы ни говорили мудрецы: пролитая кровь значит больше, чем тысячи дебатов в Конвенте. Она способна – на время – соединить несоединимое.

Тщетно супруг пытался успокоить маркизу, совершенно потерявшую голову. Она вдруг начала истошно кричать: «Да здравствуют санкюлоты, на фонарь роялистов, бей окна!»

Маркиза была, очевидно, не только мужественной, но и очень честной женщиной, ибо она описала в своих мемуарах случай, о котором другие на ее месте умолчали бы или просто забыли.

¹ «Чтобы убивать швейцарцев» (фр.). Швейцарская гвардия охраняла короля и обороняла Тюильри.

Вот в нескольких словах о пересылке текстов и их комбинировании. Вавилонская башня была разобрана на кирпичи, оцифрована и возведена снова. Игра в вопросы и ответы приводит к тому, что ты попадаешь на разные ярусы башни, в разные помещения, знакомишься с деталями ее внутреннего устройства. Этого достаточно для историка, который занимается историей как наукой.

Однако луминар может предложить большее. В катакомбах не только создавалась энциклопедия необъятных размеров, эта энциклопедия еще и активировалась. То есть история не только описывается, но и разыгрывается как спектакль. Ее как бы призывают войти в наше время; и она приходит – в виде целых картин и отдельных персонажей. В создании таких картин, видимо, принимали участие знающие – но именно как художники, – и даже ясновидящие, привыкшие вглядываться в хрустальный шар. Когда в полночь я *цитирую* одну из таких великих сцен, я как бы непосредственно участвую в закланнии духов умерших.

Конечно, у этого метода имеются и противники. Мой папаша, например, им не пользуется: это противоречило бы усвоенным им представлениям об исторической достоверности. Но насколько вообще достоверна история – – – например, у Плутарха? Великие речи царей и полководцев перед сражением? Разве Плутарх был тому свидетелем? Без сомнения, он сам вложил эти речи в уста своих героев. А почему бы и нет? Впрочем, в луминаре я часто слышу нечто гораздо лучшее. А вот источники той эпохи, когда человеческую речь начнут

сплошь записывать с помощью автоматических устройств, будут на редкость скучными.

40

Как тексты, так и спектакли луминара очень помогают мне при изучении анархии – темы, которая для меня представляет особый интерес и которой я занимаюсь тайком. Я *цитирую* главных и второстепенных представителей теоретического и прикладного анархизма – начиная с «Пира семи мудрецов» и кончая подрывниками и бомбометателями Парижа и Санкт-Петербурга.

В этой связи – еще одно замечание о луминаре, общего характера. Там, где в спектакле появляются персонажи, они часто обмениваются репликами, гениально вложенными кем-то в их уста. Однако в катакомбах, видимо, есть элита, которая стремится пойти еще дальше. Персонажи должны отвечать по собственному почину! Даже с технической точки зрения это представляется не совсем невозможным: это было бы высшей стадией автоматизма. Существуют ранние разработки чего-то подобного – скажем, шахматные автоматы, искусно сделанные голуби и черепахи, Координатное ведомство Гелиополя. Но, видимо, предусматривается большее, а именно – возвращение умерших к жизни. Это затрагивает другие сплетения: привязки к Фаусту, Сведенборгу, Юнг-Штиллингу, Райхенбаху и Хаксли – к снова и снова повторяющимся попыткам снизить значение материи не только метафизически, но и – да, здесь-то и начинается проблема.

*

В словах, которые должен усиливать суффикс «-изм», изначально проявляется какая-то особая претензия, волевая тенденция, часто – враждебность. Движение становится интенсивнее за счет субстанции. Это слова для сектантов, для людей, которые читали только *одну* книгу, для таких, которые «клянутся на своем знамени и бескомпромиссно стоят за правое дело», короче – для разъездных агентов и путешественников по общим местам. Разговор с человеком, который сразу заявляет, что он реалист, скорее всего, очень скоро вызовет у тебя раздражение. Такой человек обычно имеет ограниченное представление о реальности, так же как идеалист – ограниченное представление об идеях, а эгоист – ограниченное представление о «я». Все они наклеивают на свободу ярлык. Так же обстоит дело и с отношением анархиста к анархии.

В любом городе, где объединились тридцать анархистов, уже чувствуется запах пожаров и трупов. Но подобным несчастьям предшествуют непристойные речи. Если же в городе живут тридцать анархов, которые даже незнакомы друг с другом, не случается ничего или почти ничего; атмосфера даже улучшается.

На чем основывается это заблуждение, жертвой которого пало бесчисленное число людей и которое будет сохраняться и впредь, до бесконечности? Ведь если я убью отца, я ужогу в руки брата. На общество надеяться нечего, как и на государство. Благо заключено в индивиде.

*

Описанием своих встреч в луминаре я мог бы заполнить целую книгу. В ней были бы и повторы. Основ-

ная мысль – отношение анарха к анархисту – проста, как бы она ни варьировалась. Кроме того, разница между тем и другим не принципиальная, она – лишь в степенях. Как в каждом человеке – во всех нас – присутствует анарх, так же он прячется и в анархисте, которого можно уподобить лучнику, чья стрела бьет мимо цели.

О каком бы явлении ты ни думал, его истоки нужно искать у греков. Полис в его многообразии: система реторт, в которых уже проводился любой эксперимент. Здесь найдется все – от *разрушителей герм* и тираноубийц до людей, полностью отрешившихся от мирских распрей. Пример последних – Эпикур с его идеалом основанной на добродетели нечувствительности к боли. Нет никакого вмешательства богов, будто бы наслаждающихся людскими делами как спектаклем; от государства можно в лучшем случае ожидать безопасности – но индивид должен по возможности быть от него свободным.

*

Мне пришлось вскоре отказаться от первоначального намерения сгруппировать интересующих меня персонажей вокруг двух полюсов. Скажем, так: здесь – мечтатели, фантазеры, утописты – – – там – мыслители, проектировщики, систематики; четко разделить тех и других невозможно. Чувства и мысли согласуются между собой; личность и ее дело, государство и общество сплавляются воедино. Волна, неодолимая на пути к берегу, после рассыпается пенными брызгами – как по причине утраты собственной энергии, так и из-за внешнего сопротивления. В общественной жизни действует та же

закономерность – вспомним хотя бы расколы в среде анабаптистов или сенсимонистов. И особая осторожность рекомендуется там, где выдвигаются мессианские претензии.

Я заставил луминар *сыграть* для меня всемирный план Фурье. План был представлен в сюрреалистической постановке – как уже реализовавшийся... Больше не существует ни городов, ни сел. Планета застроена исполинскими высотными зданиями – *фаланстерами*. Между белыми башнями располагаются принадлежащие им хозяйственные угодья, которые управляются и обрабатываются по принципу общности имущества... Признаюсь: в этом зрелище было что-то величественное, как и грезились Фурье. По ходу истории возникали различные приближения к его идеалу. Ведь мысленные образы и мечты всегда предшествуют действительности.

Кое-что из того, что тогда казалось утопией, было даже превзойдено: в ту эпоху физиократов, когда превыше всего ценилось сельское хозяйство, находились умы, заранее предугадывавшие появление технических миров, которые ведь тоже основываются на мечте. Правда, такие проекты часто походили на дворцы без лестниц; тем не менее некоторые из них позже были осуществлены...

Здесь уже заботятся об окружающей среде: так, благодаря взаимодействию фаланстеров, дело доходит до изменения климата, и притом – в благоприятном смысле. Всюду – словно под стеклянными крышами – поддерживается приятная, гармоничная температура. Морская вода стала теперь пригодной для питья, дикие животные подвергаются одомашниванию. Земля постепенно заселяется даже в пустынях и на полюсах, над которыми создаются

световые потоки, излучающие тепло. Численность населения увеличилась на три миллиарда голов. Рост человека достигает двух метров, а продолжительность человеческой жизни – ста пятидесяти лет. Разного рода триады играют в этом обществе важную роль: они свидетельствуют о гармоничности духа. Так, все работы делятся на необходимые, полезные и приятные. Общий доход распределяется по трем классам: *капитала*, *труда* и *таланта*. Женщина может жить с супругом, любовником или отцом, а также со всеми тремя одновременно. Так же свободен в своем выборе и мужчина. Воспитание детей вменяется в обязанность бабушкам.

Основная мысль Фурье превосходна: дескать, сотворенный мир оказался неудачным с самого начала. А заблуждение этого философа состоит в том, что он считает мир поддающимся исправлению. Анарх же прежде всего не вправе мыслить прогрессивно. Такое мышление – ошибка анархиста; совершая ее, он выпускает из рук поводья.

На самом деле Фурье тоже не избежал от идеи господства. Одна фаланга управляется *унархом*, миллион фаланг – *дуархом*, их целокупность – *омниархом*.

Фаланстер населяют четыреста семей. Если вспомнить, что происходит здесь, в Эвмесвиле, уже в доме, рассчитанном на две семьи, можно представить себе это хозяйство. Скоро там начнет скверно пахнуть; тогда *унарх* наведет порядок «железной метлой». Возможно, ему придется даже обратиться за помощью к *дуарху*...

Фурье нашел одного мецената, который предоставил ему землю и капитал для создания первого фаланстера. Начинание это не заладилось уже с самого начала.

Два утеса вздымаются перед анархистом. Первый – утес государства – можно преодолеть, главным образом во время урагана, когда вздымаются высокие волны. Но анархист неминуемо разобьется о второй утес, общество, – как раз о то общество, образ которого ему грезился. Между свержением легитимной власти и легализацией нового правительства всегда бывает короткое интермеццо. Через две недели после того, как процессия под черными знаменами проводила в последний путь Кропоткина, были ликвидированы кронштадтские матросы. Это вовсе не означает, что в промежутке между упомянутыми событиями ничего не происходило, – – – кажется, Мерлино, тоже один из разочарованных, верно подметил: «Анархизм есть эксперимент».

Отсюда – и бесконечные раздоры между анархистами, синдикалистами и социалистами всех мастей – – – между Бабёфом и Робеспьером, Марксом и Бакуниным, Сорелем и Жоресом, не говоря уже о всех прочих, чьи имена без луминара исчезли бы, как следы на песке.

Читать их труды – несмотря на порой просверкивающие сквозь туман блестящие максимы – все равно что знакомиться с сочинениями Отцов церкви: на протяжении длинных отрезков пути вокруг лишь бесплодная пустыня, часто вызывающая у тебя раздражение. В любом случае, как у Отцов церкви все дороги ведут в Рим, так и здесь – с XIX века христианского летоисчисления – все пути ведут к Гегелю.

Когда я цитировал в луминаре Бакунина, возникли другие проблемы. Прежде всего: чем объясня-

ется важная роль *jeunesse dorée*¹ во всемирных ссорах анархистов? Среди анархистов не было недостатка в князьях, в выходцах из среды крупной буржуазии и высших военных чинов, в студентах, никогда в жизни не державших в руках молотка.

И как объяснить сочетание в их поступках способности к состраданию и крайней жестокости? Оба качества иногда соединяются в одной личности, иногда, расщепляясь, воплощаются одновременно в двух разных индивидах. Классический пример конфликта между аристократами левой и правой ориентации – встреча Флориана Гайера с его шурином, от руки которого он и погиб. Крестьяне тоже без особого удовольствия взирали на то, что в их восстании участвуют рыцари.

Странствующий Дон-Кихот однажды услышал стенания мальчишки-пастуха, которого хозяин за какую-то провинность привязал к дереву и жестоко избивал. Рыцарь освободил несчастного и принудил обидчика заплатить мальчику все, что ему причиталось. Но едва рыцарь ускакал прочь, как сельчанин снова привязал пастушка к дереву и на сей раз избил до полусмерти. Рыцарь в результате нажил себе сразу двух врагов.

Все снова и снова разыгрывается конфликт не только с отцом, но и с братом. Кажется, от Бакунина я услышал такую историю: как-то раз за обедом его отец вышел из себя, потому что слуга разбил миску или неправильно подал какое-то блюдо. И случилось то, чего дети до дрожи боялись: отец написал записку в ближайший полицейский участок, чтобы виновный получил двадцать розог. Когда отец

¹ Золотая молодежь (фр.).

вышел из комнаты, дети бросились обнимать слугу, хотели поплакать с ним – – – но он их оттолкнул; он не желал иметь с ними ничего общего.

Плохо, когда ты вдруг чувствуешь себя лишним. Такое переживание оставляет шрамы. У Толстого тоже описано нечто подобное. В ту пору еще наказывали шпицрутенами.

*

По логике анархистов, человек должен принимать участие в гражданских войнах, а в войнах национальных – нет. Бывают, впрочем, исключения, а также переходные феномены – скажем, восстание против иноземного господства. В случае Бакунина анархизм комбинируется со славянофильством. Гарибальди, национальный герой с примесью анархизма, разъезжал по театрам военных действий двух континентов. Ему оченьгодились навыки обращения с оружием, приобретенные на море и на суше. Зато какой-нибудь чистый идеолог, который «захватывает власть» на несколько дней или недель, являет собой печальное зрелище.

Для анархиста тоже «война – отец всех вещей»; он по праву возлагает на нее большие надежды. Высказывание Клаузевица о том, что «война есть продолжение политики иными средствами», в сознании анархиста переворачивается: при каждом объявлении войны он чувствует свежий утренний воздух. В условиях всемирной гражданской войны между сражающимися нациями и партиями действует диффузное воинство анархистов-партизан. Этих партизан используют... и потом бросают на произвол судьбы.

Гораздо реже дело доходит до анархических водоворотов, которые несколько недель или дольше

баламутят поток истории; возникновению таких водоворотов обычно предшествует состояние *политического пата*. Классический пример – Парижская коммуна в русле Франко-прусской войны конца XIX века христианской эпохи. На нее любили ссылаться как социалисты, так и коммунисты.

Когда полыхает пожар истории, тоже можно погреть руки – если, конечно, держаться на должном расстоянии от огня. В такие моменты ощущается *вневременное*: его зловещий луч как бы прощупывает наше время. Если война – отец всех вещей, то анархия – их мать; от союза этих сил рождается новая эпоха.

41

Боль – приданое историка. Ему особенно больно, когда он размышляет о судьбах *улучшателей мира*. Нескончаемая жалоба и неумирающая надежда передаются от поколения к поколению как факел, который снова и снова гаснет.

В луминаре картины предстают перед тобою пространственно: я могу по своему усмотрению сесть в Конвенте к монтаньярам или к жирондистам, занять место председателя либо привратника, который, может быть, способен лучше всех других оценить ситуацию. Я становлюсь истцом, защитником или подсудимым – как мне заблагорассудится. Моя страсть, словно электрический ток, повышает эмоциональный градус дискуссии.

Интерес к истории анархизма часто приводит меня в Берлин. Я посещаю этот город незадолго до смерти Гегеля и растягиваю свою прогулку без малого на два десятилетия – – если быть точным: до восстания 1848 года христианского летоисчисления.

Эта революция примечательна тем, что в затронутых ею странах Европы привела к результату, противоположному устремлениям ее участников, – и таким образом почти на сто лет приостановила поток всемирной истории. Почему это произошло, исследователи пытались выяснить, исходя из разных позиций. В медицине такой процесс называется *maladie de relais*¹; в истории же ему соответствует, так сказать, смена упряжных лошадей – в данном случае, например, появление на исторической арене Бисмарка и Наполеона Третьего. Такое суждение наверняка понравилось бы Кауницу, доживи он до 1848 года. Если смотреть на вещи с позиции Паульскирхе, кризис не способствовал исцелению, а, напротив, положил начало хроническому недугу. Правда, тогдашним политическим деятелям не хватало самокритики. Я полагаю, они потерпели неудачу потому, что среди них преобладали идеалистические пустомели вроде моего папаши. Экономившие на «особом соке».

*

Применительно к моей теме выбор места может – на первый взгляд – показаться ошибочным. По воскресным дням, до полудня, Унтер-ден-Линден производила на меня такое впечатление, будто столица заселена наполовину солдатами, наполовину же – обывателями. Караульные двигались к замку и к Бранденбургским воротам, переходя на печатный шаг, едва на горизонте показывался какой-нибудь высокий военный чин в галунах; по средней полосе

¹ Болезнь перемены (переключения) (фр.).

из Тиргартена после утренней верховой прогулки возвращались кавалеристы. Со стороны Мауэрштрассе от церкви Святой Троицы шли господа в высоких цилиндрах и дамы с рукавами-буфами; проповеди Шлейермахера все еще привлекали прихожан. Воздух в Бранденбурге сухой; Шеллинг разочаровывал многих, Шопенгауэр же разочаровался сам.

Я направлялся не к дворцу на Шпрее, хотя с удовольствием посетил бы монарха в его частных апартаментах. Здесь мы опять сталкиваемся с различием между анархистом и анархом: анархист преследует верховного правителя как своего злейшего врага, тогда как анарх относится к правителю по-деловому нейтрально. Анархист *хочет* убить монарха, тогда как анарх знает, что *мог бы* его убить – – – но не исходя из общих соображений, а лишь по приватным мотивам, ежели бы таковые имелись. Если анарх является еще и историком, то в документах, касающихся жизни монарха, он найдет первоклассный источник – – – для изучения не только процесса принятия политических решений, но и типичной для эпохи структуры. Ни один фараон не похож на другого. Однако каждый из них отражает свое время.

*

Анарх может непринужденно возражать монарху: он чувствует себя равноправным и среди королей. Этот его основополагающий настрой передается и властителю, который не может не оценить открытый взгляд собеседника. Так возникает взаимная, благоприятствующая беседе симпатия.

Я хочу здесь бегло коснуться внешних поведенческих форм – например, формы обращения

к другому. Столь ли уж необходим был наглый тон Гервега по отношению к королю? А немецкие националисты, которые, прежде чем войти в зал заседаний Венского конгресса, намеренно пачкали себе сапоги? Все это лишь выражение зависти и затаенных обид...

Люди любят, когда к ним обращаются как к личности – называя фамилию, или имя, или ласкательное прозвище, не забывая упомянуть титул или ранг. Скажем: государь, ваше превосходительство, господин доктор, монсеньор, товарищ Майер, моя сладкая кошечка... «Только титулование может вызвать их доверительность» – это дает встрече хороший старт. Меттерних был мастером подобных оттенков.

«Каждому свое» – не худшая из прусских максим. Анарх же, поскольку знает, что не утратит это «свое», может добавить к нему еще и толику иронии.

*

Разговор, который я охотно завел бы с королем, касался бы одной из возвращающихся в истории фигур – а именно крушения идеала при столкновении с могущественным духом времени, заставляющим этот идеал деградировать до иллюзии. Упомянутая повторяющаяся фигура принимает вид романтической интермедии, разделяющей исторические сцены.

Я знал, что король тщательно изучал сочинения Доносо Кортеса, который вскоре после того был аккредитован им как поверенный в испанских делах. Испания – один из важнейших оплотов реакции, как Англия – оплот либерализма, Сицилия –

тирании, Силезия – мистики и так далее. «Кровь и почва» – – – этот лозунг воодушевил многих тупоголовых болванов, а другим болванам дал повод насмеяться над ними.

В идеале этот автор и король были едины: в идеальном представлении о христианской короне, которой уже угрожал недавно заявивший о себе атеистический социализм. И оба видели в либерализме *пособника* этого опасного движения или, если воспользоваться выражением Сен-Симона, – *chausse-pied*, *рожок для обуви* новых титанов, грядущих хозяев мира.

Только испанец обладал большей дальновидностью, чем прусский король: он видел на сто лет вперед и осознавал неизбежность крушения священного порядка – – – его исходная позиция была позицией не идеалиста, а человека отчаявшегося.

«Je marche constamment entre l'être et le néant». Это стало современным лишь через сто лет. Наряду с обычными преувеличениями у ультраправых и радикалов порой находишь хрустальные осколки – например, указание на то, что упразднение легальной смертной казни как бы дает сигнал к нелегальному истреблению противников.

Историк, конечно, не вправе принимать чью-то сторону. Он должен под социальным фундаментом человеческих отношений видеть фундамент зоологический, под последним же, в свою очередь, – фундамент чисто физический. С его точки зрения, реакция – лишь одно движение среди прочих; более того, прогресс без нее не обходится, она сопровождает прогресс, как тень сопровождает свет. В гармоничные времена это совместное движение принимает формы танца. Парламенты немыслимы без оппози-

ции; еще и сегодня я часто проигрываю в луминаре вдохновенные словесные дуэли – скажем, между Питтом и Фоксом.

*

Как и некоторые другие члены его семейства, прусский монарх был хорошим оратором – что для правителя является сомнительным преимуществом. В своей антипатии к парламенту король разделял мнение Доносо: «превращение естественных, благодаря своей внутренней правде столь значимых отношений между властителем и народом в отношения чисто формальные, конституционные» он откровенно отвергал.

Какой совет мог бы дать ему Доносо – – – об этом я справился по луминару. В архивах, распоряжающихся прошлым, умные головы основательно над этим поразмыслили. Без сомнения, испанец рекомендовал бы в качестве панацеи государственный переворот. Конечно, легитимный монарх – наименее подходящая фигура для такой роли; возглавив путч, он отдалился бы от сущности своей власти. Диктатура не передается по наследству.

Разговоры между утопистами и идеалистами – даже если реальность служит для них лишь поводом, а прямого касательства к этим дискуссиям не имеет – необыкновенно привлекательны для историка: они как ростки в оранжерее, когда вот-вот должен начаться град. Доносо, должно быть, видел своих врагов *в других утопистах* – он, например, неприязненно относился к анархическому социализму некоего Прудона, тогда как Маркс остался для него незамеченным. Гегеля он, конечно, считал «промывателем мозгов».

Однако любая фабричная труба, которая пускает дым в небо, противоречит идеальным устремлениям. *Разрушители машин* поняли это раньше и лучше других. Между прочим, они и в ХХI веке христианской эры праздновали свое возвращение.

*

Когда историк задним числом воспроизводит великие шахматные партии – играя то на одной, то на другой стороне, – это лишь усиливает его боль. Ведь играет он не против одного или другого из двух противников и не против их обоих: он играет против могучего Кроноса, пожирающего своих детей, и еще – против Хаоса, порожденного Кроносом.

*

Мой путь в *домартовский период* приводит меня, как уже было сказано, не к городскому дворцу – нет, у кафе «Кранцлер», с его знаменитой курильней и «приятным обслуживанием», я сворачиваю на Фридрихштрассе. Моя цель – «Винный погребок Якоба Гиппеля», уже не один десяток лет располагающийся в доме номер 94.

Я почти так же часто задерживаюсь на этой улице, как и на улице Сент-Оноре. Несколько раз я там стоял не на баррикадах, а между ними – например, в том знаменитом марте, после прозвучавшего перед дворцом рокового выстрела; потом еще – в моменты окончания обеих великих войн между красным флагом и свастикой. Я был там, когда баррикада впервые приняла вид разделительной стены, и потом – когда стена эта была снесена.

Я – при различных монархах и президентах – маршировал по этой улице к учебным плацам и потом обратно в казармы; я сопровождал танки, двигавшиеся от имперской канцелярии, – пока у моста Вайдендамер они не взлетели на воздух. Я поднимался и в тамошние мансарды – – в северную рисовальную комнату Шадова, в студенческую каморку, где Фридрих Хильшер размышлял о самовластии. Напротив размещалось кабаре «Бонбоньерка»; я там не раз вступал в беседу с дамами, прогуливающимися взад и вперед по тротуару.

Итак, на сей раз моей целью был винный погребок Гиппеля. Там в те годы собирался кружок мужчин, которые устаивались некоторого внимания как со стороны образованной публики, так и со стороны полиции и были известны как «Свободные». Их причисляли к «крайне левым»; все они отличались развитым интеллектом, необузданностью духовных исканий и недовольством существующим порядком. В остальном они были чрезвычайно разными в своих взглядах и намерениях – взрывоопасный союз...

Общим у них было также знакомство с Гегелем; оно оставило шрамы или невралгические точки. Широкой известностью – как грозный критик Библии – пользовался Бруно Бауэр: отстраненный от преподавания приват-доцент, который теперь занимался издательским делом вперемешку с торговлей сигарами. Он учился у Шлейермахера и ради него атаковал Штрауса и его «исторического Христа». Основанием для увольнения Бауэра послужил «Трубный глас страшного суда над Гегелем». Альтенштайн, покровитель Бауэра, отказал ему в поддержке из-за этого сочинения, поскольку Бауэр

«слишком далеко ушел влево» – – – типичное ошибочное суждение министра, не способного верно оценить макросиноптическую ситуацию.

Как некогда в крестьянских войнах, так и теперь все распри так или иначе вертелись вокруг Евангелия. Представители теологического течения, предшествовавшего мартовской революции, занимались, среди прочего, тем, что определили и упрочили оплот свободы. «Свободные» же искали этот оплот в самой личности. Они считали, что благодаря развитию личностного «самосознания» свобода становится средоточием всякой деятельности. И что за свободу личности необходимо бороться по всем направлениям – против государства, церкви, либерализма, нарастающего социального движения. То есть против всего, что они относили к «массе», что, по их мнению, ограничивало и тормозило «абсолютную эмансипацию индивида».

*

Постоянным гостем у Гиппеля был Буль – за исключением периодов, когда он сидел в тюрьме. Критичный ум; я просмотрел в луминаре немногочисленные номера издававшегося им журнала «Патриот». Видимо, ему первому удалось сформулировать мысль, что отвергать надо не какую бы то ни было форму государства, а саму его сущность. Прозрение, которого недостает анархистам; которое следует распространить и на капитал. Государственный капитализм еще опаснее частного, поскольку он непосредственно связывает себя с политической властью. Ускользнуть же от нее может только отдельный человек, но никак не союз. Это еще один под-

водный камень, из-за которого анархист терпит крушение. Вероятно, понимание всего этого и подвигло Бруно Бауэра провозгласить «беспринципность» идеалом «свободных» – прежде чем он снова обратился к своим историческим штудиям.

Маркс и Энгельс, которым позднее – правда, уже после смерти – довелось сыграть «всемирно-историческую роль», поначалу тоже усердно посещали винный погребок, где встречались «Свободные». Само собой, тамошняя атмосфера им вскоре разонравилась: ведь они хотели подчинить государство себе, а не упразднить его. Постепенно, но все более решительно «Свободные», в свою очередь, отмежевывались от них. Похоже, они прозорливо заподозрили в Марксе и Энгельсе провозвестников того, что сто лет спустя назовут «батарейным содержанием».

Антипатия оказалась взаимной; она нашла выражение, среди прочего, в памфлете, который эти Диоскуры опубликовали после своего отъезда из Берлина: «Святое семейство, или Критика критической критики. Против Бруно Бауэра и компании».

При таких встречах становится очевидным, что социалисты не признают заклятого врага ни в государстве, ни в церкви, ни в капитале; все это – объясненное наукой и по-новому смоделированное пропагандой – может, по их мнению, быть заменено. Они ведут борьбу не *против* власти, а *за* власть. Их смертельный враг – это анархия, представленная, с одной стороны, идеальным анархистом, а с другой – люмпен-пролетариатом, который в момент кризиса сбросит с себя последние покровы права и порядка, даже гуманности... и положит конец любым спорам. А чтобы можно было возобновить

эти споры под новыми инсигниями, оба врага, незаменимые в нулевой точке, после должны быть ликвидированы в первую очередь.

42

Как и всюду, где ведутся дебаты, атмосфера в погребке Гиппеля была затхлой. Что поделаешь. Я пришел к «Свободным» не для того, чтобы понаблюдать за одной из знаменитостей, о которых потом были написаны целые библиотеки. Личная встреча скорее ослабляет впечатление.

Меня больше интересовал один посетитель, который почти не участвовал в разговорах. Он молча сидел перед своим бокалом и с видимым наслаждением курил. Поговаривали, что хорошая сигара – единственная его страсть. Во всяком случае, он не достиг особых успехов ни в профессиональном плане – в ту пору он работал преподавателем в частной школе для дочерей высокопоставленных лиц, – ни в семейной жизни, ни (за единственным исключением) на литературном поприще.

Его супруга, у которой через много лет после развода Маккай взял в Лондоне интервью, сохранила о муже крайне нелестные воспоминания. Обвенчались они скандальным для того времени образом в ее берлинской квартире, а Буль и Бруно Бауэр были свидетелями. Когда появился священник, старший консисторский советник Буль вышел из соседней комнаты в одном жилете. Невеста тоже пришла с опозданием, без мирта и фаты, – в квартире не оказалось ни Библии, ни обручальных колец. Бруно Бауэр выручил новобрачных, дав им два латунных колечка от своего кошелька. Берлинская молва пре-

вратила эти колечки в «кольца для гардин». После венчания все присутствующие выпили пива и снова уселись за карты, в которые играли до этого.

Наша пара познакомилась у «Свободных». Супруга, само собой, была особа эмансипированная и идеалом своим считала Жорж Санд. Потом, уже в Лондоне, она стала настоящей ханжой. Она больше ничего не хотела слышать о своем браке и в интервью с шотландцем представила своего супруга как человека хитрого, лукавого, скрытного: *slu*. Он-де промотал и проиграл ее приданое. В этом была толика правды, поскольку он без толку тратил деньги на диковинные проекты. Как многие литераторы, он при ничтожных практических способностях был обуреваем всяческими прожектами, которые ему следовало бы воплощать в романах, а не в коммерческих операциях.

Он, скажем, решил, что ведшуюся еще средневековым способом молочную торговлю выгоднее было бы централизовать. Но не учел, что домохозяйки привыкли каждая к своему крестьянину, который чуть свет развозит молоко на запряженной собакой тележке. Покупателей у нового торговца не оказалось. Молоко скисло, и его пришлось вылить в сточную канаву. А что идея сама по себе была хорошей, доказал один ловкий молочник, который вскоре осуществил ее на практике и составил себе на ней состояние.

*

Я вижу, как он сидит и курит: нежный профиль. Эскиз, который Фридрих Энгельс по памяти набросал в Лондоне, верно передает только среднюю часть: прямой нос и изящный рот. В луминаре

этот образ подкорректирован, с учетом тогдашних медийных средств. И тут у него высокий лоб, но не такой покатый. Еще в Кёнигсбергском университете его, Иоганна Каспара Шмидта, товарищи прозвали *Stirn* (Лобастый); позднее он взял себе псевдоним Макс Штирнер.

Подписи у него тоже изящны; бросается в глаза, что с годами концевой росчерк будто никнет. Впрочем, Штирнер не покончил жизнь самоубийством, а умер от укуса какой-то мухи, воспалившегося. Банальная жизнь: неудачи в профессии и в делах, распавшийся брак, долги, постоянные посещения винного погребка с обычной для *предмартовского периода* болтовней, все те же филистеры, только на более высоком уровне – – – обычное дело.

Плоды его литературного творчества тоже незначительны – очерки и критические статьи в газетах и журналах; все это было забыто еще при жизни Штирнера и погибло бы в позднейших огненных бурях, если бы не луминар. Но именно такие маленькие листки, которые в кризисные периоды прорастают, словно грибы, из гумуса, а потом опять исчезают, являются бесценным сокровищем для историка, если он хочет изучать идеи *in statu nascendi*¹. Прежде, чем их погребет под собой мусор революций.

Чуть не пропал и направленный против Штирнера памфлет, написанный Марксом и Энгельсом: рукопись форматом ин-фолио в несколько сотен страниц под названием «Святой Макс». Когда в свое время ее где-то откопали, она уже была сильно погрызена мышами. Энгельс в какой-то момент

¹ В состоянии зарождения (*лат.*).

оставил ее на хранение одному столяру по фамилии Бебель. Луминар восстановил текст.

Манускрипт был начат в год 1845-й христианского летоисчисления, когда из печати вышло главное произведение Штирнера. Оно-то и образует вышеупомянутое исключение. Следовательно, желание вступить в полемику со Штирнером возникло, видимо, под непосредственным впечатлением от опубликованной им книги.

*

В любой насмешке скрыта крупица истины, так же обстоит дело и со «святым» Максом. В лице Джона Маккая Штирнер обрел своего апостола Павла; тот серьезно относился к понятию святости – – – настолько серьезно, что ставил «Единственного» выше Библии: «Как та “святая” книга стоит в начале христианского летоисчисления, чтобы распространять свое губительное воздействие вплоть до самых отдаленных уголков населенной людьми Земли, так же и эта несвятая книга первого сознательного эгоиста стоит в прологе нашего нового времени – – – чтобы оказывать влияние, настолько же благодатное, насколько разлагающим было влияние “Книги книг”».

И потом Маккай цитирует самого Штирнера: «Разрыв со святым может стать всеобщим, или, вернее – святое может погибнуть. Революция не повторится, но взамен нее придет великое, мощное, страшное, бесстыдное, гордое преступление».

*

Такие претензии не новы. Францисканцы тоже договорились до утверждения, что праведность жизни Иисуса была «значительно превзойдена» основателем их ордена. Де Сада называли «божественным маркизом» – подобные восхваления достаются любому человеку, осмелившемуся преступить границу. О Гельвеции, который превыше всего ставил личное счастье и чья книга «De l'esprit» (1758) была предана огню в Париже, одна умная женщина сказала, что в этой книге он «раскрыл тайну каждого». Я услышал об этом от милой и умной жены Гельвеция, в квартале Отёй.

Отличительный признак великих святых, а таких можно по пальцам пересчитать, – что они ухватывают самую суть явлений. То, что нам ближе всего, обычно остается невидимым, поскольку скрыто в человеке; нет ничего труднее, чем объяснить самоочевидное. Но если удастся обнаружить его, открыть заново, то высвободится огромная взрывная энергия. Антоний первым осознал силу Одинокого, Франциск – Бедного, Штирнер – Единственного. «В сущности» каждый из живущих на свете – одинокий, бедный и единственный.

*

Для подобных открытий требуется не гений, а интуиция. Они могут быть сделаны самым обычным человеком: ибо, так сказать, лежат на ладони. Поэтому их не нужно изучать как системы; скорее тут пригоден метод медитации. Возвращаясь к искусству стрельбы из лука: вовсе не очевидно, что опытный стрелок точнее других попадает в цель. Вполне возможно, что это удастся какому-нибудь

сновидцу – ребенку или фантазеру. Даже центр имеет еще срединную точку: средоточие мира. Она не пространственна, ее нельзя поразить во времени – только во вневременном интервале. Один из доброжелательных критиков Штирнера – а таких у него было мало, гораздо больше врагов – назвал его «метафизиком анархизма».

Фантазеры необходимы: они действуют безвозмездно и оплетают тончайшими сетями устои существующего порядка. Просматривая давно забытые журналы, я наткнулся на поразительное свидетельство. Некий психиатр взял на себя труд расшифровать записки одной «душевнобольной особы» – «служанки, которая вследствие слабости была признана недееспособной». При этом в глаза ему бросились логически четкие максимы, в точности совпадавшие с *кардинальными точками* Штирнера.

Паранойя: «Мания в большинстве случаев принимает вид системы, которая сама по себе логична и не может быть опровергнута никакими встречными доводами». *Spiritus flat ubi vult*¹. Это напоминает суждение одного философа о солипсизме: «Неприступная крепость, которую обороняет сумасшедший».

Впрочем, Штирнер не солипсист. Он Единственный – как всякий встречный и поперечный. Особенное в нем только то, что он *осознает себя* Единственным. И в этом смысле похож на ребенка, играющего с «Кохинуром», случайно найденным им в пыли.

¹ *Spiritus flat ubi vult* («Дух веет, где хочет») – о неожиданном проявлении одаренности (лат.). Евангелие от Иоанна, 3,8: *Spiritus ubi vult spirat; et vocem ejus audis, sed nescis unde veniat aut quo vadat* («Ветер веет, где хочет. Ты слышишь, как он шумит, но не знаешь, откуда он и куда направляется»).

То, что Штирнер сохранил сокровище для себя, соответствует его природным наклонностям; но удивительно, что он сообщил о своей находке другим. Фихте, который преподавал в Берлине на одну человеческую жизнь раньше, тоже открыл (точнее, «разоблачил») драгоценность – «самополагание “я”»; вероятно, опасаясь собственной смелости, он упаковал эту находку в темный мыслительный материал. Тем не менее он тоже приобрел дурную репутацию солипсиста.

*

Каковы кардинальные точки, или аксиомы, системы Штирнера, если в данном случае вообще уместно говорить о системе? Их только две, но этого достаточно для основательной медитации:

1. Долой же все, что не является только моим делом.

2. Для Меня нет ничего выше Меня.

Ни добавить, ни прибавить. Само собой, «Единственный» тотчас вызвал живой протест и был понят настолько принципиально неправильно, что приобрел дурную славу монстра. Книга вышла в Лейпциге и сразу была конфискована; впрочем, министр внутренних дел отменил запрет, поскольку это произведение-де «слишком абсурдно, чтобы быть опасным». По этому поводу Штирнер заметил: «Пусть народ обходится без свободы печати. Я же хитростью или произволом сумею напечатать свои труды; за разрешением обращаться к себе самому и буду полагаться только на свои силы».

Слово «монстр», между прочим, двусмысленно. Оно восходит к латинскому *monere*: «предсказывать, предупреждать, вдохновлять»; автор «Единствен-

ного» установил один из величайших предупредительных знаков. Он дал объяснение *само собой разумеющемуся*.

Штирнера – а иначе и быть не могло – упрекали прежде всего в эгоизме, с которым он и сам не до конца разобрался. Однако он это понятие аннексировал и во многих местах заменил «Единственного» «Собственником». Собственник не борется за власть, а осознает ее как свою собственность. Он овладевает ею – или, лучше сказать, присваивает ее. Это может происходить ненасильственным путем, прежде всего через укрепление самосознания.

«Что только не должно быть моим делом! <...> Но только *мое* не должно стать моим делом. “Стыдно быть эгоистом, который думает только о себе”. <...> Бог и человечество сделали свою ставку не на что иное, как на самих себя. Поставлю же и я только на себя... Для Меня нет ничего выше Меня. В основу своего дела Я положил Ничто».

Собственник не борется с монархом; он включает его в свою систему. В этом отношении анарх родственен историку.

*

Есть радости первооткрывателя: начав заниматься «Единственным», я просто не мог не поговорить об этом с Вигу. Он заинтересованно откликнулся; мы кружили вокруг этой темы под кипарисами в его саду, когда над касбой стояла луна.

Что же в упомянутой книге так сильно меня привлекало? Стрела Штирнера прошла на волосок от того места, которое, по моим догадкам, принадлежит анарху. Отличие заключается в тончайшей дефиниции, на какую в Эвмесвиле я считаю спо-

собным только Вигу. И он в самом деле сразу увидел разницу между Собственником и Эгоистом. Ту же разницу, что отделяет анарха от анархиста. Упомянутые понятия *кажутся* тождественными, но они совершенно различны.

Вигу высказал мнение, что следовало бы разработать эту тему в ряде диссертаций. Если в Эвмевиле и есть люди, перед которыми можно было бы поставить такую задачу, так это его кружок; в него входят такие индивидуалисты, как Небек, Ингрид, Магистр и прочие, кто без перчаток хватается раскаленное железо. Дело, однако, пока не пошло дальше общего плана и диспозиций, которые я до поры до времени храню в архиве.

*

Как же за это взяться? Обычно такие работы начинают с исторического обзора. Однако *самоочевидное* не связано со временем; оно сквозь вязкую историческую массу все снова и снова пытается пробиться к поверхности, но чаще всего не достигает ее. Это справедливо также для *осознания своей абсолютной свободы* и для *его воплощения*. В этом смысле история похожа на глыбу окаменевшей магмы, в которой застыли пузыри. Там оставило свой след *нонконформное*. Если поискать другие аналогии, можно сравнить это с корой какой-нибудь вымершей планеты, в которую ударяли метеоры. Астрономы и в самом деле гадали о том, следует ли считать кратеры шрамами от таких попаданий или погасшими вулканами. Но как бы то ни было, кратеры образовались потому, что действовал – сверху или снизу – космический огонь.

Следовательно, искать нужно было там, где самоочевидность анархии воплощалась в поступках, мыслях или в творчестве – – – где она совпадала с самосознанием человека, распознававшего в ней фундамент свободы. И тут нам мог помочь Большой луминар: досократики, гнозис, силезская мистика и так далее. Помимо всяких курьезных фигур в заброшенную сеть попадались и крупные рыбы.

*

Период с 1845 по 1945 год христианского летоисчисления образует четко очерченную эпоху; это, между прочим, подтверждает догадку, что любое столетие обретает подлинную форму в своей середине. Тот факт, что «Единственный» был опубликован в 1845 году, я не хотел бы считать случайностью. Случайность – это все или ничего. Я пересмотрел в луминаре массу вторичной литературы, относящейся к Штирнеру, в том числе – работу одного автора по фамилии Хелмс, где Штирнер изображается как прототип обывателя и его амбиций.

Это верно хотя бы уже потому, что Единственный скрывается в каждом человеке, а значит – и в обывателе. Кроме того, сказанное в особенности касается интересующего нас столетия. Правда, значение этого типа недооценивается – что уже указывает на присущий ему высокий потенциал. Когда мой братец вместе со своими сокурсниками ополчается против картонных фигур, употребление бранного слова уже считается доказательством. В этом – одна из причин их разочарований.

Почему представители интеллигенции, крупной буржуазии и профсоюзов обращаются с обывате-

лем отчасти как с пугалом, отчасти же – как с козлом отпущения? Видимо, потому, что он не позволяет задвинуть себя за машину – ни тем, кто выше, ни тем, кто ниже его. Если по-другому не получается, он берет историю в свои руки. Дубильщик, столяр, шорник, каменщик, трактирщик открывают в себе Единственного, и каждый узнает в нем себя.

Как получается, что снежный ком превращается в лавину? Прежде всего, ком этот должен быть – как и всё вокруг – из снега; об остальном позаботится наклонная плоскость. Точно так же и люди, и идеи должны быть *конформны* исторически истощенному времени конца – а ни в коем случае не самобытны, не элитарны.

Виго потому и не захотел глубже вдаваться в эту проблему. Историку необходимы сильные характеры, даты и факты; он нуждается в драматизме, а не в апокалиптике – – – это я понял.

*

Отделить *сущностное* от того, что похоже на него (даже, по видимости, ему тождественно), – особенно трудно. Это касается и отношения между анархом и анархистом. Анархист подобен человеку, который, услышав сигнал, бежит в ошибочном направлении.

Но поскольку анарх сидит в каждом человеке – а значит, и в анархисте, – в пустыне анархистской писанины часто можно набрести на удачные находки, которые это подтверждают. Я имею в виду те фразы, обнаруженные мною с помощью луминара, под которыми мог бы подписаться сам Штирнер.

Возьмем, к примеру, Бенджамина Такера. В своем «Либерти» (одном из анархических журнальчи-

ков) он, подобно Дон Кихоту, ломает копья, сражаясь против «мерзавцев будущего правительства»:

«Что бы ни утверждали или ни пытались опровергнуть государственные социалисты, их система, если она восторжествует, неизбежно приведет к некоей государственной религии, издержки которой придется оплачивать всем и перед алтарем которой все должны будут преклонять колена; к государственной школе медицины, у практикующих представителей которой должны будут лечиться все; к государственной системе гигиены, которая будет предписывать, что всем надлежит есть и пить, во что одеваться и что делать или не делать; к государственному кодексу морали, который будет предусматривать не только наказания за преступления, но и подавление всего, что большинство сочтет пороком; к государственной системе образования, которая запретит все частные школы, академии и университеты; к государственной системе детских воспитательных учреждений, где дети в обязательном порядке будут воспитываться в коллективах, за счет общества; и, наконец, к государственному семейному праву в сочетании с попыткой ввести научную селекцию... Таким образом, авторитарность достигнет своего пика, а монополия – наивысшего расцвета».

*

Это писалось в 1888 году христианского летоисчисления – задолго до того, как один ирландец, родственник Такеру по духу, набросал жуткую картину такого будущего. Бедный Такер – – – он умер в преклонном возрасте в первый год Второй мировой войны, а прежде успел стать свидетелем триумфов

авторитарного государства в России, Германии, Италии, Португалии и Испании.

Вообще, в его письмах к одному анархисту я обнаружил необычные высказывания вроде: «Анархия есть порядок» и «Забиться о собственных делах, вот единственный моральный закон». Поэтому все попытки «подавлять порок» он считает «преступными по своей сути». Здесь анарх выбивается из анархистской системы. По сравнению с ним такие индивидуальные анархисты, как Мост, который ликует всякий раз, когда на воздух взлетает какой-нибудь правитель, кажутся безмозглыми трещотками.

Бакунин хотел бы заменить церковь школой, Пеллутье – проникнуть в профсоюзы; одни хотят продвигаться вперед толпой, другие, как Эмма Гольдман, – элитарно; одни – сторонники ненасильственных методов, другие ведут пропаганду с помощью динамита – – – в лабиринтах анархизма легко затеряться. Тюремные уборщики, тюремные кочегары: объединяет их то, что они жарятся на собственном огне и в нем же погибают.

В Эвмесвиле тоже сохраняется костяк активистов; такие люди любят умирать, но не вымирают. У них есть свой главарь, за которым они и в огонь пойдут. К этой пехоте относится Луиджи Гронго, водитель грузовика в гавани, который выполняет для меня ходки – плотный, коренастый парень, очень мускулистый, с низким лбом и добродушным лицом. Когда он пожимает мне руку, меня будто пронизывает электрический ток. Если бы его босс сказал ему, что я преграждаю дорогу к всемирному счастью, он бы с радостью меня прикончил. С ним лучше не ссориться.

Штирнер не вдается в идеи, особенно касающиеся того, как осчастливить человечество. Источники счастья, власти, собственности, божественности он ищет в себе; он не хочет служить кому-то или чему-то.

«Сознательно или бессознательно, но Мы все стремимся к своеобразности... Но то, что Я делаю бессознательно, Я делаю наполовину, и потому после каждой победы над какой-нибудь верой Я становлюсь опять пленником (одержимым) новой веры — — — но Я буду с улыбкой на устах смотреть на исход битвы».

Я — *здесь и сейчас*; тут нет окольных путей. Одна из первых диссертаций должна была быть посвящена повторному открытию Штирнера Маккаем. Маккай понял уникальность Штирнера, однако увидел больше дыма, чем огня. Что явствует уже из эпиграфа к его «подведению итогов»: «Кто говорит правду, не обретет счастья».

Этой широко распространенной склонности — задарма наживать себе врагов — мы у Штирнера не найдем. Он бы сказал: «Правда? Это не мое дело». Правда остается его собственностью. Он не принимает ее близко к сердцу, не хочет ей служить, но... распоряжается ею.

В сочинениях Маккая призраком бродит слово «союз», заимствованное им у Штирнера. С той только разницей, что, выражаясь в духе Фомы Аквинского, для Маккая союз есть нечто субстанциальное, для Штирнера же — акцидентное.

«Образуют ли партию эгоисты, или единственные? Как бы они могли быть *собственными*, если бы принадлежали к какой-нибудь партии!» Единствен-

ный заключает союз, «который продолжается до тех пор, пока партия и Я преследуем одну и ту же цель».

Ближе к Штирнеру Маккай подходит в тех своих максимах, которые направлены против «массы». Например:

«Массы остаются такими же тупыми и безразличными, какими были всегда; а на опустевшее место тотчас встает кто-то другой из неистощимого запаса людей, всегда готовых стать жертвами любого угнетения».

*

К этому месту моего конспекта Виго приписал на полях: «Здесь следовало бы подробно остановиться на различиях между коммунизмом, анархо-синдикализмом и индивидуальным анархизмом. Показать линию развития от Фурье до Сореля».

Препарирование этого осинового гнезда со всеми его ячейками заполнило бы целый фолиант, но удовлетворения бы не принесло. Добычей оказался бы скорее уксус, чем мед. Ибо здесь сходятся претензии государства, коллективов и одиночки, не говоря уже о главном вопросе: идет ли «в конечном счете» речь об экономике или о свободе.

Разумным кажется мнение синдикалистов: что прибыль должна принадлежать предприятию, которое ее создает. А как быть с теми хрупкими, но безусловно необходимыми продуктами, что создаются вне предприятий, – скажем, со стихотворением? Предприятие, по идее, должно было бы выступать в роли мецената – – – но даже когда о художнике заботится государство, слишком часто получается так, что торжествует дурной вкус. Вроде бы симпатично: никакого государства, никакой армии, мир

внутри и с соседями, как между братьями, – – – но ведь достичь этого можно лишь путем насильственного переворота.

Иногда проглядывает ностальгия по совсем седым временам: «Когда Адам пахал, а Ева пряла...» Но чем разумнее идея, тем меньше надежд на ее осуществление. Уж лучше бы в те времена сделали ставку на синархов (подобие высокопоставленных мавретанцев), в конце упомянутой эпохи занимавшихся интригами, которые большей частью оставались в тени. Синархи мыслили не *разумно*, как синдикалисты, а *рационально*. «Планирование», «мозговой трест», «технократия» были для них ключевыми понятиями. Через Сент-Ива я выловил эти понятия в луминаре. Технический и социальный прогресс тесно переплетены, тот и другой – феномены порядка Вавилонской башни; они взаимно ускоряют и тормозят друг друга, уравниваются. Оглядываясь назад, трудно решить, какой из этих двух видов прогресса причинил большие опустошения.

*

Штирнера мало волновали такие проблемы; он стряхивал их, как пепел со своей импортной сигары. Они были «не его дело». Его занимали другие вопросы: например, право Единственного распоряжаться жизнью и смертью. Он не стал бы убивать или умирать ни за короля и отечество (как солдат), ни за идею (как анархист), ни за веру (как христианский мученик) – а только ради того, что считал своим делом. Примером ему служила некая маркитантка, которая на Березине умерла в снегу от

потери крови при родах. Но прежде она подвязкой задушила своего новорожденного младенца.

*

В качестве еще одной важной темы мы предусмотрели сравнение Единственного со Сверхчеловеком. Не так уж важно, знал ли старый Застрельщик, как предполагал Маккай, труд Штирнера – – – идеи носятся в воздухе. Оригинальность выражается в том, какую огранку получают эти драгоценные камни – в той силе, с какой человек их схватывает и придает им форму.

Во-первых: Сверхчеловек постигает мир как волю к власти: *«Этот мир есть воля к могуществу и – ничего кроме этого!»* Даже искусство – это властная воля. Сверхчеловек принимает участие в состязаниях, тогда как Единственный довольствуется положением зрителя. Он не стремится к власти; он не спешит ни догнать ее, ни опередить, поскольку он уже ею обладает – и наслаждается ею в своем сознании. Это напоминает образные миры Дальнего Востока.

Конечно, Единственному, как и анарху, власть может достаться благодаря внешним обстоятельствам. Но она, скорее всего, будет ему в тягость. Периандр, тиран Коринфа, получил ее в наследство от отца «как какую-то болезнь». Между прочим, в этом Периандре, как и в Тиберии (особенно в их лучшие времена), мне видятся черты, напоминающие нашего Кондора – хоть он и живет, в отличие от них, в пределах одряхлевшего, внеисторичного Эвмесвиля. Я уже говорил, что между анархом и монархом существует такое же сходство, как между

полярными противоположностями: в сущности, каждый из нас скрывает в себе и того и другого.

Во-вторых: знаменитое «Бог мертв». Уже тогда старый Застрельщик ломился с этим высказыванием в открытую дверь. Он снял покров с того, что уже было в общественном сознании. Что и объясняет произведенную его словами сенсацию. Единственный же говорит: «Бог – – – не мое дело». И в результате все двери остаются открытыми – – – он может ниспровергнуть Бога, или сделать на Него ставку, или оставить в покое – как ему заблагорассудится. Он может «уволить» Бога или «вступить с Ним в союз». Он, как и прославленный силезец, чувствует, что без него «Бога быть не может». Как Иаков, он может до утренней зари бороться с Богом за власть. Священная история полнится такими примерами.

*

К этому месту Виго тоже приписал свои замечания. Одно: «Порфирий: Все, что существует, единично». И второе: «Это уводит в дебри дискуссий вокруг номинализма. Ресурсы же нашего института ограничены».

Что касается Застрельщика, то он в этом вопросе занимал позицию номиналиста – – – вплоть до судьбоносной встречи в Турине. Спор останется нерешенным – если, конечно, не признать, что в фигурах богов *nomina* и *res*¹ совпадают. Кроме того, историк не вправе растрачивать свои силы на мыслительные процессы: полем его деятельности остаются факты.

¹ Nomina – имена, res – вещи, реалии (лат.).

Поэтому с луминаром я работаю преимущественно как физиономист.

Когда Эвмен, старый лис и основатель нашего города, после одной стычки был объявлен мертвым, у его брата не нашлось более срочного дела, чем захватить власть и жениться на вдове будто бы погибшего правителя. Когда оба встретились снова, Эвмен, уже зачисленный в мертвецы, обнял брата и прошептал ему на ухо: «В следующий раз не женись, пока не увидишь мой труп своими глазами».

Нужно заметить, что брат выступил навстречу Эвмену во главе отряда личной охраны и с копьем в руке. Это было отлично представлено — — — чего стоит хотя бы жест брата Эвмена, сперва трянувшего копьем, а уже потом его опустившего. К началу третьего христианского тысячелетия появились актеры нового типа, которые оставили психологию позади или, точнее, стали выражать ее в действиях, — их достижения зафиксированы в луминаре.

*

Соглашусь: совсем непросто освободиться от своей современности, отвлечься от свойственных ей оценочных суждений. Но именно стерильный, прокаленный нигилизмом Эвмесвиль является самым подходящим для этого местом. Взгляд, отрываясь от потухшего кратера, падает на океан. Там внизу, в Помпеях, рынки заполняются народом; скоро от мыса Мизенум сюда под парусами подойдет Плиний.

Тот, кто пускается в рискованное путешествие по истории, должен, как Протей, слиться с ее стихией, должен безоговорочно уподобиться духу того времени, когда было принято определенное решение,

и человеку, это решение принявшему. Относиться к происходящему со страстью, но не принимать ничью сторону. Жизнь пульсирует, не нарушаемая оценочным суждением; дух вздымается вместе с волной и с ней же опадает. Духу вольготно в прибойной волне. Правитель, полководец, тиран, его палач, его жертва и его убийца – ты их вызываешь и задаешь им вопросы, но только *внутри своего сознания*: ведь все они – ты.

Тогда выясняется: возможностей было много – мы можем, поскольку знаем последствия, задним числом их оценить. Скажем: правый фланг следовало бы усилить. И все же: дух тогдашнего времени, могучий, оказывал давление на людей; принятое решение – плохое или хорошее, ошибочное или правильное – не могло быть иным. Потому-то на ошибках истории ничему научиться нельзя. Преступник воображал, что он формирует будущее; но скорее, напротив, будущее засосало его, вобрало в себя. В одно мгновение произошло неизбежное. Впоследствии оно отразится и предстанет в своей непреложности.

Теперь тебе становится не по себе. *Безымянное*, которому даже боги не могут не покориться, туманит твой взор...

43

Закончился еще один долгий день; в городе зажегшиеся огни воспроизводят узор, образуемый прямой главной улицей и извилистыми переулками. На лодках в море тоже горят огни; одни огоньки огибают острова, другие будто застыли на водной поверхности – это лампы рыбаков, подстерегающих кальмаров-*лолиго*.

Пока он самку себе для наслаждения ищет, а та, как Ирида,
Вуалью жемчужной блеснит, рыбак хитроумный уже его
подстерег.

Стеклянные шарики в море бросает, с режущим жалом,
Блеском своим они на тебя, лолиго, похожи.
Вот, обманутый светом, что движется в море, подходишь,
проворный,
Играешь стеклом и в кровь разрываешь покров свой.

Внизу, в кают-компании, Кондор подал знак к
окончанию вечерней трапезы; я всегда дожидаясь
этого мгновения. Возможно, он захочет продол-
жить разговор в ночном баре. В служебном распи-
сании это не значит, но я должен быть наготове,
да и добыча моя при таких okazиях, как правило,
бывает богатой. Однако на сей раз вызов не посту-
пил; теперь я могу выпить вина.

Луминар и после прекращения работы с ним
оказывает свое воздействие: я предаюсь общему
для всех историков удовольствию – метакритике.
Я цитирую какую-нибудь личность; потом ставлю
себя на ее место и перепроверяю принятое ею реше-
ние. Тут следует избегать свойственной почти всем
ошибки: стремления задним числом выносить
оценочные суждения. Мой папаша, например,
бросая ретроспективный взгляд на более благопо-
лучные времена, подвергает критике коррумпиро-
ванное общество Эвмесвиля. Но от него ускользает
историческая неизбежность этой коррупции. Кор-
руптированность – одно из возможных состояний,
не хуже и не лучше других. Молоко благочестивого
образа мыслей скисло – и никакой Катон не сделает
его свежим. Впрочем, любое настоящее с мораль-
ной точки зрения сомнительно, а потому «лучшие

времена» ищут отчасти в прошлом, отчасти же – в будущем.

*

В полночь настает время укладываться спать. Начинается игра сетчатки глаза. Картины из луминара возвращаются: четко обрисованные, но закрашенные другими – дополнительными – цветами. Откуда-то выдвигаются страницы текста; кажется, я мог бы их считывать. Должно быть, внутри каждого из нас хранится чудовищно огромный архив и ни один документ оттуда не пропадет.

Видения обретают жизнь; они становятся текущими, подобно плазме, и потом вновь застывают. Затем появляется *чуждое*. Голова анфас из зеленой бронзы, долго пролежавшая в этрусской земле; вокруг нее лучатся волосы. Ощущение реальности усиливается, но не так, как это происходит во сне. Начинают звучать голоса:

– Неверманн скончался.

Потом другой:

– Балль мертв.

Я этих людей не знаю. Голоса, кажется, доносятся не снаружи, а прямо из уха. Вероятно, какая-то служба катакомб, к которой я волей-неволей подключился. Надеюсь, что сообщение предназначалось не мне.

*

Сну предшествуют либо мысли, либо картины: мысли, если утром перевешивала *реальность в моем теле*, – – – картины, если верх одерживала *реальность зеркального отражения*.

Мне пришло в голову, что такие комбинации главным образом связаны с равновесием. Как поддерживается устойчивое содержание соли в море, как уровень содержания извести сохраняется неизменным, несмотря на периодические прибавления и сокращения; в каком ритме скалы разрушаются, становясь пылью и галькой, а потом снова вздымаются горами?

Массы метеоров и космической пыли, непрерывно падающие на Землю, наверное, за миллионы лет невероятно увеличили ее вес. А значит, должна была бы вырасти и центробежная сила, и отстояние от Солнца. Между тем можно предположить, что Солнце тоже «нагружается» в результате падения на его поверхность метеоров и таким образом прежнее соотношение между массами Земли и Солнца восстанавливается.

Большая мельница: из зерна получается мука, из муки – хлеб. Пекари охотно придают хлебу форму пшеничных зерен или, как полагают некоторые, – форму половых органов. Но между тем и другим особой разницы нет.

Агрессия и ответ на агрессию. Когда Периандр увидел первую стрелу для катапульты, доставленную ему с Сицилии, он воскликнул:

«О небо, – – – вот и конец воинской доблести!» Но потом люди научились укреплять стены и отстреливаться с них – опять-таки из катапульт. Этот феномен повторяется: во время осады замка одного своего вассала Ричард Львиное Сердце беспечно облачивался о стену – до тех пор, пока его насмерть не поразил в плечо арбалетный болт. Он еще не знал, что английским мастерам удалось создать арбалет повышенной дальноточности. Но преимущество,

должно быть, составляло лишь несколько локтей, и вскоре счет в этой игре опять уравнился.

Это напоминает ситуацию с песочными часами: по мере того как пустеет верхняя чаша, наполняется нижняя – – – но вес остается неизменным. Устройство настолько простое, что превосходит возможности человеческого воображения. Тут явно работал не мастер-часовщик, а мастер времени. Любое подведение баланса осуществляется задним числом. Если все совпадает, это – без всякой оглядки на цель – действует успокоительно, как будто сошелся пасьянс. Но потом пасьянс раскладывают заново. Песочные часы люди будут переворачивать до тех пор, пока не упадет занавес.

Сон становится неглубоким; я плыву дальше вместе с льющим сверху светом – – – уже не с мыслями, а лишь настроенный на мышление. В таком полусне гири еще колеблются, но они уже лишены содержания, между ними нет связи. Все складывается иначе, если утром мое зеркальное отражение казалось более сильным, чем я сам. Тогда весь день у меня рассеянное внимание, и на службе я должен следить за собой. Зато ночью дух мой беспрепятственно входит в сверкающий и наполненный ужасами мир сновидений.

*

Ощущения при внезапном пробуждении знакомы каждому. Ранние утренние часы безысходны: они – настоящий лабиринт. Почти всегда нас ждут хлопоты, пусть и незначительные, но по утрам эти проблемы кажутся неразрешимыми: как из них выпутаться?

Я тогда начинаю размышлять о своем положении – на кой ляд мне сдался этот Эвмесвиль? Я здесь, с одной стороны, – подозрительный кельнер, а с другой – бессистемный историк. Суждения окружающих меня, в общем, не тяготят; но как мне устоять перед самокритикой? Скверно, если человек сам себя привлекает к суду.

Смена власти, которая уже намечается, для меня лично будет представлять угрозу; и все же такая перспектива мне скорее приятна. Бункер в верховьях Суса уже подготовлен – – – эта работа, несмотря на затраченные мною усилия, была больше игрой воображения: так зимой планируют отпуск. Приобретают палатку, складную байдарку, ружье. Если игра примет серьезный оборот, я *отправляюсь в отпуск*. И через некоторое время вернусь. Так заканчиваются все романтические походы. Из них либо вообще не возвращаются, либо возвращаются как ни в чем не бывало.

Правят ли в Эвмесвиле тираны или демагоги, мне безразлично. Тот, кто делает ставку на смену политического режима, всегда остается в дураках; он взваливает на свои плечи груз, до которого ему нет никакого дела. Простейший шаг к свободе – скинуть с себя этот груз. Каждый человек в глубине души догадывается об этом – но все равно идет на очередные выборы.

Пока ты остаешься в пределах полиса, ты вертишься в топчাকে. Лишь засыпая, раб становится свободным: в сновидениях он превращается в царя, даже в ночь перед казнью. На сновидческих пиршествах подается отнюдь не только хлеб наш насущный. Это тоже чувствует в глубине души каждый; за счет такого голода кормились пророки и папы. Кня-

зья ночи в магических облачениях хотели бы присвоить и чужие сны.

*

Два шага – или, скорее, прыжка – могли бы вывести человека из города, где эволюция загнала себя в мертвый тупик. Бутфо давно уже понял это, но предпочел сделать ставку на эволюцию. Вынося суждение о каком-то эксперименте, следует отрешиться от понятия пользы, как и от оценочных суждений вообще. Эксперимент лишь обогащает наш опыт; он, как и сама природа, не связан ни с определенным намерением, ни с целью, в том смысле, как мы привыкли их истолковывать.

Эксперимент всегда «удаётся»; в качестве удавшегося эксперимента Сверхчеловек, так же как и Проконсул, нашел свое место, свою нишу, свое положение ископаемого среди приматов: ведь к родовому древу относятся и мертвые ветви. «Как многие ископаемые антропоиды, проконсул тоже возвысился до предка человека» (Хеберер). Как же он «возвысился», хотелось бы спросить.

На эволюцию надежды так же мало, как и на любую форму прогресса. Великое преобразование выводит за пределы не только биологического вида, но и самого биоса. То обстоятельство, что древнейшие письменные источники дошли до нас только в виде отрывочных фрагментов, – величайшая потеря для человечества. Различие между катакомбами и лесами заключается, кажется, в том, что в катакомбах экспериментируют с деревом познания, в лесах же – с деревом жизни.

*

Аттила знает леса; он долго жил там, как и на некоторых других самых крайних рубежах. Поэтому я с особым вниманием слежу за его речью, и еще больше – за его молчанием.

В катакомбах тоже происходит большее, нежели просто накопление и систематизирование знаний. Их обитатели «трясут», исследуют не только человеческое сознание, но и сам человеческий род. В лесу же, по слухам, новая Исида пророчествовала о том, что мы будем освобождены Подземным Прометеем с Кавказа.

В нашем эпигонском мире чахнувших великих империй и пришедших в упадок городов-государств все устремления направлены на удовлетворение самых примитивных потребностей. История мертва; это облегчает задачу ретроспективного исторического обзора и помогает уберечься от предвзятых мнений – по крайней мере, тем, кто уже претерпел эту боль, преодолел ее.

С другой стороны, не может быть мертвым то, что когда-то наполняло историю содержанием и приводило ее в движение. Оно, должно быть, переместилось из мира видимых явлений в резерв – на ночную сторону. Мы возводим свои дома на ископаемом грунте, который способен внезапно извергнуть огонь. Не исключено, что все является горючим материалом – вплоть до самого средоточия.

Что кое-где уже становится горячо, ощущают не только выдумщики и фантазеры. Хотя это лишь «по краям» затрагивает политические и экономические проблемы, Домо «по долгу службы» занимается и такими вещами. Известия, которые он получает от лиц, блуждающих в приграничных районах, как и результаты разведывательных рейдов, проводя-

щихся по его инициативе, Домо держит в тайне – – – как потому, что усматривает в них угрозу, так и потому, что хотел бы вытеснить их из своего сознания: они не вписываются в его систему. Он предпочел бы обращаться с ними как с молвой о вынырывающем озерном чудище. В ночном баре я иногда перехватываю на лету какое-нибудь замечание, проливающее свет на то, как он оценивает сложившуюся ситуацию. Оценка эта – в соответствии с его натурой – реалистична и может быть сформулирована примерно так:

«Слухи, хоть они и преувеличены, несомненно указывают на определенные невралгические точки. Наука сосредоточилась в немногих центрах и стала автаркической, независимой даже от великих империй. Эта независимость (с одной стороны, технократов, с другой – биологов) основывается на накоплении знания и на его засекречивании. Это находит выражение в луминарах, которые передают сообщения и необходимые данные. Вавилонские *башни* теперь загоняются в глубь земли и превращаются в *цистерны*, непроницаемые для политической власти.

Такие феномены вообще-то повторялись снова и снова – – – например, в истории тайных орденов или Старца горы из Аламута, который влиял на политику ближневосточных империй.

Если не ошибаюсь, сейчас действуют две школы: одна стремится увеличить объем большого мозга, другая, лесная, школа – погрузить его в мозговой ствол. Одним не обойтись без огня, другим – без сближения человека с животными.

Мы, жители Эвмесвиля, люди маленькие, и нам лучше держаться подальше от этих споров. Для нас важнее, чтобы каждый день на столе был хлеб.

С другой стороны, слухи о том, что приближаются жуткие перемены, нам не вредят. Они способствуют сплочению людей, ощущающих себя стоящими на краю бездны».

*

Так приблизительно мыслит Домо. Аттила же, похоже, считает, что Кондор должен связаться с представителями лесной школы. Однажды я услышал, как он сказал: «Кондор и Агнец».

Как историк, я наблюдаю некое еще ненаправленное брожение, которое можно было бы назвать *предварительным движением* – – – некое духовное беспокойство, которое разрастается, но пока не поддается определению. Партии еще не образовались, но они намечаются. Что-то произойдет. Первым опытам по расщеплению атома тоже предшествовали слухи.

На острове, где нет ни собак, ни кошек, все же можно судить о том, кто выбрал бы собаку, а кто кошку, если бы этих животных завезли, а кто бы остался на нейтральной позиции. Бывают же люди, которые боятся змей, хотя никогда в жизни их не видели. То же можно сказать о выборе между Монтесумой и Белыми богами.

*

Возвращаясь к Эвмесвилю: мне кажется, Виго предназначен для леса, а Бруно – для катакомб. Они, между прочим, единственные, с кем можно поговорить об этом. Как я уже упоминал, должность в ночном баре я принял прежде всего по совету Виго. Ему я благодарен и за помощь в истолковании тех отрывочных сведений, которые приношу оттуда.

По поводу рассуждений Домо, о которых я ему сообщил, он высказался так:

«Этот человек хорош на своем месте. У него уверенный шаг, поскольку он не видит и не желает знать, что происходит у него под ногами и над головой. Иначе он воспринимал бы науку не так серьезно. Мысль, что наука – прежде всего в технической сфере – есть не более чем театр марионеток, показалась бы ему абсурдной. Однако наука не располагает собственным светом. *Похищение огня*: сперва Прометей похитил огонь для домашнего очага, потом Ураниды – для Левиафана. Очевидно, нам предстоит какой-то третий этап: превращение огня в дух. Земле не обойтись без богов».

*

Такие высказывания для Виго типичны; они-то и дискредитировали его в официальных кругах. Геродот остается для него величайшим авторитетом; он не мыслит себе обоснованной исторической работы без пристального внимания к мифу. Несмотря на все мое уважение к Виго, я не могу вполне разделить такую позицию. Что бы человек ни выдумывал: это указывает лишь на него самого.

Я колеблюсь между Виго и Бруно, который придерживается другой точки зрения. Он ближе к катакомбам, и он уже побывал там – по крайней мере, в преддвериях. Среди прочего его интересует присутствие человеческому интеллекту свойство сверхпроводимости, которое сделает дух независимым от технических средств коммуникации. Но такой перемене должны предшествовать большие редукции. Титаны ограничивают свободу, боги же предоставляют ее.

Я все еще пребываю в ночи, размышляю, как из нее выбраться. Вероятно, когда я окажусь наверху, в бункере, в одиночестве, мне будет легче отыскать выход. Я приготовил там и зеркало из чистого хрусталя. От катастрофы я ожидаю не того, что политические гири распределятся по-новому, но что потребность в них вообще отпадет. Молнии очищают воздух.

Следует упомянуть еще и другие зовы кроме тех, что происходят из катакомб, – – – они внезапно наносят удар по твоей человеческой субстанции, как *de profundis*¹, раздавшееся в ночи.

Сильвана тоже пугали похожие голоса, и он полагал, что к нему вызывают умершие. Он тогда вставал и молился за них. Я же скорее думаю о своих соприкосновениях с *неперсонализированным страданием* и объясняю их проводимыми мною исследованиями.

Случается, при работе с луминаром или в процессе чтения я наталкиваюсь на такие невообразимые ужасы, что, кажется, предпочел бы, чтобы их очевидцы оставили свои свидетельства при себе. Я имею в виду даже не те злодеяния, которые составляют наше общее, доставшееся от Каина наследство. Убийство обладает качеством неделимости. Кто раз решился ступить на этот путь, может убить одного человека, а может – и много тысяч людей, если у него найдутся помощники и он будет располагать необходимыми средствами. Но какими бы техническими средствами ни располагали убийцы,

¹ De profundis – из глубин, из бездны (лат.); название и начало католической заупокойной молитвы.

до Каина им всем далеко. Тот собственным кулаком совершил более значимое деяние, чем самые великие ханы со всеми своими ордами.

Я сталкиваюсь со злодеяниями, из-за которых необходимо вступить в борьбу с реформаторами систем, с богами, с изобретателями адских мук, с инициаторами опасных начинаний. Геродот где-то говорит, что боги оставляют за собой право на всякого рода крайности, а человека такого права лишают; значит, человек должен быть лучше их и должен удерживать их в каких-то пределах. Некоторые животные, особенно насекомые, тоже убивают крайне изощренными способами, но лишь по мере надобности. Земле нужны убийства, они – часть ее хозяйственного уклада, но она предусматривает наказание за убийство, а слепую месть отвергает.

Не ближний, а *самый дальний* – Прометей со своей скалы – стучится ко мне по ночам.

ОДИН ДЕНЬ В ГОРОДЕ

44

Целые сутки на касбе, с утра до утра; и все-таки я еще мало рассказал о своей службе.

Продолжительность дня определяется не часами. Она зависит от нашей фантазии, от мысленной игры. Образные картины сокращают время, поскольку прогоняют скуку; вместе с тем они умножают смыслы. Оптимальным представляется мне такое мгновение, в котором время сконцентрировалось бы, тем самым уничтожив себя, и все сделалось бы возможным. Свет, усилившись, стал бы абсолютным.

В это утро кончается моя смена. Я передаю сменщику ночной бар со всем, что там находится, оставляю в офисе свой вечерний костюм и ключ. Студия на время моего отсутствия останется запертой: Большой луминар – дело секретное.

Теперь я могу отправиться в город; на Замковой горе уже довольно тепло. Пешеходная тропа срезает изгибы шоссейной дороги; она – как красная стрелка, указывающая направление вниз, к гавани. Зеленые ящерицы снуют по ней и исчезают в зарослях молочайника. Колючки им нипочем. Жалованье лежит у меня в кармане, и я позвякиваю золотыми монетами. В гавани я сделаю остановку.

Латифа ждет меня: я сообщил ей, что приду, через мадам Позер. Сама Латифа не может принимать звонки: у нее только серый фонофор, который настроен на официальные трансляции с касбы и по которому можно лишь слушать, но не говорить. Если

в распавшемся на атомы обществе Эвмесвиля сохранились остатки классового или кастового порядка, то выражается это именно таким образом. Права здесь – динамичной природы; они основываются на объеме властных полномочий, а не на собственности.

Латифа, между нами говоря, – первая встречная, попавшаяся мне на пути. Я обратил на нее внимание, когда спустился в город после первой смены на касбе. Ее участок расположен над гаванью, между магазинами судового оборудования, маклерскими конторами и маленькими ресторанчиками. Там она обычно курсирует туда и обратно; середину ее маршрута маркирует *albergo*¹ мадам Позер: жалкая гостиница для свиданий – узкое, в несколько этажей, здание с тесными лестницами; перед распичовочной, занимающей первый этаж, на мостовую выставлены два круглых столика и стулья. Мадам сдает номера с почасовой оплатой: мало кто из постояльцев выражает желание остаться на ночь.

Сама Латифа ни с кем не заговаривает, но ее медленная походка и вопрошающий взгляд дают понять: эта женщина ждет, что к ней обратятся. Еще и серый фонофор... Здесь, наверху, клиентура получше – – – штурманы, казначеи, старшие стюарды, даже какой-нибудь нотариус или эфенди, вдруг надумавший отвлечься. Надолго это его не задержит.

Я к ней привык. По сути, те, что работают внизу, в гавани, мне нравятся больше – – – они как фигуры с выставленными вперед грудями, украшающие носы галионов, или как Медузы-горгоны, которые бросают вокруг дерзкие взгляды и соблазнительно

¹ Гостиница (*ит.*).

покачивают ягодицами. Однако в гавани дело редко обходится без ссоры. Особенно когда якорь бросает какое-нибудь большое судно – тогда у охранников работы хоть отбавляй.

*

Мы усаживаемся за один из круглых столов; его жестяная поверхность украшена штампованным узором. Если проливаешь бокал, никаких следов не остается. Мадам подает нам аперитив. Солнце уже поднялось над крышами, его свет приятен. Я рассматриваю Латифу, как работоторговец – рабыню на рынке; в этой ситуации еще что-то сохранилось от древности, от раннего Персеполиса. Важна в первую очередь челюсть: по ней можно судить о строении костей. Слева вверху – золотой зуб, который не портит впечатления. Он обнажается при улыбке, таинственно углубляющей черты лица. Неискоренимое заблуждение мужчин состоит в том, что по улыбке они судят об интеллекте.

Латифа не накладывает румян, красит лишь губы; из-за этого и из-за черных волос, падающих на лоб, лицо кажется еще более бледным; оно – крупнопористое.

– Ты носишь длинную юбку; держу пари, у тебя безобразные ноги.

– Вы, может, хотели бы рассмотреть все прямо на улице?

Неплохой ответ. Сама она тоже меня рассматривает, оценивающим взглядом, – словно рыбину, попавшую к ней в сеть. Фонофор с полосой выдает во мне человека с касбы; люди с касбы – удобные клиенты: они не требуют никаких выкрутасов и не

склонны к романтической болтовне. А главное, у них есть чем платить.

– Ну, хорошо. Тогда *upstairs*¹ – мадам, я сразу освобожу номер.

– Аперитив бесплатно – господин профессор, вы будете довольны.

Она, похоже, знает меня лучше, чем я полагал. Этого не избежать: Эвмесвиль – захолустье.

*

На лестнице остановка.

– *Comme hors d'œuvre*?²

– *Des crudités. Trousse, trousse, garce*³ – – – тебе кое-что предстоит.

– О да, я догадываюсь – – – вас там на касбе Кондор держит в черном теле.

При определенных обстоятельствах даже неплохо, если тебя оценивают как представителя некоего коллектива. Это нормализует отношения, позволяет не раскрывать чужому свою индивидуальность.

Наверху в комнатке. Кровать, камин, все как обычно. Закрытые ставни, сквозь щели пробивается солнце.

– Вы ведь знаете, сколько причитается даме?

Это звучит так, будто она учила фразу в лингафонном кабинете. Я роюсь в кармане и кладу на каминную полку эскудо.

– О, какая щедрость.

– А теперь раздевайся!

¹ Наверх (англ.).

² Как насчет закуски? (фр.)

³ Сырые овощи. Скорей, скорей, моя девочка (фр.).

За окном кричат чайки, чуть ли не задевающие крылом щипец крыши. Свет не слишком тусклый и не слишком яркий. Я вижу, как женщина на мгновение застывает у камина – непринужденно, оперев руки со сжатыми кулачками в бедра. Грудь: не пышные, но хорошей формы. Архаический стиль, не очень способствующий должному настроению.

*

Лейденская банка, называемая также банкой Клейста, – аппарат для накопления и хранения электрического заряда. Стекланный цилиндр, внутри и снаружи оклеенный листовым оловом. Было бы красивее, если бы он выгибался в верхней части, как ваза. Слой стекла изолирует посредством пространственного разделения; он также действует как фактор, прекращающий ток времени. Когда контакт замыкается, молния – искра – возвещает уничтожение времени. Умрет ли человек или муха, никакой разницы нет; в атомах скрыта тайна, из которой чеканят свою монету и *bios*, и *psyche*; эти таланты они ссужают человеку под процент.

*

Латифу нужно воспринимать всерьез, как и любую другую женщину. Сейчас она опять прислонилась к камину. Я могу спокойно ее рассмотреть – бледное тело, темный треугольник, черные волосы, теперь еще ниже спадающие на лоб. Первое впечатление подтвердилось: она наверняка была зачата в добрый час. В наших лупанарах на верхней окраине города можно встретить всяких гетер – от «классических» во

вкусе эпохи Перикла до «эллинистических» времен диадочов. Там есть альбомы, по которым выбирают девушек. Или мадам хлопает в ладоши: «Le choix»¹ – и тогда они все проходят перед тобой. Но Латифа показала бы архаичной и тогда, когда Эвмен только основал этот город.

Она курит сигарету с марихуаной, подкрашивает перед зеркалом губы – готовится к следующей брачной ночи. Сейчас оденется. Вещей на ней немного.

Настроение у меня приподнятое, все контуры видятся четко – как после бури в горах. Я мог бы сейчас заняться какой-нибудь проблемой. Внизу торговец рыбой громко расхваливает свою скумбрию. «Tutti freschi»² – – по-прежнему еще рано. Здесь в гавани и на прилегающих улочках название каждого товара как бы выпекается – будь то рыночными торговками, поварами или продавцами лимонада. Может, Кондор все-таки продержится дольше, чем я предполагал. У меня отличное расположение духа:

– Латифа, золотко, ты каждого так осчастливила, как меня?

На бедрах у нее опять темный треугольник – вещица, сотканная из воздуха.

– Я ж девушка для радости – – но некоторые плачут.

– Они, наверное, женаты.

– Как раз нет. Они ревут, потому что сами так не умеют – или потому что уже кончили. Зато с вами – теми, что с касбы, – хлопот никаких.

Она исчезает на лестнице, махнув мне на прощанье сумочкой.

¹ «По выбору» (фр.).

² «Вся (рыба) свежая» (ит.).

Такие разговоры вошли у нас в привычку и повторяются каждый раз, когда у меня кончается смена. Я по природе любопытен. И мало-помалу из разрозненных фрагментов составил себе представление о ее истории – как все это началось, как продолжалось, кем был ее первый мужчина. Соблазнителем или насильником? Я, почти как Небек, выпрашиваю все подробности, но – *sine ira*¹. Интеллектуальные способности у нее средние, зато она склонна к фантазиям; всякий же человек больше раскрывается, когда лжет, чем когда говорит банальную правду, – – его следует оценивать по сокровенным грезам.

Однажды, когда Лати́фа в очередной раз стояла у камина, разыгралась жуткая сцена. Свет вдруг начал дрожать, как перед коротким замыканием, но потом не погас, а сделался ослепительно ярким. Я рукой заслонил глаза; не помогло – свет пронизывал локтевую и лучевую кости. Каменные стены будто ветром сдуло – четко вырисовывался только каркас здания. Я увидел у камина скелет: каркас из костей, дополненный золотым зубом, пряжками чулочных подвязок и золотым эскудо, который она уже спрятала; еще – маленькую спираль под маточным зевом.

Эксперимент обитателей катакомб: либо неудавшийся, либо изначально задуманный – в расчете на нас – как демонстрация силы. Время от времени такие вмешательства беспокоят наш город, вызывая своеобразный паралич. Часы останавливаются; сле-

¹ Без гнева (*лат.*).

дует *blackout*¹, как будто затормозилось время. Те, в катакомбах, умеют также вызывать землетрясения и затмения. Короткая встряска для могущественных ханов, которая вскоре забудется как кошмарный сон...

Я услышал голос Латифы:

– Мне прийти еще раз – – – к тебе?

Она впервые сказала так. Мы лежали под одеялом, почти бескожие, – два эмбриона в чреве Леви-афана. Да, это было хорошо – такой возврат к человеческому.

Когда она ушла, я нашел на камине эскудо. Она положила его обратно. Хорошее намерение, но против правил игры. В следующий раз я положил на камин два эскудо и она взяла их, не моргнув глазом. Умная девочка. Как бы там ни было, с тех пор наши отношения стали более доверительными.

45

Латифа служит мне своего рода громоотводом – ведь Ингрид brutальные ласки не по душе. Она допускает только необходимое – да и то, как я предполагаю, скорее чтобы доставить удовольствие *мне*.

В нашем Эвмесвиле она производит впечатление чужестранки – перелетной птицы с Дальнего Севера, коротающей здесь зиму. Она скорее маленького, чем среднего роста, но с исключительно соразмерным телосложением. А ее лицо, окажись оно в антропологическом кабинете, наверняка сопровождалось бы табличкой с надписью «Шведка».

¹ Временное отсутствие (отключение) электрического освещения (во время аварии и т. д.).

Почему в голове у меня мелькнуло: «Близнецы», когда я впервые встретился с ней в институте? Наверное, из-за этой ее ладной фигурки, будто только что вышедшей из литейной формы. В таких случаях расовые признаки преобладают над индивидуальными.

Ее любимый цвет – синий; она носит льняную одежду этого цвета, всех оттенков – от почти белого до самых темных, – а из духов пользуется только лавандовым маслом. Почти никаких украшений – разве что брошь-камея или, иногда, цепочка на шее; колец она не носит. За столом, как и вообще в повседневных привычках, аскетична: рыбный суп без шафрана и уж, конечно, без чеснока – – – *сop rere*¹, когда нам случается обедать вместе; я при таких оказиях подлаживаюсь под нее. Она и Латифа знают друг о друге; тут я не собираюсь ничего скрывать. Кроме того, «перевалочный пункт» Латифы и снимаемая мною квартирка во флигеле, где я отдыхаю от своего папаши, расположены недалеко друг от друга. Ингрид не ревнива, а Латифа не имеет права на ревность.

Ингрид – добросовестный исследователь; я же, как у нас говорят, ее *диссертационный папаша*. На этом зиждется ее преданность мне. Дочерняя преданность увенчивается инцестом. Я нюхом почуял это уже при первой встрече.

Виго относится к тем пророкам, которые на чужбине пользуются большей славой, чем в отечестве. Среди посвященных его имя, к тайной досаде коллег, считается *mot de passe*² – и так обстоит дело повсюду, от

¹ С перцем (*ит.*).

² Пароль (*фр.*).

Бейрута до Уппсалы. Поэтому при нем всегда обретаются слушатели, приехавшие издалека.

Однажды, когда я прощался с ним после совместно проведенного вечера, он сказал: «Да, между прочим, у меня опять объявилась одна белая гусыня, хочет у нас поработать. Имеет хорошие рекомендации и уже поднаторела в обращении с луминаром. Я бы хотел, чтобы вы сняли с меня эту нагрузку».

Он представил дело так, будто научное руководство ему в тягость; по сути же, чем больше у тебя аспирантов, тем выше твой тюрбан.

*

На следующее утро, в институте, он нас познакомил. И тут же предложил тему: «Дифференциация командной власти в античных империях». Тема должна была потом распространиться и на колонии западноевропейских держав, сконцентрировавшись на вопросе о диктаторских полномочиях проконсула.

Случается, что каста военных, отстраненная от власти демосом или сенатом, обосновывается в отдаленных провинциях. Метрополия таким образом избавляется от смутьянов, аристократов и реакционеров; на окраинах империи они, как в природных заповедниках, могут вести войны на старый лад – с кочевниками и горными племенами. Авантюристы на службе у государства... С другой стороны, они могут стать опасными, если, как Цезарь, создадут себе свою Галлию или, как один иберийский генерал по фамилии Франко, вернутся во время кризиса в метрополию со своими легионерами.

Приблизительно так представлял себе это Виго. Он сказал: «Тема слишком широкая. Надо бы вышелушить из нее лейтмотив – – – сосредоточиться, скажем, на экстраполяции. (В математике: экстраполяция становится тем менее надежной, чем больше ты отдаляешься от заданного интервала, а в некоторых случаях она ненадежна уже сразу на выходе за его пределы.) Ну, посмотрите, что это вам даст – – –». С этими словами он нас покинул.

Виго не ошибся: тема в самом деле была широкой. Правда, расстояния уже не играли особой роли с тех пор, как появились воздушно-десантные войска. Ингрид работала в одной из наших комнат (точнее сказать, в кабине) на Малом луминаре. Тогда-то я и заметил, что синеву своих одеяний она сочетает с лавандой.

Она и в самом деле быстро и основательно со всем разбиралась, например, в Доме писем – с новой версией самоубийства лорда Клайва. Это пригодилось и мне – помогло провести более четкое разграничение между анархом и родственными ему фигурами. В «Двенадцати тезисах», которые во время Крестьянской войны в Германии составил один анабаптист, ей удалось сделать важную для нашей темы находку. Там говорилось, что войны между христианскими народами – а значит, и воинская повинность – должны прекратиться. Если же тем не менее будут появляться неукротимо воинственные люди, их следует посылать против турок.

*

На то время, когда нес службу на касбе, я с позволения Виго предоставлял Ингрид свой рабочий каби-

нет в институте, то есть обеспечивал ей доступ к Большому луминару. Так прошел год, но мы стали замечать, что тема как бы дробится на части. Обсудив это с профессором, мы с ним согласились на предложение Ингрид. Предложение касалось плана «Щегол» – я могу лишь намекнуть, что это такое. Как известно, евреев снова и снова тянет к Обетованной земле. Так было еще во времена египетского и вавилонского пленений, а также в период рассеяния народа после разрушения Города. Древнейшие раздоры – наподобие раздоров с аммонитянами – ожидают при этом снова и снова.

«О Сион, вышний град...» Именно он на протяжении столетий оставался одной из величайших грез человечества; сионизм попытался воплотить эту грезу в реальность и в эпоху мировых войн достиг своей цели – вопреки как внешнему, так и внутреннему сопротивлению. Кто-то заметил: «Это показало мне, что и мы не умнее других».

От национального сионизма обособился сионизм религиозный и культурный. Как у всех проблем, проникнутых грезами, возникали неясности; эти сферы по краям сплавлялись одна с другой. План же «Щегол», в отличие от них, был трезвым: он представлял собой программу на меркантильной основе.

Я лишь краем уха слышал об этом; такого слова не найти ни в корреспонденции Герцля, ни в письмах Бялика. Очевидно, образ щегла был выбран как символ некоего пестрого, многокрасочного единства. Государства должны были передать евреям маленькие или даже крошечные территории – передать либо в аренду, либо в качестве дотации. Здесь – независимый город, там – маленький островок, полосу пустыни возле границ Йемена, крайнюю

оконечность какого-нибудь полуострова и так далее. Думали также о горе Сион с коридором, обеспечивающим выход к морю. Двенадцать колен Израилевых, создав в этом центре союзный флот, могли бы заниматься внешней торговлей, они имели бы также верфи и нефтеперегонные заводы.

Для государств – а до Всемирного государства тогда еще было далеко – территориальные пожертвования оказались бы крайне незначительными, несравнимыми с полученными взамен преимуществами. Стимулирующее воздействие нейтральных зон свободной торговли на крупные, замкнутые империи хорошо известно. Часто торговцы приносили большую пользу, чем целые армии. Это касается также культуры, системы ценностей вообще. Таким образом мог бы возникнуть каркас валютообмена. – – –

Виго идея сразу понравилась. Я уже отмечал, что он питает пристрастие к Венеции. «У вас могло бы получиться что-то толковое. Евреи, золото и Змея – – – это тайны, явленные как Откровение».

*

В маленьких журналах, в студенческих конспектах, в Доме писем Ингрид скоро нашла необходимый материал. Теперь она уверенно работала с луминаром. Прежде всего она ухватила главное: нам следовало бы вернуться к своим семитским корням. Раннее Средиземноморье представляет собой неисчерпаемую модель всех будущих порядков, эдакую предварительную кухню. Так, план «Щегол» был реализован уже финикийцами. Курсирование на парусных судах между городками, ведущими растительное существование; создание собственных

факторий на расположенных вблизи чужих берегов островах; разработка засекреченных рудников, даже по ту сторону от Геркулесовых столпов; торговля такими пользующимися высоким спросом товарами, как слоновая кость, стекло, пурпур, серебро; поразительная степень абстрактности в системе финансовых отношений – все это в эпоху истоков проявляется более концентрированно, чем при позднейших повторениях. Не следует забывать и о смелости этих первых торговцев – смелости в духе Одиссея и Синдбада, а не испанских и португальских конкистадоров.

Оттуда открывались широкие перспективы: как, скажем, выглядело бы Средиземноморье, если бы Ганнибал одержал победу над Сципионом или эмир Муса – над крестом?

Нравилось мне и то, что Ингрид вернулась к биосу: мореплавание – фактор вторичный. Есть растения, главным образом травы, которые, распространяясь вширь, образуют целые степи или прерии. Другие же растут в далеко отстоящих друг от друга маленьких изолированных анклавах. Если смотреть на вещи с этой точки зрения, то финикийцы были прежде всего семитами, а уж потом – мореплавателями. Ветер ли разносит семена, воздух ли, эфир ли – главным испытанием оставалась задача сохранить свой биологический вид, как бы далеко друг от друга ни рассеялись его отдельные представители. И после разрушения Города Титом это испытание на нашей планете продолжалось. Конечно, в данном случае, как и в любых других ситуациях, приходилось советоваться с богами: «Благо Израилю, ибо Бог владычествует над ним».

Здесь, как можно предположить, проявилась слабость национал-социализма: он слишком упро-

щенно воспринял этот биотоп, отрешил его от магического консенсуса и стер с лица земли.

46

Такую тему мы обсуждали в тот день – который, как и многие другие, провели вместе у луминара. День этот потом врезался мне в память как особая дата.

Работа вдвоем с образцовым учеником – наподобие Небека – бывает приятной, а часто и волнующей. Ты забываешь про еду и питье, даже про само тело. Возникает некая проблема; она обсуждается, иллюстрируется историческими примерами. Иосиф Флавий, синагога на Верхнем Рейне во времена Крестовых походов, пражское кладбище, Дрейфус, с которого срывают эполеты, после чего ломают его саблю. *Книга часов* иллюминируется – часто лишь таким образом, что вспыхивает инициал.

Я как сейчас вижу Ингрид, сидящую у луминара. Изящная фигура, узкие ладони, духовная сосредоточенность. Я не знаю, играла ли Йенни Линд на каком-нибудь музыкальном инструменте. Шведский соловей – – – наверное, у рояля она выглядела бы так же; скажем, в то время, когда ее чествовали геттингенские студенты.

– Ингрид, мне помнится, Гесиод упоминал какого-то финикийского торговца?

Она начинает играть; клавиши, кажется, опускаются еще прежде, чем их касаются пальцы. Ни у кого здесь нет такой памяти, как у Ингрид. Она прокладывает себе прямой путь через чашу чисел, словно скользит по просеке. Вскоре я вижу чужеземного торговца возле источника и рядом с ним девушку, она следует за ним на его корабль. Вече-

ром она уже не вернется с кувшином домой. Это, как игра ветра и волны, очень древняя песня.

Луминар – машина времени, которая отменяет время: она выводит тебя за его пределы. Так происходит не на всем протяжении пути и не с каждым, но бывают такие переходы, когда ты слышишь только мелодию, а про инструмент забываешь.

*

Ингрид в ту пору снимала комнату поблизости от нашего дома; при лунном свете я пошел проводить ее до палисадника. По дороге мы продолжали беседу; я видел в тени только ее лицо и кисти рук – – на ней было ее самое темное платье, спрыснутое лавандой.

Я не могу не упомянуть здесь одно противоречие, которое смущает меня: запах лаванды, сам по себе, меня отталкивает. Так я воспринимал его и когда мы с Ингрид сидели у луминара; но теперь вдруг я почувствовал сильное влечение к нему. Впрочем, все это происходило незадолго до цветения апельсиновых деревьев, и некоторые деревья уже стояли в цвету. Стало светлее, из садов веяло опьяняющим ароматом, и запах лаванды будто распылялся сквозь него. Оба аромата на поверхности моей кожи смешивались.

К противоречиям можно отнести и то, что женщина, обладающая точным умом, производит отталкивающее впечатление. Но, опять-таки, это не касается исключительных, «вершинных» случаев, о чем свидетельствует целый ряд великих встреч между мужчиной и женщиной. А вот в наших академических кругах Парису не пришлось

бы гадать, кому присудить яблоко, да и счастливые браки здесь – исключение.

Так вот, – – – во время этой прогулки я вдруг ощутил напряжение, грозившее стать непереносимым; разговор сбился. Паузы преодолевались с трудом. Мне приходилось все сильнее себя сдерживать.

Конечно: я был не только учитель, я был для нее идеал. В тот год я это часто чувствовал, да она этого и не скрывала. Но что бы произошло, дотронься я до нее? Нетрудно вообразить: чрезвычайное удивление, мертвое молчание в лунном свете, наши побледневшие лица, вероятно, слезы; сложившееся у нее представление обо мне было бы разрушено.

Так я довел Ингрид до палисадника: «Что ж, до завтра». Я не взял ее руку. Как уже говорилось, я жил совсем близко, когда останавливался у папаши. Я еще немного побродил взад-вперед перед домом, чтобы охладить лоб, потом вошел.

Едва я закрыл дверь, как снаружи раздался стук.

На пороге стояла Ингрид; в прихожей еще горел свет. Она протянула мне записку; я прочитал: «Пожалуйста, давайте обойдемся без церемоний».

Правой рукой я погасил свет, а левой привлек ее к себе. Наверху работал папаша – запоздно, как обычно; братец уже лег спать. Прихожая была выложена мраморной плиткой. Жесткая кровать; мы обошлись без церемоний. Она старалась подладиться. Вспенившаяся волна прибоя скрывает под собой даже память.

Потом я, должно быть, сразу заснул. А когда проснулся, Ингрид уже не было. Мне показалось, что все это мне приснилось.

*

Как ни странно, в наших отношениях мало что изменилось. Разговоры, правда, – словно пал какой-то барьер – стали еще более насыщенными. Спускаясь в город, я первую половину дня провожу в институте. Я сообщаю о своем приходе Виго, читаю лекцию, навещаю аспирантов на их рабочих местах. Для собственных исследований мне вполне хватает времени и на касбе.

Мой обход завершается в келье Ингрид; мы обсуждаем текущую проблему и потом еще час или дольше играем с луминаром. Беседа продолжается, пока мы идем к гавани; некоторое время мы сидим на набережной, возле лодочного причала. Над морем – солнце в зените; я веду Ингрид в свою комнату со скудной обстановкой. О предстоящем, как и во время той ночной прогулки, не говорится ни слова; мы – словно по наезженной колее – скользим по улочкам и потом поднимаемся по лестнице.

Я часто спрашивал себя, что Ингрид при этом чувствует и чувствует ли что-то вообще, или она рассматривает происходящее как исполнение некоего долга – – – не в том смысле, что ее вынуждает к этому зависимость от меня, а потому что, поскольку мы работаем вместе, она считает такие отношения естественными. Во всяком случае, слова тут ни к чему, мы ограничиваемся самым необходимым. Соответственно, я еще никогда не видел Ингрид раздетой, хотя через ткань чувствую ее тело; она обнажает лишь бедра и свое золотое руно. С другой стороны, я бы не решился сказать, что в наших отношениях преобладает чисто деловой аспект. Мне, правда, приходится сдерживаться, чтобы не шептать ей на ухо непристойности, как я делаю, когда навещаю Латифу.

*

В музее Роснера есть кабинет, посвященный птицам, которые гнездятся на утесах Дальнего Севера; многие особи поражают великолепием своего оперения, красками, мерцающим блеском. Некоторых добыл Аттила, который там, наверху, занимался не только рыбной ловлей. Жизнь сконцентрировалась в полярной ночи.

Мне нравится слушать, когда в поздний час он в ночном баре начинает вспоминать о своих походах по ту сторону от пояса паковых льдов. Тогда лицо его приобретает черты Нептуна: я так и вижу в его руке трезубец. Он отважно проникает в трещины, раскалывающие айсберг, продвигается до самых голубых гротов, выточенных водой. Низвержение глетчеров гулом отдается в таком соборе. Синевато-лавандовые ледяные кристаллы шуршат, раздвигаемые форштевнем. Даже Исландия остается южнее; мы тут одни.

*

Мы продолжаем беседу, касающуюся плана «Щегол». Согласно одному каббалистическому толкованию, Левиафан обитает в далеко отстоящих друг от друга высотных цитаделях или, может быть, на утесах; иудеи – как чужаки – рассеяны между ними. Оттуда Левиафан ведет борьбу с Бегемотом. Последний защищается рогами; Левиафан пытается его задушить, плавниками затыкая ему ноздри, – – – «что, кстати сказать, прекрасно иллюстрирует процесс покорения сухопутной державы посредством блокады». Это высказывание принадлежит Дону Каписко – Ингрид отыскала его в луминаре.

Как любое фундаментальное произведение, каббалистические тексты таят в себе пророчества. Это пришло мне в голову, когда я наткнулся на приведенное выше описание Левиафана, который, между прочим, относится к титаническим символам катакомб.

Народ в Эвмесвиле считает, что катакомбы находятся под землей; но с этим не все так просто. Бруно осторожен в своих намеках, но я предполагаю, что он побывал в пустотах, возникших благодаря плутонической и человеческой деятельности. Там имеются обширные сады с флорой, превосходящей своей пышностью наземную растительность. Равномерное тепло и свет особенной яркости творят чудеса. Ботаники высвободили неизвестные до сих пор силы природы. Я спросил Бруно: «Не странно ли это, ведь биологи стоят на стороне лесов?»

«Вы разве не помните, что Прозерпина, когда собирала цветы на лугу, была похищена Плутоном и уведена в подземный мир?»

Помню, конечно: его ответ отсылает к тем временам, когда Противник хитростью или насилем захватывал свет науки и «поворачивал» его в противоположную сторону.

Хотя катакомбы подземные, но они тянутся вверх вместе с горами. Так возникают конусы, поделенные на ячейки и герметичные, как термитники. Оттуда – и это напоминает как Фурье, так и каббалу – управляется Междугорье. Самый мощный из этих фортов, Радамант, служит одновременно станцией для запуска спутников. Оттуда ведется наблюдение за космическими кораблями и самоуправляемыми летательными аппаратами на их орбитах и на космических платформах. В зависимости от ситуации их либо приближают к Земле, либо от нее отдаляют.

Пространство по ту сторону стратосферы – табу даже для великих империй.

Виго полагает, что здесь нашелся бы материал для нового Данте. Однако, добавляет он, Данте уже имел некую рамку и мог вписать туда ад, тогда как метатехника сама должна эту рамку установить. А потому *там*, как кажется, скорее думают о самоограничении, нежели о господстве.

*

Когда мы играем на луминаре – иногда в четыре руки, если присоединяюсь я, – во мне всплывает одно детское воспоминание. Не могу не признать, что папаша заботился о моем образовании. И в двух случаях добился особого успеха. Во-первых, он привил мне необходимые для луминара навыки быстрого чтения. Типы шрифтов, употребление прописных букв, акценты, знаки препинания, которые указывают не только *что* следует читать, но и *как*: все это позволяет не просто просматривать текст по диагонали, как стенографическую запись, но и оценивать его качественно. Без таких навыков не справиться с необъятным материалом.

Второе – уроки игры на фортепиано. Лучшие удаchi – те, которые сваливаются на нас неожиданно. В нашем квартале бесспорным музыкальным дарованием обладала синьора Риччи, эмигрантка из Смирны, – гречанка, ливанка, еврейка? Наш город, как известно, – смесительный чан. Летом она давала уроки музыки, а зимой – танцев. Пышная брюнетка с нежными чертами лица, напоминающая женские образы Мурильо. Над верхней губой у нее был пушок; когда она проявляла энергию – скажем, во

время танцев, – в ней появлялось что-то от цирковой актрисы – – она хлопала в ладоши: «Дамы танцуют одни – *messieurs à genoux!*¹» Тщательное соблюдение приличий, как того требует ее ремесло...

Я неохотно ходил к учительнице – чувствовал себя псом, которого натаскивают для охоты. Это было еще в пору моих печальных мечтаний на чердаке. Я шел и думал, что вот сейчас меня снова начнут терзать менуэтом Диабелли. Уже на пятом такте я непременно совершал промашку, за что получал шлепок по руке.

Шлепок я воспринимал как развлечение: он был легким, даже приятным.

К тому ж еще глухой голос: «Болван, остолоп, ты неисправим!»

Все имеет свою технику: я упражнялся с менуэтом дома, как учатся печатать на машинке. Научился выдавать правильный, но лишенный радости текст – в один прекрасный день шлепка не последовало, и мне вдруг стало скучно.

Большой палец левой руки должен был опуститься на клавишу «ми». Я не сделал этого и тотчас был разоблачен:

– Хочешь меня рассердить? Ты сделал это нарочно!

И тут она переплела свои пальцы с моими. Можете себе представить, каким было продолжение.

С того дня я едва мог дожждаться очередного урока и еще часто слышал: «Ты остолоп», а также: «Ты неисправим». Последнее выражение довольно двусмысленно.

Тогда-то и исчезла моя меланхолия, ее будто ветром сдуло; я *переболел* смертью матери и стал хорошим учеником также и по другим предметам:

¹ «Господа, опуститесь на одно колено!» (фр.)

уже не старался вызубрить урок наизусть, а учился *rag sæur*¹.

Синьора выдавала себя за тридцатипятилетнюю; сегодня я думаю, ей было под пятьдесят. Нет лучшего возраста, чтобы ввести мальчика в мистерию любви. «И разумные будут сиять, как светила на тверди, и обратившие многих к правде – как звезды, вовеки, навсегда»².

Почему это я о ней вспомнил? Правильно: с Ингрид я тоже играю на луминаре в четыре руки. Но теперь я кладу руку на ее пальцы. Я передаю дальше то, чему когда-то научили меня. Это – переплетения крест-накрест, пестрый ковер, который ткется не только ради моего удовольствия.

*

Описывая свой свободный вечер на касбе, я забыл упомянуть шахматы. Шахматная доска стоит рядом с вином и фруктами; стюард не вправе к ней прикасаться.

Эта игра знает только противника, но не врага. Она, как агон, ведется между равными. И значит, подходит анарху не меньше, чем королю, – – – смелая атака, изощренная ловушка, если они удались, вызывают у игрока олимпийское удовлетворение. Он может, как я здесь, на касбе, играть против себя самого.

Партия продолжается, перехлестывая часы моей службы. Чтобы сэкономить ходы, я сначала воспроизвожу один из классических дебютов, известных со

¹ Сердцем, на совесть (фр.).

² Книга пророка Даниила, 12:3.

времен Филидора. Потом начинается игра. Она ограничивается одним ходом в день; такой паузы достаточно, чтобы я забыл, каковы были мои намерения накануне. Тот, кто хочет играть против себя самого, не должен заглядывать себе через плечо.

Это наслаждение архаично; я двигаю пешками и офицерами, проворной ладьей, хитрым конем, могучим слоном, королем, визирем. На касбе царит тишина; судьба сгущается. Я достигаю состояния, при котором фигуры кажутся мне исполненными уже не значения, а смысла. Они обретают самостоятельность: простой солдат превращается в полководца; становится видимым маршальский жезл, который он носил в ранце.

Слоновая ли кость, дерево, глина или мрамор – материя сгущается. Она подводит себя к последнему знаменателю, независимо от того, поставлены ли на кон лесные орехи, королевства или «только честь». В конечном счете мы всегда играем на жизнь и смерть.

Я все еще у Латифы: партия пока не вышла за пределы дебюта. Девушка из речной долины – – – в ней, как и в Клеопатре, и в любой другой женщине, скрывается Афродита. Я мог бы по черным и белым клеткам довести ее до самой границы: тогда пешка превратилась бы в королеву. Если бы я тогда принял ее эскудо, первый ход в этом направлении был бы уже совершен – – – но почему именно с ней? В каждом из нас дремлет пастух, перед которым когда-то, на горе Иде, предстали три богини.

О ЛЕСЕ

47

Возвращаюсь к своей службе на касбе. Из-за стойки бара я вижу Кондора; он кажется лениво-расслабленным, и настроение у него почти всегда хорошее, лишь иногда он выглядит утомленным. Справа от него Домо, как Одиссей с мшистой бородкой, которая скорее подчеркивает, чем скрывает профиль. По левую руку Аттила, единорог с белой волнистой гривой. Выпив, он приглаживает ее рукой сверху вниз. Мне хотелось бы отнести его к кентаврам – – – потому что в нем нет ничего раздвоенного, а есть, наоборот, двуединство. Гости день ото дня меняются. Иных уже запоздно вызывают по фонофору, если хотят узнать их мнение по какому-то поводу. На боковых скамьях сидят *миньоны*, и каждый не спускает глаз со своего господина. Стоит бокалу опустеть, они без напоминаний приносят его мне и уже наполненным возвращают обратно.

Под занавес появляется шеф-повар. Обед, как всегда, был простым и изысканным. Повар приносит меню на следующий день. Кондор вычеркивает десерт, заменяет его на другой. Иногда подходит и дирижер маленькой капеллы, игравшей во время обеда с эстрады. Домо просит позвать его, когда бывает особенно доволен – или, наоборот, когда у него возникают претензии. А угодить ему трудно. Начинается разговор о тонкостях исполнения, для меня не вполне понятный.

– Я хотел бы слышать звук, а не инструмент. Он должен отделяться легче.

– Скрипач сегодня не в духе. У него семейные неприятности.

– Что ж, бывает.

Мне лучше удастся следить за разговором, когда замечания касаются физических основ.

– Вы не выдержали предварительную паузу.

– Не знаю, как это понимать, ваше превосходительство.

– Я имею в виду паузу, предшествующую игре, – – а не ту, которая ее прерывает.

– Я, кажется, обозначил ее поднятием дирижерской палочки.

– Нет, это уже зримый знак; представьте себе лестницу. Когда вы поднимаете дирижерскую палочку, вы уже поднялись на первую ступеньку; а я имел в виду *предварительную паузу*.

Почему на сей раз я его сразу понял? Потому, вероятно, что он затронул общую для всех искусств проблему. Живописец тоже какое-то время рассматривает белую поверхность, и поэт молча размышляет, прежде чем у него развяжется язык. Возможно, в этой тишине они ближе к совершенству, чем когда все исполнено, – как бы произведение ни удалось.

Кажется, Домо имел в виду, что следует дожидаться эвфонии – точнее, готовности к ней. Правда, это важно скорее для композитора, чем для музыканта-исполнителя, в особенности такого, что лишь развлекает гостей перед обедом.

*

О возрасте и происхождении Аттилы я по-прежнему не имею никакого представления. Иногда я причисляю его к мифическим персонажам, что пред-

полагает *выключенность из времени*. Порой же он напоминает мне некоего графа Сен-Жермена, который хвастался, что владеет эликсиром вечной молодости, и между делом рассказывал, как пировал когда-то с Александром Великим.

Первоначально я считал Атилу одним из тех врачей, которые в общении с офицерами стараются придерживаться грубого тона. Когда он становился разговорчивым, такому впечатлению способствовали истории вроде следующей:

– Бороды меняются в зависимости от моды, зачастую они подражают бороде монарха – ну, для меня это этап пройденный. (При этом он кивнул Кондору.)

Такую бороду, как у меня сейчас, я носил неоднократно – будь то из патерналистских, будь то из анархистских побуждений. На первой войне, в которой мне довелось принимать участие, я был безбородым юнцом; та служба оказалась единственной, ради которой я принес клятву на знамени. Я имею в виду, что только за эту клятву я нес ответственность – – – потом я еще много раз присягал, чтобы получить преимущество или чтоб избежать ущерба; даже клятва Гиппократа для меня не более чем формальность. С клятвами дело обстоит как с девственностью.

После одной из проигранных войн я носил такую же бороду, как сегодня; она уже тогда была седой. Как врач я в те годы многому научился и много чего повидал: крупные перевязочные пункты – своего рода преддверия ада. Наш город был оккупирован войсками Желтого хана и уже относительно спокоен. Борода мне пригодилась: в глазах татар она делала меня почтенным человеком. Вскоре я стал известен у них как «генерал».

С другой стороны, я заметил, что молодые люди из наших недовольны мною и не прочь выместить на мне свою злобу. Они норовили толкнуть меня, кричали мне вслед ругательства. Я оставлял это без внимания. Только однажды, когда один из них заступил мне дорогу и вдруг обеими руками вцепился в мою бороду, я потерял терпение. Я ухватил его за плечи, развернул и дал ему такой пинок под зад, что он влетел в витрину. Там он мог разве что порезаться стеклом, ибо витрины магазинов были, как правило, пусты и украшены лишь портретами Желтого хана.

С того дня я не чувствовал себя в безопасности. Парни разгуливали по улицам группами и не останавливались бы перед применением силы. Дело дошло до анонимных угроз. Тогда я отправился к коменданту, который благожелательно меня принял. Он сидел в номере-люкс совершенно разграбленной гостиницы. Я отвесил ему церемонный поклон.

Замечу попутно: тогда я уже давно оставил за плечами то время, когда сопротивление ценилось как моральное достижение. Такие понятия – реминисценции из либеральной эпохи, рецепты для самоубийц, освобождающих полицию от лишней работы. Подобным ситуациям адекватен лишь один способ поведения – – – как у хамелеона. Это греческое слово означает «земляной лев». Один раз я уже принес клятву, один раз «оказывал сопротивление»; больше ни народ, ни король никаких прав на меня не имеют.

*

– Генерал, что привело вас ко мне? Что я могу для вас сделать?

– Комендант, мне угрожают. Их злит, что я забочусь о ваших раненых, что ухаживаю за ними. Я хотел бы продолжать эту работу и потому прошу вас выдать мне оружие, чтобы я мог защищаться.

Он покачал головой:

– Вы бы лучше назвали поименно этих вредителей – – – тогда вам бы точно не пришлось больше с ними встретиться.

– К сожалению, я их не знаю.

Я, конечно, знал их, да и оружие у меня имелось – припрятанное в надежном месте. Однако нужно придерживаться правил игры – притом с обеими сторонами, пока такое возможно. Между прочим, я в свое время тоже оказал услугу коменданту и сохранил все в тайне: врач – это почти исповедник.

– Ну хорошо, папаша, – – – в твоем случае я сделаю исключение.

Так я получил пистолет и, самое главное, разрешение на ношение оружия. На положение нелегала следует переходить как можно позже. Мое жилище было отделено от военного госпиталя городским парком. Как-то я пересекал этот парк в темноте, после долгого рабочего дня. На середине дороги стоял тот самый тип, которого я недавно заставил очутиться в витрине. Я снял пистолет с предохранителя.

Левой рукой он ткнул в мою сторону сигарой:

– Эй, старый козел, – – – огонька не найдется?

– Сожалею, но я некурящий.

Последовал боксерский удар, опрокинувший меня на землю.

– *Excuse me darling*¹ – – – возьми зажигалку.

¹ Извини, дорогой (англ.).

С этими словами я, лежа, выстрелил сквозь карман и оставил о себе память. Парень был верзилой; раны, нанесенные наискось снизу, сложны.

Потом я подошел к остальным и приказал им улечься на брюхо. Они мигом стали кроткими, как ягнята: каждый почувствовал на своем затылке пистолетное дуло. Татары используют это средство во время допросов, чтобы сломить сопротивление, – так же и римляне заставляли побежденных пройти под ярмом, причем одного прохода вполне хватало.

Этих сопляков я мог больше не опасаться – по крайней мере, до конца оккупации. Но они, в большинстве, были отпрысками известных семей. Они бунтовали против отцов, которые навлекли на них военное поражение; и меня тоже причисляли к «отцам». Я бы их не трогал, если бы и они оставили меня в покое. Однако жизнь коротка, и вино мне милее виноградного сусла.

Спустя какое-то время я счел целесообразным исчезнуть – ночью с двумя пистолетами перешел на противоположную сторону; там у меня тоже издавна имелись друзья и покровители. Маврета-нец везде найдет накрытый стол. Тут еще играют роль природные дарования. Врача, певца, гетеру – если они обладают талантом – привечают и у друга, и у врага. Они, как Биант, *все свое носят с собой*; вольный паспорт достается им еще в колыбели.

48

Во время таких предполуночных разговоров Аттила производит приятное впечатление – как человек, рассказывающий о своих мальчишеских выходках,

которые он давно не принимает всерьез, но о которых иногда вспоминает, чтобы развлечь друзей. Меня удивляет то прямодушие, с каким он высказывается о тирании; вероятно, Аттила может себе позволить такое благодаря своему авторитету. Кроме того, он обращался к сотрапезникам, которые уверены друг в друге; Кондор и Домо тоже откровенно высказывают свои мнения. Это напоминает мне самоиронию интеллигентных евреев: она облегчает разговор, даже вносит в него нотку веселья.

Я собрал целую подборку рассказываемых Аттилой историй – такие можно услышать в союзах бывших фронтовиков. Примечательно, что он почти не упоминает время, которое посвятил научным исследованиям, – хотя наверняка провел в лабораториях много лет. Думаю, опыт тех лет нашел отражение в его бумагах: иногда Домо намекает на это. Аттила, видимо, играл значительную роль в эпоху трансплантаций, когда ученые пытались воздействовать на естественный рост организма. Новые сыны Прометея, когда пробил их час, осознавали себя не только Уранидами.

Сдержанность Аттилы может иметь две причины: либо он считает свои былые эксперименты эксцессами, которые привели к отвратительным результатам и о которых поэтому лучше помалкивать. Либо эксперименты эти удались сверх всякой меры. Ведь молчать желательно и в том случае, если ты открыл золотую жилу. Возможно, ответ оказался куда более впечатляющим, чем вопрос, – – – чудо аннулировало эксперимент. Представьте себе: некий мастер попытался перехитрить природу – и вот взрыв подтверждает правильность выбранного им направления работы, одновременно раз-

рушая ее результаты. Так и бывает с попытками заклясть могущественные силы. Предварительные меры всегда весьма хлопотны. Когда же в игру вступает дух, уже не до этих хлопот. И люди охотно забывают о технических деталях.

*

Я начинаю внимательно прислушиваться, когда – уже в поздний час – Аттила решается посредством своего рассказа перенести собеседников через границы: в полярное море, или в великие пустыни, или в лес. Тогда мне с трудом удастся отделить географию от грез, но ведь это можно отнести и к нашему Эвмесвилю. Действительность будней стирается, сопрягается с действительностью сна; и то одна, то другая реальность подступает ближе к сознанию.

Некоторые из упоминаемых мест – например, местонахождение Серого Транс-Исландского замка – мне удалось реконструировать по фрагментам. Догадки, а также ошибки тут неизбежны; это относится к слабым сторонам нашей науки. Такие источники *прорываются во время* лишь однажды.

*

– Дело было после одной из великих катастроф. Случившейся много лет назад. Пустыня, и прежде покрытая лишь скудной растительностью, тогда выгорела полностью. Караванные тропы были окаймлены скелетами людей и животных. Кости сверкали на солнце, точно опалы: они были прокалены. Их выбелил недолгий процесс тления. Плоть,

видимо, была уничтожена мгновенно. Глиняные хижины в оазисах, дома возле буровых установок расплавились точно так же; глина и камни покрылись глазурью. На стенах вырисовывались силуэты пальм, верблюдов и людей – как тени, отброшенные излучением, которое последовало за пеклом. С буровой вышки свисали тали, будто застыл фонтан. Жерло пушки, как конец шланга, загнулось вниз; под ним на песке застыли стальные капли. Катастрофы тоже имеют свой стиль.

Я был один. Из тех, кто сопровождал меня, некоторые сдались уже после первых переходов, поскольку все эти ужасы оказались им не по плечу; многие умерли от жажды или погибли в зараженных долинах. Я опять оказался последним; с возрастом такой опыт неизбежно накапливается; ты уже по горло сыт тем, что в очередной раз остался жив.

Не помню, как я добрался до леса. Вероятно, ливни наполнили высохшие водоемы. Я также удалился от эпицентра уничтожения; там в воздухе уже кружили первые коршуны. Потом я увидел растения и животных, в том числе и таких, которые были мне неизвестны. Некоторые напоминали картинки в старых книгах сказок, как будто Демиург сшил их из обрезков материи.

Известно, что на маршах, приводящих солдат к истощению, возникают видения. С другой стороны, странные существа напомнили мне об экспериментах, которые занимали меня уже давно, и не исключено, что такие воспоминания спроецировали их в пустыню, увеличив в размерах. Воспоминания тоже могут обретать реальность: в конце концов, любой эксперимент есть не что иное, как реализованное воспоминание.

*

Лес стоял как стена; топор никогда еще его не касался; катастрофа, должно быть, только способствовала его росту, как будто дыхание зноя и потоп, последовавший за ним, высвободили первобытную силу. Это, похоже, подтверждает теорию Кювье.

Перестойные деревья превосходили высотой самые высокие башни. Другие образовывали кроны, в тени которых могло бы укрыться целое войско. Лишь позднее в переплетении ветвей мне бросилась в глаза одна странность: ветки копулировали друг с другом. В принципе, в этом нет ничего нового для ботаника, как и для садовода, привыкшего заниматься окулировкой. Я знал одного садовода в Саксонии, который на одном стволе выращивал фрукты семи сортов. Но в данном случае необычность заключалась в том, что скрещивание происходило без всякого разбора. Соединялись совершенно чуждые виды – и порождали плоды, при виде которых даже Линней пришел бы в отчаяние.

Это тоже напомнило мне о лабораториях. Нам посчастливилось, если уместно это так назвать, создать существ гигантского роста, многоруких, как индийские боги, и женщин с гроздьями грудей, как у Дианы Эфесской. Мы на ощупь пробирались по генетическим лабиринтам, чтобы воскресить далеких предков, о которых прежде знали лишь по изображениям на шиферных пластинах и мергелевых скальных породах.

*

Но здесь веял воздух Протея, и в пределах леса удалось то, что мы с чудовищными издержками

пытались создать в реторте. Я ощутил это непосредственно, как алхимик, который, уже смирившись с невозможностью великого превращения, вдруг видит в пылающей печи настоящее золото. Я ощутил также, что сам втянут в это превращение – – – в некий новый мир, подлинность которого лишь позднее детально подтвердит опыт общения с ним.

Обратный путь от древа познания к древу жизни внушает страх. Однако в пустыню, оставшуюся у меня за спиной, я воротиться не мог. Там наверняка ждала смерть. Я должен был, хотя мне грозила опасность затеряться в этом лесу, пройти его насквозь и выйти к открытому морю. Как любой первобытный лес, этот тоже был окружен поясом густого, местами колючего кустарника. Внутри, в тени, он оказался более проходимым. Однако солнце, по которому только я и мог определить направление, было теперь скрыто густой листвой.

Я, должно быть, долго блуждал по кругу, – голый и исцарапанный, как потерпевший кораблекрушение. Колючки разодрали мне куртку и кожу. Я находил источники и ручьи, из которых мог напиться, а также, по счастью, плоды и ягоды, которыми насыщался. Вероятно, их силы, смешавшись с мучившими меня лихорадочными видениями, и образовали череду воображаемых испытаний.

Однажды мне пришлось обойти целую армию термитов. Они отличались чудовищной величиной и маршировали к какому-то обелиску, из вершины которого сыпались искры. Змеи, высоко наверху перемещавшиеся с дерева на дерево, тоже были необычайно крупными. Они, казалось, не скользили, но и не летели: их бахромчатые тела колыхались.

Очевидно, эти змеи уже почти превратились в драконов. Они сливались со стволами, когда охватывали их лапами. Кроваво-красная смола или смолистая кровь вытекала из трещин, оставленных их когтями. Я не жалел об отсутствии бинокля: и без него каждая чешуйка навечно врезалась мне в память.

Казалось также, что та чувствительность, какую мы знаем лишь у мимоз, здесь стала всеобщим свойством. На одном дереве висели плоды, как у нашего клена; дети любят приклеивать их себе на нос и называют «крылышками». Это – чистая аналогия, но здесь она воплотилась в реальность: плоды не падали на землю, они *парили*. Стая крошечных летучих мышей справляла свадьбу, облепив со всех сторон ствол. Здесь ты мог бы пустить корни и стать деревом.

На одной прогалине солнечный луч вдруг высветил существо с головой барана. Левой рукой оно опиралось на ягненка с человеческим лицом. Оба почти тотчас же растворились в свете, будто видение стало слишком ярким.

*

Потом снова – островки густых зарослей на буреломах. В одном была протоптана дорожка, звериная тропа. Смертельно измотанный, я наудачу пробирался по ней. Она привела к свободной площадке: там рос кипарис, высота которого превосходила возможности человеческого воображения. Будь небо затянуто тучами, я не увидел бы его кроны. Ствол оказался полым; вход вовнутрь не выкрошился, как дупло, а был прямоугольно, точно ворота, вырезан в оболони. Деревья – наши лучшие друзья; я решил войти.

В темноте я на четвереньках достиг внутренней части; пол был покрыт шкурами, скорее даже руном, которое – чудилось мне – выросло из него, как вырастает шерсть на спине животного. Великолепное ложе; я вытянулся на нем и мгновенно забылся похожим на смерть сном.

Не знаю, долго ли я там спал. Проснувшись, я почувствовал себя заново родившимся на свет, словно после купания в источнике молодости. Воздух был восхитительным: он пропитался ароматом кипарисовой древесины, смолу которой сжигают как благовоние.

Утреннее солнце падало через деревянные ворота. Я выпрямился; моя кожа поблескивала, кровь будто обновилась, и ни следа царапин от колючек я не нашел. Должно быть, я спал и видел сны. А между тем кто-то обо мне позаботился. Что означает *между тем*? Паузу между двумя мгновениями или между двумя формами существования.

Рядом со мной лежало какое-то одеяние, подобие бурнуса; оно было соткано из того же золотого руна, что и ковер. Возле него – сандалии и поднос с хлебом и вином: великий и незаслуженный дар. Откуда бы он ни появился – здесь невозможен был другой ответ, кроме молитвы.

*

Аттила редко – и больше в монологах – достигает этого пункта. Тем временем в рассказе его возникают лакуны, возникает упомянутое выше *между тем*. Бывает и так, что нить рассказа теряется в научных или мифологических экскурсах. Например, о древесине кедра, которая считалась несо-

крушимой. Она использовалась для сооружения храмов и кораблей, детских колыбелей и гробов, а также для сожжения умерших. Я обратил внимание на то, что для Аттилы мифическое значение дерева важнее его ботанических описаний. Кедр, кипарис, туя, можжевельник в его рассказах как бы сливались друг с другом, как, впрочем, и горные вершины – Атлас, Сион, Синай, некоторые горы Нового Света. Кажется, даже Иггдрасиль он считает не ясенем, а *кедром*. То есть это слово имеет для него в первую очередь не биологическое, а космогоническое значение. Я отмечаю эту деталь, потому что поначалу мне с трудом удавалось вникнуть в *задние планы* его языка, пока я, наконец, не заметил, что вещи там не усложняются, а наоборот, упрощаются: Аттила возвращает их к первичному синтезу.

Так я объясняю себе то воздействие, которое он оказывает на компанию за столом. Он, совершенно серебряный, образует ее средоточие. Даже на Домо падает этот свет. Выпито было много; я тут единственный трезвый. Я сосредотачиваю внимание на лбу Аттилы... и вижу, как прорезывается, словно из почки, рог. Аттила гладит руку Кондора, почти отеческим жестом – это мог бы быть и жест тестя.

Он молчит о лесе; но, добравшись до моря, становится разговорчивей. Море, должно быть, оттуда недалеко. Путь вел от *метаисторических* к *внеисторическим* ландшафтам, от леса – к хаотичному побережью. То, что он рассказывал о тех местах, звучало нехорошо – даже, можно сказать, безнадежно.

Один из символов внеисторических пространств – свалка. Отходы угрожают пространству. С мусором уже не справляются, как это происходит

в культурных обществах; он постепенно заполняет собой все промежутки между строениями. Когда корабль терпит крушение, море выбрасывает его обломки на берег. Мачты, доски используются прибрежными жителями для строительства хижин или как дрова. Получается, что люди живут на свалках и за счет них – – – среди груд хлама, который они употребляют для своих нужд. Неприкрытый голод воцаряется на месте бывшего богатства и изобилия. Никакого прироста больше не наблюдается.

Сначала такие *мусоришки* думают вкривь и вкось, потом начинают действовать себе на погибель; а ведь были соответствующие предзнаменования. К ним Аттила относит, например, страсть к раскопкам, восходящую к эпохе гуманизма. «Тогда возникли своего рода подземные карго-культы: только из могил могли еще появляться художественные произведения. По ходу этого процесса боги все больше утрачивали власть. Потом наступил черед эксплуатации ископаемых свалок, которые возникали в результате землетрясений или уничтожения первозданных лесов из-за энергетического голода. Даже океан превратился в свалку. С того ясеня больше не склевывали плоды – его попросту срубили».

*

Негниючники, поведение которых Аттила изучал на Большой Свалке, ютились в вырытых там пещерах; они были почти неодеты и безоружны. «Так живут грибы – за счет чужого хлорофилла». Они, как первобытные собиратели, выкапывали из земли съедобные корни и ставили ловушки на мелких

животных. Эти аборигены не умели обрабатывать ни камень, ни обломки дерева, и использовали их в том виде, в каком находили. Так же они поступали с остатками металлических аппаратов или автомобилей. Они, казалось, почти и не жили, а скорее вели полусонное существование – как было в древнейшие времена, пока Прометей не принес людям огонь. «Наследником *последнего человека* будет не первобытный человек, а призрак».

Как врач, Аттила пытался, видимо, чем-то им помочь, но безуспешно. Время от времени к берегу причаливали пираты и устраивали охоту на этих несчастных, чтобы опробовать на них оружие, добытое из незараженных бункеров. Некоторых они забирали с собой для разведки в этих самых бункерах. В рабы обитатели Большой Свалки не годились.

49

Сегодня я был поставлен перед необходимостью принять решение, которое, вероятно, ознаменует мое прощание с Эвмесвилем. Вместе с завтраком Чанг принес мне служебный план и в нем приказ Домо: в одиннадцать часов явиться к нему «не в служебной форме».

Я был еще в утреннем халате и, пока китаец приводил в порядок мои вещи, погрузился в размышления. Этот приказ мог означать неприятности: возможно, были подслушаны разговоры, в которых Далин похвалялся передо мной своими нигилистическими подвигами. Или они обнаружили мой тайник в верховьях Суса? Первое я попытаюсь представить как недоразумение, второе – как мое хобби.

По службе мне не в чем себя упрекнуть: минувшей ночью я, как всегда, обслуживал гостей, и Кондор попрощался со мной вполне благосклонно... Стало быть, я мог не опасаться серьезных обвинений; кроме того, в таких случаях не вызывают, а *задерживают*.

*

Домо принял меня, сидя за письменным столом; он, очевидно, был очень занят, но, как всегда, внимателен. Случилось так, что этим утром я распознал в зеркале свой реальный образ. Домо пристально посмотрел на меня, словно собирался сообщить приятное известие, – – – его лицо я за много ночей успел хорошо изучить.

– Венатор, вы знаете, что мы ценим вас – как здесь, наверну, по службе, так и в качестве историка. Вы не привносите в историю ничего лишнего. Кондор не просто так предоставил в ваше распоряжение Большой луминар. Это предполагает не только признание ваших профессиональных качеств, но и доверие к вам.

Потом он перешел к делу:

– Кондор решил устроить Большую охоту, которая через пустыню должна привести нас в леса. Сейчас я занят составлением подготовительных приказов; вскоре мы отправимся в путь. Помимо егерей и обычного сопровождающего персонала я хотел бы взять и небольшой штаб ученых; среди прочих я подумал о Роснере как зоологе и о вас как историке. «Ослов и ученых в середину» – вы эту цитату знаете. Но шутки в сторону – – – мы видим в вас нашего Ксенофонта; то есть, конечно, – если вы примите предложение.

Он, вероятно, хотел еще что-то добавить, но ограничился намеком:

– В исходе этого проекта я не уверен; ситуация может выйти из-под контроля.

Это был камешек в огород Аттилы. Домо подумал о зоологе и историке: значит, он хочет держать охоту как в естественных, так и в человеческих границах, какие бы ни возникли угрозы. А то, что он собирается лично участвовать в охоте, хотя здесь его некому заменить, только подтверждает такой вывод.

Домо повернулся, чтобы взять фонофор и вызвать очередного докладчика; я теперь видел его голову в профиль. Короткая борода немного заостряет и удлиняет подбородок; похоже, что рог у него начинается здесь – а не на лбу, как у Аттилы. Борода его сейчас отсвечивала мшистой зеленью, поскольку того требовали красные камни Замковой горы. Жизнь – это череда оптических обманов, однако такой цвет был Домо к лицу; если кто-то из нас и выйдет невредимым из опасного предприятия, так именно он – – – уж он-то не станет целиком полагаться на богов.

Он дал мне время на размышления; я взял эту отсрочку по тактическим соображениям, хотя решение принял тотчас. Здесь открывается один из двух путей, выводящих из города – пусть всего лишь в промежуточное пространство, в некое преддверие. Я буду держаться не за Домо, которому скорее предназначены катакомбы, а за Аттилу. Тот, как сват, пролагает пути для Кондора.

*

Виго был единственным, с кем я мог посоветоваться, прежде чем дать согласие. Я взял на касбе увольнение и вечером навестил Виго в его саду. Он тотчас понял, что речь идет о чем-то большем, нежели экспедиция. Правда, любая охота имеет калидонскую подоплеку.

В оценке сложившейся ситуации Виго исходил из исторических принципов. «Конечная цель политической воли – Левиафан. Эта цель в большей или меньшей степени уже многократно достигалась; в поздние эпохи – скажем, при римских цезарях или во Всемирном государстве – непременно вследствие совершенствования техники. Два пика: один вырастал из персональной, другой – из общественной воли. Здесь – бог-цезарь, там – *homo magnus*¹, то есть титан; один связан со зверем, другой – с плутонической силой. Это нашло отражение и в символах: здесь – орел и лев, там – краски и рабочие инструменты.

Всемирное государство распалось на части, как и предрекал Бутфо. Остались империи диадохов и эпигонские города-государства. Девятнадцатое христианское столетие выбрало своим девизом идею перманентного и к тому же еще качественного роста, в XX столетии *homo faber*², казалось, эту идею осуществил. Но потом прогресс привел к новым разногласиям, которые можно приблизительно обозначить как разногласия между экономистами и экологами. Первые мыслили еще в категориях **истории мирового человеческого сообщества**, вторые – в категориях **истории планеты Земля**; пер-

¹ Великий (большой) человек (лат.).

² Человек умелый, человек строитель, человек созидатель (лат.).

вые думали о разделении сфер власти, вторые – об управлении; возникли конфликты между представлением об **окружающей среде как объекте** и восприятием **окружающей среды как части единого мира**; а кроме того, распространялись предчувствия гибели мира, повторяющиеся каждый раз на рубеже двух тысячелетий.

Максимальная концентрация власти тоже падает на **последние времена**. В нашем случае она по необходимости связана с развитием техники. Опять же выражаясь очень приблизительно, то есть в рамках классической науки, можно сказать, что, с одной стороны, наращивали свое вооружение биологи, а с другой – физики. Первые стремились подчинить себе органический растр, вторые – материальный; первые рвались к генам, вторые – к атому. Обе стороны вели подкоп не только под исторические фундаменты, но и под фундаменты человечности, и одних такой путь привел в лес, других же – в подземный мир.

Сомневались уже во всем, но только не в науке. Наука была единственным, что процветало неизменно и в планетарном масштабе: она сожрала даже государство. Ей удалось то, что прежде смогли осуществить только великие титаны, которые предшествовали богам, более того, породили их. Чтобы постичь эти цели, скрытые от нее самой, наука должна была приблизиться к некоей границе, по-новому ответить на вызов смерти и жизни».

Виго еще добавил: «Мартин, я никогда не сомневался, что вы предпочтете лес. Но я также понимаю, что вы рассматриваете его лишь как переход – – для вас он не конечная цель, как для Аттилы, и не фикция, как для Домо. Но что такое

фигуры? В любом из наших великих переломов осуществляет себя чья-то мечта. Вы, как историк, это знаете. Мы терпим крушение не из-за наших мечтаний, а потому, что мечты наши были недостаточно прочными».

50

Аттила рассчитал благоприятный час; мы будем двигаться по ночам, а тронемся в путь завтра, в полнолуние. Передовые отряды с шатрами уже выступили в поход. Я же тем временем наносил прощальные визиты, в том числе и папаше, который, само собой, попытался меня отговорить. Начинание, в котором я собираюсь участвовать, он считает чем-то средним между авантюрой и шарлатанством. Бруно тоже выразил сомнение: он предпочел бы, чтобы я отправился к катакомбам. Я еще раз побывал у Латифы и у Ингрид, еще раз искупался в море с его теплыми и холодными течениями.

Латифа на сей раз получила от меня не эскудо, а букет цветов. Я всем существом ощутил, что, совершив такой жест, попал в яблочко. В ней высвободилось внутреннее тепло. Ингрид тоже поразила меня, впервые сбросив покровы. Я воздал этому должное.

Я попрощался также со своим *бургом-убежищем* в верховьях Суса. Тропа уже заросла, скоро вершина будет наглухо изолирована переплетением колючих ветвей. Я отправился туда, чтоб спрятать свои заметки, сделанные в ночном баре; расшифровать их сможет разве что Бруно. Результаты своей научной работы я оставлю в институте; это преимущественно фрагменты.

Что же касается этих записок, то я пребывал в сомнении, не следует ли их сжечь; угнетало меня, среди прочего, их несовершенство. Сознание, что я сделал недостаточно, отбрасывает тень на мое существование – и историческое, и личное. Но, как бы то ни было, уничтожение рукописи есть своего рода духовное самоубийство – этим я не хочу сказать ничего дурного о самоубийстве как таковом. Просто одно переживание, связанное с упомянутой тенью, уберегло меня от такого поступка.

В последние дни, чтобы подготовиться к походу в лес, я интенсивно работал перед зеркалом. И мне удалось добиться того, о чем я всегда мечтал: совершенного отделения от своей физической экзистенции. Я увидел себя-в-зеркале как трансцендентного жениха – – а себя самого, вступившего в конфронтацию с ним, – как его преходящее отражение. Между нами, как всегда, горела свеча; я склонился над ней, чтобы пламя обожгло мне лоб; я увидел след ожога, но не почувствовал боли.

Когда Чанг принес завтрак, он нашел меня, обнаженного, лежащим на полу. Китайцы – мастера как в убийстве, так и в возвращении к жизни; с помощью горячих полотенец и крепких эссенций он снова привел меня в чувство. И поклялся, что будет молчать. Не остаюсь у меня на лбу стигма, я решил бы, что все это мне приснилось.

ЭПИЛОГ

Мой брат, Мартин Венатор, много лет назад пропавший без вести вместе с тираном и его свитой, теперь, как и они, официально объявлен умершим. Наш отец был прав, настоятельно предостерегая его от этого начинания. Которое мы уже тогда расценили как последнюю попытку властителя, проигравшего свою игру, найти какой-то выход.

С той поры в нашем городе многое изменилось; изменилось – как я могу, пожалуй, сказать – к лучшему. Касба пришла в запустение; пастухи пасут стада своих коз внутри крепостных стен. Бывшие изгнанники воротились с чужбины, а заключенные – с островов; палачи, обслуживавшие тиранию, поменялись с ними местами.

Как наследник своего брата, я стал распорядителем его рукописного наследия. Сюда относятся исследования, которые он хранил в Историческом институте, директором которого являюсь теперь я. Он – вероятно, из ложной скромности – назвал их фрагментами; я распоряжусь, чтобы их привели в порядок.

Сюрпризом для всех оказались бумаги, только недавно обнаруженные в дикой местности по верхнему течению Суса. Охотники, преследовавшие буйвола, нашли их в старом бункере, вместе с оружием и запасами провианта. Не окажись среди них один ученый, они бы, без сомнения, сожгли эти рукописи. Как бы то ни было, бумаги попали ко мне.

Мы с сожалением и неудовольствием относились к тому, что мой брат исполняет на касбе обязанно-

сти мелкого служащего. То, что он с большими стараниями соорудил для себя вышеупомянутое убежище, свидетельствует о его скептическом настроении и о духовном сопротивлении тирану. Он наверняка проявил бы все это и в действиях. Жаль, что он не доверился нам и нашим друзьям.

Эти бумаги по большей части представляют собой множество разрозненных – датированных и недатированных – листов: расчеты и заметки о его ночной деятельности, перемежающиеся краткими высказываниями в иероглифическом стиле. Бруно, на которого он ссылается, эмигрировал и, должно быть, теперь трудится на важном посту в катакомбах.

И потом еще эти записки, к которым я пишу эпилог. Они читаются легче, хотя почерк местами очень небрежен. Однако он привычен мне почти как мой собственный. Бывают такие черты сходства, которые бессмысленно отрицать.

Чтение этих бумаг спровоцировало у меня конфликт совести – – – конфликт между чувствами частного человека и долгом историка. Мой брат не любил свою семью. Таков уж он был. Но мы любили его. Его записки пронизаны такими суждениями – на мой взгляд, ошибочными, – которые мне, как частному человеку, дают право уничтожить рукопись; и я в самом деле размышлял, не сделать ли это. После каждого вступления в права наследования устраивается сожжение бумаг – – – либо для того, чтобы очистить в памяти образ покойного, либо из семейных соображений.

Я, однако, историк и происхожу из семьи историков. Мой любимый брат – – – среди титулов, которые он любил, ему был особенно дорог титул «историка по крови».

Есть *совесть архивариуса*: ради нее историк обязан принести в жертву себя самого. Я подчиняюсь ее требованию, печатаю эти листы и отныне буду хранить их в институте.

КОММЕНТАРИИ

С. 7

Меня зовут Мануэль Венатор. Мануэль – сокращенное от Иммануэль, «С нами Бог». Венатор – латинское *venator*, «охотник».

...на касбе Эвмесвиля. Касба (арабск. «цитадель», «укрепленное поселение») – крепость, обычно находившаяся на некотором отдалении от исламского города. Прообразом касбы в романе была касба города Агадира в Марокко, построенная в XVI в. и ныне почти полностью разрушенная. 8 марта 1974 г. Юнгер, отдыхавший в Агадире, пишет в своем дневнике: «Последний день в старом году жизни. Я снова ускользнул в Африку. Ночью гроза, сильный ливень в первой половине дня. <...> Продолжил также составление плана “Великого сбора” [первоначальное название романа. – Татьяна Баскакова]. Действие могло бы разворачиваться на этой сейсмоактивной почве, Касба в центре с видом на море и пустыню, на Сус и заросли кустарника».

С. 8

...не Мануэль, а Мартин. Латинское имя Мартин означает «воинственный, посвященный Марсу». Святой Мартин – римский воин, всадник на белом коне – покровительствовал обездоленным (разрубил пополам свой плащ, чтобы поделиться с нищим).

С. 9

...Свергнутые Кондором трибуны... В Древнем Риме трибуны – должностные лица, с 494 г. до н.э. ежегодно избиравшиеся из плебеев на собраниях по

трибам (округам). Должность народных трибунов была введена для защиты прав плебеев от произвола патрицианских магистратов. В период поздней республики ежегодно выбирали 10 трибунов.

Трибуны имели право накладывать вето на распоряжения или постановления любого магистрата (кроме диктатора и цензора) и сената, арестовывать и приговаривать к штрафу магистратов (кроме диктатора) и рядовых граждан, созывать собрания плебеев, заседания трибутных комиций и сената и председательствовать на них, издавать эдикты и предлагать законопроекты. Трибуны были единственной магистратурой, не слагавшей своих полномочий перед назначенным диктатором. Личность народного трибуна считалась неприкосновенной.

...Виго... Прообразом этого персонажа, несомненно, был Карл Шмитт. Однако историческим примером мог служить также Джамбаттиста Вико (1668–1744) – крупнейший итальянский философ эпохи Просвещения, творец современной истории, кроме того заложивший основы культурной антропологии и этнографии. Его главный труд – «Основания новой науки об общей природе наций» (1725), – кончающийся словами: «Только религия заставляет народы совершать доблестные дела под влиянием чувств». Вико в романе имеет и биографические черты сходства с Вико, который в автобиографическом сочинении «Жизнь Джамбаттисты Вико» пишет о себе (Джамбаттиста Вико. Основания новой науки об общей природе наций / Перевод Андрея Губера. Киев: REFL-book, М.: Ирис, 1994. С. 500):

При исполнении своих профессорских обязанностей Вико живо интересовался успехами юношей. И для того, чтобы избавить их от обмана или не дать им впасть в обман лжеученых, он совсем не заботился

о том, чтобы избежать недружелюбного к себе отношения ученых коллег по профессии.

С. 10

...сенсориум... Общий орган ощущений; кора головного мозга; способность к ощущению.

С. 12

...со своими миньонами... Миньон (фр. Mignon – «малыш», «милашка») – распространившееся в XVI в. во Франции обозначение фаворита, любимчика высокопоставленной особы. Миньоны при дворе выполняли роль, среднюю между советниками, стражниками и членами свиты. В зависимости от прихотей покровителя они также могли быть его любовниками. Прислуживающие за столом персидского вельможи мальчики описываются в «Анабасисе» Ксенофонта (Ксенофонт, 33, перевод М.И. Максимовой, в книге: Ксенофонт. Анабасис. Греческая история / Перевод М.И. Максимовой, С.Я. Лурье. М.: Азбука, 2010):

Когда они пришли к Хирисофу, то застали и там пирующих, увенчанных венками из сена; а прислуживали им арменские мальчики в варварских одеждах. Мальчикам, словно глухонемым, они знаками давали понять, что им надлежит делать.

О Ксенофонте см. ниже, комментарий к с.505

С. 13

...поросших лишь эспарто... Эспарто – травянистое растение наподобие ковыля.

С. 14

Магическое воздействие такой охоты... На Древнем Востоке участие царя в охоте магическим образом обеспечивало победу над силами хаоса. В средневе-

ковой Европе охота в заповедных лесах становится исключительным правом королей. Так, в книге англичанина Ричарда Фитц-Нигеля, автора «Диалога о Палате шахматной доски» (ок. 1180), говорится: «Леса – это священные заповедники королей и источник их высочайшего наслаждения, они приезжают в леса охотиться, оставив на время свои заботы и набираясь свежих сил. Леса являются естественным отдохновением от двора, и здесь король может вдохнуть глоток чистой свободы. Поэтому проступки против леса подлежат наказанию по воле короля». В романе Юнгера «Гелиополь» (1949), описывающем события, случившиеся раньше тех, о которых идет речь в «Эвмесвиле», об историке Ортнере, «Гомере Гелиополя», говорится: «Позже участвовал в народных бунтах, военных походах и охотничьих кампаниях в свите Ориона» (Эрнст Юнгер. Гелиополь / Перевод Г. Косарик. СПб.: Амфора, 2000. С. 126).

С. 15

...превращается в Папагено. Папагено – персонаж оперы В. А. Моцарта «Волшебная флейта» (1791), птицелов, простодушное «чудо в перьях».

С. 22

Когда мы обращаем взор назад, мы видим могилы и руины, груды развалин. Фраза отсылает к известному высказыванию немецкого философа Вальтера Беньямина (1892–1940) из эссе «О понятии истории»: «У Клее есть картина под названием “Angelus Novus”. На ней изображен ангел, выглядящий так, словно он готовится расстаться с чем-то, на что пристально смотрит. Глаза его широко раскрыты, рот округлен, а крылья расправлены. Так должен выглядеть ангел истории. Его лик обращен к прошлому. Там, где для

нас – цепочка предстоящих событий, там он видит сплошную катастрофу, непрестанно громоздящую руины над руинами и сваливающую все это к его ногам. Он бы и остался, чтобы поднять мертвых и слепить обломки. Но шквальный ветер, несущийся из рая, наполняет его крылья с такой силой, что он уже не может их сложить. Ветер неудержимо несет его в будущее, к которому он обращен спиной, в то время как гора обломков перед ним поднимается к небу. То, что мы называем прогрессом, и есть этот шквал» (перевод С. Ромашко).

...он не более чем копатель в пергаментях и могилах, но потом, держа на ладони череп, он ставит судьбоносный вопрос. Здесь соединены образы могильщика и Гамлета из сцены, открывающей пятое действие шекспировской трагедии. Вопрос Гамлета: «Увы, бедный Йорик! Я знал его <...> человек бесконечно остроумный, / чудеснейший выдумщик <...> Здесь были эти губы, / которые я целовал сам не знаю сколько раз. – / Где теперь твои шутки? Твои дурачества?» (перевод Т. Щепкиной-Куперник).

С. 24

...Абд ар-Рахман... Абд ар-Рахман I по прозвищу ад-Дахил (Пришелец) (731–788) – эмир с 756 г., основатель династии кордовских Омейядов, правившей большей частью Испании до 1301 г., и эмирата на Пиренейском полуострове. Внук Хишама ибн Абд ал-Малика, десятого омейядского халифа (правил с 724 по 743 год). В результате восстаний 741–750 годов в Арабском халифате Омейяды были свергнуты, и все, кроме Абд ар-Рахмана, вырезаны. Спасаясь от преследований Аббасидов, Абд ар-Рахман бежал в 750 г. из Сирии через Северную Африку в Испанию и захватил Севилью и Кордову. После этого он был провозгла-

шен эмиром Андалусии. Старался укрепить государство, успешно боролся с сепаратизмом арабо-берберских племенных вождей. Создал профессиональную армию и успешно отразил нападения правителей христианских государств на севере Испании и войск Карла Великого. Однако попытка ответного вторжения во владения франков окончилась неудачно.

...потомков Бени Тахир. В 1454 г. Аден был захвачен войсками Али ибн Тахира из племени Бени Тахир. Спустя несколько лет большая часть Южного Йемена перешла под власть Тахиридов (1454-1517). Было образовано единое йеменское государство, простиравшееся от Тихамы до Дофара.

...в Медный город. Здесь и далее пересказывается «Повесть о Медном городе» из «Тысячи и одной ночи».

...море Эль-Каркар. В «Повести о Медном городе» царь черных говорит эмиру Мусе: «А что касается этого моря, то оно известно под названием Эль-Кар-Кар».

С. 25

...из нее вырывался демон – как дым, затемняющий небо. Этот сюжет отсылает нас к «Тысяче и одной ночи»; см. сказки 566–578; Сулейманом в мусульманской традиции именуется Соломон. Э. Юнгер с детства живо интересовался этим восточным эпосом и не раз касался его в своих размышлениях. Так, еще в «Первом парижском дневнике» (запись от 28 января 1942 г.) он пишет о получении от художника Рудольфа Шлихтера письма с рисунками:

Среди почты письмо от Шлихтера с новыми рисунками к «Тысяче и одной ночи». Особенно замечательно удалось изображение Медного города – скорбь смерти и величественность. Вид его возбудил во мне непреодолимое желание обладать листом, я с удовольствием имел бы его в качестве контраста к его же «Атлантиде

перед гибелью», которая уже долгие годы висит в моем рабочем кабинете. Сказка о Медном городе, на волшебство которой мой отец уже давно заострил мой глаз, принадлежит к самым прекрасным в этой чудесной книге, а эмир Муса – ум недюжинный. Он – знаток меланхолии перед руинами, той горькой гордости в преддверии заката, которая образует для нас суть археологического стремления, но которую сам Муса переживает чище и созерцательней.

И на следующий день, 29 января 1942 г., Юнгер добавляет:

Написал Шлихтеру по поводу рисунка Медного города. При этом вспомнились мне и другие сказки из «Тысячи и одной ночи», прежде всего сказка о Пери Бану, с давних пор казавшаяся мне воплощением высокого любовного приключения, ради которого охотно отказываются от унаследованной монаршей власти. Поистине прекрасно, как юный принц укрывается в этом царстве, словно в духовном мире. В этой сказочной истории он, наряду с Мусой, относится к тем князьям индогерманских царств, которые были на голову выше деспотов Ближнего и Среднего Востока и понятны также и нам. Весьма красиво прямо в самом начале описанное состязание по стрельбе из лука, который является символом жизни и у принца Ахмеда имеет метафизическое натяжение. И посему стрела его летит несравненно дальше других, в неведомое. / Замок Пери Бану – это Венераина гора, обращенная в духовное; незримое пламя приносит дар там, где зримое – пожирает.

В романе «Гелиополь» возлюбленную главного героя, принадлежащую к народу парсов, зовут Будур-Пери.

С. 26

Седой Абд эс-Самад... Абд эс-Самад – персонаж «Повести о Медном городе», спутник эмира Мусы.

...по велению Искандера... Искандер – арабское имя Александра Великого.

С. 27

«Где ныне те, что построили и воздвигли... <...> Не спас его дворец, ему построенный». Цитируется по изданию «Тысячи и одной ночи» [без указания переводчика], ночь 572–573. Хосрой – имя двух персидских царей из династии Сасанидов. Синд – название страны, лежащей в долине реки Инд (Синдху); арабы завоевали эту страну в 711 г. Зииджи – обитатели острова Занзибар, у восточного берега Африки.

С. 28

Омар Хайям, *Шатровщик*. Персидский поэт, философ и ученый Омар Хайям (1048–1131) был сыном изготовителя шатров.

...вино Шираза... Шираз – древний город на юге Ирана, административный центр провинции Фарс; известен как город поэтов, цветов и вина.

С. 31

...Прячь золото, мысли и веру подале. Цитируется двустиишие И.В. Гёте из «Западно-восточного дивана» («Хикмет-наме. Книга изречений», перевод В.В. Левица). Русский перевод неточен. Юнгер цитирует те же стихи в письме к Карлу Шмитту от 11.11.1972:

“Soll man dich nicht aufs schmähhlichste berauben,
Verbirg dein Gold, dein Weggehn, deinen Glauben”.

(Курсив Юнгера; «Если не хочешь, чтобы тебя подлейшим образом обокрали, / Скрывай свое золото, свой уход прочь, свою веру».)

С. 33

«С каждым учеником ты вскармливаешь на груди змею» – так в один из мрачных часов сказал мне Виго о Барбассоро... В письме от 31.8.1974 Юнгер, которому Карл Шмитт рассказал о святом Кассиане из Имолы, погибшем около 300 г. – во время гонений на христиан при Диоклетиане – от рук школьников, своих учеников, заколовших его грифелями, писал: «В связи с мученичеством святого Кассиана мне пришло в голову, что его ученики не сами по себе стали опасными, но лишь после того, как тогдашние власти предоставили им свободу действий, более того, натравили их на жертву. Учитель был передан им уже связанным».

С. 35

В качестве эвмениста... Возможно, «эвменист» означает здесь последователя Эвменид («благих богинь», или Эриний, древнегреческих богинь мщения и покровительниц традиционных общественных институтов).

...точно сельдяному королю... Сельдяной король, или ремень-рыба, – несъедобная глубоководная рыба, очень длинная, серебристая и с ярко-красными плавниками; встречается в водах Тихого, Атлантического и Индийского океанов; названа так, потому что иногда сопровождает косяки сельди, которой, по-видимому, питается.

С. 37

...подражая, например, еврейскому акценту рабби Тайтелеса... Имеется в виду книга «Литературный Берлин. Чистосердечные письма д-ра Исидора Фейхенфельда банкиру Итцигу Тайтелесу в Познань», изданная в Берлине в 1891 г. и пародирующая еврейский стиль речи.

...феллахоидная заболоченность на александрийской основе. Феллахи – крестьяне в странах Ближнего Востока. Здесь имеется в виду, что на почве александрийской эллинистической культуры расцвела более примитивная культура феллахов. Сохранилась такая дневниковая запись Юнгера (от 18 июля 1977 г.): «История может также оказаться засыпанной песком, например, феллахизироваться или балканизироваться, тогда для историка она становится бесплодной. Антипатия Буркхардта к туркам имеет в этом свое основание. Бесконтрольная воля враждебна истории. Поэтому деспотии выпадают из исторических рамок, а тирании и абсолютные монархии – нет».

С. 38

*Биос... Греч. «жизнь» (в физиологическом смысле).
...тайну трисекции.* Трисекция (в геометрии) – деление на три равные части.

С. 41

...как Жомини... Антуан Анри (Генрих Вениаминович) Жомини (1779–1869) – генерал, крупнейший стратегический авторитет первой половины XIX века. Швейцарец по рождению, служил в наполеоновских войсках (в кампанию 1813 г.), потом перешел в стан антифранцузской коалиции и был принят на службу императором Александром I. В 1837 г., уже при Николае I, Жомини был назначен преподавателем стратегии к наследнику цесаревичу.

С. 42

...Шварцкоппен смотрел на Эстерхази... Майор французской армии Фердинанд Эстерхази (1847–1923) был главным фигурантом в процессе по обвинению капитана Дрейфуса в шпионаже в пользу Герма-

нии; есть версия, что немецкий военный атташе в Париже подполковник фон Шварцкоппен в июле 1894 г. завербовал Эстерхази, но тот после разоблачения все свалил на Дрейфуса.

...князь Урусов не подавал Азефу руки. Сергей Дмитриевич Урусов (1862–1937) – князь, общественный и политический деятель Российской империи, с 1906 г. – член Государственной думы. Евно Фишелевич Азеф (1869–1918) – российский революционер-провокатор, один из руководителей партии эсеров и одновременно агент Охранного отделения.

...справиться о подробностях в луминаре... Луминар (от лат. *lumen, luminus* – «свет») – этим словом Э. Юнгер обозначает оборудованное специальной аппаратурой помещение, дающее возможность реконструкции исторических событий и персонажей во всех подробностях; кроме того, Луминар выполняет функции научной библиотеки и архива.

С. 46

...фонофор... Аппарат, объединяющий технические возможности современного мобильного телефона и Интернета. Придуман и описан Э. Юнгером еще в романе «Гелиополь» (1949).

...у них имеется психометр... Психометрия – дисциплина, изучающая теорию и методику психологических измерений, включая измерение знаний, способностей, взглядов и качеств личности.

...позавидовал бы старый Райхенбах... Ханс Райхенбах (1891–1953) – немецкий философ и логик, профессор; представитель логического позитивизма.

С. 47

...засылают агента или тем более ассасина... Ассасины – наименование, под которым получили широкую

известность в Средние века (и известны в настоящее время) исмаилиты-низариты (шиитская ветвь ислама). Название связано с комплексом расхожих представлений о низаритах как о террористической секте, члены которой – фанатики, одурманенные наркотическими средствами, – совершают убийства на политической и религиозной почве. Слово «ассасин» вошло во многие европейские языки со значением «убийца».

С. 52

...аксиома одного англосакса о равенстве людей. Он ищет такое равенство не в постоянно меняющемся распределении власти и властных средств, а в том неизменном принципе, что каждый может убить каждого. Имеется в виду высказывание Томаса Гоббса (1588–1679), которое Карл Шмитт комментирует так (Карл Шмитт. Левиафан в учении о государстве Томаса Гоббса / Перевод Д.В. Кузнецова. СПб.: Владимир Даль, 2006. С. 144):

Исходным пунктом в конструировании государства является, по Гоббсу, страх перед естественным состоянием, а его целью и конечным пунктом – утверждение надежного гражданского, государственного состояния. В естественном состоянии каждый может убить каждого; «каждый способен на это наибольшее».

С. 52–53

Старый поэт, Эдгар Аллан По, осмыслил это в «Мальстреме»... Имеется в виду рассказ «Низвержение в Мальстрем».

С. 53

...плот «Медузы», голод в спасательной шлюпке. «Плот “Медузы”» (1819) – картина французского художника Теодора Жерико, изображающая реальное событие:

бедствие пассажиров французского фрегата «Медуза», потерпевшего крушение в 1816 г., у берегов Африки. Люди тогда спаслись на плоту, но из всех пассажиров выжили только пятнадцать человек.

С. 54

Парменид унаследовал тиранию... Парменид из Элеи (кон. VI–V вв. до н.э.) – древнегреческий философ, виднейший представитель элейской школы.

Когда он путешествовал – после Фалеса – «тираны в старости» почти уже не встречались... Фалес (из города Милета в Малой Азии, кон. VII – нач. VI в. до н.э.) – древнегреческий ученый и мыслитель, родоначальник греческой стихийно-материалистической философии; был причислен к «Семи мудрецам». Здесь имеется в виду эпизод из «Пира семи мудрецов» Плутарха – когда Фалеса спросили, что он видел самого удивительного, он ответил: «Тирана в старости».

С. 59

...приключение, напугавшее Периандра... Периандр (ок. 668 – ок. 586 до Р.Х.) – сын и последователь Кипсела; приблизительно с 627 г. до н.э. тиран Коринфа, реформатор административной и общественной системы; во время его правления Коринф достиг хозяйственного и культурного расцвета. Случай с рождением уродца описан в «Пире семи мудрецов» Плутарха (Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Трактаты и диалоги / Перевод М. Гаспарова. М., 1998. С. 356).

С. 60

...вокруг Кукунора... Кукунор (Цинхай) – бессточное озеро в Китае, расположенное в обширной котловине в горах Наньшань.

С. 63

Для Кадмо, так зовут моего брата... Возможно, брат был назван в честь древнегреческого героя Кадма, сына финикийского царя Агенора и основателя беотийского города Фивы.

С. 70

...на различиях между трупосожжением и захоронением в земле. По этому поводу в «Гелиополе» (с. 223–224) говорится:

Изменения в обрядах погребения фиксируют величайшие фазы в истории человечества, простая смена стилей по сравнению с этим эфемерное явление. До Великих огневых ударов мертвых захоранивали в земле, хотя уже начала расти секта тех, кто предпочитал сожжение. Только позднее в этом увидели знак надвигающейся эры уничтожения.

При виде разрушенных кладбищ, развороченных могил и расплавленных памятников поднялась новая волна паники. Оставшиеся в живых, выбравшись наверх из мрака подземелья, не нашли ни крестов, ни могильных камней. Земляной покров с травой и цветами – символ материнского лона – отсутствовал. Обелисков – хранителей отцовского начала – тоже не было. Все выжег огонь. В те времена и заложили на Пагосе некрополь, в тверди скалы, превосходившей по надежности даже пирамиды.

Кирилл... Вероятно, Кирилл Александрийский (ок. 376–444) – патриарх Александрии (412–444), церковный деятель, автор многочисленных богословских сочинений; считается одним из Отцов церкви.

С. 71

...больше Семи морей. Это моря, которые были известны магометанам до XV в., а именно: Сред-

земное, Красное, Восточно-Африканское, Западно-Африканское, Китайское, Персидский залив и Индийский океан.

С. 75-76

Бруно тоже считает положение в Эвмесвиле благоприятным: историческая субстанция здесь израсходована. Понятие «исторической субстанции» объясняется в «Лесном пути» Юнгера (Ernst Jünger. Der Waldgang. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1952. S. 81-82, 66):

Человеческое величие должно вновь и вновь отвоевываться. Оно иссякает, ибо натиск пошлости сковывает его в груди человека. А ведь истинная историческая субстанция как раз и заключается во встрече человека с самим собой, то есть со своей божественной силой. Это нужно знать, если хочешь преподавать историю. Сократ называл такое сокровенное место, где ему давал советы, где им руководил голос, уже не воспринимаемый как слова, своим *даймоном*. Можно было бы назвать его и *лесом*.

Что же это означает для сегодняшнего человека: ориентация на прообразы победителей смерти – на богов, героев и мудрецов? Это означает, что он участвует в сопротивлении времени, причем не только нашему, но всякому времени вообще, главная сила которого – страх. <...>

Нужно признать, что отстаять свою свободу сегодня особенно трудно. Сопротивление дается лишь ценой больших жертв; этим и объясняется численное превосходство тех, кто предпочитает подчиняться давлению. Тем не менее подлинную историю творят только свободные люди. История – тот отпечаток, который свободный человек придает судьбе. В этом смысле, правда, он может быть представителем: принесенная им жертва зачтется и другим.

С. 77

...как заимствования из «Государя». «Государь» (или «Князь») – труд, написанный Никколо Макиавелли (1469–1527) в 1513 г. (опубликован в 1531), где изложены принципы управления монархическим государством и методы борьбы за диктаторскую власть.

С. 78

«Первообраз – это образ и отражение». В романе «Гелиополь» в связи с рассказом о благочестивом отце Северине приводится такое изречение (с. 267): «Я – отражение, и вечен будет свет, что отражен во мне».

С. 80

...Бруно тем не менее предпочтет нижний мир. Прообразом нижнего мира (Unterwelt), а также катакомб, для Э. Юнгера служит, среди прочего, Агартха (Агарта, Agartha) – легендарная подземная страна. Дословный перевод с санскрита – «неуязвимый», «недоступный». Впервые о ней – в книге «Миссия Индии в Европе» – заговорил французский мистик и оккультист Жозеф Александр Сент-Ив Д’Альвейдр (1842–1909). Второе упоминание принадлежит русско-польскому журналисту Антонию Фердинанду Оссендовскому (1878–1945), который в книге «И звери, и люди, и боги» со слов монгольских лам рассказывает легенду о подземной стране, управляющей судьбами всего человечества. В рассказе Оссендовского некоторые исследователи находят заимствования у Сент-Ива.

...после очередного визита в катакомбы. В «Беседе о партизане» (1969) Карл Шмитт вкратце затронул феномен катакомб (Карл Шмитт. Теория партизана. Промежуточное замечание к понятию политического / Перевод Ю.Ю. Коринца. М.: Праксис, 2007. С. 171–172):

Об этом есть чудесные стихи моего друга Теодора Дойблера; в одном стихотворении о Риме он говорит: «Внезапно в Риме, во времена Нерона, начинается подземное сверление; Под землей рождается Бог света. И чем окончилось это тотальное отрицание? Константином, государственной религией и, наконец, непогрешимым римским епископом как центральной организацией, такой законченно централизованной, какая едва ли имелась еще в мире...»

В романе «Гелиополь» рассказывается, что катакомбы образовались «во времена Великих огневых ударов» (с. 217).

С. 82

Когда мутовка поднимается... Мутовка – гнездовое группирование сучьев на стволе дерева.

...Не что иное, как внутренний врач, о котором говорил Парацельс... Теофраст фон Гогенгейм (1493–1541), более известный под именем Парацельс, учил, что решающей движущей силой любого исцеления является «внутренний врач». Парацельс писал о том, что монахи в Каринтии исцеляли больных, заставляя их смотреть в блестящий хрустальный шар. Больные при этом обычно погружались в глубокий сон. Во время такого сна монахи делали больным соответствующие внушения на выздоровление, которое в большинстве случаев действительно наступало.

С. 83

...первый использует в качестве инструмента волю, второй – представление. Отсылка к книге Артура Шопенгауэра (1788–1860) «Мир как воля и представление» (1819). Там, в частности, говорится о двух родах познания (Артур Шопенгауэр. Мир как воля и представление / Перевод Ю.И. Айхенвальда. Минск, 2005. С. 263):

...человек, это сложное, многостороннее, способное к развитию, исполненное потребностей и доступное бесчисленным ударам существо, для того чтобы отстоять свое бытие, должен был получить свет двойного познания; к его наглядному познанию должна была присоединиться как бы его повышенная степень, его рефлексия, – разум, как способность отвлеченных понятий.

С. 84

...паразиты, которые выедают изнутри гусениц. Одними из самых страшных хищников для бабочек являются осы. Осы откладывают свои яйца прямо в тело гусеницы, которое становится как бы их защитной оболочкой. Поскольку личинка осы питается телом гусеницы, гусеница, конечно же, погибает.

С. 85

Сен-Симон... Луи Сен-Симон де Рувруа (1675–1755) – французский политик и писатель; с 1702 г. находился при дворе; один из самых знаменитых мемуаристов, автор подробнейшей хроники событий и интриг версальского двора Людовика XIV.

...был историком по крови. Выражение «историк по крови» (*Historiker von Geblüt*) построено Юнгером по аналогии с титулом «принц крови» (*Prinz von Geblüt*) и в конце романа характеризуется именно как титул.

С. 86

...на короткой ноге с Блуэном и Марешалем. Луи Блуэн (1658–1729) – первый камердинер Людовика XIV, управляющий Версалем и Марли. Жорж Марешаль, сеньор де Бьевр (1658–1736) – знаменитый хирург; первый хирург короля (с 1703 г.).

С. 87

...голосование – аккламацией. Аккламация – упрощенный порядок принятия или отклонения какого-либо решения на основе реакции участников, выражаемой в виде аплодисментов, восклицаний, реплик, то есть непосредственного (неформального) изъясления своего мнения.

Иногда принятие решения в порядке аккламации проводится от противного, то есть решение считается принятым, если при обсуждении не высказываются возражения.

С. 93

Таким образом я сохраняю доставшуюся мне собственность – разумеется, не только для себя как Единственного. Аллюзия на книгу Макса Штирнера (1806–1856) «Единственный и его собственность» (1844).

С. 98

...у всадника на Боденском озере. «Всадник на Боденском озере» – баллада немецкого писателя и филолога Густава Шваба (1792–1850) о рыцаре, который умер от страха, осознав, что скачет не по земле, а по замерзшему озеру и что лед вот-вот треснет.

С. 99

...как обезьяны из храма Никко... Имеется в виду изображение трех обезьян из буддийского святилища в японском городе Никко. Обезьяны олицетворяют пословицу: «Ничего (плохого) не вижу, ничего (плохого) не слышу, ничего (плохого) не говорю».

С. 100

...короткие эпизоды из Питаваля... Франсуа Гайо де Питаваль (1673–1743) – французский юрист, издав-

ший двадцатитомное собрание описаний знаменитых судебных процессов.

...у Дэя Кина... Дэй Кин (настоящее имя Гунар Хьерстедт, 1903–1969) – популярный американский автор криминальных романов и рассказов.

С. 103

«...когда мы подойдем к *ирреалису*». *Irrealis* в немецкой грамматике – *конъюнктив с ирреальным значением* (грам.).

С. 105

Элиты, которые несут свой собственный язык... 17.11.1973
Юнгер писал Карлу Шмитту:

Снижение возвышенного языка имеет свои преимущества для тех, кто на подобные уловки не поддается. Оно приводит не к исчезновению, а к кристаллизации различных элит в пределах растущей пустыни субкультуры. Представителям этих элитарных слоев, возможно, придется скитаться, даже эмигрировать. У Ницше уже заявляет о себе прототип такого образа жизни.

С. 107

...в пандемониуме... Пандемониум – храм всех демонов (в Др. Греции).

С. 122

...«Хронику Перуджи» Матараццо... Франческо Матараццо (1443–1518) – итальянский историк, автор «Хроники города Перуджа 1492–1503».

...этрусские ворота, кафедру, созданную Пизано, представителей клана Бальоне, Пьетро Перуджино... Со времен этрусков в Перудже уцелели фрагменты стен с тремя воротами. Джованни Пизано (ок. 1245 – ок. 1314) – скульптор и архитектор; одна из самых известных его работ – кафедра в соборе Санта-Мария-Ассунта в

Пизе (со сценами из Нового Завета). Бальоне – аристократическое семейство в Перудже, на протяжении Средних веков боровшееся за власть с семейством Одди. Пьетро Перуджино (настоящее имя Пьетро ди Кристофоро Ваннуччи; 1446–1524) – прославленный живописец, учитель Рафаэля.

С. 123

Ликофрон, сын Периандра... Периандр был тираном Коринфа (в 629–585 гг. до н.э.), которому его сын, Ликофрон, не мог простить убийство матери. См.: Геродот. История. Книга третья, 50–53.

С. 125

...Персеполь... Персеполь – одна из резиденций персидских царей, построен Дарием I.

С. 127

...как Бутфо... Вероятно, прототипом этого персонажа был Гастон Бутуль (Bouthul) (1896–1980) – французский социолог, специалист по международным отношениям, создатель новой научной дисциплины полемологии (науки о войнах). Юнгер ссылается на его концепцию в «Лесном пути».

...Нагельфар... Нагельфар – в скандинавской мифологии корабль, сделанный из ногтей мертвецов; на нем мертвецы приплывут из царства мертвых Хель, чтобы принять участие в эсхатологической битве перед концом мира (Рагнарёк).

С. 130

Я представляю себе анарха таким, каким его мог бы изобразить Мане... Эрнст Юнгер с 1947 г. писал роман об анархе в Париже конца XIX века – «Опасная встреча» (*Eine gefährliche Begegnung*); роман был опубликован в 1985 г.

С. 131

«*Tout, jusqu'au souvenir*»... Из стихотворения Поля Верлена «Парижский ноктюрн», в переводе И. Булатовского:

Все, даже память, все прочь уносится, прочь,
И снова перед ним – Париж, вода и ночь.

С. 139

...Тиберию... Тиберий Юлий Цезарь Август (42 до н.э. – 37 н.э.) – второй римский император (с 14 г.) из династии Юлиев-Клавдиев.

...заговором Сеяна. Луций Элий Сеян (ок. 20 до н.э. – 31 н.э.) был командующим преторианской гвардией, временщиком при принцепсе Тиберии, а после добровольного удаления Тиберия на остров Капри – фактическим правителем Рима. В 31 г., в зените своего могущества, был схвачен и казнен по обвинению в заговоре. Его дети были убиты, а само его имя приговорено к забвению.

С. 140

...флот Антония был уничтожен в тени святилища Великих Арканов. Существует легенда, что в Древнем Египте был храм с символическими картинами на стенах, от которых впоследствии произошли Великие Арканы Таро. Эта легенда подтверждает версию, что карты Таро произошли от виньеток древнеегипетской «Книги мертвых», которые изображались на стенах скальных гробниц.

С одной стороны – Исида и Осирис, с другой – Аполлон. После победы при Акциуме Октавиан заложил на месте своего лагеря новый город, Никополис, и храм Аполлона (Дион Кассий, «Римская история», книга 51, 1). Октавиан отождествлял себя с Аполлоном.

Октавиан обращается к своему деверю... Марк Антоний был женат на сестре Октавиана, Октавии Младшей.

...называть впредь Серапионом... В 43 г. до н.э. наместник Кипра Серапион, подданный Клеопатры, оказал поддержку Кассию против Октавиана. С другой стороны, Серапион означает «относящийся к Серапису (египетскому богу жизни, смерти и исцеления)». Юнгер здесь опирается на «Римскую историю» Диона Кассия (книга 50, 27), согласно которому Октавиан перед началом сражения сказал в своей речи об Антонии: «Поэтому пусть никто не считает его римлянином, а скорее – египтянином, пусть не называют его Антонием, а скорее – Серапионом; и пусть никто не думает, будто он был когда-то консулом или императором, он был всего лишь гимнасиархом».

...велел казнить Публия Туруллия... Публий Туруллий – сенатор, участвовавший в убийстве Цезаря. Позже находился при Антонии в должности префекта. После поражения при Акциуме Антоний, пытаясь помириться с Октавианом, выдал Туруллия императору. Римский историк Валерий Максим интерпретировал казнь Туруллия как наказание, посланное богом Эскулапом (Асклепием) (Валерий Максим. Достопамятные деяния и изречения. [В 2 т. Т. 1. Кн. 1–5] / Перевод С.Ю. Трохачева. СПб.: Издательство СПбГУ, 2007):

Не менее деятельным мстителем за пренебрежение религией стал и его сын Эскулап. Разгневавшись на Туруллия, префекта Антония, за то, что тот вырубил священную рощу близ его храма, откуда добывалась древесина для строительства кораблей, он, после того как сторонники Антония были наголову разбиты, увлек его ясно выраженной божественной волей в то место, которое тот осквернил, и именно там в искупление вины за

погубленные деревья Туруллий, причастный к смерти Цезаря, был умерщвлен воинами-цезарианцами.

С. 141

...когда герцог Орлеанский, будучи регентом, свалил все дела на мерзкого Дюбуа, чтобы свободно предаваться разврату со своими приспешниками. Филипп II, герцог Орлеанский (1674–1723), был регентом Французского королевства при малолетнем короле Людовике XV с 1715 по 1723 г. Аббата Гийома Дюбуа (1656–1723) он назначил своим тайным советником по внешней политике. В 1718 г. Дюбуа стал министром иностранных дел, в 1721 г. получил титул кардинала и архиепископа Камбре, в 1722-м стал первым министром Франции.

С. 144

...а иначе получится как с тем рыбаком, который поймал огромную краснобородку и, преподнеся ее в подарок Тиберию, жестоко поплатился за это. См.: Гай Светоний Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей. Тиберий, 60:

На Капри через несколько дней после его приезда один рыбак застиг его наедине и неожиданно преподнес ему огромную краснобородку. В страхе, что к нему пробрались через весь остров по непролазным скалам, Тиберий приказал хлестать его этой рыбой по лицу. А когда рыбак под ударами стал благодарить судьбу, что не поднес заодно и омара, которого поймал еще огромное, он велел и омаром исполосовать ему лицо.

Нечто подобное случилось с центурионом, который должен был показывать дорогу носильщикам паланкина цезаря и при этом завел их в тупик. См. там же:

В пути однажды его носилки запутались в терновнике – тогда он схватил центуриона передовых когорт, разведывавшего дорогу, и, разложив его на земле, засек чуть не до смерти.

С. 145

...мне грезится Тиберий, болтающий в триклинии с Макроном... Квинт Невий Корд Серторий Макрон (21 до н.э. – 38 н.э.) был префектом вигилов – римской городской стражи. Затем находился в свите императора Тиберия на Капри, где считался стонником префекта преторианцев Сеяна, однако впоследствии сыграл одну из ключевых ролей в устранении Сеяна. После казни Сеяна стал префектом преторианцев.

...я наполняю бокалы спинтриям. См.: Гай Светоний Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей. Тиберий, 43:

Но на Капри, оказавшись в уединении, он дошел до того, что завел особые постельные комнаты, гнезда потаенного разврата. Собранные толпами отовсюду девки и мальчишки – среди них были те изобретатели чудовищных сладострастий, которых он называл «спинтриями», – наперебой совокуплялись перед ним по трое, возбуждая этим зрелищем его угасающую похоть.

С. 148

...батареинная система содержания людей. Отсылка на так называемую батареинную систему содержания кур. Фабричные куры содержатся в настолько тесных клетках, что на каждую птицу приходится площадь размером чуть меньше одного альбомного листа. То есть они не могут даже распрямить крылья. В результате, для того чтобы совершить любое движение, птицам приходится перешагнуть через своих сородичей или оттолкнуть их. Проволочный пол режет птицам лапы, вызывая язвы и раны. Если несушка оказалась зажатой между соседками или если ее нога застряла в решетке пола, она не может дотянуться до корма и медленно умирает, так и оставшись на своем месте, по-прежнему сжатая дру-

гими. Это приводит к развитию у птиц аномального поведения: они выдергивают собственные перья и заклеывают более слабых птиц.

С. 156

...стимфалийские птицы... Стимфалийские птицы – в древнегреческой мифологии хищные птицы, жившие возле аркадского города Стимфала. Вскормлены Аресом и имели медные клювы, крылья и когти. Они нападали как на людей, так и на животных. Самым грозным их оружием были перья, которые птицы сыпали на землю как стрелы. Они пожирала урожай в округе, либо также поедали людей.

...так сказал уже один римский поэт, воспевавший нашу жизнь. Выше была приведена эпиграмма Марциала (ок. 40 – ок. 104) «Сони»: Марциал Марк Валерий. Эпиграммы. Книга XIII, 59. Пер. Ф. Петровского.

С. 162

...Сицилийскую вечерню... «Сицилийская вечерня» – национально-освободительное восстание сицилийцев против власти Анжуйской ветви дома Капетингов 30 марта 1282 г. Находившиеся на Сицилии французы были перебиты; но на остров прибыли новые французские войска. Началась война, закончившаяся в 1302 г. победой Арагонской династии.

...как Семеро отважных. «Отряд семерых отважных» – новелла швейцарского писателя Готфрида Келлера (1819–1890).

С. 166

...дельта превращается в птичий рай. Э. Юнгер неоднократно бывал в Марокко, в районе города Агадира и реки Сус. Во 2-м томе дневников «Семьдесят минуло» он пишет (5 апреля 1974 г.):

Снова на Сусе – на сей раз с завтраком <...> На этот раз фламинго снова стояли по колено в воде на песчаной отмели. Их было пятнадцать; они были окружены белыми цаплями. За ними гагары, лишь длинные шеи которых торчали над водой, и вокруг толкотня более мелких побережных птиц. / Некоторые из фламинго взлетали. Для этого они разгонялись гигантским шагом и затем взмывали. Фигура полета гораздо элегантнее фигуры стоящей, ловящей рыбу или спящей птицы. Вспыхивает розовость крыльев. Позы отчасти причудливы, например, когда птица закладывает голову назад в оперение и потом, словно во сне, подгибает одну из длинных ног. / Я снова в радостном возбуждении отмерял дистанции, потом, завтракая среди дрока, более тщательно продумывал детали касбы Эвмесвиля и окрестностей Великого сбора. И оба Золотых зверя, ягненок и овен, теперь отчетливее проступили из безымянности.

См. также запись от 6 июня 1975 г.:

Прощание с Сусом. Я забыл бинокль, но и для невооруженного глаза зрелище было праздником. <...> На чем основывается впечатление о райском характере таких ландшафтов? Ведь здесь животные тоже имеют зубы и когти; следовательно, мирное сосуществование – не более чем иллюзия. А дело в том, что образ трогает нас из поэтической глубины, как стихотворение. В этом смысле даже сад Эдем – иллюзия, гениальный прообраз вечной истины и действительности.

С. 167

...в массиве слон-травы. Мискантус, или слон-трава, – бамбукоподобная трава, многолетнее растение, достигающее в высоту четырех метров и более.

Холм Девятикратного убийцы... Девятикратный убийца (*Neuntöter*) – немецкое название маленькой хищной птицы сорокопут, или обыкновенный жулан.

С. 168

«Перси – это женская грудь, поднявшаяся до мистического состояния». Новалис, «Новые фрагменты. Софи, или О женщинах».

...галльский Лугдунум... Лугдунум – предшественник современного города Лиона (Франция).

С. 172

Je regarde et je garde. «Я смотрю и сохраняю (при себе)» (фр.). В своих парижских дневниках (31 августа 1942 г.) Юнгер пишет о посещении им антикварного магазина:

Я купил мемуары барона Гримма... – в обоих томах помещался экслибрис некоего барона де Кризенуа: «*Je regarde et je garde*» – гордое слово.

А в романе «Гелиополь» сказано: «“*Je regarde et je garde*” – гласил один из девизов мавретанцев» (Эрнст Юнгер. Гелиополь. С. 42).

«Я люблю принципиальную оппозицию». Эти слова произнес в 1840 г. только что вступивший на престол прусский король Фридрих Вильгельм IV.

С. 173

...еженедельника «*La Lanterne*». «*La Lanterne*» («Фонарь») – сатирический еженедельник, который издавался французским журналистом Анри Рошфором (1831–1913) в 1868–1876 гг. и продавался из-под полы.

С. 177

Я процитировал в луминаре Бахофена. Иоганн Якоб Бахофен (1815–1887) – швейцарский ученый, этно-

граф, юрист, антиковед. Внес крупный вклад в теорию социальной эволюции, науки о родстве и семье. Изучал первобытное общество. Его главный труд – «Теория материнского права» (1861).

С. 181

То обстоятельство, что ее охотно используют партизаны... В рассуждениях о партизанах в романе Юнгера ощущается влияние книги Карла Шмитта «Теория партизана. Промежуточное замечание к понятию политического» (1963).

С. 182

...в Тевтобургском лесу... В сентябре 9 г. в Тевтобургском лесу произошла битва между римскими войсками и рядом германских племен. Три римских легиона под начальством нижнегерманского прокуратора Публия Квинтилия Вара попали тут в засаду и были уничтожены херусками, бруктерами, хатами и марсами под руководством вождей Арминия и Сигимера.

С. 183

...«один из двенадцати»... Аллюзия на двенадцать учеников Христа, присутствовавших на Тайной вечери, среди которых был и Иуда.

...свободой, которая – в большей или меньшей степени – определяет поступки любого человека. Интересная параллель к этому месту – образ старика (из романа Л. Толстого «Воскресение»), встреченного Нехлюдовым на пароме в Сибири (часть 3, гл. XXI):

– <...> Да ничего мне сделать нельзя, потому я свободен. «Как, говорят, тебя зовут?» Думают, я звание какое приму на себя. Да я не принимаю никакого. Я от всего отрекся: нет у меня ни имени, ни места, ни отечества, – ничего

нет. Я сам себе. Зовут как? Человеком. «А годов сколько?» Я, говорю, не считаю, да и счесть нельзя, потому что я всегда был, всегда и буду. «Какого, говорят, ты отца, матери?» Нет, говорю, у меня ни отца, ни матери, кроме бога и земли. Бог – отец, земля – мать. «А царя, говорят, признаешь?» Отчего не признать? он себе царь, а я себе царь. «Ну, говорят, с тобой разговаривать». Я говорю: я и не прошу тебя со мной разговаривать. <...>.

С. 184

...как во времена Халева. Халев, согласно книге Чисел, главы 13–14, – один из разведчиков Моисея, посланных в землю Ханаанскую. О результатах этой разведки, среди прочего, сказано (Числ., 13:24): «И пришли к долине Есхол, и срезали там виноградную ветвь с одною кистью ягод, и понесли ее на шесте двое...»

С. 185

...гастрософу Румору. Карл Фридрих Румор (1795–1843) – немецкий историк искусства, писатель, художник, специалист по аграрной истории, гастрософ, коллекционер и меценат; много путешествовал по Европе. Его самая известная книга – «Дух кулинарии» (1822) – была опубликована под именем лейб-повара Румора Йозефа Кёнига. Гастрономическая академия Германии с 1963 г. присуждает высшую награду – кольцо Фридриха фон Румора – лицам, внесшим особый вклад в развитие кулинарного искусства и застольной культуры.

С. 187

«О, если бы мне магию забыть...» Цитируется монолог Фауста из второй части трагедии Гёте: «О, если бы мне магию забыть, / Заклятий больше не про-

износить, / О, если бы, с природой наравне, / Быть человеком, человеком мне!» Эпизод «Полночь», И.В. Гёте. Собрание сочинений. М., 1976. Т. 2. С. 417 (перевод Бориса Пастернака).

С. 190

...поперечный миелит... Поперечный паралич, паралич при поперечном поражении спинного мозга.

С. 191

...супругу Гасдрубала... Имеется в виду, вероятно, Гасдрубал Бозтарх (даты жизни неизвестны) – карфагенский полководец, руководитель обороны Карфагена во время Третьей Пунической войны (149–146 гг. до н.э.). Карфаген был осажден римской армией и в 146 г. до н.э. взят штурмом. Согласно Полибию, жена и два сына Гасдрубала бросились в горящий храм. Сам Гасдрубал сдался римлянам. Его дальнейшая судьба неизвестна.

С. 193

«Человек – ни животное, ни ангел; но он превращается в черта, когда хочет стать ангелом». Имеется в виду высказывание Блеза Паскаля (1623–1662), но в подлиннике цитата звучит так: «Человек – ни ангел, ни животное; к несчастью, тот, кто хочет стать ангелом, становится животным». (Блез Паскаль. Мысли / Перевод Ю. Гинзбург. М.: Фолио, 2001. С. 461 [серия XXV, 678].)

С. 196

Некий профессор Кикебуш... Альберт Кикебуш (1870–1935) – немецкий историк и археолог. Имеется в виду, возможно, его книга «Немецкая предыстория и ранняя история в отдельных эпизодах». Лейпциг, 1934.

С. 197

Сэр Ричард Бёртон... Сэр Ричард Фрэнсис Бёртон (1821–1890) – британский путешественник, писатель, поэт, переводчик, этнограф, лингвист, гипнотизер, фехтовальщик и дипломат. Прославился своими исследованиями Азии и Африки, а также исключительным знанием различных языков и культур. Ниже цитируются строки из его поэмы «Касыда, принадлежащая перу Хаджи Абду аль-Йезди».

С. 199

Гудмунд сказал... Реплики персонажей саги здесь и далее цитируются по изданию: Сага о Греттире. Новосибирск: Наука, 1976 / Перевод с древнеисландского О.А. Смирницкой, редакция М.И. Стеблин-Каменского.

...тогда как Глаум... В русском переводе саги этого персонажа зовут Шумила.

Этому Иллуги я поставил наверху на Акациевом холме памятный камень. Во время поездки в Исландию летом 1968 г. Э. Юнгер сделал дневниковую запись о Греттире и Иллуги, вспомнив, что Иллуги был любимым персонажем его погибшего сына Эрнстея. («Семьдесят минуло». Т. 1. Запись от 4 августа 1968 г.)

С. 201

...такого рода энграммы. Буквально греческое слово «энграмма» означает «внутренняя запись». В психологии под энграммой подразумевается след памяти.

С. 204

...пробормотав «pater peccavi»... «Отче! Я согрешил» (лат.) – слова блудного сына (см.: Лк., 15:21), вообще формула покаяния.

С. 205

...устрою private Канны. Битва при Каннах (2 августа 216 г. до н.э.) – крупнейшее сражение Второй Пунической войны (218–202 гг. до н.э.), разгравшееся на юго-востоке Италии. Оно закончилось тем, что карфагенская армия Ганнибала нанесла сокрушительное поражение превосходящей ее по численности римской армии.

С. 208

«Судьба и в милостях мздоимец...» Цитируются строки из стихотворения Фридриха Шиллера «Поликратов перстень». Перевод В. Жуковского.

...Сулла... Луций Корнелий Сулла Счастливый (138–78 гг. до н.э.) – древнеримский государственный деятель и военачальник, бессрочный диктатор (82–79 гг. до н.э.), организатор кровавых проскрипций и реформатор государственного устройства. Он умер от тяжелой болезни, но, во всяком случае, своей смертью, вскоре после того, как добровольно сложил с себя полномочия диктатора. На его могиле была высечена составленная им самим надпись: «Здесь лежит человек, который более, чем кто-либо из других смертных, сделал добра своим друзьям и зла врагам».

С. 209

«Коней, стремительно скачущих, топот мне слух поражает». (Илиада, 10:535. Перевод Н. Гнедича.)

...как услышал от Нерона тот центурион, чье поведение на самом деле было более чем двусмысленно. См. у Гая Светония Транквилла (Жизнь двенадцати цезарей. Нерон, 49, 4. Перевод М.Л. Гаспарова):

Он [Нерон] еще дышал, когда ворвался центурион и, зажав плащом его рану, сделал вид, будто хочет ему

помочь. Он только и мог ответить: «Поздно!» – и: «Вот она, верность!» – и с этими словами испустил дух.

С. 212

...как сам Сократ некогда вынес раненого Ксенофонта. Знакомство молодого аристократа Ксенофонта и бедного философа Сократа произошло, вероятно, на поле боя: в 424 г. до н.э., принимая участие в битве при Делии, Ксенофонт во время отступления упал с коня и был спасен пешим воином Сократом (Strab. Geogr. IX, 403, Diog. L. II, 5, 22).

...Он прячется в оперении Кондора и ожидает мгновения, когда сможет взлететь чуть выше, чем тот. В фольклоре многих народов Западной Европы широко известна притча о том, как крапивник стал «царем птиц». Первоначальный источник этой притчи точно не определен, однако полагают, что первым ее рассказчиком мог быть древнегреческий баснописец Эзоп. Суть притчи заключается в том, что разные птицы устроили между собой соревнование, кто из них взлетит выше других. Самой сильной птицей оказался орел, и он поднялся в воздух выше всех. Однако у него в перьях спрятался маленький крапивник, и когда орел в зените уже был готов объявить себя царем, крапивник оторвался от него и взлетел на несколько дюймов выше.

С. 213–214

...в память о тираноубийцах Гармодии и Аристогитоне... Гармодий и Аристогитон – афинские тираноубийцы. В 514 г. до н.э. составили заговор против тирана Гиппия, сына Писистрата, но убить сумели только его брата Гиппарха. Оба происходили из рода Гифиреев, причем Гармодий был любовником Аристогитона; согласно афинским рассказам,

именно любовная история и послужила толчком к заговору. А именно: Гиппарх начал ухаживать за Гармодием, но, получив отказ, оскорбил его сестру. После этого Гармодий решился убить Гиппия из мести за сестру, а Аристогитон – из любви к Гармодию и ревности.

С. 214

...и тем менее значительным принцем... Имеется в виду Франц Фердинанд фон Габсбург (1863–1914), эрцгерцог австрийский, с 1896 г. наследник престола Австро-Венгрии. 28 июня 1914 г. он был убит террористом в Сараево, что послужило поводом для начала Первой мировой войны.

С. 216

...распылитель... Действие этого аппарата описывается так (Эрнст Юнгер. Гелиополь. С. 51):

Аэроионизаторы на колоннах искрили беспрерывно. Маленькие аппараты на столах только усиливали их действие. Зал работал, словно гигантский мозг, продуцирующий серии внутренних монологов, рассказов, воспоминаний, связанных и бессвязных комбинаций, возникающих будто во сне.

С. 217

...действуя по принципу: «Сир, Марли!»... Замок Марли, построенный в 1679–1686 гг., был частной резиденцией Людовика XIV, куда могли приезжать на несколько дней только лично приглашенные им немногочисленные гости. Как рассказывает в своих мемуарах герцог де Сен-Симон, когда король собирался ехать из Версаля в Марли, все придворные умоляли его взять их с собой, обращаясь к нему с одной-единственной фразой: «Сир, Марли!»

С. 219

«*Tel style, tel homme*». «Каков стиль, таков человек» (фр.). Чуть измененная фраза французского естествоиспытателя Жоржа Луи Леклерка Бюффона (1707–1788), который в 1763 г., при избрании его в члены Французской академии, сказал: «Стиль – это человек». Имелось в виду, что стиль есть неповторимая особенность человека, которая отражает его природные свойства, тогда как идеи, развиваемые им, могут быть достоянием многих.

С. 220

Caesar non supra grammaticos. «И Цезарь не выше грамматиков». Источником этого выражения является рассказ Светония («*De grammaticis*», XXII) о том, что однажды грамматик М. Помпоний Маркелл отметил языковую ошибку в речи императора Тиберия, а присутствовавший при этом ученый юрист Атей Капитон заявил, что если употребленное Тиберием выражение и не соответствует латинской норме, отныне оно станет нормой. На это Помпоний возразил, обращаясь к Тиберию: «Он ошибается. Ибо ты, Цезарь, можешь дать права гражданства людям, но не словам».

С. 223

...*journée des dupes*... День одураченных (фр.) – один из ноябрьских дней (10-е, 11-е или 12-е) 1630 г., который влиятельные враги кардинала Ришелье во главе с королевой-матерью Марией Медичи начали с празднования его долгожданного свержения, а закончили в темницах либо опале.

С. 224

...«*радость издавать зловоние*»... Фраза Фридриха Ницше из книги «Сумерки идолов, или Как философы молотом»: «– Золя, или “радость издавать зловоние”» (перевод Н. Полилова).

С. 229

...*universalia in re*. «Универсалия *внутри* вещи» (лат.). Универсалия (от лат. *Universalis* – «общий») – термин средневековой философии, обозначающий общие понятия. В споре об универсалиях (X–XIV вв.), выясняющем онтологический статус общих понятий (то есть вопрос об их реальном, объективном существовании), определились три направления: *реализм*, представители которого полагали, что универсалии существуют реально и независимо от сознания (*universalia sunt realia*, «универсалии – это и есть реалии»); умеренный реализм, по мнению представителей которого общее существует в предметах и разум извлекает его из них; и, наконец, номинализм, сторонники которого утверждали, что общее знание есть отвлечение, нисколько не охватывающее природы предметов.

С. 230

...*винный погребок Гиппеля в Берлине*. Примерно с 1840 г. в этом кабачке начали собираться молодые люди, образовавшие кружок «Свободных», ядром которого были берлинские литераторы и философы-младогегельянцы: Бруно и Эдгар Бауэры, Фридрих Энгельс и (до своего отъезда из Берлина) Карл Маркс. С 1841 г. в погребке Гиппеля бывал и Макс Штирнер (настоящее имя Каспар Шмидт; 1806–1856), который в 1844 г. опубликовал книгу «Единственный и его собственность».

С. 231

...что он владеет и промежуточными тонами. Судя по описанию, скорее всего имеется в виду картина Яна Вермеера Делфтского (1632–1675) «Географ» (1668–1669).

С. 233

...скатол... Вещество, образующееся при гниении белков в кале; применяется при изготовлении искусственных цветочных запахов.

...на площади Хасана... Площадь Хасана II имеется в городе Тетуане на севере Марокко, на побережье Средиземного моря.

С. 235

...из долины Сорато... Долина в Боливии, между двумя хребтами Кордильер.

С. 236

...когда Гумбольдт развлекал одного из прусских Вильгельмов рассказами о чудесах Нового Света. Александр фон Гумбольдт (1769–1859) – немецкий ученый-энциклопедист, физик, метеоролог, географ, ботаник, зоолог и путешественник. В 1826 г. он по приглашению Фридриха Вильгельма III переселился в Берлин, где оставался до 1829 г., и в этот период часто бывал при дворе.

С. 238

...вулкан Чимборасо. Вершина, потухший вулкан на восточном склоне Западной Кордильеры эквадорских Анд.

...народов науа. Одно из названий ацтеков: люди, разговаривающие на языке *науатль*.

С. 239

Анекдотопорождающая сила... Здесь имеется в виду исторический анекдот: характерный эпизод из жизни известной личности.

С. 241

...Палинур. Персонаж античной мифологии. Кормчий Энея. Заснув, упал в море, а когда выбрался на берег, был убит местными дикарями. Согласно «Энеиде» Вергилия, Эней потом встретил его в Аиде.

С. 242

...с помощью боласа... Болас – охотничье метательное оружие, состоящее из ремня или связки ремней, к концам которых привязаны обернутые кожей круглые камни, костяные грузы, каменные шары и т. п.

С. 243

...викарирующий вид... Викарирующие виды – близкородственные виды животных и растений, географически или экологически замещающие друг друга.

С. 244

...например, Хуарес, приказавший расстрелять императора. Бенито Хуарес (1806–1872) – мексиканский политический деятель, адвокат, вождь республиканцев, ставленник США; захватив под Керетаро в плен императора Максимилиана I (1832–1867), он приказал расстрелять его вместе с генералами Мираном и Мехией (сохранившими ему верность); после чего стал президентом Мексики.

...Хуарес отомстил за Монтесуму. Монтесума II (1466/67–1520) – император ацтеков с 1502 г., из дина-

стии Акамапичтли в Мексике. С приходом испанцев в Теночтитлан Монтесума был захвачен в плен Э. Кортесом; выступил с призывом покориться испанцам, за что был убит восставшими индейцами в 1520 г.

С. 245

Auctoritas уступаем место *potestas*, как объяснил Дон Каписко. Оба термина восходят к римскому праву. *Auctoritas* – власть, основанная на авторитете; *potestas* – власть, основанная на силе. Дон Каписко («Дон Я-Понял», *ит.*) – так Эрнст Юнгер называл в своих дневниках юриста и политического философа Карла Шмитта (1888–1885). Упомянутые понятия Шмитт разбирает, например, в работе «Левиафан» (с. 169–170):

Для Гоббса существенно, что он уже не отличает *auctoritas* от *potestas* и обращает *summa potestas* в *summa auctoritas*.

Проблема авторитета играет важную роль и в работе Джамбаттисты Вико (Джамбаттиста Вико. Основания новой науки... С. 137–138)):

Здесь начинается также Философия Авторитета – вторая основная точка зрения нашей Науки; мы берем слово «авторитет» в первом его значении – «собственность»: в таком смысле всегда применялось это слово в Законах XII Таблиц, и потому в Гражданском Римском Праве «*auctores*» продолжали называть тех, от кого мы получаем право на собственность. <...> Авторитет – свободное применение воли, тогда как интеллект – пассивная сила, подчиненная истине. <...> Гиганты стали Господами вследствие оккупации, т. е. длительного владения, в чем – Источник всякой Собственности на свете.

С. 248

...в стиле «*Ami du Peuple*»... «Друг народа» (фр.) – прозвище лидера якобинцев Жан-Поля Марата (1743–1793) и название газеты, которую он издавал.

Ликование начиналось с «жужжания», усиливалось до «желобков» и, наконец, накатывало на арену «кирпичиками». См. у Гая Светония Транквилла (Жизнь двенадцати цезарей. Нерон, 20, 2):

...он [Нерон] сам отобрал юношей всаднического сословия и пять с лишним тысяч дюжих молодцев из простонародья, разделил на отряды и велел выучиться рукоплесканиям разного рода – и «жужжанию», и «желобкам», и «кирпичикам», а потом вторить ему во время пения. <...> главари их зарабатывали по четыреста тысяч сестерциев.

Другой – Коммод, который разыгрывал из себя потомка Геркулеса, – самолично убивал в Колизее диких зверей и, бражничая, пил из бокала, по форме напоминающего Геркулесову палицу. Луций Элий Аврелий Коммод (161–192) – римский император с 180 г.; последний представитель династии Антонинов. См.: Элий Лампридий. Коммод Антонин, VIII (5):

Прозван он был также «Римским Геркулесом», так как он убил диких зверей в амфитеатре в Ланувии; было у него обыкновение убивать диких зверей и у себя дома. (См.: Гай Светоний Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей. Властелины Рима / Перевод С.Н. Кондратьева. М.: Ладомир, АСТ, 1999.)

С. 249

Лампридий... Элий Лампридий – римский историк IV в., сочинения которого входят в состав сборника, называемого «*Scriptores Historiae Augustae*» («Авторы жизнеописаний Августов»).

...император собирал во дворце знатных женщин... См. там же, II (8):

Он собрал у себя женщин, отличавшихся красивой наружностью, как каких-нибудь рабынь-проституток, и, издеваясь над стыдливостью, устроил у себя лупанар.

...эти и прочие свои развратные подвиги он приказывал заносить в государственные акты. См.: Авторы жизнеописаний Августов, в: Гай Светоний Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей. Властелины Рима / Перевод С.Н. Кондратьева. М.: Ладомир, АСТ, 1999:

Он обыкновенно приказывал заносить в городские ведомости сообщения обо всех своих позорных, бесчестных и жестоких поступках, о тех случаях, когда он поступал как гладиатор или как сводник...

...Сулла и Марий. Луций Корнелий Сулла Счастливый (138–78 гг. до н.э.) – древнеримский государственный деятель и военачальник, бессрочный диктатор (82–79 гг. до н.э.), организатор кровавых проскрипций и реформатор государственного устройства. В 79 г. Сулла неожиданно для всех оставил свой пост бессрочного диктатора. Гай Марий (около 157 до н.э. – 85 до н.э.) – римский полководец и политический деятель, вождь популяров. Семь раз был избран в консулы, в том числе пять раз подряд в 104–100 гг. до н.э. Провел реорганизацию римской армии. Анекдоты о Сулле пересказывает Плутарх, он же говорит, что Сулла был «мишенью насмешливых песен среди народа» (Плутарх, «Сулла», 6; перевод М. Дювернуа).

С. 250

Красная монотонность, даже в злодеяниях. Планета Плутон была открыта в 1930 г. Речь, следовательно, идет об Адольфе Гитлере, объявившем произведе-

ния многих современных ему художников «дегенеративным искусством».

С. 254

...брошюра автора по фамилии Карски, "Вздорожание, цены на товар и добыча золота". Имеется в виду книга, опубликованная в Дрездене в 1913 г.: J. Karski, Teuerung, Warenpreise und Goldproduktion.

С. 260

...к тезаврации. Экономический термин, означающий накопление денег и ценностей без их активного использования, путем их изъятия из обращения.

С. 262

...аббат Галиани, Лоу и госпожа Шпицедер... Аббат Фердинандо Галиани (1728–1787) – автор политико-экономических работ, в том числе исследования о денежной системе («О всякой свободной монете»), где рассматривает вопросы о ценности вещей, о налогах, о денежном проценте, о займе, о природе и происхождении банков, о государственных долгах, вексельном курсе и пр. Джон Лоу (1671–1729) – финансовый авантюрист из Шотландии. Он предложил французскому регенту Филиппу Орлеанскому заменить монеты банковскими билетами. Система шотландца завершилась грандиозным банкротством экономики Франции. Адель Шпицедер (или: Адель Вио, 1832–1895) – немецкая актриса; случайным образом занявшись ссудами, она основала в итоге свой банк, но, пустившись на спекуляции, была приговорена за это к тюремному заключению; в тюрьме написала книгу «История моей жизни» (1878).

...скандал вокруг Панамского канала... Начало строительства Панамского канала относится к 1879 г., когда во Франции Фердинандом Лессепсом была создана «Всеобщая компания межокеанского канала», акции которой приобрело более 800 тыс. человек. В конце концов, к 1888 г., компания обанкротилась, что повлекло за собой разорение тысяч мелких владельцев акций. Дальнейшее расследование выявило факты массовой коррупции, подкупа компанией должностных лиц, редакторов газет.

С. 263

...как Атауальпа... Атауальпа (1500–1533) – последний независимый правитель империи инков (нынешнее Перу); был свергнут и казнен испанскими завоевателями.

...«все к золоту стремится»... Слова Маргариты в «Фаусте» Гёте, сцена «Вечер»; в русском переводе Н. Холодковского: «Все денег ждут, / Все к деньгам льнут».

Агриппа... Имеется в виду Агриппа из Неттесгейма (1486–1536) – немецкий оккультист, натурфилософ, алхимик, астролог и адвокат.

С. 269

Чего никогда и нигде не бывало... Слегка измененные строки из «Оды к радости» Фридриха Шиллера, в одном из черновых вариантов:

Жизнь повторяется, вал за валом,
И лишь фантазия всегда молода:
Чего никогда и нигде не бывало,
То не состарится никогда.

С. 270

...как Алкуин и Петр Пизанский... Алкуин (Флакк Альбин; ок. 735–804) – ученый и поэт, важнейший из вдохновителей так называемого Каролингского Ренессанса, родом англосакс. Познакомившись в Италии с Карлом Великим, он в 793 г. переселился в Германию, в Ахен, и основал там знаменитую Академию, которая стала крупным центром распространения классических знаний в Европе. Диакон Петр Пизанский – ученый из окружения Карла Великого, который учил императора грамматике и составлял жизнеописания пап.

...Густаву Сакку. Густав Сакк (1885–1916) – немецкий прозаик-экспрессионист, автор романа «Прогулявший студент» и «Книги мертвых» (опубл. посмертно, 1919). В годы Первой мировой войны был одно время сослуживцем Э. Юнгера. Погиб на румынском фронте.

С. 274

...он суфлирует. Французское слово *souffler* означает: «дышать», «дуть», «вдувать», «выдувать» (стекло), «подсказывать», «суфлировать».

С. 278

...из-за стены времени? Юнгер написал философское эссе «У стены времени» (*An der Zeitmauer*, 1959).

С. 279

...по узкому, словно лезвие ножа, мосту Сират. Сират в исламе – это мост, проложенный через Ад. Он широк для тех, кто в жизни следовал по верному пути. А для тех, кто ослушался Аллаха, он острее сабли и тоньше волоска.

С. 280

Я был в темнице вместе с Боэцием... Аниций Маанлий Торкват Северин Боэций (ок. 480–524 или 526) – римский государственный деятель, философ-неоплатоник, теоретик музыки, христианский теолог. Будучи приближенным к королю остготов Теодориху Великому, захватившему в 493 г. Северную Италию, Боэций занимал высшие государственные посты: в 510 г. до н. э. консул, в 522-м *magister officiorum* (первый министр королевства). В 524 г. был обвинен в государственной измене, заключен в тюрьму и (вероятно, спустя два года) казнен.

С. 281

«Ибо в нас правит Бог» (Гёльдерлин). Цитируется стихотворение Фридриха Гёльдерлина (1770–1843) «Прощание» (*Abschied*) (перевод мой – Т.Б.).

...Филолай... Филолай (Φιλόλαος, Philolaus; вторая половина V в. до н. э.) – древнегреческий философ, ученик Пифагора, современник Сократа и Демокрита.

...Ксенофан... Ксенофан Колофонский (580/577–485/490 до н.э.) – древнегреческий странствующий поэт и философ.

С. 283

Скарданелли... Под псевдонимом Scardanelli Фридрих Гёльдерлин писал стихи после 1807 г.

...какой-то силы наподобие духа земли. «Дух земли» (1895) – пьеса немецкого драматурга Франка Ведекинда (1864–1918). Эпиграфом для нее автор выбрал цитату из «Смерти Валленштейна» Фридриха Шиллера (действие 2, явление 1; перевод Каролины Павловой):

Земля есть достоянье злого духа,
А не благого. Божество шлет с неба
Нам только общие дары; их свет
Нас радует, но не обогащает;
В их царстве не завоевать стяжаний,
А золото и драгоценный камень
Изволь выманивать у темных сил,
Тех, что злокозненно живут во мраке.
Нельзя без жертв снискать их благосклонность,
И нет такого, кто бы им служил
И душу все же сохранил бы чистой.

С. 284

...Эвмен удерживал свою крепость Норы, «которую только голод мог бы принудить к сдаче», как повествует один историк. После убийства Пердикки в Египте (его собственными офицерами) Эвмен остался единственным диадохом, который поддерживал законных наследников Александра. Остальные диадохи заочно приговорили его к смерти, и после долгого уклонения от сражения с армией Антигона Эвмену удалось окопаться во фригийской крепости Нора на зимовку, а весной сбежать оттуда вместе со своим отрядом.

С. 290

...цареградские стручки... Одно из названий плодов рожкового дерева.

С. 292

...идеальный тип ненадежного кантониста. Кантонисты (в Пруссии XVIII в.) – жители кантонов, особых полковых округов, существовавших для укомплектования каждого полка.

С. 296

...Румпельштильцхен... Румпельштильцхен – персонаж одноименной сказки братьев Гримм: гном, который угрожал королеве, что отберет ее новорожденного сына, если она не угадает его – гнома – имя.

С. 306

...о «короле-солнце» и д'Аржансоне. Марк-Рене де Вуайе де Пальми, маркиз д'Аржансон (1652–1718) – начальник полиции (1697–1718). В 1718 г. был переведен с полицейской должности на должность президента финансового совета, но вскоре оставил этот пост, получил титул государственного министра и генерального инспектора полиции. Энергичный, образованный, весьма способный, но при этом властолюбивый и деспотичный, он сумел – посредством личных докладов королю, а потом регенту, и вмешательства во все части управления и частную жизнь сановников – фактически присвоить полномочия первого министра, сделался могущественным и безответственным деспотом. Несмотря на множество введенных им улучшений в полицейской области, население Парижа его ненавидело, и во время церемонии погребения толпа подвергла его прах поруганию.

С. 308

Назову ее проблемой инклюзов... Инклюд – ископаемые останки живого организма, попавшего в янтарь. В случае некоторых групп животных (например, пауков) инклюдзы в янтаре представляют собой основной материал для исследования ископаемых форм.

С. 309

«Молот ведьм»... Известнейший трактат по демонологии, написанный двумя германскими монахами, доминиканскими инквизиторами Генрихом Крамером и Якобом Шпренгером, опубликованный в городе Шпайере в 1486 г.

...зловещая булла папы Иннокентия VIII... Иннокентий VIII (в миру Джамбаттиста Чибо; 1432–1492, папа с 1484 г.). В 1484 г. издал известную буллу против ведьм, которая стала причиной многих кровавых процессов в странах христианской Европы.

С. 310

...Фехнер... Густав Теодор Фехнер (1801–1887) – немецкий психолог, один из первых экспериментальных психологов, основоположник психофизиологии. Одна из его работ называется «Дневные воззрения в сравнении с ночными воззрениями» (1879).

...в бессрочном, в беспредельном ночь царит. Строки из «Гимнов к ночи» (глава вторая) Новалиса (1772–1801). Перевод В. Микушевича.

Согласно Цельсу... Цельс – римский философ-платоник второй половины II в.; один из самых известных античных критиков христианства.

С. 311

Согласно Златоусту... Иоанн Златоуст, или Хризостом (ок. 347–407), – архиепископ Константинопольский, богослов, почитается как один из трех Вселенских святителей и учителей вместе со святителями Василием Великим и Григорием Богословом.

...согласно Григорию Нисскому... Григорий Нисский (ок. 335 – после 394) – богослов, христианский епископ и святой, философ, экзегет.

С. 312

...в стиле Бробдиньяка. Бробдиньяк – страна великанов в «Путешествиях Гулливера» Дж. Свифта.

...как на затонувшую Винету... Винета – крупный торговый центр славян и викингов в раннем Средневековье, предположительно располагавшийся на острове в низовьях Одера. Адам Бременский описывал его как крупнейший город на севере Европы. Он был разрушен датчанами в 1159 г. Точное местонахождение Винеты неизвестно (возможно, это затопленная часть острова Волин). Не исключено, что это тот же самый город, что и загадочный Йомсборг, известный по скандинавским сагам.

С. 313

Нерон, чтобы построить свой Золотой дом... «Золотой дом» Нерона (лат. Domus Aurea) – дворцово-парковый комплекс в Риме, строительство которого началось после разрушительного пожара 64 г. н.э. Это крупнейшая по площади городская резиденция монарха, когда-либо существовавшая в Европе, однако уступающая Запретному городу в Пекине.

С. 315

Костер в Ниневиш, на котором сжег себя Сарданапал... Сарданапал – мифический царь Ассирии, правил за 64 года до основания Рима (Орозий. История против язычников 19, 1); когда против него возник заговор, сжег себя во дворце (Юстин. Эпитома Помпея Трога I, 3, 1–5).

После того как люди облетели вокруг Луны... Первый пилотируемый облет Луны был совершен в 1967 г. русским космическим аппаратом.

С. 316

Если какой-нибудь Крез (или, еще лучше, Красс) той эпохи...
Крёз (595–546 до н.э.) – последний царь Лидии в 560–546 гг. до н.э. из рода Мермнадов. Богатство Крёза вошло в поговорку. Марк Лициний Красс (115–53 до н. э.) – древнеримский полководец и политический деятель, триумвир, один из богатейших людей своего времени.

Буэн-Рети́ро... Буэн-Рети́ро (исп. «благое уединение») – несохранившийся королевский дворец близ Мадрида. Был построен в начале XVII в. герцогом Оливаресом, фаворитом Филиппа IV; после смерти герцога стал достоянием королевской семьи.

С. 317

...вход, похожий на Фингалову пещеру. Фингалова пещера – прославленная морская пещера, вымытая в скале морской водой, на острове Стаффа, входящем в группу Внутренних Гебридских островов. Фингал (буквально «белый странник») – легендарный герой кельтской древности, о котором рассказал Джеймс Макферсон в одном из стихотворений оссиановского цикла. По преданию, Фингал (или Финн) проложил насыпь между Шотландией и Ирландией, так называемую Дорогу гигантов.

*Тот остров <...> лежал далеко за полярным кругом <...> .
Лето превращало остров из обители страхов в некий мифический мир.* Описание напоминает известную по античным и более поздним источникам легендарную страну Гиперборею (греч. «за Бореєм», «за севером»), место обитания блаженного народа гипербореев. Гиперборейи будто бы выросли из крови древнейших титанов. Блаженная жизнь сопровождается у них песнями, танцами, музыкой и пирами; вечное

веселье и благоговейные молитвы характерны для этого народа – жрецов и слуг Аполлона.

С. 319

...«в облаках дичи». (in den Wolken des Wilds). Цитата из стихотворения Фридриха Гёльдерлина «Хирон» (перевод мой – Т.Б.).

С. 322

...капитан Росс... Сэр Джеймс Кларк Росс (1800–1862) – известный английский военный моряк, исследователь полярных регионов, член Королевского общества.

...Нового Северного Уэллса. Область на западном побережье Гудзонова залива.

...сэр Уильям Парри... Сэр Уильям Парри Эдвард (1790–1855) – английский адмирал, известный мореплаватель и исследователь полярных стран.

С. 326

Плиний. Имеются в виду Письма Плиния Младшего.

С. 327

Отец смог дать мне существование, но не бытие. В последнем я пребывал еще до рождения, даже до зачатия, и «буду» там после смерти. Рассуждение на эту тему имеется у Вико (Джамбаттиста Вико. Основания новой науки об общей природе наций. С. 300):

Итак, Поэты-Теологи с точки зрения грубейшей Физики видели в Человеке две следующие метафизические идеи: бытия (esse) и существования (existere). Несомненно, Латинские Герои ощущали это бытие в достаточной мере грубо – по еде: таково должно было быть первое значение sum, впоследствии обозначав-

шего и то и другое (соответственно этому даже и теперь наши крестьяне вместо «больной еще жив» говорят: «он еще ест»); ведь *sum* в значении «бытие» чрезвычайно абстрактно, оно охватывает всяческое бытие; чрезвычайно текуче, оно проникает через всяческое бытие; чрезвычайно чисто, оно не ограничено никаким бытием. Они ощущали также существование, субстанцию, т. е. нечто, что стоит и поддерживает, «стояние на пятках»; поэтому Ахилл «носил свою судьбу в пятках», так как там находилась его участь, т. е. судьба – жить или умереть.

С. 328

Символически потребовав жертвы, он не допустил ее прагматически. Аллюзия на библейский эпизод жертвоприношения Авраама: Быт., 22: 2–12.

...«*Historia in nucе*»... «История в скорлупке ореха» (лат.). Возможно, аллюзия на работу немецкого философа Иоганна Георга Гамана (1730–1788) *Aesthetica in nucе* («Эстетика в скорлупке ореха», 1760). В книге Юнгера «Сердце искателя приключений» (1937) имеется три фрагмента, озаглавленных *Historia in nucе*: <...> (с разъясняющим продолжением). В одном из них, с подзаголовком «покинутый пост», высказывается важная для понимания «Эвмесвиля» мысль (Эрнст Юнгер. Сердце искателя приключений / Перевод А. Михайловского. М.: Ад Маргинем, 2004. С. 135–136):

На покинутом посту жизнь должна принять решение, подобно тому как под большим давлением материя принимает кристаллические формы. Здесь более явно проступают и низменные черты – например, команда тонущего пиратского корабля предается диким страстям. Поэтому любой строгий порядок готовит отдельного человека на случай действительной опасности,

когда ему, быть может, придется стоять до последнего без приказа и поддержки. Уровень такой репрезентации определяется тем, что даже среди полного распада она способна создать стержень, который организует целое. Замещающая сила единичного человека может быть огромна, истории известны случаи, когда один надежный свидетель при полном молчании миллионов может изменить приговор.

Поэтому изучение истории относится к числу тех духовных инструментов, что необходимы для возвышенного постижения мира. Великие исторические события, сохраненные в предании, говорят на языке, прямо затрагивающем нас; и архив наших летописей содержит превосходные ответы на вопрос, как следует вести себя на покинутом посту. Среди великих навыков, которые история скрывает в себе подобно тайной академии, есть искусство умирать.

Человек без истории есть, собственно, тот, кто потерял свою тень... Аллюзия на книгу Адельберта фон Шамиссо (1781–1838) «Необычайная история Петера Шлемиля» (1813).

С. 330

...был некий Антигон... Возможно, имеется в виду Антигон I Одноглазый (384–301 до н.э.), полководец Александра Великого, после его смерти (323) получивший в управление часть Малой Азии. В 306 г. он вместе с сыном Деметрием Полиоркетом принял царский титул, а в 301 г. потерял в битве при Ипсе (сражаясь против Кассандра, Лисимаха и Селевка) и государство, и жизнь. Деметрий же спасся с 9 тыс. человек. Что расходится со словами Э. Юнгера. Тут следует вспомнить еще о том, что в 316 г. до н.э. именно Антигон убил Эвмена, бывшего полководца Александра Великого и сатрапа

(с 323) Каппадокии и Пафлагонии. Судя по дневниковым записям, Э. Юнгер изучал этот материал по книгам Дройзена «История Александра Великого» и «История диадохов».

...однако его пес продолжал караулить труп. Тут какая-то переключка с судьбой Лисимаха. Вот что Э. Юнгер пишет в дневнике 9 августа 1974 г.: «Наконец, собаки. В эпоху диадохов даже побежденному редко отказывали в погребении с праздниками и соревнованиями. После поражения Лисимаха при Коросе, казалось, правда, что пройдет вечность, пока дело дойдет до этого. Среди массы убитых трудно было отыскать труп царя, если б его не охраняла его собака» («Семьдесят минуло», 2 т.). Стоит также заметить, что, по другим источникам, Лисимах погиб в сражении при Курупедии.

С. 331

...и – как когда-то во времена Лисимаха – вместо него появятся тридцать новых. Имеется в виду, возможно, правление Тридцати тиранов в Афинах в 404–403 гг. до н.э. Лисимах – живший в то время единственный сын знаменитого афинского политического деятеля Аристида.

«...как далеко мы от Акциума...» В 30 г. до н.э. решающее морское сражение вблизи мыса Акциум (Северо-Западная Греция) между флотами Марка Антония и Октавиана Августа завершило период гражданских войн в Риме. Карл Шмитт трактовал эту битву как решающее столкновение между Востоком и Западом (Карл Шмитт. Номос Земли в праве народов *Jus publicum eurgaeum* / Перевод К. Лощевского, Ю. Коринца. СПб.: Владимир Даль, 2008).

С. 332

...новые Прометиды. Прометиды – сыновья (потомки) Прометея.

С. 334

«У правительства не хватает духу...» В своем дневнике (запись от 7 мая 1945 г.) Юнгер пишет: «“У правительства не хватает духу меня расстрелять, однако в этом вопросе между нами нет взаимности”. Кажется, это было сказано где-то в Южной Америке». (Эрнст Юнгер. Годы оккупации / Перевод И.П. Стреловой. СПб., 2007. С. 72).

С. 335

...гроссмейстер Жак де Моле... Жак де Моле (1244–1314) – последний великий магистр (гроссмейстер) ордена тамплиеров с 1275 г. В 1307 г. был арестован в предместье Парижа в связи с началом судебного процесса над тамплиерами, инициированного королем Франции Филиппом IV. Жак де Моле, на последнем слушании отрекшийся от всех своих показаний, 18 марта 1314 г. был сожжен на костре в Париже как повторно впавший в ересь.

С. 336

...Филипп Красивый... Филипп IV Красивый (1268–1314) – французский король (1285–1314) из династии Капетингов. Известен, среди прочего, тем, что разгромил орден тамплиеров.

...в сочетании с историей Старца горы... Хасан ас-Саббах, известный также как Старец горы (середина 1050–1124) – исмаилит, основатель государства низаритов (известных как ассасины) в Персии.

Аламут и Фамагуста, Бафомет и Левиафан. Аламут – горная крепость и центр владений Хасана ас-Саб-

баха, примерно в 100 км от Тегерана; в настоящее время от нее остались лишь руины. Фамагуста – город-порт на юго-восточном побережье острова Кипр; с конца XIII в. – самый значительный торговый центр христианского Леванта. Бафомет – в данном случае то же, что Бегемот. Тамплиеры были обвинены в поклонении Бафомету, злему демону. Юнгер же употребляет образы Левиафана и Бегемота в том смысле, как их понимал Карл Шмитт, писавший, например: «...Левиафан, то есть морские державы, борется против Бегемота, сухопутных держав» (Карл Шмитт, Левиафан... С. 116); «Бегемот здесь символизирует вызванную религиозным фанатизмом и раскольниковством анархию, которая за годы пуританской революции привела английское государство к гибели. <...> В сущности же одно и другое – вынуждающий к миру государственный порядок и революционно-анархическая сила естественного состояния – по своей стихийной мощи равны друг другу» (Там же. С. 130); «Государство и революция, Левиафан и Бегемот, всегда существуют вместе и потенциально всегда готовы проявить себя» (Там же. С. 154).

С. 339

...Белое восстание в Вандее... Вандейское восстание (Вандейский мятеж) – вооруженное антиправительственное выступление крестьян из западно-французского департамента Вандея под католико-монархическими лозунгами весной 1793 г.

...три старейших сословия: рыцари, крестьяне и священники. Аллюзия на теорию французского мифолога и филолога-компаративиста Жоржа Дюмезиля (1898–1986), согласно которой протоиндоевропейское общество функционально делилось на три сословия – жреческое, воинское и земледельческое. Каж-

дому сословию (касте) соответствовало особое божество: у жрецов это был грозный, но справедливый бог-судья, карающий бог правосудия (Зевс – Юпитер – Один – Варуна...), у воинов – бог войны (Тор – Марс – Арес – Индра), у земледельцев – бог плодородия (Фрейр – Квирин – Велес).

С. 341

...опустился до уровня Фукье-Тенвиля... Антуан Кантен Фукье де Тенвиль, прозванный Фукье-Тенвиль (1746–1795), – деятель Великой французской революции, общественный обвинитель Революционного трибунала. Отправил на гильотину множество общественных и политических деятелей (Робеспьера, Сен-Жюста и др.). В конце концов сам был гильотинирован.

С. 344

...«работой для прусского короля»... Выражение, означающее: работать впустую (когда выполненная работа оплачивается плохо или вообще не оплачивается).

С. 360

Гильотен... Жозеф Игнас Гильотен (1738–1814) – французский профессор анатомии, политический деятель, член Учредительного собрания, друг Робеспьера и Марата. Его именем названа изобретенная им машина для обезглавливания – гильотина.

Силлери... Шарль-Алексис, маркиз де Силлери (1737–1793) – французский генерал и политический деятель, член Учредительного собрания и член Конвента; был арестован и казнен за связь с герцогом Орлеанским и другими контрреволюционными заговорщиками.

С. 361

...кармелиток Компьена... Мученицы компьенские (17.07.1794). Шестнадцать монахинь и послушниц, казненных в Париже за «контрреволюционную деятельность».

...Луизу де Монморанси-Лаваль, аббатису Монмартра... Семидесятилетняя Луиза де Монморанси-Лаваль, последняя аббатисса разграбленного в 1790 г. монастыря на Монмартре, была казнена в 1794-м, став одной из последних жертв якобинской диктатуры.

С. 362

«он должен жить отдельно, вне стана жилище его...»
Цитата из книги Левит (13:46).

С. 362–363

«ничего уже не будет проклятого... но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы Его будут служить Ему». Цитата из Откровения Иоанна Богослова (22:3).

С. 366

Мятежники Питкэрна... Питкэрн – остров в Тихом океане; первоначально он был необитаем и впервые заселен в 1790 г. мятежной командой корабля «Баунти» и таитянками, которых моряки увезли на этот остров. Через несколько лет на острове произошли трагические события, связанные с восстанием таитян-мужчин, которые были слугами белых моряков.

С. 367

...о забытом романе одного барочного автора. Имеется в виду утопический роман немецкого писателя Иоганна Готфрида Шнабеля (1692 – между 1751 и 1758) «Остров Фельзенбург» (1731–1743). В романе повеству-

ется о двух – выживших после кораблекрушения и выброшенных на необитаемый остров – людях, мужчине и женщине. Они закладывают основу патриархального рода добродетельных и счастливых тружеников.

...делегирует часть своей свободы коллективной воле.
Имеется в виду работа Ж.-Ж. Руссо «Об общественном договоре, или Принципы политического права» (1761; русский перевод 1998).

С. 369

«Луций Юний Брут и Марк Юний Брут...» Луций Юний Брут – один из основателей Римской республики, возглавивший восстание против последнего римского царя Тарквиния Гордого в 509 г. до н.э. Позднее – один из двух первых римских консулов. Марк Юний Брут Цепион (85–42 гг. до н.э.) – римский сенатор, участвовавший в убийстве Юлия Цезаря 14 марта 44 г.

С. 370

...в знаменитой речи Антония над трупом Брута. Имеется в виду заключительная сцена трагедии У. Шекспира «Юлий Цезарь» (в переводе М. Зенкевича):

Он римлянин был самый благородный
Все заговорщики, кроме него,
Из зависти лишь Цезаря убили,
А он один – из честных побуждений,
Из ревности к общественному благу.
Прекрасна жизнь его, и все стихии
Так в нем соединились, что природа
Могла б сказать: «Он человеком был!»

С. 371

Барбаросса в Кифхойзере... Кифхойзер – покрытый лесом горный массив к юго-востоку от Гарца. В этих местах, согласно легенде, ждет своего часа, чтобы восстать из мертвых, император Фридрих I Барбаросса (1152–1190).

...кипение в сольфатарах. Сольфатары – жерла огнедышащих гор, которые извергают только горячие газы и пары.

...Заткнул дыру на севере близ льдины. Слова Гамлета. В переводе М. Лозинского: «Державный Цезарь, обращенный в тлен, / Пошел, быть может, на обмазку стен».

С. 372

...волновал не только номос, но и этос истории. Номос (от греч. *nomos* – «закон», «порядок») – предписанный законом порядок; правовой порядок. Последняя большая монография Карла Шмитта – «Номос Земли в международном праве *jus publicum europaeum*» (1950; русский перевод 2008). Там, в частности, говорится (с. 46 и 54):

Греческим словом, обозначающим обосновывающее все последующие критерии первое измерение, первоначальный захват земли, представляющий собой форму первого размежевания и первой классификации пространства, ее первичного разделения и распределения, является слово *Nomos*. <...> Поэтому столь же целесообразно использовать для перевода слова *nomos* вместо слова «закон» такие слова, как «обычай», «обыкновение» или «договор».

Брут, первопрредок, был Тупицей. Само прозвище Брут означает «Тупица».

С. 374–375

...крепостная девка становится императрицей. Имеется в виду, видимо, российская императрица Екатерина I (Марта Скаврнская; 1684–1727), которая, впрочем, не была крепостной.

С. 377

...«был огражден крутизной высочайших скал и глубиной моря». Гай Светоний Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей. Тиберий, 40.

...напросился на обед к Цестию Галлу... Гай Цестий Галл – римский вельможа, известный сибарит и кутила; позднее был наместником Сирии.

С. 380

...дайонг... Марка китайских пряностей.

С. 381

...шапочка из Цзяннани... Цзяннань – область в Китае, в нижнем течении реки Янцзы. Цзяннань издавна считается центром культуры, ремесел и торговли.

С. 384

...сэр Джон Барроу... Джон Барроу (1764–1848) – английский путешественник и географ; в 1792–1803 гг. служил личным секретарем у лорда Макартнея, английского посланника в Китае. Пребыванием в Китае Барроу воспользовался для изучения китайского языка и собрал в это время драгоценные материалы для изучения этой страны, которые он частично опубликовал в двухтомном сочинении «Путешествия в Китай» (1801–1803).

...историк Клемм... Фридрих Густав Клемм (1802–1867) – немецкий историк; автор работ «Аттила в истории, молве и предании» (1827), «Всеобщая исто-

рия культуры» (1843–1852), «Всеобщая наука о культуре» (1854–1855) и др.

С. 385

...когда по Китаю путешествовал Гюк... Эварист Регис Гюк (1813–1860) – французский синолог, тибетолог, монголист, путешественник; был католическим монахом, миссионером ордена лазаристов. Известен в первую очередь описанием своего путешествия по Китаю, Монголии и Тибету (в соавторстве с Жозефом Габе), а также некоторыми важными переводами с китайского языка.

С. 386

...этакый Фабий Кунктатор... Квинт Фабий Максим, прозванный Кунктатором, то есть «Медлящим» (ум. в 203 до н.э.) – знаменитый римский полководец.

С. 389

...московская летопись эпохи Ивана III, составленная вскоре после того, как он освободился от господства одной из таких орд. Иван III Васильевич (1440–1505) – Великий князь Московский. Его борьба с ханом Ахматом завершилась к концу 1480 г. отказом платить дань и так называемым «Стоянием на Угре», ознаменовавшим фактическую победу Московского государства, которое обрело желанную независимость. Хан же Ахмат вскоре был убит; после его смерти в Орде разгорелась междоусобица.

С. 394

...вариация на тему притчи о богаче и Лазаре. Притча из Евангелия от Луки, 16: 19–31: «...Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне

его и, возопив, сказал: отче Аврааме! умилосердись надо мною и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем. Но Авраам сказал: чадо! вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь – злое; ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь...»

С. 395

...друзы и марониты... Друзское вероучение возникло в начале XI в. под влиянием проповеди миссионера Мухаммеда бен Исмаила Наштакина ад-Дарази (названо по его имени) среди исмаилитов Египта и Южного Ливана. Маронитская католическая церковь – одна из шести Восточных католических церквей, имеющих статус патриархата. Большинство общин церкви находятся в Ливане, а также в Сирии и на Кипре. История ливанских маронитов восходит к концу IV в., когда вокруг святого Марона собралась группа учеников.

С. 396

...«дитя, столь ангельски чиста...». Гёте, «Фауст», эпизод «Улица» (Фауст о Маргарите). В переводе Б. Пастернака: «О небо, вот так красота! / Я в жизни не видал подобной. / Как неиспорченно-чиста / И как насмешливо-беззлобна!»

С. 398

...«*Haeretici ad Libanum montem*»... «Еретики на горе Ливанской» (лат.) – так объясняется понятие «мароны» в «Латинском глоссарии» французского филолога Шарля Рене Дю Канжа (1610–1688).

С. 400

Магма архейской эры... Архейская эра – самый древний период истории земной коры.

«...прошептал Рогожин и потупился». Из романа Ф.М. Достоевского «Идиот», ч. 4, гл. XI.

С. 405

«...– Может, и слышу, не знаю. К утру наверно пойдет». «Идиот» Ф.М. Достоевского; эпизод разговора Рогожина и князя возле тела убитой Настасьи Филипповны.

С. 406

Вина и искупление... Использованные здесь слова (Schuld und Sühne) повторяют название немецкого перевода романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание».

С. 407

«...все они будут нотариусами, причем подстриженными по последней моде». Приблизительно так крикнул французский писатель и друг Э. Юнгера Поль Леото (1872–1956) из окна своей парижской квартиры травившим его левацким студентам.

С. 409

...достаточно одного удара молотом... Вероятно, отсылка на книгу Фридриха Ницше «Сумерки идолов, или Как философствуют молотом» (1888). Эта книга представляет собой сборник коротких эссе, развенчивающих общественное представление об авторитете различных философских понятий.

С. 410

Что стало с этим столяром и с Ленор? Ленор (1768–1832), дочь столяра Симона Дюпле, была любовницей Робеспьера.

С. 411

...в своеобразную Республику ученых. Концепция «республики ученых» была разработана Фридрихом Готлибом Клопштоком в книге «Немецкая республика ученых» (1774) и позже спародирована Арно Шмидтом в антиутопическом романе «Республика ученых» (1957).

С. 412

...10 августа 1792 года... Имеется в виду восстание 10 августа 1792 г. – эпизод Великой Французской революции, в ходе которого король Людовик XVI был свергнут и заключен под стражу. Поводом для восстания стали слухи о возможном вторжении австрийских армий и сговоре с ними короля. В результате восстания монархия во Франции была свергнута, а к власти пришла республиканская партия жирондистов во главе с Бриссо.

...из воспоминаний маркизы де ла Рошжакляйн. Мари Луиза Виктуар де Дониссан, маркиза де ла Рошжакляйн (1772–1857) была крестной дочерью Мадам Виктуар, дочери Людовика XV. В семнадцать лет она вышла замуж за маркиза Луи Мари де Лескюра (1766–1793), ставшего одним из предводителей Вандейского мятежа. Она написала воспоминания об этой войне, опубликованные в 1815 г. После смерти мужа вышла замуж за его кузена и жила в своих поместьях. В 1814-м вместе с мужем принимала активное участие в роялистском движении в Бордо и его окрестностях. В 1815-м ее муж был убит в

результате неудачной попытки поднять второй Вандейский мятеж в защиту Людовика XVIII.

...принцессы Ламбаль... Мари-Тереза-Луиза Савойская, принцесса де Ламбаль (1749–1792), принцесса Савойского королевского дома, была представлена французской королеве Марии Антуанетте в 1770 г. и стала ее доверенной подругой. В августе 1792 г. принцесса де Ламбаль была арестована революционными властями, обвинена в заговоре и заключена в тюрьму. В сентябре того же года она была жестоко убита, ее тело подвергли насилию и обезглавили, сердце и половые органы были вырваны и насажены на пик.

С. 413

Маркиза <...> описала в своих мемуарах случай... Венатору прислали вторую главу из воспоминаний маркизы де ла Рошжакляйн. Там рассказывается, как, услышав часа в три ночи известие о распространяющемся мятеже, беременная, на седьмом месяце, маркиза и ее муж решили бежать в более безопасное место. Оба переоделись в простонародное платье. От пьяного им удалось отвязаться только потому, что маркиз сказал: отведя беременную жену домой, он-де сам пойдет штурмовать Тюильри. А далее маркиза пишет: «...мы свернули на Королевскую улицу, потом – на улицу Сент-Оноре; нам пришлось продирааться сквозь толпу всех этих людей, вооруженных пиками и издающих яростные крики; большинство из них были пьяными. Я настолько потеряла голову, что стала кричать, сама не сознавая, что я несу: “Да здравствуют санкюлоты! Жги! Бей окна!” – машинально повторяя те фразы, которые слышала вокруг. Мсье де Лескюр [муж. – Е.В.] не мог ни успокоить меня, ни помешать моим крикам».

«Пира семи мудрецов»... «Пир семи мудрецов» – текст Плутарха.

...это было бы высшей стадией автоматизма. См. в «Гелиополе» (Эрнст Юнгер. Гелиополь):

Развитие техники незаметно вступает в третью фазу. Первая была титанической, она заключалась в построении мира машин. Вторая – рациональной и вела к полной автоматизации. А третья – магическая, наделившая автоматы разумом и чувствами. Техника принимает фантастический характер; она становится гомогенной желаниям. К механическому ритму присоединяется лирика. Тем самым возникла новая реальность, мы можем отложить в сторону гаечные ключи.

Координатное ведомство Гелиополя. «Координатное ведомство» (*Punktamt*) упоминается в романе Юнгера «Гелиополь» (1949). Там это – своего рода секретная служба, о которой сказано: «...Координатное ведомство обеспечило себе монополию на установление местонахождения любого предмета по его форме...» (с. 218–219).

...Юнг-Штиллингу, Райхенбаху и Хаксли... Иоганн Генрих Юнг-Штиллинг (1740–1817) – немецкий мистический писатель. Он, в частности, предсказывал наступление конца истории в 1836 г. Карл Людвиг фон Райхенбах (1788–1869) – немецкий инженер, химик, естествоиспытатель, философ. В 1806 г. основал в Тюбингене тайное общество с целью создания колонии на Таити, за что в 1808-м был арестован, судим и приговорен к тюремному заключению. Изучал метеориты. С 1841 г. занимался изучением будто бы обнаруженной им жизненной силы Од (названной так по имени бога Одина). Считал эту силу родственной магнетизму и утверждал, что некоторые люди – он называл их *сенситивами* – в тем-

ном помещении способны воспринимать слабое свечение или ауру, исходящую от людей, кристаллов и магнитов. Олдос Леонард Хаксли (1894–1963) – английский писатель и мистик. Автор романа-антиутопии «О дивный новый мир» (1932), книг «Двери восприятия» (об употреблении мескалина как способе расширить восприятие; 1954), «Остров» (1962) и др.

С. 417

...от разрушителей герм... Герма – четырехгранный столб, завершенный скульптурной головой, первоначально бога Гермеса (отсюда название), затем – и других богов. В ходе Пелопоннесской войны, во время подготовки к Сицилийской экспедиции (415 г. до н.э.), в одну из ночей в Афинах были разрушены почти все гермы. Началось расследование этого происшествия, повлекшее множество доносов, в которых заявлялось, что некоторые граждане справляют в своих домах пародии на элевсинские мистерии. Одним из обвиняемых был организатор готовящегося похода Алкивиад. Многие были арестованы и казнены. По прибытии афинян на Сицилию Алкивиад был отозван. Полагая, что возвращение домой не сулит ему ничего хорошего, он перешел на сторону Спарты и выдал все тайны Афин, какие знал.

С. 418

...всемирный план Фурье... Шарль Фурье (1772–1837) – французский социалист. В своих сочинениях рисовал картину будущего общества, в котором будет царить полная гармония. Фурье представлял себе общество будущего в виде федерации отдельных трудовых союзов, по 1500–2000 человек в каждом

(так называемые «фаланги»). Помещение, в котором живут, а отчасти и работают члены фаланги, он называл фаланстером.

...в ту эпоху физиократов... Физиократы – представители французской школы экономистов второй половины XVIII в., которая была основана около 1750 г. Франсуа Кёне и получила название «физиократия» (то есть «господство природы»).

С. 419

...по трем классам: капитала, труда и таланта. Предполагалось, что общий доход фаланги будет разделяться на двенадцать частей, из которых четыре придутся на долю капитала, пять – труда, три – таланта, то есть носителей теоретических и практических знаний.

С. 420

...кронштадтские матросы. Кронштадтское восстание было подавлено большевиками в марте 1921 г.

Мерлино... Франческо Саверио Мерлино (1856–1930) – итальянский юрист, активист анархистского движения, теоретик либертарного социализма.

...Сорелем и Жоресом... Жорж Сорель (1847–1922) – французский философ, теоретик анархо-синдикализма. Вначале представитель «новой школы» марксизма, затем выступил с критикой рационального познания, научного понимания истории, с учением о мифе как мировосприятию любой социальной группы и восхвалением насилия как движущей силы истории; социалистическую революцию рассматривал как спонтанный порыв народа. Жан Жорес (1859–1914) – деятель французского и международного социалистического движения, борец против колониализма, милитаризма и войны, историк.

...Бакунина... Михаил Александрович Бакунин (1814–1876) – русский мыслитель из дворян, революционер, анархист, панславист, один из идеологов народничества.

С. 421

...встреча Флориана Гайера с его шурином, от руки которого он и погиб. Флориан Гайер (1490–1525) – немецкий рыцарь и дипломат, один из предводителей Крестьянской войны в Германии, действовал в Швабии. В ночь с 9 на 10 июня 1525 г. был заколот и ограблен в лесу вблизи Вюрцбурга двумя слугами своего родственника.

С. 422

«У Толстого» тоже описано нечто подобное. Имеется в виду рассказ «После бала».

...«война – отец всех вещей»... Высказывание Гераклита.

Высказывание Клаузевица... Карл Филипп Готтлиб фон Клаузевиц (1780–1831) – немецкий военный теоретик, произведший своими сочинениями переворот в теории войны. С 1812 г. находился на русской службе. (На русском языке: К. Клаузевиц. О войне. М.: Госвоениздат, 1934.)

С. 423

...недолго до смерти Гегеля... То есть до 1831 г.

С. 424

...Наполеона Третьего. Наполеон III Бонапарт (Шарль Луи Наполеон Бонапарт; 1808–1873) был президентом Французской республики в 1848–1852 гг. и императором французов в 1852–1870 гг. (со 2 сентября 1870 г. находился в германском плену, затем жил в Англии).

...понравилось бы Кауницу... Венцель Антон Доминик Кауниц, граф Ритберг (1711–1794) – австрийский государственный деятель, ведавший внешними сношениями империи с 1753 по 1792 год.

...с позиции Паульскирхе... Речь идет о так называемой Конституции Паульскирхе – первой общегерманской конституции, принятой демократическим путем. Она была утверждена 27 марта 1849 г. на Франкфуртском национальном собрании, которое состоялось в церкви Святого Павла (Паульскирхе) во Франкфурте-на-Майне.

Экономившие на «особом соке». «Кровь, надо знать, совсем особый сок» – слова из первой части «Фауста» Гёте (перевод Бориса Пастернака).

С. 425

...проповеди Шлейермахера... Ф. Д. Э. Шлейермахер (1768–1834) – знаменитый немецкий философ, теолог и проповедник.

С. 426

...наглый тон Гервега по отношению к королю? Георг Гервег (1817–1875) – немецкий революционно-демократический поэт и публицист (сборник «Стихи живого человека», 1841). Осенью 1842 г. Гервег предпринял поездку по Германии с целью вербовки сотрудников для «Немецкого вестника» – журнала с младогегельянскими тенденциями, который он собирался издавать в Цюрихе. Эта поездка превратилась в непрерывное триумфальное шествие: его принимали как национального героя; особенно чествовали поэта в главных центрах либерализма: в Кельне (кружок «Рейнской газеты» с Марксом во главе), в Дрездене и в Кёнигсберге. В Берлине Гервег столкнулся со «Свободными» (группа Бруно Бауэра);

в конфликте между ними и Гервигом Маркс и Руге приняли его сторону; в Берлине же он имел аудиенцию у короля Фридриха Вильгельма IV. Но когда последний запретил «Немецкий вестник» в Германии еще до его выхода, Гервиг написал королю письмо, попавшее против воли автора в печать, и был выслан из Пруссии, осмеянный многими вчерашними друзьями.

«Только титулование может вызвать их доверительность»... Слова Мефистофеля, объясняющего будущему студенту-медику, как следует обращаться с дамами. В русском переводе Н.А. Холодковского: «Ваш титул натолкнет на вывод ясный, / Что вы – искусник редкостный, прекрасный» (Гёте, «Фауст», сцена «Кабинет Фауста»).

«Каждому свое»... (лат. *suum cuique*) – классический принцип справедливости. Известность фразе принес римский оратор Цицерон (106–43 до н.э.).

...сочинения Доносо Кортеса... Хуан Доносо Кортес (1809–1853) – испанский мыслитель, журналист, государственный деятель и дипломат, политический реакционер. Под влиянием революционных событий 1848 года в Европе перешел на крайние правые позиции в политике, близкие таким мыслителям-традиционалистам, как Жозеф де Местр, Луи де Бональд, Томас Карлейль. К этому времени относятся его апологии сильному государству и католической церкви как опорам против «культу разума» и «демократического хаоса» – «Рассуждение о диктатуре» (1848), «Опыт о католицизме, либерализме и социализме» (1851). Доносо, в частности, интересовал вопрос о том, заканчивается ли «христианский эон» и что придет ему на смену. Он усматривал параллели между своим временем, с одной стороны, и эпохой римских гражданских войн и

цезаризма – с другой. Кавалер ордена Почетного легиона, член Испанской королевской академии (1848). В XX в. воздействие Доносо Кортеса испытали Карл Шмитт, Эмиль Чоран, Николас Гомес Давила и другие мыслители-фундаменталисты. (На русском языке: Хуан Доносо Кортес. Сочинения. СПб.: Владимир Даль, 2006.)

С. 427

«*Je marche constamment entre l'être et le néant*». «Я постоянно перехожу от бытия к небытию и обратно» (фр.). Высказывание Луи Габриэля Амбруаза Бональда (1754–1840) – французского философа, родоначальника традиционализма, активного политического деятеля периода Реставрации.

С. 428

...между Питтом и Фоксом. Уильям Питт Младший (1759–1806) – английский государственный деятель. В 1781 г. был избран в парламент и стал лидером «новых тори». В 1782–1783 гг. – канцлер казначейства (министр финансов). В 1783–1801 и в 1804–1806 гг. – премьер-министр. Чарльз Джеймс Фокс (1749–1806) – английский политический деятель, член парламента, лидер оппозиции.

С. 429

Разрушители машин... Имеются в виду луддиты – группа английских рабочих, протестовавших в начале 1800-х гг. против изменений, которые повлекли за собой промышленный переворот, и считавших, что их рабочим местам угрожает опасность. Часто их протест выражался в разрушении машин и оборудования.

...у кафе «Кранцлер»... Кафе-кондитерская «Кранцлер» было открыто в 1825 г. на пересечении Фридрихштрассе с Унтер-ден-Линден.

...в том знаменитом марте, после прозвучавшего перед дворцом рокового выстрела... 18 марта 1848 г. большая толпа рабочих, ремесленников и студентов отправилась в королевский дворец Тиргартен, чтобы потребовать от короля проведения реформ. Гвардейцы, охранявшие дворец, открыли огонь. Вечером 18 марта 1848 г. Берлин покрыли баррикады. В течение ночи шли жестокие уличные бои. Прусский король Фридрих-Вильгельм IV вынужден был отступить.

С. 430

...рисовальную комнату Шадова... Иоганн Готфрид Шадов (1764–1850) – немецкий скульптор, художник и теоретик искусства; представитель классицизма. В 1788 г., после смерти Тассера, Шадов занял должности руководителя придворной мастерской и секретаря берлинской Академии художеств.

...Фридрих Хильшер... Фридрих Хильшер (1902–1990) – немецкий религиозный философ, публицист, оккультист, руководящий сотрудник «Аненербе», участник движения «консервативная революция». Работал над воссозданием древнегерманского мировоззрения. Был лично знаком с Юнгером, публиковался (в конце 1920-х – начале 1930-х гг.) в издаваемом Юнгером журнале «Арминий». В 1933 г. вышел из лютеранской церкви и основал собственную, Независимую Свободную Церковь (с сильным влиянием идей Эриугены и Гёте), в которой христианство переплеталось с народными языческими поверьями. Докторская диссертация Хильшера называлась: «Самовластие. Попытка описания основополагающего понятия немецкого права» (1930).

Бруно Бауэр... Бруно Бауэр (1809–1882) – немецкий теолог, философ-гегельянец, историк. После 1839 г. примкнул к младогегельянцам и в отрицательно-критическом духе этой школы написал «Критику евангельской истории синоптиков» (1840), за что был лишен доцентуры. В конце жизни перешел на консервативные позиции.

...атаковал Штрауса и его «исторического Христа». Давид Фридрих Штраус (1808–1874) – немецкий философ, историк, теолог и публицист. Одна из его самых известных работ – книга «Жизнь Иисуса» (1835).

«Трубный глас страшного суда над Гегелем». В этом памфлете 1841 г., написанном от лица представителя ортодоксии, Бруно Бауэр стремился показать, что никто из гегельянцев не понимал подлинно революционного, атеистического духа, пронизывающего философскую систему Гегеля.

Альтенштайн, покровитель Бауэра... Карл Зигмунд Франц цум Альтенштейн (1770–1840) – прусский политический деятель; с 1817 г. – министр по делам культов, занимался университетским и школьным образованием.

С. 431

...Буль... Людвиг Буль – публицист, друг и соратник Бруно Бауэра.

С. 432

«Святое семейство, или Критика критической критики. Против Бруно Бауэра и компании». Работа Карла Маркса и Фридриха Энгельса (1845).

С. 433

Его супруга... Мария Денгардт, бракосочетание с которой состоялось в 1843 г.; в 1846-м они разошлись.

Маккай... Джон Маккай (1864–1933) – немецкий романист шотландского происхождения, приверженец философии младогегельянцев, исследователь анархизма и биограф Макса Штирнера; в разгар увлечения ницшеанством на протяжении тридцати лет собирал материалы о Максе Штирнере, чтобы показать, что идеи Ницше были высказаны Штирнером еще в 1844 г. В 1898 г. Маккай, на основе собранного им материала и документов, составил книгу-биографию Штирнера (русский перевод вышел в свет в 1907 г.).

С. 435

...«Святой Макс»... Эта работа входила составной частью в совместный труд Маркса и Энгельса «Немецкая идеология. Критика новейшей немецкой философии в лице ее представителей Л. Фейербаха, Б. Бауэра, М. Штирнера и немецкого социализма в лице его различных пророков», который не был опубликован при жизни авторов. Впервые вышел в свет в Советской России: в 1932-м – на немецком, в 1933-м – на русском языках.

С. 436

«Разрыв со святым может стать всеобщим, <...> преступление». Здесь и далее Штирнер цитируется по изданию: Макс Штирнер. Единственный и его собственность / Перевод Б.В. Гиммельфарба, М.Л. Гохшиллера. СПб.: Азбука, 2001. Здесь – с. 287.

С. 437

О Гельвеции... Клод Адриан Гельвеций (1715–1771) – французский литератор и философ-материалист утилитарного направления. Одно из главных его сочинений, «Об уме» (1758), было осуждено папой

Климентом XIII, парижским парламентом и теологическим факультетом Сорбонны и сожжено. Гельвеций пытался создать «науку о нравственности». По его мнению, из двух чувств – любви к удовольствию и отвращения к страданию – возникает третье чувство любви к себе. Именно любовь к себе он считал первичным импульсом всех действий человека.

...от милой и умной жены Гельвеция... Ее звали Анна Катрин де Линьвиль д'Отрикур.

С. 438

...ребенка, играющего с «Кохинуром»... «Кохинур» («Гора Света») – один из самых знаменитых бриллиантов, судьба которого прослеживается с XIII в.; в настоящее время находится в короне английской королевы Елизаветы.

С. 439

Их только две, но этого достаточно для основательной медитации... См.: Макс Штирнер. Единственный и его собственность. С. 27–29:

Что только не должно быть моим делом! <...> Но только мое не должно стать моим делом. “Стыдно быть эгоистом, который думает только о себе”. <...> Бог и человечество сделали свою ставку не на что иное, как на самих себя. Поставлю же и я только на себя... Для Меня нет ничего выше Меня. В основу своего дела Я положил Ничто.

С. 443

...Бенджамина Такера... Бенджамин Р. Такер (1854–1939) – крупнейший идеолог индивидуального анархизма в США; издатель журнала «Либерти». Перевел на английский язык книги «Что такое собственность» Прудона и «Единственный и его соб-

ственность» Макса Штирнера, впервые напечатал в своем журнале английские переводы работ Ф. Ницше, Бакунина, Чернышевского и Толстого. Сам Такер называл свое учение «анархическим социализмом».

С. 445

...такие индивидуальные анархисты, как Мост... Иоганн Й. Мост (1846–1906) – немецко-американский анархист и оратор, большую часть жизни провел в тюрьмах. Переехав в Лондон, он основал революционную газету «Die Freiheit» («Свобода»), в которой в 1881 г. выразил восхищение по поводу убийства российского императора Александра II. Автор книги «Наука революционных военных действий: руководство по использованию и приготовлению нитроглицерина, динамита, пироксилина, гремучей ртуту, бомб, запалов, ядов и прочего» (1885).

...Пеллутье... Фернан-Леонс Э. Пеллутье (1867–1901) – крупная фигура во французском революционном анархо-синдикализме.

...Эмма Гольдман... Эмма Гольдман (1869–1940), известная также как Красная Эмма, – знаменитая американская анархистка.

С. 446

«Сознательно или бессознательно, но мы все стремимся к своеобразности...» Цитата из: Макс Штирнер. Единственный и его собственность. С. 422.

С. 447

...союз, «который продолжается до тех пор, пока партия и Я преследуем одну и ту же цель». Цитата из: Макс Штирнер. Единственный и его собственность. С. 281.

«...от Фурье до Сореля». Жорж Сорель, в отличие от Фурье, в политической борьбе отдавал приоритет прямому действию: бойкоту, саботажу, забастовкам.

С. 448

...ставку на синархов... Синархия (греч. Соуправление) – термин, введенный Сент-Ив д'Альвейдром и означающий нечто противоположное анархии: иерархический закон существования человечества как безупречного организма.

...мавретанцев... Мавретанцы в романах Юнгера «На мраморных утесах» и «Гелиополь» – особое сословие (или орден), которое характеризуется так (Эрнст Юнгер. Гелиополь. С. 435):

...суть этого Ордена состоит в том, что он считает мир измеримым в каждой его точке. Поэтому его выбор падет на бездушных и хладнокровных технократов-вычислителей. Это предполагает, что не существует ни свободы, ни бессмертия. И разум вмешивается в судьбу как автономная величина. Он делает выбор времени.

Через Сент-Ива... Жозеф Александр Сент-Ив Д'Альвейдр (1842–1909) – французский оккультист, создатель учения о «синархии». Впервые заговорил о подземной стране Агартха.

С. 449

...знал ли старый Застрельщик... Старый Застрельщик (der alte Pulverkopf) – так Юнгер называет Фридриха Ницше.

«Этот мир есть воля к могуществу и – ничего кроме этого!» Фридрих Ницше. Воля к власти: опыт переоценки всех ценностей / Перевод Е. Герцык и др. М.: Культурная революция, 2005. Книга четвертая, 1067 / Перевод М. Рудницкого.

С. 450

...знаменитое «Бог мертв». Слова Ницше из «Веселой науки». Книга третья, 108 / Перевод К.А. Свасьяна.

...прославленный силезец... Имеется в виду Ангелус Силезиус (настоящее имя Иоханнес Шефлер; 1624–1677) – немецкий поэт-мистик. Юнгер цитировал его стихи еще в книге «Сердце искателя приключений» (вторая редакция, 1937), во фрагменте «Стереоскопическое наслаждение».

...до утренней зари бороться с Богом за власть. См.: Бытие, 32:13–30.

«Порфирий...» Порфирий (настоящее имя Малх или Мелех; 232/233 – 304/306) – древнегреческий философ (представитель неоплатонизма), теоретик музыки, астролог, математик, критик христианства.

С. 451

...сюда под парусами подойдет Плиний. Имеется в виду Плиний Старший (автор «Естественной истории»). Он стал свидетелем и жертвой извержения Везувия 24 августа 62 г. Это описано в письмах его племянника Плиния Младшего к Тациту.

С. 452

...кальмаров-лолиго. *Loligo vulgaris* – кальмар обыкновенный.

С. 455

Когда Периаандр увидел первую стрелу для катапульты, доставленную ему с Сицилии, он воскликнул: «О небо, – вот и конец воинской доблести!» Диодор приписывает изобретение катапульты в 399 г. до н.э. сиракузскому тирану Дионисию I. Авторство же приведенной цитаты, согласно «Изречениям» Плутарха, принад-

лежит спартанскому царю Архиду, современнику Александра Македонского.

Ричард Львиное Сердце <...> пока его насмерть не поразил в плечо арбалетный болт. Ричард Львиное Сердце (1157–1199) 26 марта 1199 г. при осаде замка Шалю-Шамброль в Лимузене был ранен в шею арбалетным болтом и 6 апреля скончался из-за заражения крови.

С. 456

...ситуацию с песочными часами... В 1954 г. Юнгер опубликовал эссе «Книга песочных часов».

С. 458

...Проконсул... Проконсул (Proconsul) – род ископаемых приматов эпохи миоцена, существовавший 17–21 млн лет назад в Африке. Некоторые ученые считают их ранними человекообразными, другие – общими предками мартышковых и человекообразных, существовавшими до разделения этих групп.

...Хеберер. Герхард Хеберер (1901–1973) – немецкий зоолог, генетик и антрополог; при национал-социализме – специалист по «расовому вопросу», член исследовательского союза «Аненербе».

С. 460

...две школы: одна стремится увеличить объем большого мозга, другая, лесная школа, – погрузить его в мозговой ствол. Большой мозг заведует, в основном, логическим мышлением, речью и конкретным восприятием; мозговой ствол – инстинктами. Эта тема возникает в «Левиафане» Карла Шмитта (Карл Шмитт. Левиафан... С. 158):

При образовании государства у человека, – пишет Эшерих, – основанием выступает мощное развитие головного мозга. Только благодаря этому развившему почти

безграничную пластичность центральному органу стало возможным, опираясь на опыт и на понимание всех преимуществ государственной жизни, преодолеть те огромные препятствия, которые стоят на пути формирования государства, и таким образом начать жизнь в рамках общности, социальности, не отказываясь от органической индивидуальности и не превращаясь в механизм.

С. 462

...Ураниды... Одно из названий божественных титанов, тех, которые восстали против Крона; прототипы «падших» ангелов христианства.

С. 463

Я приготовил там и зеркало из чистого хрусталя... Зеркало из хрусталя – магический инструмент.

Сильвана тоже пугали похожие голоса, и он полагал, что к нему вызывают умершие. Сильван – римский император, узурпатор, правивший лишь 28 дней в августе–сентябре 355 г.; он был по происхождению романизированным франком и придерживался христианства. О Сильване рассказывается в «Римской истории» Аммиана Марцеллина. Голоса умерших, однако, этот историк упоминает в связи с другим императором, Констанцием Галлом (325/326–554): «И ночной покой его тревожили видения: тени убитых с Домицианом и Монцием впереди хватали его – как ему во сне казалось – и бросали на мучения фуриям» (Марцеллин, книга XIV, 17 / Перевод Ю.А. Кулаковского и А.И. Сонни).

С. 469

Лейденская банка, называемая также банкой Клейста... Лейденская банка, или банка Клейста, – первый электрический конденсатор, изобретенный гол-

ландским ученым Питером ван Мушенбруком в 1745 г. в Лейдене. Почти в то же время и независимо от него сходный аппарат, под названием «медицинская банка», изобрел немецкий ученый Клейст.

...из которой чеканят свою монету и *bios*, и *psyche*... В греческом тексте Нового Завета используются три термина для обозначения жизни: *bios* – жизнь в чисто физическом смысле, которая может быть оценена по количественным показателям; *psyche* – жизнь души, сущностная жизнь человека; и *zoe* – вечная, божественная жизнь.

С. 472

...«Шведка». Швеция – прародина готов, что, может быть, имеет значение для интерпретации образа Ингрид.

С. 473

Почему в голове у меня мелькнуло: «Близнецы»... В письме К. Шмитту от 1.2.1976 Юнгер писал:

Стихи Хюсмерта о преадамитах я нахожу замечательными; они касаются старого вопроса: «Эволюция или Сотворение мира?» В эволюции главную роль играет время; Адам же пребывает вне времени. Согласно мифу, прежде людей были боги. Некоторые считают, что богов обучили кентавры. Это могло быть «до пирамид», то есть до Авраама и Тельца. Почему в голове у меня мелькнуло: «Близнецы» <...> Прежде Тельца были Близнецы, о которых астрологи мало что говорят. Кентавры могли иметь отношение к этому созвездию. Наш же современник в родстве не столько с Адамом, сколько с творением Прометея.

Эрнст Хюсмерт (р. 1928) – друг Карла Шмитта, ныне публикующий его дневники. О «больших эпохах» в понимании Юнгера см. комментарий к с. 500.

Ее любимый цвет – синий; она носит льняную одежду этого цвета, всех оттенков – от почти белого до самых темных... Эрнст Юнгер в «Сердце искателя приключений» (Эрнст Юнгер. Сердце искателя приключений. Фигуры и каприччо / Перевод А. Михайловского. М.: Ад Маргинем, 2004. С. 212–214) посвятил синему цвету целый фрагмент. Там, в частности, говорится:

Эта бережливость [в использовании красного цвета. – Т.Б.], ведущая к славе, требует в качестве своего дополнения принцип высшего законодательного духа, которому подчинен синий цвет. В этом цвете обозначаются два крыла духа: удивительное и ничто. Синий цвет – зеркало таинственных глубин и бесконечных далей. / Так, синий известен нам прежде всего как цвет неба. <...> Но по ту сторону земной дымки небесный свод светится своим глубочайшим, стремящимся к черному сиянием, и, возможно, именно там явственно открывается взгляду мощная власть ничто. <...> Синий – это цвет пограничных мест и пределов, недоступных для жизни, например дымки, которая растворяется в ничто, вечного снега и самого центра пламени. <...> Подобным же образом он указывает на духовную жизнь и особенно в фиолетовых оттенках на бесплодность плоти. <...> Соотношение синего и красного дает материал для высокой медитации: в сфере космического – о небе и земле, в сфере человеческого – о священнической и царской власти.

С. 475

...с новой версией самоубийства лорда Клайва. Роберт Клайв, 1-й барон Клайв Плессийский (1725–1774) – британский генерал и чиновник, утвердивший господство британской Ост-Индской компании в Южной Индии и в Бенгалии. Он положил начало расшире-

нию влияния Британии на территории субконтинента, что привело к созданию Британской Индии. Вспыхнувший в 1769 г. в Бенгалии страшный голод сказался на котиловках Ост-Индской компании, и уже в 1773 г. компания стояла на пороге банкротства и просила правительство Великобритании оказать ей помощь. После этого парламент начал расследование деятельности Роберта Клайва, которого обвинял в злоупотреблениях. Клайва признали виновным, однако он был оправдан за услуги, которые оказал своей стране. Тем не менее в 1774 г. Роберт Клайв покончил с собой.

С. 476

...ни в корреспонденции Герцля, ни в письмах Бялика. Теодор Герцль (он же Биньямин Зеев; 1860–1904) – еврейский общественный и политический деятель, основатель Всемирной сионистской организации, провозвестник еврейского государства и основоположник идеологии политического сионизма. Был журналистом, писателем, доктором юриспруденции. Родился и жил в Австро-Венгрии. Хаим-Нахман Бялик (1873–1934) – еврейский поэт и прозаик, классик современной поэзии на иврите и автор поэзии на идише. Родился на Украине, в 1921 г. по ходатайству А.М. Горького, с личного разрешения В. И. Ленина, переехал в Берлин, а в 1924 г. – в Тель-Авив. Умер после неудачной операции в Вене.

Очевидно, образ щегла был выбран как символ некоего пестрого, многокрасочного единства. Щегол – птица с ярким оперением. Передняя часть головы ярко-красного цвета, темя и затылок черные, щеки белые, крылья желтоватые, с черными и белыми крапинками. Хвост черный с белыми пятнами на

конце, грудь и брюшко с красновато-буроватым оттенком, надхвостье белое. План «Щегол» (*Stieglitz*) упоминался уже в романе «Гелиополь» (Эрнст Юнгер. Гелиополь. С. 79):

После того как Регент проявил заботу о евреях и выделил им, согласно решениям Сидона, а также планам «Штиглиц» и «Карфаген», землю, парсы унаследовали от них бремя преследований и гонений. Им была предопределена такая судьба по причине их богатства и инородности.

С. 478

И после разрушения Города Титом... Имеется в виду разрушение Иерусалима римским императором Титом Флавием Веспасианом в 70 г. н.э.

«Благо Израилю, ибо Бог властвует над ним». В немецком тексте – слегка перефразированная цитата из Псалтири: «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем!» (Пс., 72:1).

С. 479

...этот биотоп... Биотоп (от βίος – «жизнь» и τόπος – «место») – относительно однородный по абиотическим факторам среды участок суши или водоема, заселенный живыми организмами (занятый одним биоценозом). Биотоп является наименьшей единицей биосферы.

Книга часов иллюминируется – часто лишь таким образом, что вспыхивает инициал. Аллюзия на средневековые иллюминированные (то есть иллюстрированные) книги, в частности часословы, в которых иногда расписывались красками только заглавные буквы – инициалы.

...Йенни Линд... Йенни Линд (1829–1887) – шведская оперная певица (сопрано), которую называли

«шведским соловьем»; она выступала на сцене всех европейских столиц и была желанной гостьей королевских домов. Кроме того, она была красива, в 1843 г. в нее влюбился датский писатель Ханс Кристиан Андерсен, но она не ответила ему взаимностью. В период зимнего семестра 1849–1850 г. Йенни Линд как первая и единственная женщина удостоилась в Гёттингене Ленты почета студенческой корпорации *Hannovera*.

С. 483

...Левиафан ведет борьбу с Бегемотом. Последний защищается рогами; Левиафан пытается его задушить, плавниками затыкая ему ноздри, – – – «что, кстати сказать, прекрасно иллюстрирует процесс покорения сухопутной державы посредством блокады». Это высказывание принадлежит Дону Каписко... Близкий к дословному пересказ фрагмента «Левиафана» Карла Шмитта и дословная цитата оттуда же (Карл Шмитт. Левиафан... С. 116). О Доне Каписко см. комментарий к с. 245. Бегемот (Behemoth, букв. «животные») – мифологическое существо, демон плотских желаний (в особенности обжорства и чревоугодия). В Библии описан как одно из двух чудовищ (наряду с Левиафаном), которых Бог демонстрирует праведнику Иову в доказательство Своего могущества в книге Иова (Иов, 40:10–19). В иудейских преданиях Бегемот считается царем зверей; в конце времен Бегемот и Левиафан должны убить друг друга в последней схватке, их мясо будет служить пищей для праведников на пиру Мессии.

С. 484

...когда Противник хитростью или насилем захватывал свет науки и «поворачивал» его в противоположную сторону.

Имеется в виду Сатана, само имя которого означает в переводе с иврита «противник», «клеветник».

Оттуда – и это напоминает как Фурье, так и каббалу – управляется Междугорье. Идея многоэтажных башен, управляющих подвластными им территориями, у Фурье выражена так: «Каждая фаланга устроится на своей площади земли в размере приблизительно одной квадратной мили. В центре участка будет выстроено великолепное жилище (фаланстер), с роскошными залами для читален, концертов и балов, с обширными аудиториями для публичных лекций, с зимними садами, стеклянными галереями, с обсерваторией, телеграфом, паропроводом и так далее». Карл Шмитт в «Левиафане» пишет (Карл Шмитт. Левиафан... С. 115–116): Согласно иудео-каббалистическим толкованиям, Левиафан – это «скот на тысяче гор» (Пс., 49:10), символизирующий языческие народы. Мировая история трактуется как борьба языческих народов между собой».

Самый мощный из этих фортвов, Радамант... Радамант в греческой мифологии – сын Зевса и Европы, брат Миноса. Радамант, славившийся своей справедливостью, дал критянам законы. После смерти стал судьей в загробном мире.

С. 486

...менуэтом Диабелли... Антон Диабелли (1781–1858) – австрийский композитор.

С. 487

Она, как агон, ведется между равными. Агон (ἀγών) у древних греков – борьба или состязание, но главным образом так назывались игры, которые устраивались в связи с религиозными или политическими празднествами.

С. 487-488

...со времен Филидора. Франсуа-Андре Даникан Филидор (1726-1795) – французский оперный композитор, шахматист, шахматный теоретик, в свое время считался сильнейшим шахматистом в мире. Его именем назван шахматный дебют «Защита Филидора».

С. 488

В каждом из нас дремлет пастух, перед которым когда-то, на горе Иде, предстали три богини... Пастух – Парис, которому на горе Иде, на Крите, явились три богини, чтобы он выбрал прекраснейшую из них. Гера обещала ему господство над Азией, Афина – победы и военную славу, Афродита – обладание прекраснейшей женщиной.

С. 494

Они, как Биант, все свое носят с собой; вольный паспорт достается им еще в колыбели. Биант Приенский (VI в. до н.э.) – древнегреческий мудрец, один из семи особо чтимых мудрецов. Когда персы покорили Приену и жители, покидая город, забирали свое имущество, Биант не взял ничего. На вопрос, почему он так поступил, Биант ответил: «Все свое ношу с собой». Биант упоминается в «Сердце искателя приключений» (Эрнст Юнгер. Сердце искателя приключений. С. 171):

Удовольствие от этих одиноких прогулок, несомненно, вызвано тем, что мы, подобно Бианту, «все свое носим с собой». Наше сознание сопровождает нас подобно зеркальному шару или, лучше сказать, ауре, центр которой – мы сами. Прекрасные образы проникают в эту ауру и мерцают в ней, как небесные огни. <...> Такое изысканное сочетание и соитие с миром принадлежит к числу высочайших наслаждений, что выпадают на

нашу долю. Земля – наша вечная мать и жена и, как любая жена, она воздает нам по нашему богатству.

С. 495

...осознавали себя не только Уранидами. То есть: не только сыновьями неба, Урана.

С. 498

Лес стоял как стена... Лес здесь, видимо, понимается как «стена времени». См. комментарий к с. 278.

...подтверждает теорию Кювье. Жорж Леопольд Кювье (1769–1832) – французский естествоиспытатель, натуралист. Считается основателем сравнительной анатомии и палеонтологии. Был сторонником постоянства вида и главным противником последователей теории эволюции. Исследования Кювье над ископаемыми животными парижского бассейна привели его к теории катастроф, согласно которой каждый геологический период имел свою фауну и флору и заканчивался громадным переворотом, катастрофой, при которой гибло на земле все живое и новый органический мир возникал путем нового творческого акта.

...женщин с гроздями грудей, как у Дианы Эфесской. Она же Артемида Эфесская; многогрудая статуя этой карийской богини плодородия и деторождения – для храма в Эфесе (550 г. до н. э.) – была изготовлена из слоновой кости и золота; в музеях мира сохранилось несколько аналогичных статуй.

С. 500

...солнечный луч вдруг высветил существо с головой барана. Левой рукой оно опиралось на ягненка с человеческим лицом. Как человек с головой барана изображался древнеегипетский верховный бог Амон. Агнец – символ

Христа. В письме Карлу Шмитту от 1.5.1957 Юнгер излагает свое представление о больших культурно-исторических эпохах:

4000 до н.э.	Телец	Боги-животные. Египет, Вавилон, Ассирия. Золотой телец.
2000 до н.э.	Овен	Иегова. Зевс. Победа над богами-животными. Возможно, здесь же и бунт Эхнатона. Моисей. Александр. Были ли рога на алтарях бараньими или бычьими?
о	Рыбы	Сын «Агнец». Отец тоже меняется в результате своего отцовства.
2000 н.э.	Водолей	Святой Дух. Предвестия всегда катастрофичны, ибо сила старых знаков ослабевает, а новые пока едва намечаются.

Ствол оказался полым; вход вовнутрь не выкрошился, как дупло, а был прямоугольно, точно ворота, вырезан в оболони. Кипарис у греков и римлян был посвящен богам, преимущественно Плутону. С приходом христианства символика кипариса поменялась, из символа смерти он стал символом вечной жизни. В Библии кипарис перечисляется среди деревьев, растущих в райском саду (Иезекииль, 31.8).

С. 502

Кедр, кипарис, туя, можжевельник в его рассказах как бы сливались друг с другом... С можжевельником (так же как с кедром и кипарисом) в мифах разных народов устойчиво связывается символика смерти и ее преодоления как начала вечной жизни.

Кажется, даже Иггдрасиль... Иггдрасиль в германско-скандинавской мифологии – Мировое древо: исполинский ясень (или тис), в виде которого скандинавы представляли себе вселенную.

С. 503

«Тогда возникли своего рода подземные карго-культы: только из могил могли еще появляться художественные произведения...» Культ карго, или карго-культ (англ. *cargo cult* – «поклонение грузу»), также религия самолетопоклонников или культ Даров небесных, – термин, которым называют группу религиозных движений в Меланезии. Приверженцы этих культов верят, что западные товары (карго) созданы духами предков и предназначены для меланезийского народа. В культурах карго проводятся ритуалы, похожие на действия белых людей, – чтобы этих предметов стало больше. Культ карго является проявлением магического мышления. Культы карго фиксировались с XIX в., но особенно распространились после Второй мировой войны. В наиболее известных культурах карго из кокосовых пальм и соломы строятся точные копии взлетно-посадочных полос, аэропортов и радиовышек. Приверженцы культа строят их, веря в то, что эти постройки привлекут транспортные самолеты (которые считаются посланниками духов), заполненные грузом. Верующие регулярно проводят строевые учения («муштру») и некое подобие военных маршей, используя ветки вместо винтовок и рисуя на теле ордена и надписи «USA».

С того ясеня... Имеется в виду Мировое древо Иггдрасиль.

Негниючники... Так называется вид грибов, произрастающих на мертвой древесине и мусоре или в качестве паразитов живых деревьев.

С. 504

«Наследником последнего человека будет не первобытный человек, а призрак». Джамбаттиста Вико, рассуждая о «втором варварстве» (после разрушения Римской

империи), пишет (Джамбаттиста Вико. Основания новой науки об общей природе наций. С. 110–111), что ему «должны были, конечно, сопутствовать невозделанные поля, не говоря уже о необитаемых городах, и люди тогда, как свиньи, ходили пожирать желуди, отыскивая их среди разложившихся трупов своих родственников». А дальше он отмечает, что, если не хоронить умерших, то «души остаются на земле неуспокоенными и блуждают вокруг своих непогребенных тел», ибо «души не умирают вместе с телом, но бессмертны». «Последний человек» упоминается в «Так говорил Заратустра» (Фридрих Ницше. Избранные произведения / Перевод Ю.М. Антоновского. СПб.: Азбука-классика, 2003. С. 370):

«Что такое любовь? Что такое творение? Устремление? Что такое звезда?» – так вопрошает последний человек и моргает.

Земля стала маленькой, и по ней прыгает последний человек, делающий все маленьким. Его род неистребим, как земляная блоха; последний человек живет дольше всех.

С. 505

«Ослов и ученых в середине»... Приказ Наполеона перед сражением в Египте.

...мы видим в вас нашего Ксенофонта. Ксенофонт (ок. 444 – ок. 356 г. до н.э.) – древнегреческий писатель, историк, афинский полководец и политический деятель. Крушение могущества демократических Афин вследствие проигранной Спарте Пелопоннесской войны в 404 г. до н. э. Ксенофонт пережил уже в сознательном возрасте, и во время последующих политических событий он, видимо, поддерживал реакцию. Антидемократические настроения, вероятно, и заставили его покинуть

родину в 401 г. до н. э. и присоединиться в качестве частного лица к экспедиции персидского царевича Кира Младшего, который пытался свергнуть с престола брата и захватить власть. После смерти Кира и вероломного избиения греческих военачальников персами Ксенофонт с большой смелостью и умением руководил отступлением десяти тысяч греков через вражескую землю. Вместе с греческими наемниками он проделал весь поход: наступление на Вавилон, битву при Кунаксе и отступление через Армению к Трапезунду и далее на запад. В Пергаме Ксенофонт, который еще в Месопотамии был избран одним из стратегов греческого войска, а впоследствии во Фракии фактически состоял его главнокомандующим, передал уцелевших солдат (около 5 тыс. человек) в распоряжение Фиброна – спартанского военачальника, собиравшего войско для ведения войны с сатрапом Фарнабазом. Сам Ксенофонт вместе со спартанским царем Агесилаем отправился в Грецию. Для Ксенофонта как историка характерна вера в непосредственное вмешательство богов в людские дела, вера во всевозможные знамения, посредством которых боги сообщают смертным свою волю. Политические же его симпатии – на стороне спартанского аристократического государственного устройства. Лучшее его произведение – «Анабасис Кира» (или «Поход Кира»), где рассказывается о неудачной экспедиции Кира Младшего и отступлении 10 тыс. греков. Рассказ ведется от третьего лица, одним из персонажей является сам Ксенофонт. Ксенофонт, в молодости ученик Сократа, написал также ряд сочинений о своем учителе (так называемые «Сократические сочинения») и трактат «Домострой» (или: «Экономика»). Фактически это первое в истории сочинение по экономике.

С. 507

...любая охота имеет калидонскую подоплеку... Калидонская охота – охота на калидонского вепря, в которой участвовали храбрейшие воины Греции. Вепрь был наслан на калидонские поля Артемидой, которой царь Калидона Ойней (Эней) забыл принести жертву при совершении ежегодных жертвоприношений всем богам. Вепрь убил несколько человек, но был побежден Мелеагром. Шкуру вепря Мелеагр отдал Аталанте – деве-воительнице, первой ранившей зверя, что вызвало обиду других охотников. Разгорелась схватка, в которой Мелеагр убил двух своих дядей. Это привело в дальнейшем к междоусобной войне, в ходе которой Мелеагр погиб.

С. 508

...только великие титаны, которые предшествовали богам, более того, породили их. Имеются в виду дети Урана и Геи: согласно Гесиоду, шесть сыновей (среди них Океан и Кронос) и шесть дочерей. Титаны – архаические божества, олицетворявшие стихии и природные катастрофы. Вступив в брак со своими сестрами, они породили олимпийских богов.

КОНДОР ОХОТИТСЯ НА ОХОТНИКА: «ЭВМЕСВИЛЬ» ЭРНСТА ЮНГЕРА

Как ведет себя человек перед лицом Катастрофы и внутри нее? Такова тема, все более безотлагательно встающая перед нами.

Эрнст Юнгер, «Лесной путь»

ВРЕМЕНА ВТОРОГО ВАРВАРСТВА проясняются при помощи того, что мы знаем о древнем Варварстве.

Дж. Вико, «Основания новой науки
об общей природе наций»

«Эвмесвиль» – лучший роман Эрнста Юнгера, попытка выразить его историко-философские взгляды в необычной, созданной специально для этого замысла художественной форме: форме романа-эссе¹.

«Эвмесвиль» – название итальянского общества поклонников творчества Эрнста Юнгера.

«Эвмесвиль» – ныне почти забытый роман, продолжающий, однако, привлекать пристальное внимание отдельных исследователей.

Так, в книге немецкого философа Петера Козловски «Миф о модерне. Поэтическая философия Эрнста Юнгера» (Петер Козловски. Миф о модерне.

¹ Сразу после публикации «Эвмесвиля» рецензенты восприняли его скорее как эссе, чем как роман. См.: Dietka, Norbert. Ernst Jünger nach 1945. Das Jünger-Bild in der bundesdeutschen Kritik (1945 bis 1985). Frankfurt am Main, Bern, New York, Paris 1987. S. 268.

Поэтическая философия Эрнста Юнгера / Перевод М.Б. Корчагиной. М.: Республика, 2002) «Эвмесвилю» посвящена глава «Историк постистории» в разделе «Малые формы: повести позднего модерна».

Несколькими годами позже литературовед Юрген Крон в книге «Сейсмография модерна. Модернизм и постмодернизм в сочинениях Эрнста Юнгера»¹ (1998) охарактеризовал роман следующим образом (с. 16 и 183):

Юнгер с точки зрения как модернистской, так и постмодернистской эстетики – один из важнейших авторов XX века. Парадигматическая актуальность его работ не позволяет видеть в нем аутсайдера. <...> Юнгер, например, был первым немецким автором, который занялся изучением феномена постистории и изобразил его в художественной форме. <...> В позднем творчестве Юнгера роман «Эвмесвиль» играет центральную роль.

Альберт фон Ширндинг², еще раньше высказав похожую точку зрения в книге «Встречи с Эрнстом Юнгером» (1990), сделал акцент на художественном новаторстве автора романа (с. 21–22):

...этот роман вновь поднимает все важнейшие темы, которыми Юнгер занимался с самого начала. Но и литературные формы, которые он прежде использовал последовательно или параллельно, здесь мы обнаруживаем уже в синтетическом единстве: эссе, дневниковые записи, афоризмы, (уто-

¹ Kron, Jürgen. Seismographie der Moderne. Modernität und Postmodernität in Ernst Jüngers Schriften von *In Stahlgewittern* bis *Eumeswil*. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, New York, Paris, Wien 1998.

² Schirnding, Albert von. Begegnungen mit Ernst Jünger. Ebenhausen bei München (Schäftlarn) 1990.

пическое) повествование. Мы встречаемся здесь с давно знакомыми сильными и слабыми сторонами его словесной магии: особым стилем и стилизацией, маньями и маньеризмом. И перед нами открывается весь спектр типичной для Юнгера оптики.

Кристиан Вайлмайер в диссертационной работе «Эвмесвиль. Философия институционального порядка у Эрнста Юнгера»¹ (2004) подробно рассматривает выраженную в романе политическую концепцию в ее взаимоотношении с геополитической теорией Карла Шмитта – известного юриста-политолога консервативного направления, с которым Юнгер дружил и много лет переписывался и чьи труды в последнее время привлекают все большее внимание в России.

Менее благожелательную точку зрения высказывает Хартмут Дитц в статье с характерным (фрейдистским) названием «Фантазии о наслаждении и убийстве. Арно Шмидт и Эрнст Юнгер»² (опубликована в Интернете, 1995):

Творчество Шмидта и Юнгера остается во многих отношениях плюсквамперфектом, оно заперто в прошлом, главным образом в эпохе Второй империи. Двух этих «традиционалистов=модернистов» (Alt=Modernen, так Шмидт называл себя) позволительно отнести к модернизму лишь постольку, поскольку оба они были наследниками романтизма: их повествования базируются на субъективности восприятия и на мифе.

¹ Christian Weilmeier. Eumeswil. Ernst Jüngers Philosophie der institutionellen Ordnung. München 2004.

² Hartmut Dietz. «Lust- & Mordgedanken». Arno Schmidt und Ernst Jünger.

Традиционной=модернистской является и рассматриваемая ими тема взаимоотношения интеллектуалов с властью.

Впрочем, Дитц уловил очень существенную особенность книг Юнгера, когда отметил, что речь в них идет об «эпифаниях... благодаря которым миф становится зримым в повседневности».

В статье 1998 г. «Взгляд Эрнста Юнгера на XXI столетие»¹ (опубликована в Интернете) Арне Шиммер удачно обобщает суть претензий Эрнста Юнгера в отношении современной цивилизации, его теорию титанизма:

По каким признакам распознают титанизм? Под этим ключевым словом можно понимать, например, изменение биоса и материи под воздействием генных и ядерных технологий, замену войны терроризмом, процессы омассовления и разрушения государственности, концентрацию власти маленьких бюрократических элит, ослабление всего патриархального в пользу матриархального и, прежде всего, энергетический голод, из-за которого жертвуют всем, включая мораль. <...> Вся наша цивилизация, согласно Юнгеру, носит теллурический характер и для своего сохранения должна воспламенять вещества, которые человек добывает из земли... <...> Определяющая черта титанов из греческих мифов – отцеубийство; применительно к нашему времени это означает разрыв со всем, что донесла до нас традиция, со всем унаследованным. <...> Федеративную республику, на которую Юнгер почти неприкрыто ссылается в утопическом романе «Эвмесвиль», он описывает как «феллахское общество, которое демагоги периодически доводят своим

¹ Arne Schimmer, Ernst Jüngers Ausblick ins 21. Jahrhundert. Выдел. мной. – Т.Б.

морализаторством до переутомления», как «большую свалку» отживших идей и исторических руин, для которой характерна бесконечная либеральная болтовня различных политических партий и связанных общими интересами групп.

Клаус Гюнтер Юст в статье «Назад в глубину времени»¹ (1975) обращает внимание на еще один чрезвычайно важный момент – на роль воспоминания в концепции Юнгера:

Воспоминание – зеркало; тот путь, о котором здесь идет речь, ведет в глубину этого зеркала. Меланхолический взгляд назад, на времена счастья, одновременно есть упрямое конструирование противомира (Gegenwelt). Противовесом для Грядущего, Угрожающего, Совсем Другого становится воспоминание с его специфической, уравнивающей действительность тяжестью. Такой зеркальный литературный прием Юнгер использует прежде всего в своих поднятых до уровня фикции автобиографических сочинениях. И чем старше он становится, тем более ранние слои собственной экзистенции вскрывает.

Взгляд в зеркало – лейтмотив романа «Эвмесвиль», и мы к этому еще вернемся.

Но в целом можно сказать, что роман до сих пор рассматривался либо в общих рамках анализа философии Юнгера, либо в связи с какой-то конкретной проблемой (как в диссертации Вайлмайера). А между тем Крон предупреждал еще десять лет назад, что «философское содержание “Эвмесвиля” раскроется лишь читателю, который будет учитывать интертекстуальные связи романа»². Поскольку мне, как

¹ Klaus Günther Just. Zurück in die Tiefe der Zeit. FAZ 29.03.1975.

² Kron, Seismographie der Moderne. S. 186.

одному из составителей комментариев к «Эвмесвилю», пришлось эти связи проследивать, я постараюсь вкратце наметить новый возможный подход к трактовке содержания романа.

Начну с того, что, как показывают послевоенные философские эссе Юнгера, именно *проблема анарха* (а не критика современного общества сама по себе) – центральная для его мировоззрения. В эссе «Через линию»¹ (1950) он пишет:

Государство становится ничтожно пустым не только в лице своих руководителей, но прежде всего в своих анонимных слоях. Индивид, оказавшийся во власти своего нигилистического настроения, сдается. Поэтому очень важно исследовать, какое поведение ему посоветовать в этом смятении. Ведь внутренний мир индивида есть подлинный форум внешнего мира, и его решение важнее решений диктатора и властителя. Оно есть их предпосылка.

Мировидение Юнгера вовсе не безысходно; он объясняет (там же, с. 49):

Эти три фактора: метафизическое беспокойство масс, выход отдельных наук из коперникианского пространства и возникновение теологических тем в мировой литературе, – positiva высокого ранга, которые по праву можно противопоставить чисто пессимистической или упаднической оценке ситуации. Сюда же надо добавить энтузиазм, своего рода готовность,

¹ Судьба нигилизма. Эрнст Юнгер. Мартин Хайдеггер. Дитмар Кампер. Гюнгер Фигаль / Перевод Г. Хайдаровой. СПб., 2006. С. 16.

одновременно более трезвую и более сильную, чем после 1918 г. Ее можно встретить как раз там, где было больше всего боли, она отличает немецкую молодежь.

И далее он называет три спасительные силы (там же, с. 56–58). (1) «Любое трансцендирующее учение, в котором таится наивысшая опасность [для государства=Левиафана. – Т.Б.]: бесстрашие человека»; (2) «эрос» («когда два человека любят друг друга, они ускользают из сфер Левиафана, создают неподконтрольное ему пространство»). И наконец, (3) «мусическая жизнь» (там же, с. 60):

Ведь зона господства Левиафана характеризуется не только плохим стилем, но в ней мусический человек с необходимостью должен быть причислен к самым значительным противникам. <...> Поэзия стала интеллектуальной настолько, что превосходит все прежние попытки осмысления. Ее образы проникают до сплетения мечты и мифа.

Еще более подробно та же тема обсуждается в эссе «Лесной путь»¹ (1951):

Единственный сегодня точно так же суверенен, как и на любом другом отрезке истории, – а может, он даже стал сильнее. Ибо в той мере, в какой коллективные силы расширяют свои пространства, Единственный высвобождается из разросшихся союзов и приучается рассчитывать только на себя. Он становится теперь противником Левиафана, более того – его победителем, покорителем. <...> Такой человек не представляет собой исключения, не является частью элиты. Он скрывается в каждом, и различия зависят лишь от того, в какой мере

¹ Ernst Jünger. Der Waldgang. Frankfurt am Main, 1951. S. 50–52.

Единственный сумел осуществить предоставленную ему свободу. В этом кто-то должен ему помочь – как Думающий, как Знающий, как Друг, как Любящий.

Сосредоточимся сейчас лишь на одном аспекте эссе «Лесной путь» – на его пространственно-временном континууме. Дело в том, что в эссе встречаются те же пространственные понятия, что и в романе «Эвмесвиль», – «пустыня», «лес». Что касается пустыни, то в эссе идет речь о «пустыне рационалистических и материалистических систем» (с. 96), а о «лес» там говорится (с. 53, 58, 111):

Воображение и вместе с ним песнопения относятся к лесному пути. <...> Этот корабль [«Титаник», символизирующий в эссе титаническую цивилизацию. – Т.Б.] обозначает временное, лес же – надвременное бытие. <...> Что же касается его местоположения, то лес – повсюду. Лес – и в пустынях, и в городах, где лесной путник живет в укрытии или под маской той или иной профессиональной деятельности. Лес – и на родине, и на любой другой земле, где можно вести сопротивление. Лес, прежде всего, – в тылу самого врага.

Это двойное пространство парадоксальным образом увязывается с временным континуумом, тоже двойным (с. 54, 138–140; выделено мной. – Т.Б.):

Миф – никакая не предыстория; это – вневременная реальность, повторяющая себя в истории. <...> И сегодня тоже, как было всегда, могучие силы выводят человека далеко в море, далеко в пустыню с ее миром масок. Но такое путешествие потеряет свой опасный характер, когда человек вспомнит о присущей ему божественной силе. <...> Слова движутся вместе с упомянутым кораблем, Слово же

пребывает в Лесу. <...> К событиям первого ранга относится поворот философии от познания к изучению языка; она приводит дух в тесное соприкосновение с неким прафеноменом (Urphänomen). <...> Слово – материя Духа, и из него можно строить самые невероятные мосты; одновременно оно есть наивысшее средство осуществления власти. <...> Да, можно сказать, что существует два рода истории: одна – в мире вещей, другая – в мире языка; и эта вторая не только позволяет взглянуть на происходящее с большей высоты, но и обладает более действенной силой.

Эта мысль непосредственно подводит нас к самой загадочной в юнгеровском романе, несколько раз повторяющейся фразе «Прообраз – это образ и его отражение». Очевидно, фразу надо понимать так, что мифический прообраз многократно повторяется в реальном мире, который есть одновременно так называемая объективная реальность и реальность воображения, реальность языка.

Итак, пространство романа «Эвмесвиль» состоит из воображаемых (символических) пространств – таких, как пустыня, лес, и пространств вроде бы реальных – моря, города Эвмесвиль, касбы. Два наблюдения по поводу этих последних.

Во-первых, пространство города отнюдь не так безобидно, как это представляется некоторым рецензентам (Вайлмайеру, например). Оно зависимо от империй ханов, где «все еще практикуются пытки»; в нем периодически происходят смены власти, сопровождаемые казнями, высылкой неугодных лиц за пределы страны или на острова; подвергаются травле некоторые преподаватели университета (как подвергались травле

в послевоенной Германии такие мыслители, как, например, сам Эрнст Юнгер, Карл Шмитт, Готфрид Бенн и др.); после ухода в лес тирана Кондора (чаще всего этот уход интерпретируется как бегство) найденный дневник главного героя, историка Мартина Венатора, передается в подобие спецхрана.

Во-вторых, территория Эвмесвиля, представляющая ее жителям самодостаточной, в действительности – глухая провинция, и все вопросы, связанные с дальнейшим существованием, решаются за ее пределами. Где-то рядом с городом (как это было описано уже в «Гелиополе») существуют катакомбы (и лес), там скрываются ученые, практически отделившиеся от государства и занятые опасными экспериментами, связанными с развитием техники и генной инженерии.

Сюжет романа, собственно, состоит в том, что историк Мартин Венатор постепенно вырабатывает свою позицию по отношению к такой ситуации. Не случайно роман начинается с главы, посвященной его учителям.

То, что в образе одного из таких учителей, историка Виго, слились черты друга Юнгера Карла Шмитта (1888–1985) и итальянского историка Джамбаттисты Вико (1688–1744), в доказательствах не нуждается: через весь юнгеровский роман проходит ключевой для Шмитта образ борющихся Левиафана и Бегемота, воплощающих государство и анархию. Отражается в романе и основополагающая идея Шмитта о противоположности и борьбе

между сухопутными и морскими странами, наиболее доступным образом изложенная в небольшой работе «Земля и море. Рассказ для моей дочери»¹ (где, между прочим, излагается история Венецианской республики, особое пристрастие к которой Юнгер приписывает Вико). Менее очевидно, что Шмитт, видимо, во многом опирался на идеи Вико и, во всяком случае, первым познакомил с ним Юнгера. В письме от 13.8.1934 Юнгер писал Шмитту² (выделено Юнгером. – Т.Б.):

Дорогой господин статский советник!

За совет познакомиться с Вико я должен выразить Вам особую благодарность. <...>

Шпенглер называет его учение о культурных циклах коперниканской революцией в историографии... <...>

*Я сразу же занялся тем, что попытался прояснить связь между Вико и Гаманом, почти очевидную. Гаман упоминает его только раз, в письме Гердеру от 22.12.1777, после прочтения *Scienza nova*, которую незадолго до того получил из Флоренции, и называет «отцом нашей критики». Эта дата успокаивает меня в отношении оригинальности положения «Поэзия – материнский язык человеческого рода», высказанного Гаманом уже в 1762 г. в работе «Эстетика in писе». Дело в том, что она в почти дословном виде встречается у Вико. <...>*

¹ Опубликована в книге: Карл Шмитт. Номос Земли в праве народов *jus publicum europaeum* / Перевод К. Лощевского и Ю. Коринца. СПб., 2008. С. 573–639;

² Ernst Jünger, Carl Schmitt. Briefe 1930–1983. Stuttgart: Klett-Cotta 1999, S. 38–39.

«Культурный цикл», как его описывает Вико¹, повторяется – в ускоренном темпе – в истории Эвмесвиля (с. 98):

Люди сначала стараются выйти из подчинения и жаждут равенства – таковы Плебеи в Аристократических республиках, которые в конце концов изменяются в Народные. Потом они стараются превзойти равных – таковы Плебеи в Народных Республиках, искажающихся в Республики Могущественных. Наконец, они хотят поставить себя выше законов – отсюда Анархии, т. е. разнузданные народные Республики; нет худших Тираний, чем они; в них столько тиранов, сколько в государстве наглецов и развратников.

Концепция Вико вкратце сводится к тому, что изначальное право, боги и герои, религиозные культы были изобретены в древности «поэтами-теологами». У него были и другие ценные для Юнгера идеи, о которых речь впереди.

Второй учитель Мартина Венатора – философ Бруно. В романе он характеризуется так: «Виго обращен к богам, а Бруно – к титанам; к лесу – один, к нижнему миру – другой»; «Как Виго хочет вывести нас за пределы истории, так же Бруно выводит за пределы науки; первый использует в качестве инструмента волю, второй – представление»; «Припоминаю один семинар, на котором он рассматривал время и пространство с мифологической точки зрения. Согласно Бруно, отец всегда олицетворяет время, а мать – пространство...»; «Бруно же, напротив, смо-

¹ Вико Дж. Основания новой науки об общей природе наций / Перевод А. Губера. М.-К.: REFL-book – ИСА, 1994.

трет на мир как маг...»; «Бруно удалился с поля истории решительнее, чем Вико; поэтому одному из них я больше доверяю, когда речь заходит о ретроспективе, а другому – когда пытаюсь определить перспективы на будущее» (и так далее).

Моя гипотеза состоит в том, что под именем Бруно скрывается некая ипостась Джордано Бруно (1548–1600), жившего, как и Вико, в эпоху радикальных преобразований пространственного мышления. Шмитт, для которого первостепенное значение имеют именно *революции в пространственных представлениях*, писал о Джордано Бруно¹:

Можно найти и другие исторические примеры, но все они меркнут перед лицом глубочайшего и самого богатого последствиями изменения планетарной картины мира во всей известной нам мировой истории. Это изменение происходит в XVI–XVII веках, в эпоху открытия Америки и первого кругосветного плавания. <...> Коперник первым доказал научно, что Земля вертится вокруг Солнца. Его труд о вращениях небесных орбит <...> вышел в 1543 году. Хотя он и изменил тем самым всю картину нашей Солнечной системы, но он все же еще твердо держался того мнения, что мироздание в целом, космос, представляет собой ограниченное пространство. Таким образом, еще не изменился мир в глобальном космическом смысле и с ним вместе не переменялась сама идея пространства. Несколько десятилетий спустя границы пали. В философском смысле Джордано Бруно предположил, что наша Солнечная система (в которой планета Земля вращается вокруг Солнца) пред-

¹ Карл Шмитт. Номос Земли. С. 610–611. О магических представлениях Джордано Бруно см., например: Фрэнсис Йейтс. Джордано Бруно и герметическая традиция. М.: Новое литературное обозрение, 2000.

ставляет собой лишь одну из множества солнечных систем бесконечного звездного неба.

Третий учитель, Тоферн, занимался поэзией и грамматикой, что соответствует представлениям Юнгера о важности языка, о которых отчасти уже шла речь в связи с эссе «Лесной путь». Прототипом Тоферна, видимо, послужил «северный маг» Иоганн Георг Гаман (1730–1788), оказавший большое влияние и на идеи Юнгера, и на его стилистику. Об этом можно прочесть в прекрасном послесловии Александра Михайловского к книге Юнгера «Сердце искателя приключений»¹ (вторая редакция, 1937), которой предпослан эпиграф из Гамана. Гаман потому называл язык поэзии «материнским языком человеческого рода», что видел в речи, в языке образов единственный способ связи между трансцендентным и земным миром. Он, между прочим, считал, что и история имеет типологическую, «образную» структуру, понимание которой возможно только на основе мифологической или поэтической историографии. В «Эллинском трилистнике клевера»² Гаман повторяет мысль Фрэнсиса Бэкона о триаде наук – истории, поэзии, философии, – соответствующих трем способностям человеческого духа (память, воображение, рация), и отдает первенство среди этих наук именно поэзии. Представители как раз этих наук оказываются учителями и «крестными отцами» Венатора. Нако-

¹ Эрнст Юнгер. Сердце искателя приключений. Фигуры и капризнич. М.: Ад Маргинем, 2004. С. 260–263.

² Hamann J.G. Sämtliche Werke. Historisch-kritische Ausgabe von J. Nadler: Bd. 1–6. Wien, 1949–1957. Bd. 2. S. 175.

нец, в тексте романа содержатся аллюзии на работы Гамана (что отмечено в комментариях).

Чем занят Мартин Венатор? Он наблюдает жизнь города и двора Кондора на касбе, параллельно занимаясь историческими изысканиями: он как бы примеривает на себя образы анархов, живших в прежние исторические эпохи. Сквозь все эти исторические образы просвечивает некий *вневременной прототип*, до которого он долго не может добраться.

Дневниковая запись Юнгера, относящаяся к самому началу работы над романом (Агадир, 9 августа 1974 г.) свидетельствует о том, что он воспринимал исторических персонажей в духе Гамана и Вико – так, будто сквозь них просвечивает череда героических и божественных предшественников:

Закончил: «Историю Александра Великого» Дройзена. Я добавил к ней его же «Историю диадохов» – пользуясь тем экземпляром, в котором отец и брат уже оставили свои замечания. Я хотел особенно еще раз присмотреться к Эвмену, образ которого должен отразиться в романе. / Историю можно воспринимать также как возвращение крупных фигур во все более слабеющих воплощениях: боги дают меру героям, герои – царям. До Трои герои решают конфликты богов, которые правят над и под ними, и выступают зримо. С походом же Александра Македонского возвращается Троянская война, великое столкновение Запада и Востока. Александр – это Ахилл; его скорбь по Клитию, в гневе убитому им, напоминает скорбь Ахилла по Патроклу. Эвмен обладает чертами хитрого Одиссея, Деметрий вступает в Афины подобно хозяину праздника Диониса.

Сам же Венатор, когда хочет сказать, что вызывал в луминаре образы исторических персонажей, употребляет слово «цитировал», которое, как объясняет в своем труде Вико, изначально значило «называть по имени, восхвалять (богов)» (с. 196):

С этого первого мгновения всех вещей человеческих должны были языческие люди начать восхваление богов в том смысле, в каком говорит древнее латинское право – «цитировать», называть по имени...

Здесь я позволю себе маленькое отступление. Мартин Венатор, среди прочего, представляет себя анархом-декадентом в Париже конца XIX в. Через несколько лет после публикации «Эвмесвиля», в 1985 г., Юнгер закончит роман – будто бы чисто криминальный – «Опасная встреча», над которым работал с 1947 г. Действие этой книги разворачивается в Париже около 1888 г. (поскольку в ней упомянут известный убийца Джек Потрошитель), и она буквально кишит образами всевозможных анархов: там есть и вор, и убийца (он же самоубийца), и просто декадент, и анархи-«профессионалы» – переведенный в полицию армейский офицер Этьен Лоран и сыщик инспектор Добровски. В контексте нашего анализа романа «Эвмесвиль» интересно упоминание о том, что один из персонажей, ротмистр Гольдхаммер, в молодости писал диссертацию по праву на тему «Понятие суверенитета в государстве и у Единственного» и, соответственно, «восхищался Гоббсом и Штирнером» (с. 253). Встречаются там и другие термины (или образы), знакомые нам по «Эвмесвилю»: «охота» и «охотник»

(«Добровски принял на себя сущность охотника...», там же, с. 197), «первобытный лес» (реплика того же Добровски: «Среди людей нет ничего невозможного. <...> Мы все находимся в первобытном лесу...», там же, с. 243), «зеркальное отражение» (там же, с. 244; это место имеет явную переключку с финалом «Эвмесвиля»):

Там, где ива соприкасалась с рекой, она граничила со своим зеркальным отражением: со второй ивой, более темной. Казалось, что образ и отражение поменялись местами – ива в реке была реальнее.

Создается впечатление, что целью Юнгера при написании этого романа было изображение специфической исторической ситуации, когда между индивидом и государством еще сохранялось некое равновесие: индивид сам пытался осуществить свое право (путем убийства или дуэли), а государство ему не очень препятствовало – во всяком случае, в этом романе после раскрытия преступления (и самоубийства убийцы) уголовное дело прекращают к вящему удовольствию как заинтересованных частных лиц, так и государственных органов. «Эти бретонцы вроде Моклерка и кучера, да и прапорщик тоже, имеют *другое ощущение права*, они привыкли стрелять из-за изгороди, они не остановятся перед ложной клятвой и будут стоять друг за друга» (там же, с. 276; курсив мой. – Т.Б.).

Что касается Мартина Венатора, то он, присматриваясь к Кондору и двум его ближайшим помощни-

кам, обнаруживает в этой троице все более странные черты – к их лицам как бы прилипли разные исторические и мифологические маски:

При сильном утомлении, когда утро застаёт меня в баре, я вижу этих троих в иероглифическом стиле: Кондор, в центре, – королевский коршун; по левую руку от него – Аттила в образе единорога с серебряной бородой. Только Домо сохраняет еще человеческие черты, хотя, конечно, изменившиеся: он теперь похож на Одиссея, каким его изображали на античных вазах.

О возрасте и происхождении Аттилы я по-прежнему не имею никакого представления. Иногда я причисляю его к мифическим персонажам, что предполагает выключенность из времени. Порой же он напоминает мне некоего графа Сен-Жермена, который хвастался, что владеет эликсиром вечной молодости, и между делом рассказывал, как пировал когда-то с Александром Великим. <...> Мне хотелось бы отнести его к кентаврам – – потому что в нем нет ничего раздвоенного, а есть, наоборот, двуединство. (Иногда кентавров считают потомством Посейдона...)

Эти впечатления Венатора приводят на память рассуждения Вико о людях Века Героев, воплотивших в божественных и мифологических (героических) образах свои представления о фундаментальных человеческих типах (с. 145 и 352):

Так, Ахилл – это идея храбрости, общая для всех Сильных, как Улисс – это идея благоразумия, общая для всех Мудрых. <...> Например, с Ахиллом, главным персонажем «Илиады», они связывали все свойства Героической Доблести и все чувства и нравы, вытекающие из таких свойств его природы, а именно: обидчивость, щепетильность, склонность к гневу, непримиримость, буйство, которое все свое право полагает

в силе, – именно такие свойства собрал Гораций для описания характера Ахилла; а с Улиссом, главным персонажем «Одиссеи», они связывали все свойства Героической Мудрости, т. е. предусмотрительность, терпеливость, притворство, двуличность, склонность к обману, всегдашнюю защиту точного значения слов при безразличии к действиям...

Но еще раньше, до Века Героев, был Век Богов, когда люди, испугавшись молний, впервые поверили в Юпитера – с чего, собственно, и началось человеческое общество, государство (с. 207; выделено мной. – Т.Б.):

Ведь Силачи, оказывается, возделывали свои земли на горных высотах, где воздух продувается и, следовательно, здоров, в местах естественно укрепленных... <...> они находились рядом с Неиссякаемыми Источниками, которые по большей части берут начало в горах и неподалеку от которых хищные птицы вьют свои гнезда. Поэтому недалеко от таких источников охотники ставят свои сети, и, может быть, поэтому и Древние Латиняне называли всех этих птиц *aquilae*, почти что *aquilegae*, как, несомненно, *aquilæx* назывался «открыватель» или «собиратель воды» (*aqua*); потому же, несомненно, те птицы, ауспиции которых наблюдал Ромул, чтобы выбрать место для нового города, те птицы, которых История называет коршунами, впоследствии стали орлами и были знаками всего римского войска. Так простые и грубые люди, следя за орлами, – по их мнению, птицами Юпитера, так как они летают высоко в небе, – находили неиссякаемые источники.

Получается, что Аттила/Ахилл и Домо/Одиссей как бы воплощают в себе образцовые черты трех сословий (в понимании Дюмезиля) – жреческого/воин-

ского (в романе они объединены в образе Аттилы) и крестьянского. Они же – источники Авторитета, как это понимал Вико (с. 383 и 379):

Было три вида Авторитета: первым был Божественный Авторитет – для него не требуется у Провидения обоснования; вторым – Героический Авторитет, скрытый в торжественных формулах Законов; третьим – Человеческий Авторитет, таящийся в доверии к людям испытанного благоразумия, поведения и возвышенной мудрости в вещах умопостигаемых. <...> Первыми были Божественные Правления, как сказали бы Греки – «Теократические»; тогда люди верили, что все решительно приказывают Боги; это был век Оракулов. Вторыми были Правления Героические, т. е. аристократические, иными словами – правления Оптиматов (в смысле «сильнейших»), или же, по-гречески, правления Гераклидов, т. е. вышедших из расы Геракла (в смысле «Благородных»). <...> Третьи – это Человеческие Правления...

Особенно сложен образ Аттилы. Он ведь еще и врач, – но вспомним, что писал Юнгер в эссе «Лесной путь» о роли врачей в современную эпоху (с. 91–92):

Поскольку это исчезновение [религий. – Т.Б.] воспринимается прежде всего как страдание, нет ничего удивительного в том, что такими недугами в особенности занимаются врачи <...> В каждом хорошем враче должно быть что-то от священника; но к мысли, что он хочет заменить священника, врач может прийти только в такие эпохи, когда разграничение между спасением и здоровьем утрачивается.

Аттила, судя по его рассказам, посетил удивительную страну на Крайнем Севере (Гиперборею?), являлся на землю в разные исторические эпохи. Ему присущи черты таких исторических и полуми-

фических персонажей, как Аристей из Проконнеса (который, согласно Геродоту¹, побывал у гипербореев и являлся на землю через семь, а потом через 240 лет после своей смерти); как Ктесий Книдский (древнегреческий историк второй половины V – начала IV в. до н.э.; он оказался в качестве пленника в Персии, где прожил семнадцать лет, являясь личным врачом царя Артаксеркса II Ахеменида, а потом, вернувшись в Грецию, описал единорогов – диких ослов, имеющих один рог на лбу, красную голову, голубые глаза и туловище); как ученик кентавра Хирона врач Асклепий, который научился воскрешать мертвых, за что был убит Зевсом в стране гипербореев, но затем вернулся из подземного мира и стал богом врачевания.

В контексте концепции Карла Шмитта Домо и Аттилу можно рассматривать как представителей, соответственно, земной и водной стихии – не случайно Аттила рассказывает о своих морских путешествиях, а его рог однажды сравнивается с рогом нервала. В таком случае Кондор – представитель стихии воздуха.

Вообще, все трое – охотники, «прообразы победителей смерти <...> богов, героев и мудрецов»². Им знаком лес, а о лесе в романе сказано: «Там, должно быть, захватываются такие трофеи и переживаются такие опасности, которые напоминают скорее плавание аргонавтов, нежели блестящие времена исторической и даже доисторической охоты». *Плавание аргонавтов* упоминается и в книге

¹ Геродот. История. Книга четвертая, 14–15.

² Jünger. Waldgang. S. 82. См. комментарий к с. 75.

Вико как отличительная черта Героического века (с. 271–272; выделено мной. – Т.Б.):

Однако все политики считают началом Героического века морские разбои Миноса и поездку Язона в Понт, продолжением его – Троянскую войну и концом – скитания Героев, окончившиеся возвращением Улисса на Итаку. Поэтому в те времена должен был зародиться последний из Dii Majores¹, Нептун...

Интересно, что охотники играют важную роль и в концепции Шмитта, как она изложена в работе «Земля и море» (с. 591):

Тогда, в XVI столетии, на нашей планете два различных вида охотников одновременно находились во власти пробуждения стихий. На земле то были русские охотники на пушного зверя, которые, следуя за пушным зверем, покорили Сибирь и вышли по суше к восточноазиатскому побережью; на море северо- и западноевропейские охотники на кита, которые охотились на всех мировых океанах и, как справедливо указывает Мишле, сделали видимым глобус. Они – первенцы новой, стихийной экзистенции, первые настоящие «дети моря».

В «Гелиополе» есть еще такое рассуждение (с. 353–354; выделено мной. – Т.Б.):

Это были последние странники-одиночки, последние плоды на древнем родословном древе героев. Они возвращались, соединив начало и конец, назад, в свои мифы. В таких духах находили свое завершение устремления готов-исследователей и открывателей. Могущество воли угасало. На смену ей

¹ Великих богов (лат.).

пришли богатство, роскошь и излишества. Однако было еще заметно фаустовское начало, особенно там, где оно сходилась в конечной цели с искусством магов.

Согласно Вико, Герои вновь появляются во времена «второго варварства». Их первому появлению предшествовало блуждание людей в лесу (там же, с. 127; скорее всего, Юнгер и позаимствовал образ леса именно у Вико):

Как звери, блуждали они по Великому Лесу Земли: раса Хама – по Южной Азии, по Египту и остальной части Африки, раса Яфета – по Северной Азии, т. е. Скифии, и оттуда – по Европе, раса Сима – по всей Средней и Восточной Азии.

Во второй раз они сами превращают упорядоченное общество в лес (там же, с. 468–469; выделено мной. – Т.Б.):

Но если народы доходят до такого последнего состояния гражданской болезни, что ни внутри они не могут согласиться на одном прирожденном Монархе, ни извне не приходят лучшие нации, чтобы завоевать их и сохранить, тогда Провидение в этом крайнем несчастье применяет следующее крайнее средство: так как народы, подобно скотам, привыкли думать только о личной пользе каждого в отдельности, так как они впали в последнюю степень утонченности или, лучше сказать, спеси, при которой они подобно зверям приходят в ярость из-за одного волоса, возмущаются и звереют, когда они живут в наивысшей заботе о телесной преисполненности, как бесчеловечные животные, при полном душевном одиночестве и отсутствии иных желаний, когда даже всего лишь двое не могут сойтись, так как каждый из двух преследует свое личное удовольствие или каприз, – тогда

народы в силу всего этого из-за упорной партийной борьбы и безнадежных гражданских войн начинают превращать города в леса, а леса – в человеческие берлоги. <...> а раз снова возвращается первоначальная простота первого Мира, то они становятся религиозными, правдивыми и верными; таким образом, среди них снова появляются благочестие, вера, истина – естественные основания справедливости, благодати и красоты вечного порядка от Бога.

Роман «Эвмесвиль» заканчивается тем, что Домо от лица Кондора предлагает Венатору присоединиться к «Большой охоте» в лесу, и тот принимает приглашение. Но прежде происходит его свидание с самим собой перед зеркалом: «Я увидел себя-в-зеркале как трансцендентного жениха – – – а себя самого, вступившего в конфронтацию с ним, – как его преходящее отражение». Замечательная параллель к этому месту, проясняющая его, имеется в эссе Юнгера «Лесной путь» (с. 100–101; выделено мной. – Т.Б.):

Мы уже часто использовали образ человека, встречающего себя самого. В самом деле важно, чтобы тот, кто решается на тяжелое начинание, обрел четкое представление о себе. А именно: человек на корабле должен выбрать себе в качестве мерил человека в лесу – то есть человек цивилизации, человек движения и исторических явлений должен ориентироваться на свою покоящуюся и сверхвременную сущность, которая в истории лишь изменчиво отображается. В этом – наслаждение для всех сильных духом, к которым относится и лесной путник. По ходу этого процесса зеркальное отражение вспоминает о прообразе, который его порождает и в котором оно пребывает

неуязвимым; или, можно сказать: унаследованное воспоминает о том, что лежит в основе всякого наследства.

Такая встреча не нарушает одиночества, в чем и заключается ее волшебство <...>. Человек в этом одиночестве суверенен – при условии, что он осознает свой ранг. В этом смысле он – сын Отца, господин земли, чудно сотворенное существо. При таких встречах все социальное отходит на второй план. Человек снова берет, притягивает к себе жреческие и судейские силы, как это было в древнейшие времена. Он выступает из рамок абстракций, функций и рабочих подразделений. Он вступает в непосредственное отношение с Целым, с Абсолютом, и в таком отношении – источник великого счастья.

Эта картина возвращает нас к идеям Гамана, выраженным, например, в работе «Маги из стран Востока, в Вифлееме»¹:

Человеческая жизнь, как кажется, представляет собой ряд символических действий, посредством которых наша душа способна открыть свою невидимую природу, добиться созерцающего познания своего действительного бытия и сообщить его другим. <...> Наша жизнь, как говорят, сокрыта вместе с Христом в Боге. Но когда Христос – наша жизнь – открывает себя, тогда и мы откроемся вместе с Ним во всем величии. <...> Еще не показалось то, чем мы будем. Но мы знаем, что, когда покажется, мы уподобимся Ему, ибо увидим Его, каков Он есть.

А в работе «Эстетика in пусе»² говорится (с. 198, 206–207, 209; выделено мной. – Т.Б.):

¹ Johann Georg Hamann: Kreuzzüge des Philologen, in: Sämtliche Werke, Band 2: Schriften über Philosophie / Philologie / Kritik. 1758–1763, Wien 1950.

² Ibid.

В конце концов БОГ увенчал чувственное откровение своего величия, создав мастерское произведение – человека. Он создал человека в Божественном гештальте: – по образу Божию создал Он его. Это решение Творца развязывает самые запутанные узлы человеческой натуры и ее предназначения. Слепые язычники – и те распознали незримую, сближающую человека с БОГОМ. Задрапированное тело, лицо, голова и внешняя поверхность рук – всего лишь зримая схема, в которую мы проникаем; а по сути – только указание на сокрытого человека в нас... <...> Эта аналогия человека к Творцу придает всем творениям их смысл и облик, отчего зависят верность и вера во всей природе. Чем живее эта идея образа-подобия невидимого Бога в нашей душе, тем больше наша способность почувствовать Его благодать и человеколюбие в творениях, ощутить это на вкус, увидеть, потрогать руками. <...> Как человек, который рассматривает в зеркале свое телесное лицо, а насмотревшись, уходит прочь и забывает, какой у него был облик: точно так же и мы обращаемся с прошлым... Но совершенно иначе сидит живописец перед собственным отражением. Нарцисс (луковица прекрасных духом) любит свое отражение больше, чем свою жизнь.

Венатор, увидев себя в зеркале, видит прообраз человека – совершенное творение и подобие Творца, первобытного человека, каким он виделся Вико: охотника (ведь его имя и означает: Охотник [собственно, то же понятие, что «авантюрное сердце» у раннего Юнгера], Героя, одного из тех суверенных «Отцов Семейств», которые, согласно Вико, основали первое государство.

Этот внутренний – или первобытный – человек и есть прообраз анарха.

Принимая предложение Домо, Венатор становится «Ксенофонтом» экспедиции, то есть, опять-

таки, человеком действующим: он берет на себя роль историка-воина, который некогда согласился участвовать в таинственном и опасном походе царевича (Кира Младшего), представлявшегося ему идеальным правителем.

Концовка романа несколько проясняется, если сравнить ее с финалом «Гелиополя». Там, наряду с самим городом Гелиополь, где идет борьба между Проконсулом и Ландфогтом (демагогом, играющим на инстинктах толпы), существует – в космосе – некое совершенное государство Регента (наместника Бога?). Когда герой романа Луций де Геер разочаровывается в методах власти и Проконсула, и Ландфогта (и Левиафана, и Бегемота), посланник Регента – «голубой пилот» – специально прилетает на землю, чтобы забрать его в вышнее царство, объясняя свое приглашение так (с. 436–437):

Мы считаем возможным собрать со всего света элиту, которую создала выстраданная боль и которая очистилась в битвах и лихорадке истории, подобно субстанции, которой свойственна скрытая воля к спасению. Мы стремимся сконцентрировать эту волю и дать ей развиваться, чтобы потом опять придать ее телу как осмысленную и просветленную жизненную силу. Так следует понимать и исход Регента – как прощание с планом его простого возвращения. <...> Мы подождем, пока все силы развернутся и потерпят крах. Регент будет хорошо информирован обо всем, его благоволение безгранично.

В последних строках романа «Гелиополь» говорится о том, что через четверть века Луций в свите Регента вернулся на землю.

Кондор – аналог «голубого пилота», представитель стихии воздуха – тоже, возможно, явился в Эвмесвиль лишь для того, чтобы забрать Венатора в свою свиту. Эта свита, согласно Юнгеру, и образует истинную «знать» (Adel). В «Лесном пути» (с. 122) Юнгер объясняет, что он имеет в виду:

Итак, в любом положении и по отношению к любому Единственный может стать Ближним – в этом и раскрывается его сущностная, княжеская черта. Происхождение Знатного связано с тем, что он предоставляет защиту – защиту против угрозы со стороны чудищ и извергов. Это и есть отличительный признак Благородного, проглядывающий даже в тюремщике, который тайно дает заключенному кусок хлеба. Такое не может быть потеряно, и этим жив мир. Это та жертва, на которой он покоится.

В образе Кондора можно усмотреть скрытую полемику Юнгера с Карлом Шмиттом. Дело в том, что в «Левиафане» непосредственно после цитируемых в «Эвмесвиле» слов о борьбе Бегемота с Левиафаном Шмитт сравнивает евреев со стервятниками, питающимися падалью (с. 116; выделено мной. – Т.Б.):

Евреи же стоят поодаль и смотрят, как народы Земли взаимно истребляют друг друга; им эта священная резня и бойня представляется закономерной и «кошерной». Они питаются плотью умерщвленных народов и тем живут.

Кондор Юнгера тоже питается плотью гниющего государства, Левиафана, – вырывая из нее тех, кого разложение еще не коснулось.

26 января 1977 г., находясь в Агадире, Юнгер сделал в своем дневнике такую запись:

В первой половине дня на Сусе. <...> Вдали касба <...> Кондор оттуда сверху зорко следит за Сусом. Его разграничения: социальные – относительно Суса и болотистой местности с ее партизанами, анархистами, террористами и лесными ходоками. Технические – относительно катакомб и их титанизма; теологические – относительно леса по ту сторону пустыни и близящейся теофании. С новыми богами – новые заблуждения и задачи. Мир несовершенен; возможно, это даже лучше, если поддерживаешь его в сомнительной неопределенности. Все притязания стали недостоверными, они уже утратили императивность – во всяком случае, для интеллектуального одинок. Именно когда исчезает общая свобода, возрастает его собственная. Положение должно быть осмыслено по-новому: ведь ты привел за собой богов, государство и общество.

* * *

Мне хотелось бы завершить этот обзор прогнозами на будущее, которые Юнгер высказал в конце жизни. Первый – из эссе «Изменение гештальта. Прогноз на XXI столетие»¹ (1993):

И после рубежа веков тоже будет продолжаться удаление человека из истории. Великие символы «корона и меч» все больше утрачивают значение; скипетр видоизменяется. Исторические границы сотрутся; война останется незаконной, разворачивание власти и угроз приобретет планетарный и универсальный характер. Ближайшее столетие принадлежит титанам; боги и впредь будут терять авторитет. Поскольку потом они все равно вернутся, как возвращались всегда, XXI столетие – в культовом отношении – можно рас-

¹ Jünger, Ernst: Gestaltwandel. Eine Prognose auf das 21. Jahrhundert. In: Sämtliche Werke Band 19. Stuttgart 1999. S. 615.

смаатривать как промежуточное звено, «интерим»¹. «Бог удалился». А что ислам, как кажется, представляет в этом смысле исключение, не должно нас обманывать: дело не в том, что он выше нашего времени, а в том, что – с титанической точки зрения – ему соответствует.

Второй прогноз – из книги бесед с Юнгером² (издана посмертно, 2002; с. 31):

У меня нет никаких по-настоящему радующих или хотя бы позитивных прогнозов на будущее. Чтобы выразить все в одном образе, я бы хотел здесь процитировать Гёльдерлина, который написал в «Хлебе и вине», что грядет эпоха титанов. В этом будущем поэт будет обречен на сон Спящей красавицы. Деяния станут важнее, чем поэзия, которая их воспеваает, и чем мысль, подвергающая их рефлексии. То есть грядет время, благоприятное для техники и неблагоприятное для Духа и культуры.

Татьяна Баскакова

¹ Интерим (от лат. interim – «промежуточный») – так назывались предварительные постановления, посредством которых император Карл V (1500–1558) несколько раз пытался добиться мира между католиками и протестантами.

² Gnoli, Antonio und Volpi. Franco mit Ernst Jünger: Die Kommenden Titanen. Gespräche. Wien und Leipzig 2002.

Эрнст Юнгер
Эвмесвиль

Издатели:
Александр Иванов
Михаил Котомин

Выпускающий редактор — *Полина Канюкова*
Художник — *Сергей Монгайт*
Корректор — *Виктория Рябцева*
Компьютерная верстка — *Марина Гришина*

Все новости издательства
Ad Marginem на сайте: www.admarginem.ru

По вопросам оптовой закупки книг
издательства Ad Marginem
обращайтесь по телефону: (499) 763-35-95
sales@admarginem.ru

ООО «Ад Маргинем Пресс»
105082, Москва, Переведеновский пер., д. 18
тел./факс: (499) 763-35-95, e-mail: info@admarginem.ru

Подписано в печать 12.04.13.
Формат издания 84×108/32
Печать офсетная. Тираж 1600 экз.
Заказ №